Л129.5/134

1489/2

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
—И—
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖА
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕК
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА"

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГИ VIII и IX

МОСКВА

П29 5/134
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Т29
947
Д-28

1825 — 1925

ДЕКАБРИСТЫ
НА КАТОРГЕ И В ССЫЛКЕ

СБОРНИК

НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТАТЕЙ,
СОСТАВЛЕННЫЙ КОМИССИЕЙ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН ПО ПРАЗДНОВАНИЮ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРОФДВИЖЕНИЯ
Ц.К. Ж.Д. СОЮЗА

1925

ТИПОГРАФИЯ
РАБОЧЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
„ПРИБОЙ"
имени
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
пр. КРАСН. КОМАНДИРОВ 29
ЛЕНИНГРАД.

Госуд. публичная
историческая
библиотека РСФСР
Инвент. № 420883

Ленинградский Гублит № 3,576 Тираж 4130 22—л. Зак. № 1326.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Романтическому движению, ярко вспыхнувшему на грани царствований Александра I и Николая I, посвящена огромнейшая литература, — но ему удивительно не повезло в смысле достаточно об'ективной оценки до настоящего времени.

Для одних, идеалистически настроенных исследователей, декабристское движение продолжает оставаться окутанным не дымкой только, а плотным романтическим пологом, за которым все разнообразнейшие личности активных участников его сливаются в один неясный силуэт прекраснодушно настроенной, просвещенной верхушки тогдашнего дворянства, выступившей и действовавшей вне всяких классовых рамок и побуждений, во имя одного священного альтруизма. Каким образом случилось, что эта верхушка,—при всем своем просвещенном либерализме, выросшая в условиях *рабовладельческого строя,* — сумела не только изжить свойственную ей классовую психологию, но и восстать против кровных привилегий своего класса,—на это не ищите у исследователей этого типа никаких об'яснений, кроме того, что «в Россию проникли с Запада либеральные и революционные *идеи* той эпохи». Но и часть исследователей другого толка, пользующихся методом экономического анализа каждого социального явления, иногда впадают в аналогичную ошибку. Для них тоже активные деятели декабристского движения сливаются в однородную толпу, но уже не прекраснодушных альтруистов, а изнеженных «барчуков», добивавшихся лишь «куцой конституции» из-за одного фрондерства. Нередко встретить у некоторых исследователей жестокие нападки на активных участников 14/27 декабря за то, что они не только «изнеженные барчуки», но и, по большей части, религиозно настроенные или в политическом отношении «недостаточно выдержанные» барчуки.

И на этом основании некоторые гордые потомки прославленных отцов, смелым восстанием обагривших раннюю зарю

освободительного движения в России, не без пренебрежительной мины отворачиваются от своих предков.

Поразителен этот наивный и — в своей наивности — безжалостный подход к декабристам, имеющий целью развенчать их незабываемый подвиг: как-будто с мерилом настоящего можно подходить к оценке явления, отделенного от нас целым столетием мучительнейшего роста русской общественности! Как-будто увлечение официальной религией, поистине в наши дни связавшей свое дело с судьбами международной реакции, может оправдать высокомерно-презрительный подход современника к тем, для которых деистическое мировоззрение или иные мистические увлечения были почти также обязательны, какими являются для значительной части нашего поколения материалистические учения...

Между тем, об'ективный историк должен признать, что глубоко-религиозные настроения, свойственные большей части декабристов, не заслоняли в их глазах ни политического, ни экономического порабощения трудящихся масс. В то время религиозность *не была и не могла быть* синонимом реакционности,—напротив, часто зажигала в них священный огонь самоотречения и готовности к жертвам во имя своих идеалов.

Недопустима, равным образом, и оценка поведения декабристов во время следствия, на каторге или в ссылке, исходящая из революционных традиций, постепенно слагавшихся в процессе столетней борьбы последующих поколений с ненавистным «самовластием». Случаев отступничества и малодушия среди декабристов было, конечно, не мало, но их не следует ни обобщать, ни расценивать с точки зрения современного нам кодекса революционной морали. Мы не говорим уже о неслыханной жестокости самой расправы правительства с декабристами, поразившей современников—о следствии, граничившем с систематическими пытками, — подобные факты нередко служили смягчающими вину обстоятельствами и при характеристике поведения революционеров позднейшего периода.

Подобная аберрация зрения у многих исследователей декабристского движения, порой исходящих из полярно-противоположных точек зрения,—идеалистически настроенных панегиристов их или чрезмерно суровых хулителей, — происходит, главным образом, потому, что и те и другие склонны рассматривать деятелей 14 декабря, как некий единый коллектив, спаянный совершенно однообразными социально-политическими устремлениями,—при этом искусственно вырывая их из об'ективных условий той эпохи, среди которых им приходилось жить и действовать.

Восстание 14 декабря было лишь заключительным звеном той цепи бесконечных вспышек и самых разнообразных волнений, которые в псевдо-либеральную эпоху Александра I возникали в самых отдаленных углах широко раскинувшейся уже тогда

к югу и востоку империи. Если прав Кропоткин, утверждающий, что Великой Французской Революции, как-будто бы вспыхнувшей в самом сердце Франции, на самом деле предшествовало около 300 стихийных восстаний французского крестьянства, то с неменьшим правом можно сказать то же самое о явлениях, предшествовавших 14 декабря. Но здесь, в этих беглых строках, трудно привести исчерпывающие доказательства этого положения. Мы хотели бы только отметить, что взгляд на декабрьское движение, как на движение фрондирующих «бар» или «верхушки дворянства», явно не состоятелен уже потому, что процесс *социального расслоения внутри самого дворянства* той эпохи зашел уже слишком далеко. Кому неизвестен тот факт, что к 20 годам прошлого столетия в руках крупнейшего дворянства сосредоточилось до 80 процентов всех крепостных. В сущности, только одна шестая часть всего дворянства принадлежала к категории крупных помещиков. А. Д. Повалишин, автор книги «Рязанские помещики и их крепостные» (1899 г.), рассказывает, что в те времена на Руси прозябало «*значительное количество почти нищих дворян,* иногда населявших, как это было, например, в Рязанской губернии, целые деревни (Спасский уезд)». И рядом с такими нищими, у которых за собственной душой ничего не было, имелись помещики, владевшие десятками тысяч крепостных душ (количество, превышавшее население многих губернских городов, например, Шереметьев—60 тыс., Потемкин—50 тыс., Разумовский—45 тыс.).

Далеко не все вожди декабристского движения принадлежали к богатому офицерству. Что общего было между таким бедняком, как Каховский, служащим по вольному найму Рылеевым и богачем Трубецким?

Различие социально-политических устремлений отдельных декабристов станет столь же очевидным, если сопоставить с тем же умереннейшим конституционалистом Трубецким творца «Русской Правды» и одного из первых наших «аграрных» социалистов—Пестеля. Для большинства декабристов общей политической платформой была только ненависть к крайним формам самодержавия и отрицательное отношение к крепостному праву; в остальном было бы наивно рассматривать их, как членов *современных* политических партий, тесно связанных параграфами обязательного устава. Так, переговоры с поляками-революционерами показали, что отсутствовала общность взглядов даже в вопросах национальной политики.

Но, если это верно по отношению к их социально-политическим взглядам, то еще бо́льшую пестроту представляет их душевный склад—темперамент, личные привычки и наклонности.

Что общего между угрюмым Батенковым и, по выражению Тарасова, «очаровательным декабристом» Бестужевым-Марлинским, пылкий прав которого не могла охладить и далекая Якутия, — между неутомимым заговорщиком и «цареубийцей»

о призванию Каховским и «искренним, но случайным декабристом»—по характеристике профессора Сакулина—А. И. Одоевским,—между мечтательным поэтом Рылеевым и такими положительными учеными, как Лунин, Корнилович и др.?

Это — блестящая плеяда красочных и неясно-бледных образов, пылких народных трибунов и умереннейших кабинетных «революционеров», рядовых обывателей, случайно вовлеченных в водоворот разыгравшихся политических страстей, и смелых одиночек, поражающих классической силой своих характеров...

---

100 лет, отделяющие нас от 14/27 декабря 1825 г., были вместе с тем и годами накопления самых разнообразных материалов об этом движении. Это накопление продолжается и до сих пор.

Общество политкаторжан предлагаемым сборником, содержащим ряд ценнейших исследований и впервые публикуемых материалов, как и другими изданиями, посвященными декабристам, вносит и свою посильную лепту в это большое и важное дело. Ибо только на почве накопления исчерпывающих архивных материалов возможна борьба с ненужным *примитивизмом* в освещении этого движения, которое в любой стране составило бы яркую историческую эпопею, и глубокое проникновение в его социально-политическую сущность.

Герм. Сандомирский.

Москва, 16/X. 1925.

По техническому недосмотру на стр. 51, в подписи под факсимиле неправильно напечатано «М. Н. Трубецкой» вместо «М. Н. Волконской».

Ред.

С. Я. Штрайх.

Декабристы на каторге и в ссылке.

(26 неизданных писем).

Одержав кровавую победу над декабристами в Петербурге и на юге, Николай Павлович пытался искоренить в правящих кругах русского общества всякие следы сочувствия к ним. Хотел он уничтожить и самую память о них, но это было не легко. Сосланные в Сибирь заговорщики оставили в России жен, отцов, матерей, сестер, братьев, детей, друзей, наконец, единомышленников, которым удалось избежать кары.

Правда, сановная знать из родни «государственных преступников» старалась не огорчать победителя: мать С. Г. Волконского исправно выполняла обязанности первой придворной дамы; мать жены С. П. Трубецкого продолжала давать для высшего столичного общества балы; родители П. И. Пестеля скрыли свое горе под покровом лойяльности и преданности государю и осуждения идей повешенного сына, а брат его успешно делал карьеру и старался заслужить флигель-ад'ютантские аксельбанты, данные ему императором одновременно с приказом о повешении главных заговорщиков; отец Муравьевых-Апостолов после гибели в революции двух его сыновей и ссылки на вечную каторгу третьего не ослабил темпа своей эпикурейской жизни и только старался сохранить расположение властей, чтобы не лишиться сенаторского места, необходимого ему ради жалованья; мать И. А. Анненкова не изменила своих привычек барыни-рабовладелицы и отстаивала перед правительством все свои права собственницы на людей и поместья, доставшиеся ей от родителей... Все эти Волконские, Голицыны, Давыдовы, Трубецкие, Орловы, Оболенские либо старались распластаться перед императором, чтобы заслужить его милость, либо в лучшем случае старались с'ежиться, чтобы их не видели, спрятаться в свои захолустья, чтобы о них забыли.

И все-таки «мои друзья по 14 декабря», как называл Николай Павлович сосланных заговорщиков, в продолжение всего

30-летнего царствования его не давали ему покоя. Среди многих других причин здесь имел большое значение от'езд некоторых жен декабристов в Сибирь вопреки стараниям их родных и резко отрицательному отношению самого императора, сановные куртизаны которого старались переусердствовать в этом деле, чем не доусердствовать.

С огромными жертвами добились молодые женщины возможности разделить участь своих мужей, с еще большей энергией боролись они в Сибири за каждую мелочь, могущую облегчить жизнь сосланных заговорщиков, и, что хуже всего, всеми путями и средствами пересылали в Россию точные сведения о положении декабристов, будировали среди своих влиятельных родственников, сеяли тревогу в обществе. Правительство не всегда успешно старалось пресечь в корне источник этой тревоги: вскрывало письма, задерживало их, старалось воздействовать на виновных наказаниями и все-таки вынуждено было облегчать положение государственных преступников, не могло одолеть великой силы женской любви.

Переписка декабристов и прибывших к ним в Сибирь жен с родными, оставшимися в Европейской России, всегда озабочивала правительство Николая I. Оно опасалось раздражающего влияния сибирских писем на сановную родню декабристов, желало предупредить революционизирующее влияние этих писем на мелкопоместную и разночинную среду, из которой вышли декабристы-южане и члены общества «Соединенных Славян», наконец, просто хотело, чтобы мятежные офицеры были вычеркнуты из памяти общества, чтобы в благоденствующей России забыли о крамольниках, дерзнувших публично восстать на императора во имя ограничения его самодержавия. Основной мерой правительства в этом отношении было требование пересылки всей переписки декабристов с их семьями через жандармское управление, при чем письма эти должны были сдаваться по начальству открытыми. Кроме этой, была еще введена такая мера: во все почтовые управления страны разосланы были списки декабристов и лиц, с которыми они переписывались, и почтовое начальство обязано было вскрывать все такие письма, поступая с ними соответственно их содержанию. Письма лиц, не включенных в эти списки, все-таки попадали в поле зрения правительства благодаря перлюстрации, широко практиковавшейся еще со времен Александра I, очень любившего читать этот род литературы.

Если в переписке декабристов или их жен попадались места, нежелательные правительству, то авторам таких писем сообщалось, что последние не будут доставлены по адресу, при чем виновным делались соответствующие внушения с предупреждением о полном запрещении переписки. Некоторые письма пересылались по адресу с приписками сибирских властей или высшего жандармского начальства, опровергавшими сообщения со-

сланных и оправдывавшими те или иные меры правительства в отношении декабристов.

Однако, государственные преступники находили пути и средства для переписки со своими родственниками помимо надзора властей. Для этого использовывались оказии — письма пересылались с теми, кто ездил в Сибирь или из Сибири в Москву, где центром такой переписки был дом матери декабристов Ек. Фед. Муравьевой, которая уже от себя рассылала такие письма по назначению. Затем посредниками между сосланными декабристами и их родственниками служили представители передового сибирского купечества, на имя и от имени которых шли письма и посылки для декабристов. Наконец, ко времени выхода большинства декабристов на поселение переписка велась на имя служивших у них людей, при чем получали переписку сами декабристы по официальным доверенностям этой прислуги.

Но в первое время по выезде декабристов из Европейской России, пока еще не наладились все указанные способы переписки, сосланные и жены их прибегали к услугам сопровождавших их фельд'егерей и жандармов. При возвращении последних из Сибири им вручались письма для столичных родственников, при чем аккуратность посредников обеспечивалась крупными суммами, которые должны были выплачивать им адресаты. Однако, этот путь был наименее надежный. Конечно, некоторая часть посланных таким путем писем попала по назначению, но большинство застряло в делах III отделения. Достаточно было одному какому-нибудь фельд'егерю страха ради начальственного передать властям врученные ему декабристами письма, как остальные, поддаваясь застращиваниям начальства, отдавали полученные ими в Сибири пакеты. Кроме того, III отделение насторожилось и стало следить за своими агентами после случая потери одним возвращавшимся из Сибири жандармом фуражки, в которой были зашиты тайно пересылавшиеся письма государственных преступников. Таким образом, путь пересылки писем через подкупленных фельд'егерей и жандармов оказался самым ненадежным: почти все такие письма попали в руки чинов правительства. Таково же происхождение почти всех напечатанных выше писем.

Особенно возмутили жандармское начальство посланные обычным порядком, через коменданта каторги, письма жен декабристов за сентябрь 1830 года — о плохих гигиенических условиях Петровской каторжной тюрьмы. Ознакомившись с этими письмами, шеф жандармов, генерал А. Х. Бенкендорф, писал 27 ноября 1830 года коменданту Петровской каторжной тюрьмы генералу С. Р. Лепарскому, не без укора по адресу последнего за то, что он переслал эти письма в Петербург:

«В письмах от жен государственных преступников, после перевода из Читы в Петровский завод, к родным и даже посторонним лицам содержатся, кажется, преувеличенные о дурном

будто бы помещении их в сем остроге известия, кои должны крайне встревожить и опечалить несчастных родственников их и произвести неблагоприятное впечатление на посторонних лиц. Я счел долгом доложить о сем государю, который повелел просить вас, дабы внушили состоящим в ведомстве вашем женам государственных преступников, что им не следовало бы огорчать родителей своих и чужих родственников плачевным описанием участи, коей их мужья со своими соучастниками подвергнуты в наказание, ими заслуженное, коей нельзя переменить и к облегчению коей сделано уже все, к чему только августейшие чувствования человеколюбия, сострадания и снисхождения могли побудить монарха чадолюбивого, милосердного и правосудного. Что государь, получив рапорт о Петровском заводе, сам повелел сделать светлые окна, что жены должны помнить убедительные пламенные просьбы, с которыми обращались ко мне и другим особам о разрешении ехать под какими бы то ни было условиями, должны покориться смиренно своей судьбе и безропотно пользоваться дарованною им возможностью разделять и услаждать участь своих мужей. Что особенного помещения для их детей нельзя сделать, ибо нельзя предвидеть, сколько будет еще сих несчастных жертв любви необдуманной».

В заключение этого фарисейского письма начальник жандармского ведомства просит ген. Лепарского сообщить, как будет принято «помянутыми женами» его описание забот чадолюбивого монарха о спокойствии родителей и родственников государственных преступников. Все прелестно в этом письме: и августейшие чувствования человеколюбия, и участь мужей, к облегчению коей сделано уже все, и грубое напоминание о том, каким издевательствам подвергались жены декабристов со стороны «особ», от которых зависело дарование им возможности услаждать участь своих мужей, и ложь о том, что правосудный монарх сам велел сделать светлые окна, и, наконец, наглое заявление о детях декабристов, как о несчастных жертвах любви необдуманной.

В действительности, Николай Павлович велел прорубить окна, довольно, впрочем, темные, в Петровской тюрьме после того, как прочитал публикуемые здесь письма жен декабристов, после того, как в столичном обществе прошел гул возмущения по поводу дикого отношения царских тюремщиков к своим жертвам.

Что касается несчастных жертв необдуманной любви, то судьба посмеялась над сердобольным шефом жандармов: дочь графа Бенкендорфа вышла замуж за сына сестры декабриста — Софьи Григорьевны Волконской, а дочь этой дочери, внучка шефа жандармов Елизавета Григорьевна Волконская вышла замуж за сына декабриста М. С. Волконского, родившегося именно в Петровском заводе вскоре после переезда туда декабристов.

Печатаемые здесь впервые 26 писем самих декабристов или их жен представляют большой интерес вообще для истории пребывания декабристов на каторге и в частности для жизнеописаний наиболее видных из них. Представляют они также ценность, как материал для характеристики русской женщины пушкинской эпохи. Особенное значение этих документов в том, что они самыми яркими, остро волнующими словами изображают переживания и чувства декабристов в первый момент вступления в каторгу (осенние письма 1826 года), первым откликом отмечают впечатления «государственных преступников» и их жен при переезде в Петровскую каторжную тюрьму (осенние письма 1830 года) и дают несколько новых штрихов к обрисовке жизни декабристов в первые годы поселения, характеризуют их семейные интересы в тюремной обстановке, рисуют их взаимоотношения с оставшейся в России родней — сановной боярщиной и захудалой шляхтой.

Публикуемые здесь письма (кроме одного) печатаются с подлинников, сделавшихся доступными автору этих строк во время работы в различных государственных, общественных и частных собраниях. Французские письма печатаются в переводе, так как имеют значение только своим содержанием; стиль их авторов, не бывших профессиональными писателями, в данном случае интереса не представляет. Для русских писем сохранены особенности стиля подлинников. Правописание всюду новое.

Необходимые историко-биографические пояснения помещены вслед за каждым письмом.

Публикуя эти письма, я должен выразить глубокую благодарность правнучке декабриста Е. Г. Волконской-Никулиной за содействие в разборе рукописей и переводе. Благодарю также Б. П. Козьмина, доставившего мне возможность использовать несколько писем, которые без его содействия остались бы вне моего поля зрения.

I. А. П. Якубович — И. А. Якубовичу.

Иркутск, 25 августа (1826).

Дражайший родитель.

Вы знаете мои несчастья, знаете новый крест, который бог возложил на меня; с терпением покоряюсь промыслу и в святой надежде на бога нашел утешение. — Батюшка, одно, что позволяю себе сказать: что я не столько виновен, сколько обстоятельства меня выставили, и более несчастен, чем преступен; вот все, что позволяю себе сказать в оправдание мое; надеюсь на время, которое ярко осветит истину. Батюшка, молю Вас не щитайте меня злодеем. Бог видит, что я далек всегда был от сих чувств.

Меня отправили из Петербурга с бывшим полковником Давыдовым, Муравьевым и князем Оболенским, сто рублей денег и две рубашки было мое богатство, но провидение невидимо послало помощь. Муравьев, как зять министра финансов, имел случай получить деньги и нас всех содержал дорогой, уделив часть на первые необходимости; о страданиях душевных и телесных не стану говорить. Вы их можете вообразить, представляя себе путешествие в 6000 верст в телегах и к назначению, которое мне ужаснее смерти.

Вы, конечно, захотите облегчить мою судьбу пособиями; генерал-губернатор Лавинский и губернатор Цейдлер суть мои власти (зачеркнуто—от), через которых Вы можете ко мне писать и прислать все, что Вам угодно, только надобно сыскать знатного покровителя, который написал бы в пользу мою, и Вы тогда удобно можете облегчать мою участь.

Я к Вам пишу наскоро, не зная подробностей моего назначения, и почтенный человек Алексей Кузьмич Седов, делая мне во время дороги всевозможные (было: поб, но переделано) одолжения, обещает мне сладкое утешение, доставя мое письмо к Вам. — Сделайте одолжение, пришлите ему в Петербург в фельдегерский корпус пятьсот рублей; он стоит вечной моей благодарности. — Меня торопят, не могу на первый раз писать более. Прощ. целую Вас, дражайший родитель, прощайте и молю Вас, не презирайте Вашего несчастного сына.

А. Якубович.

Письмо декабриста А. И. Якубовича к отцу Ив. Ал. Якубовичу (роменский, Полтавской губ., уездный предводитель дворянства в 1832 г., был жив еще в 1841 г.). Подлинник на трех страницах почтового листка большого формата с золотым обрезом, с водяными знаками «У. Ф. К. П. К.». А. И. Якубович не был членом тайных обществ, но, очутившись в Петербурге зимою 1825 года, принял участие в событиях 14 декабря—правда, довольно двусмысленное (вернее, легкомысленное). Во время восстания он переходил от мятежных войск к Николаю Павловичу и обратно, при чем поочередно обнадеживал обе стороны заверением в слабости противника. В молодости лейб-улан (он родился в 1792 году), Якубович был типичным бреттером и вращался исключительно среди так-называемой золотой молодежи. Задира и дуэлянт, он был в 1818 г. за участие в известной дуэли Завадовского и Шереметьева переведен в армию на Кавказ, где вскоре прославился отчаянной храбростью, сделавшись даже героем воображения Пушкина. Обиженный каким-то невниманием начальства Якубович стал вращаться в протестующе-настроенных офицерских кругах и среди заговорщиков высказывался в смысле необходимости убить Николая Павловича. Осужден на 20-летнюю каторгу, умер в Енисейске в 1845 году.

В бумагах члена Следственной Комиссии по делу декабристов В. В. Левашева сохранилось следующее письмо к последнему отца декабриста от 30 марта 1826 года: «Хотя на просьбу мою о свидании с сыном я получил от начальника главного штаба отказ, хотя с чувствами исполнен горечи и покрытый в будущности бесславием еду в мое уединение оплакивать участь сына моего, но все сие не уменьшает чувства благодарности к особе Вашего превосходительства; приемлется вами участие в моей горести, навеки останется впечатлено в моем сердце

исполнен буду душевного о вас почтения и преданости пребываю... всепокорнейший слуга Иван Якубович». Стиль этого письма показывает, как недалеко ушел от отца в смысле литературного развития декабрист Якубович, учившийся в Московском университетском пансионе.

Что касается его покаянного настроения после 14 декабря 1825 года, то оно характеризуется некоторыми другими, бывшими уже в печати письмами А. И. Якубовича. Вот, что он писал отцу в июле 1826 г.: «Как откровенный солдат, обнаружу мою душу... Законы меня осудили; я погиб, погиб невозвратно... Позор ужаснее смерти. Я был не столько в душе преступник, сколько желал оным сделаться. Самолюбие подстрекало меня, и сей порок ужаснейший был причиной моей погибели... Я счастлив воспоминанием о вас и нелицеприятною справедливостью государя».

В принадлежавшем Якубовичу календаре на 1843 год (он хранится теперь в библиотеке Конгресса Сев.-Амер. Соед. Штатов в Вашингтоне) сохранилась следующая запись его под 14 декабря: «С. Назимово. Как перед богом, по совести говорю: после 19 лет лишения свободы, что в этот день 1825 года я был прав по чувству, но совершенно не знал черни и народа русского, который долго, очень долго должен быть в опеке правительства; его разврат, пороки, изуверие, невежество требуют сильной централизации правления, и одно самодержавие может управиться с этим Амоханом. Боже, прости меня! В полночь 14 декабря».

Любопытнее его обширное письмо к сестре от 20 июня 1841 года, где он не говорит ни о прелестях самодержавия, ни о справедливости государя, но рекомендует сестре выполнить «обязанности гражданки: дать своим детям истинное нравственное воспитание, образовать их быть полезными отечеству, убедить их, что не на пир им дана жизнь, но на труд, на борьбу. В городе (Иркутске) есть несколько умных добрых земляков... на беду все высокоблагородные, а я бездомный экс-дворянин, и потому придерживаюсь малороссийской поговорки: с панами не водись. Не удивляйся, душа моя, что наши паничи, превращаясь в панов, забывают хорошее приобретенное и снова грязнут в дедовских причудах, поверьях и спеси».

Сидя в каземате Петропавловской крепости, Якубович 28 декабря 1825 года написал Николаю Павловичу обширное письмо с изложением социальных нужд России, красноречиво отражающее всю программу декабристов, обличающее произвол правительственных чиновников, вред помещичьей власти над крестьянами и т. п.

Интересно описание примет Якубовича, сделанное по доставлении его на каторгу: «2 аршина 10 вершков. 29 лет. Лицом смугл, глаза карие большие, волосы на голове, бровях и бороде черные, бороду бреет, на лбе повыше правой брови имеет рану от пули с повреждением кости, на правой руке безымянный и мизинец не сгибаются, на правой руке ниже плеча имеет рану от пули на вылет в спину повыше лопатки, на левой ноге в пахе имеет рану от пули на вылет с повреждением кости; сухощав, плечист».

---

2. А. И. Якубович — Ф. И. Гавриленке.

(август 1826 года).

Милостивый государь почтенный Федор Игнатьевич.

Богу угодно, и я должен от родины с грустью в сердце, мраком в воображении, должен жить окруженный всеми ужасами наказанных преступлений; но бог, надежда на веру не попустит меня пасть духом, и я крест мой несу с терпением.

Федор Игнатьевич, Вы мне очень давно деласте более нежели одолжения и сердце мое умело всегда ценить Ваши добродетели и поступки в отношении ко мне.

Я писал батюшке чрез фельд'егеря Седова, прошу Вас сделать милость уведомить от себя, что я оставлен в окрестностях Иркутска, и если он будет писать ко мне или захочет помочь, то чтобы отнесся к губернатору Ивану Богдановичу Цейдлеру, или ест.ли найдет другое вернейшее средство, то и того лучше. — Сделайте милость — утешайте Вашим участием бедных моих родных и уверьте, что вера и добродетель будут всегдашним моим путеводителем во всех бедствиях какого бы рода они ни были.

Податель сего гвардейский жандарм Разумовский пекся обо мне и несчастных моих товарищах с доброхотством истинно честного и добродетельного человека; прошу Вас из оставшихся у Вас моих денег, или буде они усланы к батюшке, то на мой счет дать ему сто рублей. Вы этим истинно меня обяжете, и я приму сей новый знак Вашей дружбы, как истинное благодеяние, ибо я не в состоянии его благодарить.

Прощайте может быть навсегда, почтенейший Федор Игнатьевич, прошу напомнить об мне Вашему почтеннейшему семейству. Остаюсь по гроб Ваш покорнейший слуга.

Александр Якубович.

Унтер-шталмейстеру Гавриленке в большой Конюшенной в казенном доме.

Письмо того же декабриста на полулисте обычного писчего листа сложенного вдвое, с водяными знаками В. Ф.

Немедленно по прибытии декабристов на каторгу от них были отобраны сведения о семейном положении. Вот что сообщил о себе А. П. Якубович: «Ближайшие мои родственники следующие: отец мой живет в Полтавской губ., Роменского уезда, в собственном селе Липовом, имеет недвижимого имения в Полтавской и Черниговской губерниях 1200 душ, братья мои Петр и Иван живут с отцом. Сестра моя живет в Полтавской губ., Роменского уезда, в собственном имении Слободка, где имеет 500 душ. Дядя мой — отставной гвардии капитан, князь Иван Петрович Кейкуатов, живет в Черниговской губ., в селе Есачах, имеет 1800 душ. Двоюродный брат колл. ассесор Ал. Дим. Оболенский... всего имения имеет 5000 душ. Всех сих родственников дела, сколько мне известно было, в самом цветущем положении находятся».

---

3. Е. П. Оболенский — П. Н. Оболенскому.

26 августа 1826 года.

Дражайший родитель. За несколько верст от места нашего назначения несколько минут отдыха от длинной, скучной и горестной дороги позволяют мне писать к Вам, дражайший родитель. — Завтра мы будем в Иркутске, откуда неизвестно еще, куда будем отправлены. Вера, покорность истинная, сердечная

провидению и совершенная преданность святой[7] воле его — от чувствования, которые доселе подкрепляли меня во всех неизъяснимых горестях сердца. — После долгой борьбы сердце мое успокоилось, и я встречаю тяжелые удары судьбы довольно спокойно. Не могу вам сказать, что с нами будет: завтра судьба наша будет нам известна; и есть ли я получу позволение вам писать, то уведомлю вас о всем по первой почте.

Добрейший родитель мой, не грустите по мне: моя участь уже довольно тяжела. Мысль о той отраве горести, которую я пролил на несколько дней жизни вашей, еще более терзает мое сердце. — Ради бога, будьте спокойны и твердо уверены, что бог подкрепит меня. — Да подкрепит он вас, да продлит драгоценные дни ваши. Может быть мольбы наши тронут его. — Он проникнет мое сердце, он увидит, что несчастие исправило его, и может быть позволит мне вновь увидеть вас и посвятить дни моей жизни вам, милый, добрейший, дражайший родитель мой. — Вы одни связываете меня с жизнью. — Ради бога, вспомните, что я все потерял, и известите меня как можно скорее о вас. — Ваше письмо оживит меня новой жизнью и облегчит горе сердца.

Милый Папинька, бог невидимо послал мне неожиданно помощь в то время, когда я совершенно не имел в виду никакой надежды. Вообразите себе, что я выехал из Петербурга, не имея ни копейки денег. Из числа товарищей несчастия моего Артамон Захарович Муравьев, бывший командир Ахтырского гусарского полка, поделился со мной небольшим богатством, которое случай ему доставил, и дал мне взаймы 325 р. — Милый Папинька, в несчастии познаются истинные друзья. Его поступок тронул меня до глубины сердца. — Сделайте милость, отошлите [1]) сии деньги жене его, *Вере Алексеевне Муравьевой.* Адрес к ней вы узнаете от сестры ее Любовь Алексеевны Карловичевой, которая живет в доме Курманакеевой у Сухаревой башни. — Еще, милый Папинька, долг благодарности заставляет меня просить вас послать в подарок 500 р. добрейшему и честнейшему фельдъегерю Алексею Кузьмичу Седову, который проводил нас до Иркутска. — Его попечением, добротой и снисхождением я сохранил здоровье и жизнь [2]). Сделайте милость, добрейший родитель мой, исполните за меня сей священный долг; поручаю любви вашей сие желание сердца. — Сверх того, при мне был жандарм Разумовский, который особенно имел смотрение за мной. Вознаградите его, милый Папинька, за пятинедельные его труды и хлопоты пятьюдесятью рублями и перешлите их в Петербург через Тимошу [3]), которого он найдет

---

[1]) Отсюда до конца фразы сбоку отчеркнуто карандашом; подчеркнуто самим автором.

[2]) Отсюда до конца второй фразы отчеркнуто карандашом.

[3]) Слово подчеркнуто и сбоку отчеркнуто карандашом.

в Пажеском корпусе. Адрес фельд'егеря нашего следующий: е благородию Алексею Кузьмичу Седову, г. фельд'егерю, в фель егерский корпус.

При последнем моем свидании с братьями я узнал о них, милый Папинька, что вы сомневаетесь о моем долге Т моше. Я писал вам о сем долге в письме, которое должен бы вручить вам мой добрый Кудрявцев. Он действительно бы сделан мной в то время, когда я уже несколько месяцев н получал от вас денег для братьев и наконец сам нуждался.— Сделайте милость, не забудьте о сем долге, который я полага уплаченным, продайте моих коней и дрожек. Теперь остает мне просить у вас помощи денежной. Сделайте милость, п шлите мне, есть ли можно, 1000 р. В столь дальнем крае, сре людей незнакомых, которые будут замечать сначала каждый ш мой, денежное пособие для жизни необходимо. — Я доселе н знаю, через кого вы можете посылать деньги; но вы, милы Папинька, найдете способ переслать мне: надежда моя есть л бовь ваша.

Мои высшие начальники доселе мне известные суть: ген рал-губернатор Лавинский, губернатор дейст. статский советн Иван Богданович Цейдлер, председатель губернского правлен дейст. статский советник Горлов. — Есть ли вы можете посре ством знакомства вашего облегчить судьбу мою и обеспечи по крайней мере присылку ко мне ваших писем, то я был в самом большом несчастии моем спокоен. Дальнейшие подро ности я постараюсь вам сообщить из Иркутска.

Обнимаю вас, дражайший, добрейший родитель мой, слезами умоляю вас — любите меня так же горячо, как прежде. Ваша любовь есть одно неоцененное благо, котор у меня осталось в мире. Обнимаю сестер, братьев, Костю м лого; молю их слезно не забыть меня. Есть ли бог продл мою жизнь, я надеюсь доказать им вновь, сколь драгоценна д меня дружба их. — Напишите Ипатиньке обо мне. — В перв письме моем к вам я включу письмо к нему. Простите, мил добрый родитель мой. Слезы прерывают меня. — Простите благословите мальчишку вашего

Евгения Оболенского.

Письмо декабриста Е. П. Оболенского к отцу П. Н. Оболенском Подлинник на 4 страницах большого почтового формата, с золоты обрезом, с водяными знаками 1823 года. Карандашные отчеркива сбоку сделаны, повидимому, жандармским начальством.

Евг. Петр. Оболенский — один из виднейших руководителей Севе ного тайного общества и деятельнейший участник восстания 14 декабр во время которого смертельно ранил гр. Милорадовича, под'ехавше к восставшим войскам убеждать их покориться Николаю Павлович Приговорен к смертной казни, но сослан в каторгу вечно. Дожил амнистии 1856 г. и принимал деятельное участие в освобождении кр стьян от крепостной зависимости. Проникающая это письмо религио ность овладела Оболенским еще до революции 1825 года и отличала е всю последующую жизнь. О своем семейном положении Оболенск

немедленно по прибытии на каторгу сообщил местным властям следующее: «Отец мой, отставной действ. ст. сов. и кавалер П. Н. Оболенский, сколько мне известно, имеет около 1500 душ в разных губерниях; собственно мне принадлежащего имения я не имел...» В списке примет, составленном тогда же об Е. П. Оболенском, читаем: «29 лет. 2 арш. 7½ верш., лицом бел, волосы на голове, бороде и бровях светлорусые, на левой щеке имеет бородавку, на правой ноге на берцовой кости знак прежде бывшей раны; говорит шепелявит, корпусу среднего».

---

4. Е. П. Оболенский — К. П. Оболенскому.

26 августа 1826 года.

Милый друг. Несколько строк могу только тебе сказать. Я в Иркутске буду завтра и там узнаю последнее свое назначение, о котором тебя известят братья, если я сам не успею.— О, милый друг: я до последней капли испиваю чашу горести земной. Но слава богу, слава вере, я доселе тверд и невидимо покровительствуем творцом.

Не могу тебе рассказать всего, что во мне происходило, когда я узнал, что ты уехал и я лишился надежды видеть и обнять тебя. — О добрый, милый друг и брат. — Я был виновником нескольких горестных дней, тобой проведенных, и, признаться, не имел минуты спокойствия, доколе я не узнал, что твоя судьба облегчена в сравнении с другими. Всевышний не хотел поразить меня бременем свыше сил моих. — Слава богу, ты сохранен для отца и для семьи. — Исполни, милый друг, сей священный долг, на тебя возложенный, и сохрани себя во всех отношениях.

Ты через братьев постарайся переслать мне письма твои. Ты чувствуешь, сколь они будут мне драгоценны. Добрый друг наш Сущов исполнил все то, что дружба его могла выдумать, дабы мне помочь при отправлении моем на курьерских в Иркутск. Искренне и душевно благодарен я ему. — Теперь прости, любезный милый друг, обнимаю тебя: может быть долго я не увижусь с тобой. Но всевышний милосерд, я не теряю надежды. — Прости, о милый, бесценный друг, прости: тебя прижимает к любящему сердцу брат и друг

Евгений Оболенский.

(На обороте): другу и брату Косте.

Письмо того же декабриста брату К. П. Оболенскому, на полулисте такой же бумаги, как и предыдущее письмо, с водяными знаками «У. Ф. К. П. К.». Конст. Петр. Оболенский был принят братом в тайное общество с самого основания его, но стоял далеко от заговора, почему наказание его ограничилось переводом из гвардии в армию и увольнением со службы.

---

5. В. Л. Давыдов — П. Л. Давыдову и А. И. Давыдовой.

26 августа 1826 года.

Любезный друг и брат — пишу к вам в 50 верстах от Иркутска. Не нужно мне говорить, что я чувствую, и описывать вам всю скорбь души моей; несчастие мое беспредельно, что еще будет со мной по прибытии в Иркутск, мне неизвестно. Бог и надежда еще видеть все, что так мило моему сердцу, по сию пору меня поддерживали и дружба ваша в ужасном расстоянии, нас разделяющем, подкрепляет меня, ибо я уверен, что все то, что можно еще для меня сделать на этом свете, вы, *друг и брат,* сделаете. — *Вера Алексеевна Муравьева, урожденная Горлинова* [1]), скажет вам, каким образом можно ко мне переслать письма от несчастного семейства моего и деньги, она же скажет вам, как и когда поедут — она, Нарышкина, Муравьева, урожденная Чернышева, и прочие жены несчастных, которые все следуют за мужьями своими. Она столь добра, что охотно вам даст все нужные сведения для сообщений наших, столь необходимых в безотрадном положении моем; мне простираться здесь насчет положения моего нельзя — скажу вам слова два: о нуждах моих — ни платья, ни сапог, ни гроша не имею — ежели бы можно хоть тысяч пять наискорее прислать мне — это бы вывело меня из ужасной нужды.

Что касается до от'езда жены моей, то сообразуйтесь с тем, что сделают другие дамы, решившиеся разделить судьбу несчастных, но ради бога употребите все старания, дабы столь долгий путь не был в тягость — надобно людей *несколько* человек и покойный надежный экипаж *да денег больше* [2]); впрочем дороги здесь лучше, чем в России, а в лошадях недостатка быть не может — так же и в припасах — нужен повар и посуда.

Я надеюсь, что позволят писать из Иркутска, тогда я подробнее все вам из'ясню. Здоровье мое не в блистательном положении, но не болен — бог милосердный хранит еще меня. — Г-н Седов, фельд'егерь, который вез нас, все то делал для меня, что возможно ему было, *не нарушая строго долга службы;* обхождением своим, попечением и деликатным вниманием о здоровье моем он, могу сказать, сохранил жизнь мне, и потому прошу все мое семейство, всех истинных друзей моих не забыть его. Я же желаю, чтобы жена моя немедля ни мало послала ему тысячу пятьсот рублей по прилагаемому адресу, означив, что они присланы от такой-то особы в знак благодарности. Ради Бога, известия от жены моей и от всех братьев. — Прощайте, друг и брат любезнейший.

---

[1]) Все подчеркнуто автором.

[2]) Подчеркнуто карандашом, повидимому, жандармским начальством.

Адрес. Его благ. Александру Кузьмичу Седову. Г-ну фельд'егерю. В фельд'егерском корпусе в С.-Петербурге.

Сказавши, сколько я на дружбу вашу надеюсь, я даю меру и моих чувств к вам—я бы все то сделал для вас, что вы для (пропущено — меня) сделаете.—Прощайте же еще раз, обнимаю вас мысленно со слезами и чувством беспредельной привязанности. Напомните обо мне братьям.

В. Давыдов.

К жене.

Друг бесценный, — ангел мой. Я не могу к тебе писать большого письма, что скажу в нем, чтобы утешить тебя? Из'явление всякого чувства моего растерзает сердце твое.—Шесть тысяч верст меня разделяют с тобой и детьми — прибавлять ничего не нужно — ты меня знаешь. Одно меня поддерживает, одно еще дает мне несколько жизни — надежда тебя увидеть. Когда она у меня отнимется, тогда все кончено для меня. Бог милосерден. Я со слезами его молю за вас и за себя, неужели не сжалится над столь великим несчастьем, каково мое? Саша моя, дети милые; и здесь живу для вас только одних, как в счастливое минувшее время — все несчастья для меня ничего, все мучения ничтожны в сравнении с ужасной разлукой нашей: но повторяю — бог милосерд, и ты, милый друг, моли его за меня с детьми нашими — он услышит вас.

Вера Алексеевна Муравьева едет тоже к мужу, если можно будет тебе ехать вместе, это бы меня много успокоило — она так добра. Брат все узнает и все распорядит.

Прощай, сокровище мое, прощай, друг бесценный, прощайте, дети обожаемые. — Всех вас целую, обнимаю с чувством неиз'яснимым. — Если вы меня увидите, найдете во мне иного человека, ужасным несчастьем исправленного по милости божией; но любовь моя к вам все та же, ей ни уменьшиться, ни прибавиться невозможно — пока жив буду, то чувства мои не изменятся. Прощай, ангел милый, да благословит вас господь бог, да сжалится он над нами. — Целую твои ручки, Саша моя.

В. Давыдов.

Братьев Н. Н. и А. Л. от всей души целую. — Скажи им, чтоб не забывали несчастного брата, всем в Каменке кланяюсь. Ульяну Матвеевичу мое сердечное почтение и Ел. Ив. и Агр. Ив. тоже.

Брату Петру.

Узнать о г-же Муравьевой — у Сухаревой башни, в доме Курманкеевой, от Любови Алексеевны Карновичевой.

Письмо декабриста Вас. Льв. Давыдова брату и жене. Старый член тайных обществ, Давыдов был впоследствии одним из главарей Южного общества и высказывался за цареубийство, за что сослан в ка-

торгу на 20 лет. Он был единоутробный брат знаменитого героя отечественной войны Н. Н. Раевского. Мать его, одна из многочисленных племянниц Потемкина, получила в наследство огромное состояние, проживавшееся в веселых пирах, устраивавшихся в прославленной Каменке, которую посещал Пушкин. Герой Кульма, Давыдов последние годы провел в этой Каменке, куда часто съезжались заговорщики. В посвященном Давыдову стихотворении 1821 года Пушкин писал:

«А все невольно вспоминаю, Давыдов, о твоем вине, вот евхаристия другая, когда и ты, и милой брат, перед камином надевая демократический халат, спасенья чашу наполняли бесценной мерзлою струей и за здоровье *тех* (революционеров) и *той* (свободы) до дна, до капли выпивали. Ужель надежды луч исчез? Но нет! Мы счастьем насладимся, кровавой чаши причастимся».

Давыдов умер в 1855 году в Красноярске. Жена его, происходившая из бедной разночинной семьи, Александра Ивановна, последовала за мужем в Сибирь. Письмо адресовано брату Петру, крупному бюрократу, сахарозаводчику, главе семьи. Очень ценно здесь указание на то, что собиралась ехать в Сибирь и жена Артамона Муравьева. Попытка не удалась, а в литературе об этом не упоминалось. Любопытно указание на необходимость для жены взять с собой несколько человек прислуги и повара. Братья — Н. Н. Раевский и А. Л. Давыдов, женатый на обворожительной красавице Аглае, воспетой Пушкиным. Письмо на 4-х страницах большого почтового формата, с водяными знаками «1823» с золотым обрезом.

В описании примет Давыдова, сделанном по прибытии его на каторгу, читаем: «34 лет, 2 арш. 5 3/4 вершков, лицом чист, глаза светло-русые, нос большой; волосы на голове черные, на бороде темно-русые; имеет усы, на обеих ногах имеет раны от штыков, повыше левой груди имеет рану от пики, на правой руке на большом и между указательным и средним пальцами имеет два шрама от сабли; собою выркист».

---

6. В. Л. Давыдов — Н. А. Самойлову.

27 августа (1826).

Прошу брата графа Николая Александровича Самойлова сделать мне дружбу, дать за меня жандарму Разумовскому, подателю сего, сто рублей за его труды и попечение обо мне и пятьдесят другому жандарму Гуперу — брат П. Л. за меня сии деньги заплатит, — а я останусь ему на век благодарен.

Василий Давыдов.

Письмо к двоюродному брату, бывшему одно время членом тайных обществ, но не участвовавшему в заговоре и потому отделавшемуся от суда без наказания, Н. А. Самойлову.

---

7. А. З. Муравьев — В. А. Муравьевой и Е. З. Канкриной.

Иркутск, 28 августа (1826).

Да сохранит тебя господь милосердный боже, ангела моего божественного, с детьми нашими в таком же здоровье, как он меня посреди всего сохранил. Я доехал здоров и надеюсь быть здоровым, и лишь бы я только знал, что гореть тебя не уби-

вает, то готов и найду довольно сил, чтоб нести крест мой с покорностью и возможною твердостью. Назначение наше сделано — я отправляюсь за 60 верст отсюда *в Николаевский винокуренный* [1]) завод, и потому есть ли тебе возможно будет и есть ли сие тебе не воспретится, то извести о своем и детей наших здоровье. — Кляпусь всем для меня священным, что есть ли я буду успокоен на сей счет, то все для меня спосно будет. — Мысль всего, что переносишь, к тому же слабое твое здоровье и следствия, от сего произойти могущие, одни приносят мне грусть нестерпимую.

Веринька, могу ли я когда загладить перед тобою и маменькою все то, что вы от меня терпите? Но вернуть невозможно; в раскаянии же моем сомневаться не можно, ибо после того имя злодея было бы для меня приличнейшим.

Препроводивший нас Алексей Кузьмич Седов берет на себя испросить позволение доставить к тебе строки сии. Дражайшую матушку обнимаю, прося ее благословения, детей благословляю, жизнью бы купил счастье обнять их, прижать к истерзанному моему сердцу, про тебя же что мне сказать, слов не нахожу. Ангел мой, с тобой вкушал блаженство небесное, ты жизнь мою соделывала сладостнейшею, а я, друг, умоляю тебя, сохрани себя детям, не сделай меня виновником их сиротства. Что ты меня не забудешь, я уверен, а потому и не забывай моих просьб. Прощай Веринька.

Напиши от меня брату и отцу. Скажи им, что любовь моя к ним беспредельна. У батюшки испроси мне благословения. — Еще раз прощай, ангел мой, друг души моей, божественная Вера. Детей обнимай ежедневно за меня, прижимая их к сердцу моему.

Милый друг и благодетельница сестра моя, прочти письмо мое к жене; право, в чувствах моих к вам различия большого не питаю — более писать сил нет от слез и горя; оно пройдет, но всегда, когда про вас вспоминаю, мне очень тяжело. Ноги твои лобызаю — береги Веру и доставь к ей сие письмо. — Дражайшему и почтеннейшему Егору Францевичу скажи от меня все то, что сердце мое к ему чувствует: ты верно его знаешь хорошо. Ангелов твоих за меня облобызай. Прощай, Катенька. друг, мать и сестра моя, тяжело, но покоряюсь промыслу всевышнего.

Брат Твой *Артемон.*

(На обороте) Катерине Захарьевне Канкрин.

Письмо декабриста Арт. Зах. Муравьева к жене В. А. и сестре Е. З. Канкриной, жене знаменитого министра финансов. Муравьев был член Южного общества. Человек веселой жизни, любитель хорошего стола и товарищеской компании, Муравьев попал в заговорщики в значительной степени благодаря своему родству и, как натура увлекающаяся,

[1]) Два слова подчеркнуты и отчеркнуты сбоку карандашом.

говорил на собраниях о своей готовности убить Александра Павловича. За это он был сослан в каторгу вечно. Жена хотела последовать за ним, но не сумела этого сделать. В Сибири Муравьев занялся практической медициной (он в Париже одно время посещал лекции и практические занятия на медицинском факультете), много помогал нуждающимся и пользовался большой любовью местного населения. Умер в 1846 году. Сестра его, графиня Е. З. Канкрина, несмотря на официальное положение мужа, не скрывала своей нежной любви к брату под маской светской холодности и резко боролась с жандармским ведомством за свободу сношений с ним. От разлуки с детьми Муравьев сильно страдал и выписал к себе в Сибирь их мраморные бюсты. Один из этих бюстов был замурован в его надгробном памятнике, где был найден в конце 1924 года. Письмо на 3 страницах большого почтового формата с золотым обрезом, с водяными знаками «1823».

В списке особых примет А. З. Муравьева сказано: «33 лет, лицом бел; полное лицо; глаза карие; нос средний, острый, волосы на голове черные с сединами, на бороде темнорусые; бороду и усы брест; корпусом дороден; имеет небольшую рану на левой ноге ниже бедра; на правой руке проколото Vera, что означает имя его жены».

---

8. С. Г. Волконский — С. Г. Волконской.

28 августа 1826 года.

Пишу тебе это в ста верстах от Иркутска; ты не получала прежде моих писем потому, что я не мог добиться разрешения писать. Однако, я пытался устно сообщить тебе о себе и надеюсь — тебя известили, что я жив и чувствую себя хорошо: только в этом и заключается то, что я просил передать тебе. Это письмо вручит тебе мой провожатый г. Куст. Я пишу тебе перед прибытием, опасаясь, что по приезде в Иркутск встречу препятствия и не сумею этого сделать. Тебе будет очень тяжело узнать о его возвращении и не иметь от меня нескольких строк. Я очень признателен г. Кусту за заботы, которые он проявлял в отношении меня во время моего путешествия, и за снисходительность, с которой он берет это письмо.

Вопреки моему слабому здоровью я перенес утомительный переезд сверх всякого ожидания. Я чувствую себя гораздо лучше, чем при от'езде из Петербурга, и благодарю бога за возможность успокоить все ваши опасения относительно моего здоровья и моего путешествия.

Какова будет моя дальнейшая судьба после прибытия в Иркутск, мне неизвестно: имел бы я только возможность получать достаточно часто известия от Вас и сообщать Вам о себе так часто, как это будет мне позволено. Я покорно и бодро буду сносить тогда все, что случится тяжелого в моем будущем положении. Если я не напишу тебе второе письмо с г. Кустом, то это будет доказательством, что я встретил препятствие со стороны местных властей, и в таком случае ему придется устроить в Петербурге, как и через кого я могу писать Вам и получать

Ваши письма. Дорогой друг, добейся этой милости, ибо только она может дать Вам в нашей разлуке утешение, которое необходимо и для моего спокойствия.

Ты можешь себе представить, как терзалось мое сердце от того, что я не получал до сих пор известий от моей обожаемой Марии. Неопределенность, в которой мы оба находимся относительно всего, происшедшего с нами, очень тягостна. Да даруст ей господь силы перенести ее несчастье и да буду я достоин того, чтобы его милосердие дало мне утешение в моих огромных страданиях.

Что касается Марии, то я не сомневаюсь, что она больше не думает о моих прегрешениях перед ней и перед моим ребенком и что ее сердце принадлежит исключительно мне.

Прилагаю к этому письму несколько строк для бедной мамы и для Марии: передай их им и сообщи им содержание того, что может их интересовать в моих письмах к тебе. Сделай то же для Репниных, Зинаиды и Никиты. Скажи им, что я обнимаю очень нежно их, а также мою прекрасную и любимую Алину.

Дорогой друг, не падай духом по поводу того, что уже постигло меня и что может случиться со мной. Господь подвергает нас превратностям судьбы и испытаниям, но если мы оказываемся достойными, то он в своей справедливости дает нам радость утешения, какую только он может доставить. Повторяю тебе мое обещание перенести все с покорностью и возлагаю надежду на милосердие божие. Ради бога, поступай так же и знай, что твоя жизнь необходима твоим детям и мне.

Надеюсь иметь известия от тебя в Иркутске, а также через Трубецкую, которая, как мы знаем, находится в 100 верстах от нас. У меня нет к моему товарищу в беде зависти к его счастью знать, что его жена так близко к нему, но я понимаю, насколько придает душевных сил сознание, что не разлучен с самым дорогим на свете. Не сомневаюсь, что моя обожаемая Мария готова доставить мне утешение и приехать соединиться со мной, но если другие обязанности требуют, чтобы я был лишен счастья видеть ее так скоро, то я должен покорно подчиниться этому. Уверен, что Мария, только уступая крайней необходимости, лишит меня счастья видеть ее.

В оставленной мной записке о долгах я забыл отметить заемное письмо купцу Ш. [1]); выясни это и сообщи опеке.

Мои дорожные расходы были очень ограничены, так что, дорогой друг, для начала я не нуждаюсь в деньгах после того, что ты мне дала при отъезде. В будущем устрой эту сторону с моей матерью и моим братом. Пока я буду один, я буду нуждаться только в самом необходимом. Когда Мария приедет ко мне, я буду просить мою мать, моего брата и всех вас позаботиться о том, чтобы она не имела нужды.

[1]) Фамилия не разобрана.

Кончая свое письмо, я поручаю твоим заботам г. Куста, который делал все возможное для облегчения нашего положения без нарушения своего долга. С своей стороны рекомендую твоему великодушию конвойных жандармов.

Прощай, вернее — до свидания, так как я не сомневаюсь, что ты дашь мне это утешение, как только твои обязанности матери позволят тебе это сделать. Да хранит бог тебя и всех твоих. Заботься о бедной матушке, о моем ангеле — жене и о моем бедном сыне. Прощай.

Сергей.

Письмо декабриста С. Г. Волконского сестре С. Г., жене министра двора. Подлинник по-французски, на 4-х страницах большого почтового формата с серебряным обрезом. Репнины — князь Н. Г. Репнин и его семья. Ген.-ад'ютант Ник. Гр. Репнин, старший родной брат Волконского, получил эту фамилию в 1801 году в память об отце его матери, фельдмаршале Н. В. Репнине, не оставившем мужского потомства. Алина — дочь С. Г. Волконской. Ек. Ив. Трубецкая — жена декабриста С. Г. Трубецкого. О ней ниже — в письме ее к матери. М. Н. Волконская прибыла к мужу в Благодатский рудник 11 февраля 1827 года, одновременно с Е. П. Трубецкой, которую она нагнала в Иркутске, выехав из Москвы 27-го декабря 1826 г. Трубецкую власти в Иркутске задержали надолго, стараясь в угоду Николаю Павловичу отговорить ее от дальнейшей поездки. С. Г. Волконский — один из главных участников Южного тайного общества и единственный из действенных заговорщиков в чине генерал-майора в в должности начальника дивизии, стоявший в центре подготовлявшегося восстания до самого ареста. Представитель одной из самых родовитых русских фамилий, брат жены начальника и основателя генерального штаба и ближайшего друга императора Александра I, князя П. М. Волконского, лично известный государю, высокообразованный и отменно храбрый воин, кн. С. Г. Волконский в 24 года был генерал-майором и успешно подвигался по военно-административной лестнице. Участник 58 сражений в эпоху наполеоновских войн, превосходный службист, С. Г. Волконский мог занять важнейшие должности на верхах армии, но, путешествуя по Европе, проникся освободительными идеями и примкнул к основанным в России после отечественной войны тайным обществам. Император смотрел на это очень косо, и только исключительно высокое положение семьи Волконского в правящих кругах избавило его от вынужденной отставки или худших неприятностей. Но карьере его был положен предел: Волконского только терпели на службе. За год — полтора до восстания, через своего друга и товарища по тайному обществу генерал-майора М. Ф. Орлова, он познакомился с семьей тестя последнего, знаменитого генерала Н. Н. Раевского, и в начале 1825 года женился на 18-летней дочери его Марии, воспетой Пушкиным в «Евгении Онегине». Первенца-сына Волконская родила, когда муж был уже арестантом и, преодолев упорное препятствие семьи, отправилась одной из первых жен декабристов за сосланным в каторгу мужем. В Сибири она пробыла 30 лет и умерла в России в 1863 году. По прибытии в Сибирь Волконский дал такие сведения о своем имущественном положении: «Имел я родового имения в Нижегородской губ. 1500 душ и Ярославской губ. от 500 до 600 душ, благоприобретенного в Таврической губ. 10.000 десятин земли, от 75 до 100 душ, благоприобретенный в Одессе каменный двухэтажный дом и близ сего города дачу». В списке примет С. Г. читаем: «38 лет, 2 аршина $8^1/_4$ вершков; лицом чист; глаза серые; лицо и нос продолговатые; волосы на голове и бровях темнорусые; на бороде светлые; имеет усы; корпуса среднего; на правой ноге, на бедре, имеет рану от пули; зубы носит накладные при одном натуральном переднем верхнем зубе».

9. С. Г. Волконский — М. Н. Волконской.

28 августа 1826 года.

Дорогая и обожаемая Мария. Пишу тебе эти строки на случай, если не сумею этого сделать по прибытии в Иркутск, где я буду сегодня вечером. Благость всевышнего дала мне сил бодро перенести все несчастье моего положения. Я перенес утомительный путь сверх всякого ожидания и чувствую себя лучше, чем при отъезде из Петербурга.

Не знаю, куда меня назначат после Иркутска, надеюсь по прибытии узнать это положительно. Будущее мое далеко не утешительно для вас и для меня, но будь уверена, я перенесу все с покорностью, только бы я был спокоен за тебя. Мне очень тяжело не иметь до сих пор от тебя известий, и я надеюсь скоро иметь их от тебя и от Софии. Они меня успокоят на твой счет.

Принимая решение, не считайся только со своей нежностью ко мне, но и с твоими обязанностями к твоему сыну и к твоим родителям. Не скрою от тебя, что сердцем я сильно желаю, чтобы ты приехала как можно скорее, но, советуясь с разумом, я не скрываю от себя трудностей, предстоящих тебе при выполнении этого. Тебе надо хорошо подумать прежде, чем решиться, и наш долг предоставить это решение твоим родителям, а не нашему чувству, которое слишком пристрастно в столь важном деле.

Дорогой друг, мне хочется сильно не то что оправдаться перед тобой, но по крайней мере показать тебе, как сознание своей вины уменьшает ее. Что касается тебя, то я уверен, что ты уже простила мне мою вину перед тобой и перед нашим сыном.

Поцелуй нашего бедного ребенка и ради него переноси наше несчастье с покорностью и упованием на милосердие всевышнего.

Ради бога, пиши мне о себе аккуратно, повергни меня к ногам твоих родителей; тысяча приветствий всем твоим. Надеюсь иметь возможность писать тебе подробнее из Иркутска. Теперь я это делаю так поспешно, что надеюсь — ты простишь мне каракули и несвязность моего письма. Господь да будет с тобою, с нашим сыном и со всем, что тебе дорого. Прощай или до свидания, мой ангел. Твой друг до гроба.

Сергей.

(На обороте). Ее сиятельству, княгине Марье Николаевне Волконской. Прошу о доставке княгиню С. Г. Волконскую.

Письмо жене по-французски, на 3-х страницах такой же бумаги, как и предыдущее письмо. По отзывам местных властей, С. Г. Волконский первое время по прибытии в Сибирь был часто болен грудью. В письме к сестре из крепости после приговора Волконский писал: «Меня уведомили по секрету, что нас отправят на телегах... Не знаю.

как я перенесу это путешествие при своем слабом здоровье, если нас повезут быстро. Даже переход пешком я перенес бы легче при теперешнем состоянии моего здоровья. Уже некоторые из жен просили и получили разрешение следовать за своими мужьями к месту их назначения о котором они будут предуведомлены. Выпадет ли мне это счастье и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении? Получу ли я от своей жены утешение, в котором другие уже уверены? Я понимаю какой долг лежит на ней по отношению к сыну и, конечно, я не решился бы разлучать ее навсегда с этим несчастным ребенком».

---

10. С. Г. Волконский — А. Н. Волконской.

28 августа 1826 года.

Не зная, получу ли я от местной власти в Иркутске разрешение писать вам, я просил моего фельд'егеря г. Куста взять эти строки, чтобы успокоить вас, дражайшая матушка, относительно моего здоровья. Физически я чувствую себя хорошо; что касается моего нравственного состояния, то господь дает мне сил перенести мое несчастье. Ради бога, не увеличивайте горе которое я вам причиняю, прибавляя к нему беспокойство обо мне и о моем положении. Ваши молитвы и [1]) *мое чистосердечное раскаяние* перед богом добудут мне прощение и милосердие.

Пишите мне о себе, это необходимо для моего спокойствия, и берегите жизнь, столь драгоценную для нас всех. Дорогая маменька, не усиливайте мое несчастье упреками, которые делает мне моя совесть при мысли о возможности потерять вас навсегда. Пишу вам так торопливо, что от волнения не могу передать вам всего, что чувствую. Сын ваш очень несчастен но он переносит всю безмерность своего несчастья, оплакивает свои заблуждения и горе, которое он вам причиняет, и ждет от милосердия господа и ваших благословений [2]) спокойствия своей душе в этой жизни и в нашем будущем существовании.

Я надеюсь получить возможность писать вам из Иркутска надеюсь узнать там точно место моего назначения. Осыпаю ваши руки поцелуями и вверяю вам мою жену и моего сына Прощайте, добрая маменька, до моего первого письма.

Сергей.

Тысяча приветствий всем моим, находящимся возле вас.

(На обороте). Ее сиятельству, милостивой государыне княгине Александре Николаевне Волконской.

Письмо к матери — по-французски на полулисте такой же бумаги как и предыдущие письма. Княгиня А. Н. Волконская была первой статс-дамой двора Николая Павловича и в самый момент отправления ее сына на каторгу ездила в Москву на коронацию. Все время содержания С. Г. Волконского в крепости и на каторге она должна была жить во

---

[1]) Три слова подчеркнуты карандашом, повидимому, начальством, задержавшим письма.

[2]) От начала фразы до этого слова отчеркнуто сбоку карандашом.

двоще и почти ежедневно обедать за одним столом с императором и его семьей. Много лет еще прожила она в семье Николая Павловича, как постоянный укор ему за разбитую жизнь сына, ничем однако не выказывая государю признаков каких-либо страданий. В завещании она просила царя выпустить ее сына из Сибири, но Николай Павлович не счел нужным выполнить ее посмертную волю. К уехавшей в Сибирь молоденькой невестке своей А. Н. Волконская отнеслась очень сухо, даже денег не дала ей в достаточном количестве на дорогу или для облегчения положения мужа на каторге.

---

11. С. Г. Волконский — С. Г. Волконской.

Иркутск, 30 августа 1826 года.

Дорогая София, нежно любимая сестра. Вот еще несколько строк с возвращающимися моими конвоирами. Ты сообщишь это нашей дорогой матушке, моей бедной жене и нашим. Извещаю вас, что я назначен рабочим на Николаевский винокуренный завод, в 60 верстах от Иркутска.

Я уже сказал тебе при моем отъезде и повторяю теперь, что я не позволю себе падать духом по поводу моего печального будущего. Мои физические силы должны быть и будут в зависимости от начальства, что касается моего душевного состояния, моих религиозных чувств и моего желания доставить утешение в страданиях, которые я вам причинил, то они дадут мне покорность, которая укрепит мое и ваше спокойствие. Бодрись, мой дорогой друг и покровитель, и надейся на небесное милосердие.

По сведениям, которые я сумел получить, без специального разрешения из Петербурга мне нельзя будет вам писать; итак, добивайтесь этой милости, так как ведь вы хотите сами иметь и доставить мне утешение. Повергаюсь к ногам моей матушки и прижимаю к сердцу жену мою и моего сына; люблю вас всех очень нежно. Господь да будет со всеми вами и да поможет он мне.

С большим нетерпением жду от вас известий, мое сердце сильно страдает оттого, что я не имею их от моей обожаемой и несчастной Марии. Заботься о ней, дорогой друг, и люби моего сына, как я люблю Алину. Будь уверена, что твой бедный брат любит тебя от всего сердца и от всей души.

Сергей.

(На обороте). Ее сиятельству, княгине Софии Григорьевне Волконской в С.-Петербурге.

Письмо сестре Софье Григорьевне — по-французски на полулистке той же бумаги, что и предыдущее.

Только 30 августа С. Г. Волконский мог сообщить сестре, что его отправляют на Николаевский винокуренный завод, но еще 28 августа начальник Нерчинских каторжных заводов Т. Бурнашов писал своему подчиненному, управляющему Нерчинскими рудниками Черниговцеву, что отправленных в Нерчинские заводы «преступников С. Трубецкого,

Е. Оболенского, С. Волконского и других велено употреблять в работы и поступать с ними во всех отношениях по установленному для каторжных положению. Все сии преступники для ближайшего за ними надзора будут отправлены на Благодатский рудник». Предписывалось «смотреть строго, чтобы они вели себя скромно, были послушны поставленным над ними надзирателям и не отклонялись бы от работ под предлогом болезней». Через несколько дней Бурнашов дополнительно писал Черниговцеву, что государственных преступников надо поместить в Благодатском руднике, «употребляя их соразмерно силам в работы». В Благодатский рудник Волконский с товарищами был доставлен 25 октября. Все они работали в подземных шахтах, закованные в кандалы, спускаясь в них в пять часов утра и оставаясь до 11 дня. Норма выработки руды полагалась в 3 пуда на каждого. О пребывании Волконского в Николаевском заводе и об отправлении его оттуда см. ниже письмо его к сестре от 5 октября 1826 года.

---

12. Е. И. Трубецкая — А. Г. Лаваль.

Красноярск, 9 сентября (1826 г).

Вот я в Красноярске, дорогая и добрая мама, в 700 верстах от Иркутска; здесь я снова нашла силы и бодрость, которые начала было терять во время продолжительного и хлопотливого путешествия. Вынужденная задержаться здесь на несколько часов, чтобы починить колесо, я устроилась у Александра Голицына: все его домашние уже давно ждали меня, и я чувствовала себя, как в своем доме, окруженная заботами и предупредительностью.

Представь себе, дорогая мама, что я испытала, когда узнала, что Сергей помещен [1]) в Николаевском заводе [2]) в 60 верстах от Иркутска, вместо того, чтобы быть в Нерчинске, который находится в 1500 верстах. Утомленная, измученная, я полагала, что должна сделать еще 2500 верст; ветры Байкала внушали мне опасения продолжительной задержки на море; едва лишь я смела надеяться к концу месяца видеть Сергея, и вдруг я узнаю, что я не больше как в 900 верстах от него, что я могу обнять его через пять или шесть дней. Надо было перенести то, что я перенесла, чтобы понять радость, доставленную мне этим известием. В течение трех часов, что я здесь, два фельд'егеря уже пришли повидать меня, чтобы сообщить мне об этом. Они уже видели его в Иркутске. Они сказали мне, что не могут притти в себя от гуманности, предупредительности и [3]) интереса, проявленного местной властью к нашим бедным страдальцам.

Их разместили по различным водочным заводам в окрестностях Иркутска: Волконский, мой муж и оба Борисовы — вместе, Оболенский и Якубович — вместе, Муравьев и Давыдов —

---

[1]) Три слова отчеркнуты карандашом сбоку.
[2]) Слова «в Николаевском заводе» написаны по-русски.
[3]) Отсюда до конца фразы отчеркнуто сбоку карандашом.

13. С. Г. Волконский — С. Г. Волконской.

Николаевск, 5 октября 1826 г.

Добрейшая сестра! В момент, когда я меньше всего этого ждал, пришли за мной и поспешно отправляют из Николаевска. Я не знаю, куда меня везут, вероятно в Нерчинск. Ради бога, дорогой друг, переноси этот новый удар судьбы с христианской покорностью, подумай о том, что ты мне обещала, подумай о твоих детях. Я бодро подчиняюсь моей роковой судьбе и возлагаю надежду на милосердие господа. В благости своей он меня поддерживал до сих пор, надеюсь, что я своей покорностью заслужу продолжение его божественного покровительства. Ради бога, не беспокойся обо мне; мы будем в сердце каждый день возносить ревностные молитвы друг за друга. Пусть господь поддержит мою бедную мать и мою обожаемую жену. Я страдаю, но это от горя, которое я им причиняю. Ради бога, София, заботься о них, пиши мне о них, а также о моем сыне.

Пишу эти строки с такой поспешностью, в таком волнении и в хлопотах внезапного от'езда, что больше ничего не могу тебе сказать. Ты можешь себе представить, что я переживаю за вас всех. Пусть господь поддержит вас и будет мне в помощь.

Я приготовил черновик письма для моей жены; так как письма, столь доступные посторонним, как мои, должны быть хорошо обдуманы и так как я не имею возможности переписать его, то посылаю тебе черновик для передачи ей. Скажи ей, чтобы она бодрилась и берегла себя для меня и для моего сына. В виду того, что ее портрет прибыл в Иркутск, я надеюсь получить его, и если удостоюсь этого счастья, то я с ним не расстанусь.

Еще раз: пусть господь поддержит вас, пусть он хранит вас и будет мне в помощь. Целую руки моей матушки, прижимаю к сердцу ангела моего Марию, моего дорогого Николиньку и обнимаю мою глубоко любимую Алину. Привет Репниным и Зинаиде. Да будет на вас и на мне благословение господне. До свидания, до свидания. Господь даст нам его в этом мире или в другом.

Твой брат *Сергей*.

Письмо С. Г. Волконского — французское — сестре. См. примечание к одиннадцатому письму. О Репниных говорилось выше. Зинаида, жена брата декабриста, Никиты Григ. Волконского, известная поэтесса З. А. Волконская, рожденная Белосельская-Белозерская.

К этому же времени относится переписка между сибирскими властями и жандармским ведомством по поводу посылки С. Г. Волконской в Иркутск своего вольноотпущенного Г. Павлова, в котором местная власть видела специального агента семьи декабриста для сношений с последним помимо надзора со стороны правительства. В виду этого генерал-губернатор выслал Павлова обратно в Россию.

На другой день после отправления С. Г. Волконским этого письма к сестре, иркутский губернатор И. Б. Цейдлер писал ей же: «Родственная

любовь и дружбу, которую вы оказываете с нежной заботливостью об участи брата вашего, обязывают меня известить вашего сиятельства, что место пребывания его переменено по обстоятельствам и что он будет находиться за Байкалом, куда отправился в состоянии здоровия лучшем. Где находиться будет, вы изволите быть извещены. Перемена сия не отяготит более его состояние, а только будет отдаленнее... Портрет М. Н. (Волконской, жены декабриста; об этом портрете говорится и в настоящем письме. С. Г.) будет отправлен к нему, также трубки и табак. Услышав, что высокопочтеннейшая матушка ваша имеет намерение выехать сюда (намерение это не осуществилось), умоляю вашего сиятельства их от таковой трудной поездки отклонить: не только, что трудность дороги, но и опасность в пути от людей безправственных... Пребывание столь знаменитой особы в здешнем краю невозможно».

---

14. С. Г. Волконский — М. Н. Волконской.

(Николаевск, 5 октября 1826 г.).

Дорогой друг, как я благодарю тебя за твое письмо от 16 августа. Извещая меня о страданиях, которые ты переносишь из-за неизвестности о моей судьбе, ты только облегчила муки, которым уже столько времени обречено мое сердце. Нам нечего ждать от людской справедливости, моя судьба решена совершенно бесповоротно, но провидение, может быть, не откажет дать нам еще несколько мгновений в этом мире и даст мне утешительную надежду, что твое несчастье и мое раскаяние облегчат нам более счастливую участь в вечной жизни. Надежда на милосердие божие — единственное прибежище, оставшееся нам, и люди не в силах лишить нас этого.

Вот уже третья неделя под-ряд, что я пишу тебе с каждой почтой, отходящею от Иркутска еженедельно. Если начальство позволит, я буду продолжать писать тебе с каждым курьером. Я жду с нетерпением известий от тебя. Надеюсь с помощью господа получить утешительные известия. Надежда моя в нем, и к нему я воссылаю мои мольбы за тебя и моего сына. Мое уважение и нежное почтение твоим родителям. Постарайся добыть для меня их прощение и скажи им, что они не могут обвинять меня больше, чем я сам себя обвиняю в несчастье, которое ты переносишь из-за меня.

Здоровье мое достаточно хорошо, нравственное мое состояние зависит от известий, которые я буду иметь от тебя. Мысленно благословляю тебя и Николиньку.

Французское письмо. См. предшествующее письмо.

---

15. С. Г. Волконский — М. Н. Волконской.

(Николаевск, 5 октября 1826 г.).

Я писал тебе о себе восемь дней тому назад; с этой почтой извещаю тебя о получении твоих писем от 25 июля и 16 ав-

густа, которые получены мною одновременно. Дорогой друг, я не сомневаюсь, что ты пишешь мне аккуратно, и я писал тебе так часто, как мог, но твои письма приходят ко мне редко, и я тщательно берегу их; что касается моих писем, то твои родители, должно быть, в своей заботливости о тебе не передали их тебе, чтобы ты не знала о моей роковой участи. Да поможет тебе эта мера легче перенести твое огромное несчастье, которое теперь ты уже должна сознавать. Господь дает мне покорность и бодрость. Обожаемая...

Французское письмо жене. См. предшествующие письма. Черновик, не дописанный. Письма М. Н. Волконской к матери ее мужа за 1827—1831 г. г., непосредственно примыкающие к публикуемым здесь письмам ее мужа, напечатаны М. О. Гершензоном в «Русских Пропилеях», т. I. М. 1915.

---

16. В. М. Голицын — Н. И. Голицыной.

(Киренск, 28 мая 1828 г.).

Нам разрешают писать и получать письма от наших родных, а между тем вот уже больше трех месяцев, что я не имею писем от сестрицы; наверное это не по ее вине. Позволяют нашим родным приходить нам на помощь, но деньги не доходят до нас целиком, и мы совершенно не знаем, какие суммы высылаются нам.

Несмотря на наши хлопоты, несмотря на письмо, которое вы написали губернатору с просьбой пересылать мне деньги на мою жизнь, несмотря на то, что я получил только 3.200 руб. вместо 4.000 в продолжение этих двух лет, что я здесь, губернатор мне ничего не выслал, и я вынужден лишать себя очень многого и платить вдвое за вещи, которые мог бы иметь дешевле и лучшего качества. Даже вещи прибывают разрозненными. Только сегодня я получил ружье, посланное Леонидом, нехватает в нем двух частей и его, повидимому, употребляли на охоте, так как оно сильно подержано. Губернатор предварительно послал мне ключ от ящика, в котором находилось ружье, а ящик прибыл ко мне открытым и ключ не подходит к замку; наверное его подменили. Из всех русских журналов я получил только первый номер «Телеграфа»; из 50 пудов муки доставлено мне только 25 пуд., остальная девалась бог весть куда, так же как и много других вещей, о посылке которых я и не знаю, ибо не все письма доходят до меня.

Словом, нас хорошо обставили. Невозможно дольше оставаться в этом положении, так как оно все ухудшается. Вам следовало бы, дорогая матушка, попросить, чтобы нам разрешили писать непосредственно; письма могли бы вскрывать на почте, но по крайней мере была бы установлена отчетность. Настоящее письмо будет вложено в письмо к губернатору, ко-

торому я излагаю все мои нужды, но увенчается ли это успехом, бог знает, так как я уже писал ему безрезультатно. Кроме того, его плохо слушают. Так, например, это ружье должен был передать мне исправник, но я получил его бог весть каким путем и месяц спустя. Будет ли еще вообще доставлено ему мое письмо, так как кто знает, в его канцелярии или здесь делаются эти прекрасные дела. И вы хорошо понимаете, что в первом случае не доставят из опасения кары, во втором— чтобы не быть уличенными в злоупотреблениях. Ужасно подумать, что придется всю жизнь провести с подобными людьми.

Выписка жандармов из французского письма декабриста В. М. Голицына (главный герой романа Д. С. Мережковского «14 декабря») к его матери. Второстепенный участник заговора, Голицын был сослан на жительство в Сибирь, через 2 года отправлен на Кавказ рядовым для выслуги, а в 1837 г. произведен в офицеры. Умер он в России в 1859 году от холеры. Любопытные сведения о пребывании В. М. Голицына на поселении в Киренске (как родители послали к нему дядьку для ухода за ним) в моей заметке о нем — «Из быта декабристов в Сибири» — «Русское Прошлое», 1923 г. № 1.

Письмо это интересно для истории ссылки декабристов. Иркутский губернатор И. Б. Цейдлер не счел возможным оставить обвинения В. М. Голицына без опровержения и приложил к его письму следующую записку: «Долгом считаю об'яснить, что все вещи осматриваются при мне и отправляются тотчас и поэтому ничего утеряно быть не может. Что нумера газет не все, в том правительство не виновато, а что пришлют, то и отправляется; посылки худо укладываются, вещи приходят потертые и разбитые. Муки прислано 5 кулей, а не 50 пудов. Денег Голицыну отправлено (перечислено по датам с 2 декабря 1826 года по 20 ноября 1828 г.) 3.300 р. и по желанию матери его из принадлежащих ему 500 отослано Веденяпину (декабристу). Следовательно, ничего и никаких денег правительство здешнее не удерживает».

---

17. Е. П. Нарышкина—В. М. Нарышкиной.

Петровский Завод, 27 сентября 1830 г.

Дорогие мои Варенька и Дуняша.

Мы приехали сюда 23 и уже с третьего дня я с Михаилом в его тюрьме. Он передает вам обоим тысячу приветствий и просит не беспокоиться о нем, так как он уповает на милость божию, не оставлявшую его столько раз.

Что мне рассказать вам о комнате, которую мы с ним занимаем в тюрьме? Она темная, сырая и ее никак нельзя проветривать, что делает ее не слишком подходящей для моего здоровья. Истинное чудо, что я еще не совсем расхворалась и что до сих пор у меня еще только сильный кашель. Но господь милостив, и я всецело на него уповаю. Не скрою от вас, что я очень беспокоюсь за бедную матушку; ее наверное испугает мое решение жить в остроге и собственно для ее спокойствия я еще этим летом сочла своим долгом просить разрешения на еженедельные свидания с Михаилом у себя дома, как это было

последнее время в Чите; но до сих пор я не получила никакого ответа на свое письмо и во избежание разлуки с Михаилом заперлась с ним в тюрьме на следующий день нашего приезда сюда. Но все же я пишу вам не из нашей тюрьмы, а на частной квартире, где находится мое хозяйство и которая нанята мною в деревне для помещения моих людей и для хранения моего имущества.

У меня сегодня нет времени, чтобы сообщить вам все подробности, и потому я целую вас обоих, так же как и Маргариту, за Михаила и за себя. Я хочу также непременно в следующий раз на досуге поблагодарить любезного Петра за садовые инструменты и за турецкий табак, который он выслал Михаилу.

Прощайте, мы с вами всегда душой и сердцем.

Е. Нарышкина.

(На конверте рукой автора по-русски): Ее превосходительству, милостивой государыне Екатерине Федоровне Муравьевой в Москве, на Тверской улице, в доме Маркова.

Письмо жены декабриста М. М. Нарышкина, Елизаветы Петровны, к его сестрам, Варваре, умершей в 1834 году девицею, и Евдокии, вышедшей в 1830 г. замуж за кн. П. А. Голицына. Маргарита — сестра Нарышкина — вдова героя 12 года А. А. Тучкова. Петр — кн. Голицын муж Евдокии Нарышкиной. Е. П. Нарышкина — дочь героя 12 года графа П. П. Коновницына. Детей Нарышкины не имели. Мать Е. П. графиня А. П. Коновницына, умерла в 1840 году. Братья ее, Иван и Петр Коновницыны, были прикосновенны к заговору декабристов и понесли наказание. Екатерина Федоровна Муравьева, на адрес которой послано письмо, — мать декабристов А. М. и Н. М. Муравьевых, дом которой после 1825 года был центром, где собирались и получали сведения о сосланных родственники и друзья декабристов; все свое огромное состояние, всю свою жизненную энергию она посвятила облегчению участи своих сыновей и их товарищей. Е. Ф. Муравьева была едва ли не единственным исключением в среде сановной и бюрократической знати, пресмыкавшейся перед палачом своих детей. Подробнее о ней и об ее сыновьях - декабристах — в книге «Декабрист А. М. Муравьев — Воспоминания. Перевод и редакция С. Я. Штрайха. Изд. «Былое». П. 1922». Подлинник письма — французский.

О плохих гигиенических условиях Петровской каторжной тюрьмы сообщали своим родным в Россию и другие жены декабристов; их письма ниже. Декабристы в своих воспоминаниях сообщают, что именно эти письма, не дошедшие по адресу, заставили Николая Павловича прорубить окна в казематах Петровской тюрьмы, хотя шеф жандармов А. Х. Бенкендорф в своей пометке на письме А. Г. Муравьевой заявляет иное (см. ниже ее письмо к отцу). Впрочем, окна были сделаны так плохо, что не давали возможности узникам пользоваться днем солнечным светом, и они придумывали разные приспособления, чтобы работать и читать, без искусственного освещения.

---

18. А. И. Давыдова — П. Л. Давыдову.

Петровский Завод. Сентября 27, 1830 г.

Мы бы должны начать письмо сие изъявлением глубокого чувства благодарности нашей к беспримерному брату и другу,

но известие, полученное нами через М. Андр. о бедных четырех старших детях наших, меня и несчастного мужа столь поразило, что мы оба не знаем, что делать и что сказать вам, любезный и почтеннейший братец. — Видно, суждено нам испытать всякого рода мученья и горести, и удар следует за ударом — в какое еще время столь неожиданное известие получила я? Когда и так терзаюсь я новым нашим положением в Петровском заводе! — Оно превзошло всякое ожидание. Но ежели не можем вам выразить всего, что мы чувствуем к вам, бог видит сердца наши — благодарим вас в глубине души, благодарим вас со слезами, — и со слезами на коленях умоляем вас — спасите невинных несчастнейших сирот, пристройте их, будьте им отцом — не могу, не в силах ничего писать более. Мы убиты, любезный брат и друг, — вся надежда на бога и на вас. Все нас покидают, но вы останетесь нам всем навсегда другом и благодетелем. Брат вас со слезами целует — верьте, что я, пока живу, не перестану вас любить, благодарить и почитать от всей души моей.

Преданная вам сестра *А. Давыдова.*

(На обороте): Его превосходительству, милостивому государю Петру Львовичу Давыдову, Киевской губернии в поветовой г. Чигирин, в м. Каменку.

Письмо жены декабриста Ав. Ив. Давыдовой, рожденной Потаповой. Подлинник по-русски. Потапова происходила из мелкой чиновничьей семьи и до ссылки Вас. Льв. связь его с ней сильно смущала знатную семью Давыдовых, которые не допускали его официального брака с Потаповой. Лишь после смерти матери (весною 1825 г.) В. Л. Давыдов мог «узаконить» свой брак (в мае 1825 г.). Он имел с А. И. Потаповой четырех детей: Михаила (род. 1820 г.), Екатерину (1822 г.), Елизавету (1823 г.) и Петра (1825 г.). Печальное известие о детях Давыдовых заключалось в неудаче хлопот Н. Н. Раевского (героя 12 года), брата Давыдова по матери, отца жен декабристов С. Г. Волконского и М. Ф. Орлова, и П. Л. Давыдова об «узаконении» этих детей. Министерство юстиции нашло, что как «политически-мертвый», В. Л. Давыдов не имеет права «узаконить» своих «внебрачных» детей.

---

19. М. К. Юшневская — С. П. Юшневскому.

27 сентября 1830 г. Петровский Завод.

Я ужаснулась, любезный братец Семен Петрович, увидя моего мужа, так он похудел, одна тень его осталась. Не жалуется, чтобы страдал какою-либо болезнью, но спит очень мало и почти ничего не ест; я боюсь, чтобы он не впал в чахотку; уверяет меня Фердинанд Богданович, что етого опасаться не должно, но может он уверяет для того, чтобы успокоить меня. Как бы ты себе ни представил его худобы, все еще будет мало.

Ты, может быть, уже слышал, что брат твой и все товарищи его переведены в Петровский завод. — И я, желая разделить

вполне участь мужа моего, поступила в острог, где занимаю один нумер с ним; здесь мы лишены не только воздуха, но и дневного света. Боюсь, что муж мой в конец расстроится здоровьем.

Брат благодарит тебя за присланные ему тысячу рублей, он был без гроша денег и очень давно нуждался. Я с собой не могла привезти ничего. Ты, мой друг, очень хорошо знаешь, с какими малыми способами выехала я из Москвы. Но ты обещал еще выслать вскоре тысячу рублей, следовательно, муж мой, по крайней мере, будет спокоен на несколько времени, что нуждаться не будет в необходимом. — В одно время с письмом твоим, в котором описываешь, как изменилась сумма, которую должна Марья Ивановна, он получил и то, которое ты писал в Москву к поверенному моему Василию Анисимовичу; обстоятельное об'яснение об етом я принуждена отложить до будущей почты, потому что брат твой не успел теперь отыскать и сообразить всех бумаг и писем, которые получил он в разное время об етом. — Я же с своей стороны считаю неуместным входить в ето; тебе известно, что раздел был сделан по добровольному вашему согласию с братом Владимиром, ибо я даже не почитала себя в праве вмешиваться в подробности раздела. Ты сам припомнишь, что я полагалась на любовь и дружбу вашу к брату и потому предоставила собственному твоему усмотрению все; и подписала готовые уже бумаги.

В заключение письма твоего к брату ты желаешь, чтоб я забыла все прошедшее; из любви моей к твоему брату, из любви моей к тебе я никогда не переставала желать тебе добра и сожалеть о твоем от меня удалении; очень рада буду, ежели ты искренно возвратишь мне дружбу и любовь твою, которых я никогда потерять не желала.

Ты пишешь, что моя Сонечка была у тебя в Хрустовой с ее мужем; очень меня утешило сие известие; дай бог, чтобы ты любил детей моих и чтобы они умели заслужить на твою дружбу. Любезный Семен Петрович, будь уверен, что я никогда не могу перестать любить тебя, как бы ты ни удалялся от меня и как бы ты ни был несправедлив противу меня. — С самых юных твоих лет брат твой приучил меня любить тебя всем сердцем; как и он сам любит тебя, и сам ты столько мне показывал привязанности, что я никак не могу себе представить, чтобы ты был в силах желать мне зла; итак, мой друг, будем друзьями попрежнему и не станем вспоминать того, что нам делало большую неприятность, а мне, откровенно скажу тебе, нещастье.

Не помню, написала ли я тебе в прошлом письме, которое послала из Иркутска, что Варфоломей Варфоломеевич еще в прошлом году умер в июле месяце, и смерть его преждевременную приписывают невоздержному употреблению напитков. Он умер скоропостижно, бывши в гостях. Я надеюсь, что ты,

любезнейший Семен Петрович, не сообщишь сего брату его; душевно бы мне было неприятно, есть ли бы от меня узнал он такие неприятные известия о его брате. Ты знаешь, что я неспособна зделать неудовольствия даже и тем людям, которые делали мне величайшее зло. Я уже здесь вместе с мужем моим. Бог прости всех и я их прощаю, есть ли только мое прощение сколько-нибудь их занимает.

Зная твое доброе сердце, мой друг, я уверена, что матушка моя под твоим покровительством не стерпит никаких притеснений ни од кого и не нуждается в необходимом; благодарю тебя заранее за все одолжения, какие ты ей наверное оказываешь. Я буду стараться так распорядиться, чтобы ее пристроить и дать ей уголок спокойный; она в тех летах, что спокойствие для нее необходимо; поцелуй у нено ручьку за меня и моего мужа и скажи ей, что мы оба здоровы.

Есть ли ты можешь, любезный Семен Петрович, зделать ето для меня и твоего брата, то постарайся непременно выкупить часы твоего брата у Филипп Прохоровича; брат твой очень дорожит сими часами, потому что ето память от отца его и к часам сим он очень привык. Есть ли бы ты был очень богат платками шейными, цветными, то пришли мужу моему; сколько бы ты одолжил его сим; он очень любит теперь цветные платки. Я пришлю тебе, друг мой, мерку его с будущею почтою на сертюк и жилет; сшей ему, сделай милость; здесь нету портного, а он очень беден платьем; представь себе, что он худее, наверное можно сказать, Осипа Варфоломеевича: увидишь по его мерке, которую я тебе пришлю.

Алексей Петрович приказал кланяться Владимиру, от которого он получил письмо; очень рад, что он щастлив, и благодарит его за память.

Прощай, любезный Семен Петрович, я и брат твой от всего сердца желаем тебе быть здоровым; будь щастлив и не забывай истинных друзей твоих — брата и меня. Любящая тебя всем сердцем сестра и друг *Мария Юшневская.*

Здесь я наняла избу близ острога, в которой варят нам есть, содержуться там мои вещи и живут в ней человек и женщина; плачу за нено двадцать пять рублей в месяц. Здесь дорого очень все, особливо, когда сообразим с нашими ценами. Пишу все потому к тебе, чтобы ты знал, любезнейший Семен Петрович, как мы здесь живем: пуд сахару здесь 60 ср., а чай самый посредственный 10 фунт. Прощай, мой любезный.

(На конверте): Его благородию милостивому государю Семену Петровичу Юшневскому, Каменец-Подольской губернии, в Тульчине; одтоль прошу отправить в село Хрустовую.

Письмо жены декабриста Алексея Петровича Юшневского, Марии Казимировны, воспроизводится с русского подлинника с сохранением наиболее характерных особенностей ее правописания. Юшневская была полька, брак ее с Юшневским был для нее вторым. Детей имела от

первого брака, с Юшневским у нее детей не было. С большим трудом М. К. удалось добиться разрешения поехать к мужу, а дочери ее от первого брака запретили отправиться в Сибирь. Мать ее жила еще очень долго, но все мольбы Юшневской о разрешении ей приехать в Россию повидаться с матерью отклонялись, при чем особенно жестоким был отказ в допущении М. К. Юшневской в Россию после смерти ее мужа (1844 г.). Лишь в 1855 году несчастная, полуослепшая страдалица получила возможность вернуться на родину.

Алексей Петрович Юшневский был один из ранних членов тайных обществ и ближайший помощник Пестеля по управлению Южным обществом, при чем, согласно справкам III отделения, он даже помогал Пестелю в составлении «Русской Правды». Письмо адресовано брату Юшневского, который также принадлежал к заговору, но отделался высидкой в крепости.

Ферд. Богд. Вольф — член Южного тайного общества; врач. О нем см. примечания к письму М. Н. Волконской (№ 24 — ниже).

В Москве Юшневская жила у Е. Ф. Муравьевой, которая отнеслась к ней очень сердечно, снарядила ее в далекий скорбный путь. Но хлопоты М. К. о получении крупной суммы денег, следовавших ее мужу, были безрезультатны.

---

20. Е. И. Трубецкая — А. Г. Лаваль.

Петровское, 28 сентября 1830 г.

Милая и дорога мама.

Я пропустила почту на прошлой неделе, потому что была больна и лежала в постели в такой сильной лихорадке, что не могла писать. Это было легкое недомогание, происшедшее, я думаю, от холода, от волнения и беспокойства, от всего того, наконец, что мне пришлось испытать по дороге в Петровское. Теперь я совершенно поправилась и чувствую себя такою же бодрою, как прежде.

Мужчины прибыли сюда 23. Дамам об'явили, что, оставаясь вне тюрьмы, они могут навещать своих мужей *через два дня* в *третий* [1]); как это было в Чите, если они хотят видеться с ними чаще, то им предоставляется право поселиться в остроге. Эта жизнь от свидания до свидания, которую нам приходилось выносить столько времени, нам всем слишком дорого стоила, чтобы мы вновь решились подвергнуться ей: это было бы свыше наших сил. Поэтому мы все находимся в остроге вот уже четыре дня. Нам не разрешили взять с собой детей, но если бы даже позволили, то все равно это было бы невыполнимо из-за местных условий и строгих тюремных правил. После нашего переезда (в тюрьму) нам разрешили выходить (из нее), чтобы присмотреть за хозяйством и навещать наших детей. Разумеется, я пользуюсь, сколько мне позволяют мои силы, этим разрешением, так как я чаще других должна видеть мою девочку, чтобы следить за тем, как кормилица смотрит за ней в мое отсутствие.

---

[1]) Подчеркнуто автором письма.

Но сколь спокойнее была бы я, если бы могла поручить моего ребенка верной и опытной няньке, и как облегчили бы вы мое положение, дорогая маменька, если бы вы поскорее прислали мне таковую. Представьте себе, умоляю вас, что должна я испытывать, и вы поймете, как мне нужна такая нянька. Ради бога подумайте о том, как это осуществить скорее.

Я должна буду строиться, об этом я напишу вам в ближайшем письме. Сейчас же, если позволите, я опишу вам наше тюремное помещение. Я живу в очень маленькой комнатке с одним окном, на высоте *сажени* от пола, выходит в коридор, освещенный также *маленькими окнами*. Темь в моей комнате такая, что мы *в полдень не видим*[1]) без свечей. В стенах много щелей, отовсюду дует ветер и сырость так велика, что пронизывает до костей.

Вы видите, милая маменька, что я ничего не преувеличила в своем письме от 7 июня, и вы понимаете теперь, как ваш ответ на это письмо должен был меня огорчить. Физические страдания, которые может причинить эта тюрьма, кажутся мне ничтожными в сравнении с жестокой необходимостью быть разлученной со своим ребенком и с беспокойством, которое я испытываю все время, что не вижу его. Скажу более: я иногда спрашиваю себя, нет ли в этом какого-нибудь ужасного недоразумения. Возможно ли, чтобы действительно хотели сделать наше положение столь тяжким после четырех лет страданий и после того облегчения, которое было даровано нам в последний год нашего пребывания в Чите.

Вы мне говорите, дорогая маменька, что я мало верю в бога. Конечно, моя вера не такова, как она должна была бы быть, но все же, дорогая маменька, если бы я не верила всей душой в безграничное милосердие и всемогущество божие и если бы я не надеялась, что он когда-нибудь облегчит наши страдания, могла ли бы я относиться с таким спокойствием к тому, что мне предстоит еще в течение 16 лет? И не достаточно ли было бы одной этой мысли, чтобы покончить с собой?

Будьте здоровы, дорогая и милая маменька, а также папенька. Спаси и сохрани господь вас обоих. Целую ваши ручки, крепко обнимаю вас обоих и прошу вашего благословения для моей малютки и для себя.

Преданная вам дочь ваша *Е. Трубецкая*.

Передайте мое глубокое уважение бабушке и тетушке. Крепко обнимаю сестриц Зизи и Китти. Сердечный привет Станиславу. Вчера я получила посылку, которая доставила мне большое удовольствие. В ней была одежда для Сергея, очень красивый чепчик для Сашеньки, платьице для маленькой Сони и чулки для Сергея.

---

[1]) Все подчеркивания — автора.

(На конверте по-русски): Ее снятельству, милостивой государыне графине Александре Григорьевне Лаваль, в собственном доме возле сената, на Английской набережной в С.-Петербурге.

Письмо жены декабриста к ее матери. Подлинник по-французски.

Девочка — старшая дочь Трубецких Александра, род. в феврале 1830 г. в Сибири, была впоследствии замужем за попечителем киевского учебного округа Н. Р. Ребиндером, умерла в 1860 году.

Родственники декабристов посылали к ним в Сибирь своих крепостных для услуг, пользуясь поездками последних для передачи сосланным денег и писем помимо ведома властей. С этой целью такая крепостная прислуга часто менялась и отсылалась в Россию под предлогом непригодности или тоски по родине. Правительство боролось с этим, но не совсем успешно, так как считалось с принципом собственности и правом жен сосланных государственных преступников свободно распоряжаться своими крепостными.

В Чите и в Петровском жены декабристов выстроили дома, которые по их от'езде переходили в пользование местных жителей. Строительство декабристов, как и вообще их пребывание в Сибири, благотворно отразилось на развитии местной материальной и умственной культуры.

Зизи — Зинаида, сестра кн. Е. П. Трубецкой, замужем за австрийским послом в Петербурге графом Лебцельтерном. У него С. П. Трубецкой хотел укрыться от ареста после восстания 14 декабря, но Николай потребовал выдачи неудачливого диктатора, Китти — ее двоюродная сестра, о ней ниже, в письме к бабушке (№ 23).

21. Н. Д. Фонвизина — Н. Н. Шереметевой.

Петровский Завод, 28 сентября 1830 г.

Вот уже несколько дней, как мы прибыли все сюда и я уже поселилась в остроге. Иван Дмитриевич, слава богу, здоров, милый друг мой, Надежда Николаевна, дорогой получил он 6 писем от вас. Благодарит также за посылку и за деньги 400 р., которые получил в одном из писем. Настенька говорила ему, что хочет сюда ехать, но Иван Дмитриевич говорит, что причины, по которым он этого не желал, все существуют и что даже естли бы оные и не существовали, то никогда не согласился бы запереть жену в темную и сырую тюрьму — а естли хотите, мой милый друг, узнать подробности нашего нового жилища, то Иван Александрович может вам сообщить письмо мое. — Право, не думайте, чтобы это было прикрашено — естли бы адресоваться сдесь ко всем, кто только в этой тюрьме хотя и не живут в ней, словом к самим начальникам нашим, то по справедливости и они не могли бы сказать другого. — Конечно, естли это все положение перенести с покорностью к воле божьей и с смирением, то и оно будет на пользу — впротчем ето одно только и может поддержать в этом заклю-

чении. Еще мое положение покамест не так тягостно, но сердце кровью обливается смотреть на тех, у кого сдесь есть дети; бедные малютки одни живут и бог знает чему подвергнутся. Скоро и мое положение будет тоже. Естли господу угодно будет сохранить будущего моего дитяти.

Помолитесь, друг милый, чтобы спаситель наш ниспослал нам всем силы покориться с кротостью этому ужасному положению. Вы себе и представить не можете етой тюрьмы, етого мрака, этой сырости, етого холода, етих всех неудобств. То-то чудо божие будет, естли все останутся здоровы *и с здоровыми головами* [1]), потому что так темно, что заняться совершенно ничем нельзя.

Нам, женщинам, позволено выходить из тюрьмы, доложившись офицеру, но и тут как шальные ходим, а они бедные вечно в затворе и в тюрьмах.

Прощайте, друг мой, чувствую, что ето письмо неутешительно, но господь велик и милостив, на него уповаем: даст силы, и все перенесем авось-либо. А тяжко, очень тяжко, не так за себя, как за них. Христос с вами. Иван Дмитриевич вас, Настю и детей целует, я также. Екатерину Гавриловну благодарит очень за память и за письмо.

Н. Ф.

(На конверте): Ее высокоблагородию, Надежде Николаевне Шереметевой, Московской губернии в город Рузу.

Письмо жены декабриста М. А. Фонвизина к теще декабриста И. Д. Якушкина, Над. Ник. Шереметевой. Приведено здесь с русского подлинника с сохранением некоторых особенностей стиля и орфографии. Нат. Дм. Фонвизина, рожденная Апухтина, в 1822 году вышла 17 лет от роду замуж за своего двоюродного дядю, 34-летнего генерала Мих. Ал. Фонвизина, которому родители ее были должны много денег. Экзальтированная, мистически до юродства настроенная девушка, она еще за несколько лет до того тайно ушла из дому в мужском костюме, чтобы поступить в монахи. За Фонвизина решила выйти замуж, чтобы облегчить материальное положение родителей. Когда муж сидел в крепости, Н. Д. умудрялась пробираться туда и виделась с ним несколько раз. По отправлении мужа в Сибирь, поехала за ним, оставив болезненно-страстно любимых своих двух сыновей (первый родился в 1823 г., второй в феврале 1826 г., когда отец сидел в крепости) на попечении матери, так как считала своим евангельским долгом разделить участь мужа и облегчить его положение. Еще в Москве она была очень близка к Над. Ник. Шереметевой, рожд. Тютчевой (поэт Ф. И. Тютчев — сын ее брата), отличавшейся уже тогда странностями на религиозно-мистической почве, а впоследствии стоявшей очень близко к московским славянофилам и считавшейся «духовной матерью» Н. В. Гоголя в пору его патологического мистицизма. Одна дочь ее была замужем за основателем тайных обществ, Мих. Ник. Муравьевым, избегнувшим наказания и впоследствии справедливо заслужившим прозвище Муравьева-Вешателя, другая — красавица Анастасия Васильевна —

[1]) Подчеркнуто в подлиннике.

за декабристом И. Д. Якушкиным. Вольнодумец и основатель тайных обществ, один из ярых заговорщиков, Якушкин был человек очень просвещенный, с материалистическим уклоном ума, но в то же время в характере его были черты высшей религиозности, имевшие какие-то точки соприкосновения с религиозным мистицизмом Шереметевой. Были в обществе какие-то слухи о том, что даже дочь свою Шереметева выдала за Якушкина по соображениям религиозным.

Настенька — жена Якушкина. Она хотела, как и другие жены, последовать за мужем в Сибирь, и мать даже толкала ее на этот шаг, но ничего не вышло из многих попыток такого рода, несмотря на предстательство В. А. Жуковского. Почему-то особенно сильно противодействовал этому император Николай Павлович. Сам Якушкин хотя и отговаривал жену от поездки в Сибирь, главным образом не желая лишать своих двух сыновей ее ухода (Вячеслав родился в 1824 году, Евгений в январе 1826 года), но сильно страдал от разлуки с нею и переживал тяжелую душевную драму во все тридцатилетие своей сибирской жизни.

Иван Александрович Фонвизин — брат декабриста, замешанный в деле о тайных обществах, но избегнувший наказания и воспитывавший сыновей своего брата.

Рождавшиеся у Фонвизиных в Сибири дети не выживали, и Н. Д. сильно страдала от неудовлетворенного чувства материнства, сильно развитого в ней. Дети, остававшиеся в России, выросли, но родители так и не видели их больше: сыновья Фонвизиных умерли в 1850—1851 г.г. за полтора года до возвращения отца и матери в Россию.

Екатерина Гавриловна — Левашева смоленская помещица, родственница Якушкиных.

---

22. А. Г. Муравьева — Г. И. Чернышеву.

1 октября, Петровское, 1830 г.

Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых — здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых — здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты.

Нам, слава богу, разрешено быть там вместе с нашими мужьями, но как я вам уже сообщила, без детей, так что я целый день бегаю из острога домой и из дому в острог, будучи на седьмом месяце беременности. У меня душа болит за ребенка, который остается дома один, с другой стороны, я страдаю за Никиту и ни за что на свете не соглашусь видеть его только три раза в неделю, хотя бы это даже улучшило наше положение, что вряд ли возможно. Вот уже два дня, что я его не вижу, потому что я серьезно больна и не могу выходить из дому; даже пишу тебе в постели, так как простудилась, но не в тюрьме, а еще раньше; *я себя перемогала дня три, пока*

сил не стало [1]); так что я лежу, не выходя из дому, чтобы не свалиться на всю зиму.

Если бы даже нам дали детей в тюрьму, все же не было бы возможности их там поместить: одна маленькая комнатка, сырая и темная и такая холодная, что мы все мерзнем в теплых сапогах, в ватных капотах и в колпаках. Наконец, моя девочка кричала бы весь день, как орленок, в этой темноте, тем более, что у нее прорезаются зубки, и очень мучительно, как вы знаете.

Прошу тебя не показывать этого письма ни младшим сестрицам, ни даже сестрам, зачем их огорчать. Я сообщаю это тебе, потому что я не могу выносить, *что тебя под старости этак обманывают*. Я нахожу, что это жестоко и из-за девочки, и из-за второго, которого я жду через некоторое время; что касается меня, то я никогда не стану жаловаться за себя лично. Нужно сознаться, *что я себе* [2]) *на радость детей нарожала*.

Не пишу тебе больше, потому что у меня болит голова. Однако у меня только флюс. Потому же не пишу ни брату, ни сестрам. Целую вас всех, и в каких бы обстоятельствах я ни находилась, я вас буду все так же горячо любить и благодарить бога за счастливые времена, проведенные с вами.

А. Муравьева.

Извести меня, дорогой батюшка, получишь ли ты это письмо от 1 октября, чтобы я знала, разрешено ли мне сообщать вам правду.

(На обороте по-русски): Графу Чернышеву в Москву, у Каменного моста, в доме Миротворцева.

Письмо жены декабриста Н. М. Муравьева, Александры Григорьевны, рожденной графини Чернышевой (замужем с февраля 1822 года). Подлинник по-французски. А. Г. Муравьева одна из первых последовала за мужем в Сибирь и прибыла туда одновременно с княгинями М. Н. Волконской и Е. И. Трубецкой. А. Г. Муравьевой перед ее от'ездом в Сибирь отдал Пушкин для доставления декабристам свое стихотворное послание к ним («Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье»). Отец ее умер в 1831 году.

Ребенок, оставшийся дома один — дочь Муравьевых Софья, известная в литературе о декабристах Ноннушка, родившаяся в мае 1826 года. После смерти отца (1843 г.) она была возвращена в Россию и там вышла замуж за М. И. Бибикова, сына сестры декабристов Муравьевых-Апостолов. Дом С. Н. Бибиковой в Москве (она умерла в 1892 году) был своего рода клубом, где собирались друзья и почитатели декабристов, и музеем, где хранились их портреты и другие предметы, относящиеся к памяти заговорщиков 1825 года. В семье Бибиковых до последних лет хранились портреты Муравьевых и других декабристов, а также их родственников. Старшая дочь А. Г. и Н. М. Муравьевых—Екатерина, родившаяся в 1823 году, осталась у бабушки Е. Ф. Муравьевой в Москве (она умерла в 1870 году) и страдала расстройством умственных способностей, вызванным печальными обстоятельствами ее детских лет.

[1]) Подчеркнутое здесь и ниже — написано по-русски.
[2]) Повидимому, пропущено слово «не».

Никита Муравьев—муж А. Г. Муравьевой, один из главных руководителей Северного общества, автор наиболее разработанной конституции, написанной в духе государственного устройства Соединенных Штатов Сев. Америки. Н. М. Муравьев был теоретиком группы умеренных декабристов-монархистов-конституционалистов, хотя сам он высказывался иногда и за республику. В Сибири Н. М. Муравьев продолжал заниматься историческими исследованиями, к которым тяготел еще до восстания 1825 года, при чем пользовался при работах своей богатейшей библиотекой, целиком пересланной ему матерью. Об его участии в составлении известного Лунинского «Разбора донесения Следственной Комиссии» см. в книге «Декабрист М. С. Лунин, сочинения и письма, редакция и примечания С. Я. Штрайха, Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук, Петр. 1923 г.». О нем еще в книге «Декабрист А. М. Муравьев. Записки. Редакция и вступительный очерк С. Я. Штрайха». Петр. 1922 г.

Простуда и свела А. Г. Муравьеву через два года в могилу. Смертельная болезнь была результатом ее беганья «целый день из острога домой и из дому в острог», при чем тогда она снова была беременной. В этом письме А. Г. сообщает о беременности дочерью Ольгой, родившейся 11 декабря 1830 года и умершей через несколько лет в Сибири.

Брат—декабрист граф Зах. Григ. Чернышев, по отбытии каторги в Нерчинских рудниках, был в это время рядовым на Кавказе, где в одном из сражений с горцами был в 1830 году ранен в грудь пулею навылет. Сохранилось письмо А. Г. Муравьевой к З. Г. Чернышеву за 1828 год, где она обращается к 33-летнему брату с нежной любовью и проявляет о нем заботливость, как о беспомощном ребенке (см. это письмо в моем сообщении «Из быта декабристов в Сибири», «Русское Прошлое», 1923 г., № 1).

Пометка А. Х. Бенкендорфа на копии этого письма А. Г. Муравьевой, как и факт удержания других писем жен декабристов с описанием условий их жизни на каторге, показывает, как им разрешалось сообщать в Россию правду. Вот эта пометка с воспроизведением наиболее характерных особенностей правописания Бенкендорфа, который был очень слаб в русской грамоте. «Сие письмо не выдавать, а женам написать, что напрасно они печалют своих родных, что мужья их посланы для наказания и что все зделано, что только человеколюбие и снисхождение могло придумать для облегчения справедливо заслуженного наказания. Государь, получив от Лепарского [1]) рапорт, сам уже предписал дабы были окошки для лучшего свету, что жены могут жить с мужьями хоть уже, а для детей нельзя построить помещение, ибо нельзя знать сколько будет сих несчастных жертв необдуманной любви».

---

23. Е. И. Трубецкая — Е. И. Козицкой и А. Г. Белосельской.

Петровской, окт. 21, 1832.

Поздравляю вас, милая, дражайшая Бабушка, с наступающим днем вашего рождения. От всей души желаю вам доброго здоровия, и всевозможных благ, и встретить и провести этот

---

[1]) Ген. Ст. Ром. Лепарский — комендант Петровского Завода и начальник декабристов, относившийся к ним действительно очень благожелательно.

день, как можно приятнее. Надеюсь, что сестра ваша будет с вами праздновать ваше рождение. По крайней мере, как для вас, так и для нее, душевно того желаю и с нетерпением ожидаю известия о ее приезде в Петербург. О себе ничего нового не имею вам сказать. Мы все, благодаря бога, здоровы. Будьте и вы здоровы и веселы, милая любезнейшая Бабушка, за мужа, за Сашеньку и за себя, сто раз целую ваши ручьки и остаюсь ваша покорная внучка К. Трубецкая [1]).

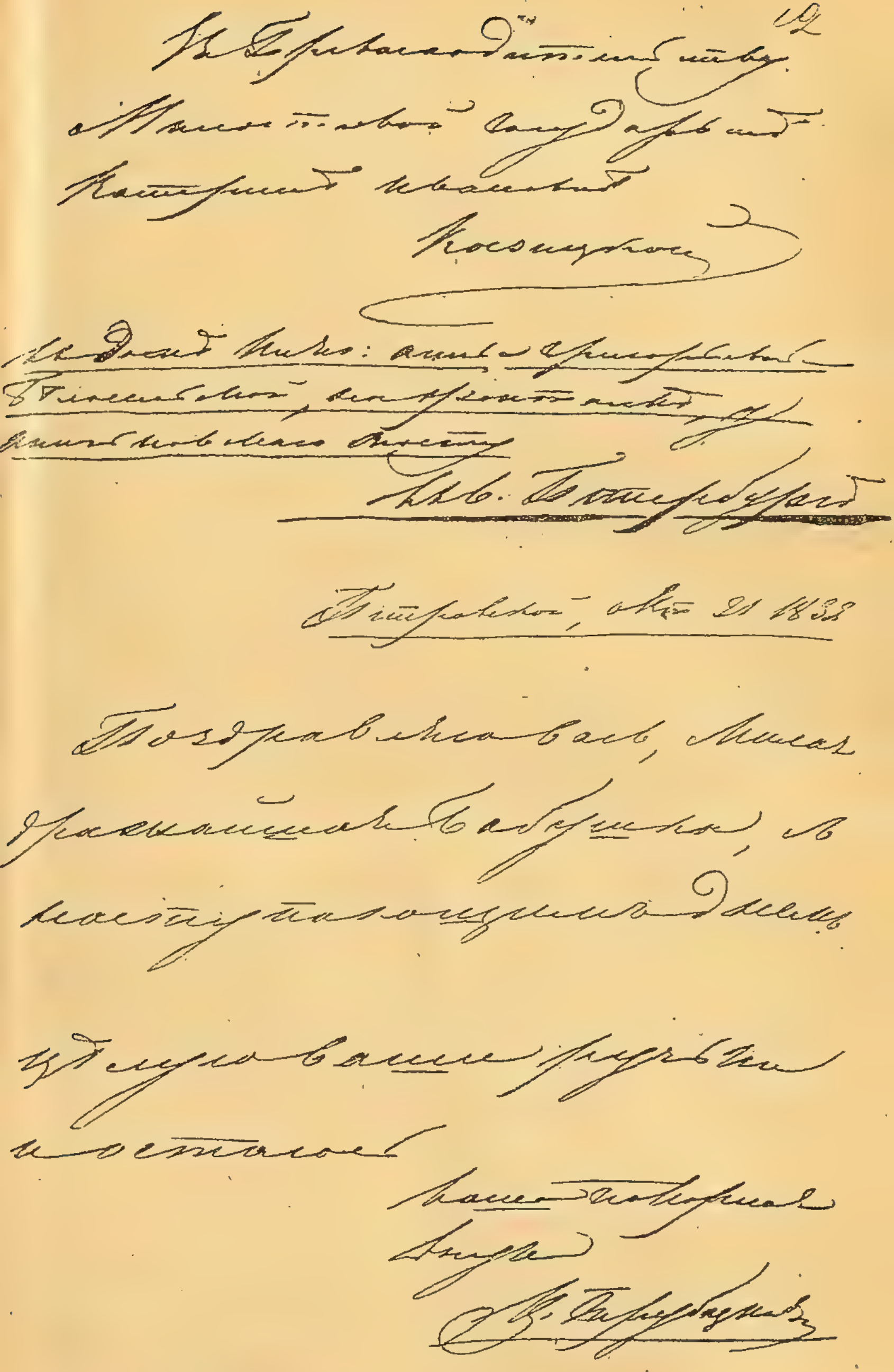
Начну, дорогая и добрейшая тетушка, с поздравления вас со днем рождения бабушки и с таковым же вашего маленького Саши, который приходится, как я полагаю, на 23 или 24 октября; прошу вас, добрейшая тетушка, передать также мои поздравления Китти и сказать ей, что я постоянно молюсь за нее и за все, что ей дорого. Теперь же я должна выразить вам признательность за милое письмо, которое я недавно получила от вас. Вы неизменно добры ко мне, дорогая тетушка, и разлука нисколько не отражается на ваших чувствах: я это знаю уже очень давно, а между тем каждый раз, как я получаю от вас письмо, в котором вы мне говорите о вашей дружбе, я счастлива и не знаю, как благодарить вас за это. Я много думала о вас, когда узнала о болезни Зинаиды Волконской. Однако, благодарение богу, теперь-то вы спокойны на ее счет. На-днях ее невестка получила очень большое письмо, продиктованное ею Магдалине и доставившее нам большое удовольствие, как добрыми вестями об ее здоровье, так и стилем, который постоянно одинаков у Зинаиды. Вы увидите, как воздух Рима совершенно вылечит ее в несколько дней. Что поделывает Эспер? Когда вы будете писать ко мне, дорогая тетушка, пожалуйста, сообщите мне о нем и об его семье как можно подробнее. Софья пишет мне, что Китти вернулась из Нижнего здоровой и что эта поездка принесла ей пользу. Будьте здоровы, дорогая и добрая тетушка. Да хранит и защищает господь вас и всех ваших. Целую ваши ручки и обнимаю вас так же нежно, как и люблю вас. Обнимите за меня Эспера, Китти и их детей.

Преданная вам племянница *Е. Трубецкая.*

(На листке, в который вложено письмо): Ее превосходительству, милостивой государыне Катерине Ивановне Казицкой в доме княгини Анны Григорьевны Белосельской, на Фонтанке у Аничковского моста, в С.-Петербурге.

---

[1]) До этого места писано по-русски и воспроизводится точно по подлиннику, за исключением правил нового правописания. Дальнейшее писано по-французски.



Факсимиле Е. И. Трубецкой

(адрес, начало и конец русского текста письма от 21 октября 1832 г.)

Письмо (на 4-х страницах малого почтового формата) жены декабриста С. П. Трубецкого, послано из Петровского Завода в Сибири, где декабристы с 1830 г. были поселены все вместе в специально для них выстроенной каторжной тюрьме. Посылалось оно бабушке Е. И. Трубецкой по матери, Екатерине Ивановне Козицкой, и тетке, младшей сестре ее матери, княгине Анне Григорьевне Белосельской-Белозерской. Е. И. Козицкая — дочь богатого уральского заводчика И. С. Мясникова— была замужем за известным статс-секретарем Екатерины II Г. В. Козицким, умершим в 1775 году. 58 лет она оставалась вдовою и умерла в мае 1833 года 87 лет от роду.

Несмотря на то, что дочери ее заключили такие аристократические браки и в их домах родным языком был французский, Е. И. Козицкая, повидимому, до конца жизни умела читать только по-русски. Иначе Е. И. Трубецкая написала бы все письмо по-французски, которым ей самой легче было пользоваться.

Тетушка — княгиня Анна Григорьевна Белосельская, урожденная Козицкая, вторая жена дипломата, писателя и любителя искусств князя А. М. Белосельского.

Сапа — внук А. Г. Белосельской, сын генерал-ад'ютанта Ив. Ос. Сухозанета, одного из главных усмирителей восстания 14 декабря. Слепой поклонник дисциплины, Сухозанет считал науку и рассуждение самыми крупными недостатками и сурово боролся с ними в своей служебной деятельности. Николай Павлович любил его за эти качества и поручил заботам Сухозанета все военно-учебные заведения, которыми тот заведывал с соответственным успехом во все николаевское царствование. Вскоре после суда над декабристами Сухозанет женился на двоюродной сестре Е. И. Трубецкой, дочери А. Г. Белосельской, Екатерине Александровне, и таким образом приходился близким свойственником одному из главных участников в заговоре декабристов. А. И. Сухозанет родился 23 октября 1827 года. Китти — Екат. Ал. Сухозанет. Года за полтора до этого письма И. О. Сухозанет был тяжело ранен в одном из сражений при усмерении польского восстания, при чем ему оторвало правую ногу.

Зинаида Волконская — дочь кн. А. М. Белосельского от первого брака, известная писательница, знаменитая красавица Александровской эпохи, покровительница искусств, перешедшая в конце 20-х годов в католичество и вынужденная в связи с этим оставить Россию. Она поселилась в Риме, где на ее «вилле Волконской» собирались русские писатели и художники. З. А. Волконская была замужем за старшим братом декабриста С. Г. Волконского, князем Никитой Григ. Волконским. В ее гостиной провела свой последний вечер в Москве, в декабре 1826 года, жена С. Г. Волконского, Мария Николаевна, отправившаяся в Сибирь за сосланным в каторгу мужем.

Невестка Зинаиды — Мария Николаевна Волконская, жена декабриста, жившая вместе с Е. И. Трубецкой в Петровском Заводе.

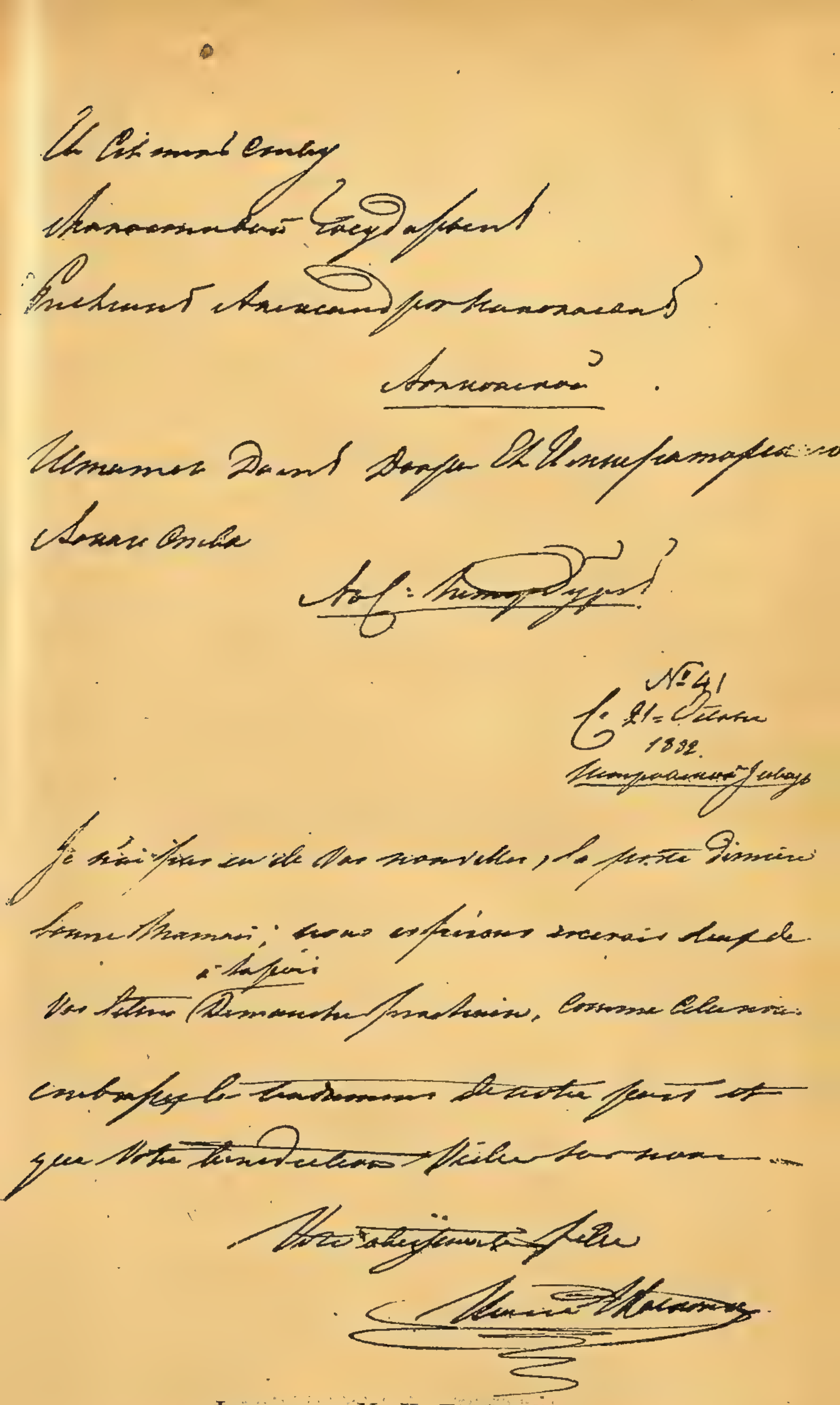
Эспер — сын А. М. и А. Г. Белосельских-Белозерских.

---

24. М. Н. Волконская — А. Н. Волконской.

№ 41. 21 октября 1832. Петровский Завод.

Я не имела от вас известий с последней почтой, добрая маменька, и мы надеемся получить два ваших письма сразу в следующее воскресенье, как это бывает обыкновенно. Сергей вполне здоров и живет попрежнему. Я не могу сказать того же про моего Мишеньку; бедный ребенок страдает уже три дня; наш добрый Вольф уверяет меня, что в этом нет ничего серьезного. Это не больше, как болезнь прорезывания зубов, но я



Факсимиле М. Н. Трубецкой
(адрес, начало и конец письма от 21 октября 1832 г.).

сознаюсь, что не буду спокойна на его счет, пока я не увижу его вполне здоровым. Надо надеяться, что в ближайшем письме я сумею сообщить вам хорошие известия о всех нас.

Осень наша очень приятная для края, где в это время 14° мороза; со своей стороны я очень рада, что суровое время года наступит позднее; я должна заниматься и выходить ежедневно на свежий воздух, — когда же наши сильные сибирские морозы установятся, приходится поневоле оставаться взаперти дома.

Я кончаю, добрая маменька, так как слышу, что Мишенька кричит — необходимо отвлечь его от его боли.

Вы осчастливили меня присылкой письма Зинанды: его мне недоставало, чтобы убедиться в ее выздоровлении. Я не могу отвечать ей сегодня; у меня совсем нет охоты посылать ей несколько слов так далеко; обнимите ее нежно за нас и да будет над нами ваше благословение.

Ваша покорная дочь *Мария Волконская*.

(На обороте): Ее сиятельству, милостивой государыне княгине Александре Николаевне Волконской, штатс-даме ее императорского величества. В С.-Петербург.

Письмо жены декабриста к его матери. Подлинник по-французски на 2 страничках сложенного вдвое полулиста большого почтового формата с серебряным обрезом. Адрес и слова «Петровский Завод» написаны по-русски.

Мишенька — сын М. Н. Волконской, родившийся 10 марта 1832 г. Крестным отцом его был декабрист А. В. Поджио, брат которого И. Поджио был свойственником М. Н. Волконской. А. В. Поджио был и одним из первых учителей-воспитателей М. С. Волконского и постоянным другом его до самой своей смерти. М. С. Волконский впоследствии издал в свет записки своих родителей.

Вольф, Ферд. Богд. — декабрист, штаб-лекарь южной армии, ближайший друг главных руководителей заговора. Он был, повидимому, человек отличных качеств, все декабристы-южане и все товарищи по каторге и ссылке отзываются о нем с особенной задушевностью. Отчасти на их отзывы влияло и то, что образованный врач Вольф был буквально спасителем семей декабристов в захолустьях Сибири, даже главные города которой страдали тогда от невежественных гарнизонных лекарей николаевского царствования.

Зинанда — кн. Зин. Ал. Волконская, жена старшего брата декабриста С. Г. Волконского — о ней выше, в пояснениях к письму кн. Е. И. Трубецкой к бабушке.

---

25. Н. Д. Фонвизина — И. А. Фонвизину.

Октябрь 21 (1832 г.) Петровский Завод, № 107.

Мы получили два письма от вас, сердечный друг братец, на прошедшей почте — первое от 25-го, второе от 31-го августа. Не могу скрыть от вас, что последнее очень огорчило нас. Мы, не предполагая никаких препятствий важных к браку милого

Октября 21го Петровскій Заводъ

~~№~~ 107й

Мы получили 2 письма отъ
Васъ сударыньй другъ Братецъ
на прошедшей почтѣ — первое
отъ 25го второе отъ 31го Августа
Не могу скрыть отъ Васъ что
послѣднее очень огорчило насъ
Мы не предполагали никакого
приключенія Вашего къ Брату
Милаго друга нашего Кетушки.

Любящая васъ Сестра и другъ

Наталья Фонвизина

Факсимиле Н. Д. Фонвизиной

(начало и конец письма от 21 Октября, 1832 г.).

друга нашего Катерины Федоровны, предались всем сердцем радостной надежде видеть ее счастливою и потому-то неожиданное известие в последнем письме вашем тем более нас огорчило. Согласна с вами, что трудно и очень трудно будет заменить Метраля по всему тому, что и вы писали об нем и другие. Покамест думаю очень вам трудно с детьми одним заниматься. Вы же иногда бываете нездоровы, друг милый, к тому же у вас другие еще дела и заботы. Помоги вам господь. Одна утешительная мысль, что без его воли ничего не делается и следственно не может быть очень худо. Мы оба здоровы. О табаке я уже вам писала и теперь еще говорю, что етот табак очень нравится Михайле, хотя он и предпочитает турецкий американскому, а нюхательный очень хорош. О Федоровне имеем известие, что она уже отправлена из Иркутска. Простите, мой милый друг. Детушек благословите за нас. Сашиньку целуем. Катерину Федоровну и вас от всего сердца обнимаем.

Любящая вас сестра и друг *Наталия Фонвизина.*

(На конверте): Его высокоблагородию, Ивану Александровичу Фонвизину в Москве на Сретенском валу в собственном доме.

Письмо (на трех страничках малого почтового формата; по-русски) Нат. Дм. Фонвизиной, жены декабриста Мих. Ал. Фонвизина, генерал-майора и давнишнего члена тайных обществ, но к моменту раскрытия заговора не принимавшего в нем действенного участия, хотя и прибывшего из деревни в Москву на с'езд заговорщиков перед самым восстанием. Отнесенный к четвертому разряду, М. А. Фонвизин был приговорен к 8-летней каторге и дальнейшей ссылке в Сибирь. Брат его, Иван Ал. Фонвизин (они были сыновья родного брата знаменитого писателя), сохранил для М. А. Фонвизина все его состояние (оставил ему, как вдовый и бездетный, в наследство и свою часть), постоянно просил государя за ссыльного брата и лишь в 1853 году добился разрешения последнему вернуться на родину, но сам умер за месяц до прибытия М. А. Фонвизина в деревню. Сам М. А. умер через год, а еще через два года вдова его вышла замуж за его друга по ссылке, известного декабриста Ив. Ив. Пущина — лучшего друга Пушкина. (См. книгу «Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. Редакция и вступительн. очерк С. Я. Штрайха». М. 1925).

Письмо послано брату декабриста Ив. Ал. Фонвизину, который сам участвовал в свое время в тайном обществе, но задолго до 1825 года отдалился от деятельности заговорщиков.

Катерина Федоровна Пущина, сестра жены Ив. Ал. Фонвизина, жившая в его доме. Метраль — учитель детей М. А. Фонвизина, живших у дяди Ив. Ал. Этому же учителю предполагалось доверить воспитание детей декабриста И. Д. Якушкина. Федоровна — прислуга Фонвизиных в Сибири, отосланная ими на родину. Дети Фонвизиных — Дмитрий и Михаил. Сашинька — сын Ив. Ал. Фонвизина, умерший малолетним.

26. М. К. Юшневская — М. Аврамову.

Петровский Завод, 21 октября 1832 года.

Милостивый Государь Михайло Васильевич.

После письма Вашего от 16-го июля, полученного братцем Вашим 7-го августа, протекло уже около трех месяцев и он не имеет ни от кого ни одной утешительной строчки, после чего для уведомления Вас и сестриц о себе решился было ждать непременно получения Вашего письма, но потерял терпение, и сверх сего считает грехом против памяти дражайших родителей Ваших оставить Вас так долго без известия о себе, хотя бы и случилось, что Вы к частому получению о нем известий сделались равнодушнее; и потому просит сказать Вам, что он славу богу здоров, и целуя руки тетушке Марье Васильевне, целуя сестриц и Вас, просит бога о даровании Вам всем здоровья и возможного благополучия, о чем не перестанет молиться до конца своей жизни, как равно и о успокоении душ и даровании вечного блаженства небесного незабвенных родителей, потерю коих с каждым днем чувствует сильнее, сиротствуя в полном смысле. Нуждаясь во всем необходимом для жизни, он просит Вас прислать процентные деньги, полученные Вами с должных ему денег Семен Петровичем Юшневским; за исполнение сей просьбы его он будет Вам и сестрицам сердечно благодарным.

Легко могло случиться, что неполучение им от Вас писем почти три месяца сряду произошло от нахождения Вашего в лагере, и в таком случае впредь просит добрых сестриц своих писать к нему от себя, что прежде Варвара Васильевна исполняла очень охотно. За сим еще раз душевно целует Вас, братца и милых сестриц, Катерину Васильевну, Машиньку и Вариньку тысячу раз, целует руки тетушкам Марье Васильевне и Лизавете Васильевне.

Нужным считаю добавить Вам, что Павел Васильевич день ото дня более грустен, часто со слезами на глазах говорит, что он любит родных своих со всею нежностью, рад бы получать от Вас известия, и лишен сей отрады. Кленусь Вам, что нельзя видеть равнодушно его страдания, прошу убедительно сестриц Ваших писать ему по очередно; что может быть приятнее для сестры, давая отраду своими письмами столь доброму любящему Вас брату. Вас, Михайло Васильевич, может служба занять и отнять у Вас время посвятить на то, чтобы дать утешительное известие брату Вашему, — а сестрицы всегда свободны ему писать, не одна так другая. Прошу Вас поклониться от меня всему милому почтенному Вашему Семейству и быть уверенну в душевном моем к Вам уважении.

Покорная к услугам *Марья Юшневская.*

(На конверте): Его благородию, милостивому государю Михаилу Васильевичу Аврамову, Главного инженерного училища кондукторской школы г-ну поручику, в Инженерном замке в С.-Петербурге.

Письмо (по-русски; на 3-х страницах большого почтового формата) писано женою декабриста А. П. Юшневского, М. К. Юшневской, от имени и под диктовку декабриста П. В. Аврамова (последний абзац написан М. К. Юшневской от себя).

Павел Васильевич Аврамов, член Южного общества, полковник и командир Казанского полка, осужден по 4 разряду. Сначала он был рьяным участником самых революционных собеседований заговорщиков, но постепенно отстал от тайного общества и в восстании участия не принимал. Тем не менее Николай Павлович послал его на каторгу на 8 лет. В Сибири Аврамов совсем потерял бодрость и постепенно увядал (он умер в 1836 году, 46 лет от роду). В письмах М. К. Юшневской к брату ее мужа также много говорится об угнетенном состоянии духа П. В. Аврамова и об его денежных затруднениях.

В. Гонцова-Берникова.

Из жизни декабристов на каторге и в ссылке в 1827 году.

Сведения, сообщаемые здесь, основаны исключительно на материалах, хранящихся в Лефортовском военном архиве, в бумагах канцелярии дежурного генерала главного штаба (секретная часть) и относящихся к 1827 году. Декабристы к этому времени либо уже отправились, либо только увозились к месту их долголетней ссылки и так или иначе устраивались в далекой Сибири. О порядке их увоза мы находим некоторые сведения в печатной литературе о декабристах (Дмитриев-Мамонов. «Декабристы в Западной Сибири». 1905 г.). Рассматриваемые нами материалы дают некоторые подробности, которые касаются каких-либо нарушений в обычном порядке следования государственных преступников.

В феврале месяце 1827 г. выехали Загорецкий и Ивашев из С.-Петербурга в Тобольск, а оттуда 6-го марта направились в Иркутск, конечный пункт, в распоряжение властей которого отправлялись декабристы. Прибыли они туда 2-го апреля, в дороге пробыли полтора месяца. Жандарм, сопровождавший их, представил в канцелярию главного штаба заявление, в котором дает отчет о дороге: «Погода была хорошая, местами грязная, ночевали через трое суток. До Тобольска преступники были здоровы, Ивашев заболел и оставлен в больнице, в дороге же были равнодушны. Сношения с преступниками никто не имел и с жандармом ничего особенного не говорили. В Иркутске Загорецкого сдал в полицию. Преступники были в кандалах».

Такое же сообщение с некоторыми подробностями имеем в донесении жандармов, сопровождавших до Тобольска фон-дер-Бриггена и Выгодовского, а до Иркутска еще Аврамовых и бар. Черкасова. Из Петербурга выехали 15-го февраля, в Тобольске были 8-го марта и в Иркутске 7-го апреля, остановка была из-за отсутствия лошадей. Жандарм сообщает: «Преступники были здоровы, Выгодовский печален, а другие равнодушны. Из То-

больска пели песни. Бригген один раз спросил у жандарма: «каков до вас нынешний государь и таков ли для солдат, как покойный Александр I». Ему ответили, что «сравнения о государях делать не должно». Он же, Бригген, передал жандарму Евтухову письмо в Михайловский замок, где этот последний должен был получить вознаграждение. В Иркутске заехали в с'езжий дом 1-й части, сдали преступников частному приставу, который посадил их в арестантскую».

Из всех дел, касающихся увоза декабристов в Сибирь, останавливает наше внимание дело (№ 21, св. 40) о беспорядках, происшедших в проезд фельд'егеря Желдыбина через Ярославскую губернию с преступниками. Оно началось 2-го января 1828 года, кончилось в декабре этого же года. Фельд'егерь Желдыбин известен своею жестокостью и зверством, о нем в литературе не раз упоминалось со слов декабристов. Вот что пишет А. М. Муравьев в своих записках о Желдыбине:

«В полуверсте от первой почтовой станции фельд'егерь остановил нашу повозку, а свою пустил во весь опор к станционному дому, откуда он вскоре вернулся со свежими лошадьми. Фельд'егерь действовал по данным ему указаниям. Подозревали, что наша бедная матушка будет ждать нас на станции, чтобы сказать нам последнее «прости»... Матушка унизилась до мольбы, чтобы ей разрешили обнять нас в последний раз: она предлагала довольно крупную сумму денег, но ничего не добилась: фельд'егерь сказал, что ему даны инструкции, за выполнением которых следят. Запрягли лошадей, и мы помчались галопом... Никому не позволяли приблизиться к нам. С цепями на ногах мы сделали эти 6050 верст в 24 дня... В Тихвине, недалеко от Петербурга, несмотря на побои фельд'егеря, народ с непокрытыми головами желал нам счастливого пути... Из всех неприятностей, которые мы переносили в пути, особенно было тягостно быть свидетелями варварства, учинявшегося фельд'егерем. Он нещадно колотил ямщика и хвастался, что вырвал ему бороду. Особенно, когда ему приходилось платить прогоны, мы были свидетелями печального зрелища его жестокости. Верный обычаям наших чиновников, он стремился присвоить деньги, отпущенные ему на прогоны: расходы на 12 лошадей от Петербурга до Иркутска составляли довольно крупную сумму. Бедные лошади околевали от усталости» (С. Штрайх. «Декабрист А. М. Муравьев». СПБ. 1922, стр. 26—28).

И. Д. Якушкин в своих записках пишет о Желдыбине след.: «В Кунгуре мы пробыли почти целые сутки и тут настиг нас следовавший за нами поезд. Пущин, Поджио и Муханов в сопровождении своего фельд'егеря Желдыбина и жандармов прибыли в Кунгур, когда мы уже укладывали вещи. Оба фельд'егеря согласились ехать вместе... Мы ехали все шестеро вместе около двух суток, потом наш фельд'егерь, добрый Миллер, увез нас троих (Якушкина, Арбузова и Тютчева) вперед;

для него и для нас было невыносимо неистовое поведение Желдыбина с ямщиками, он бил немилосердно, не платя почти нигде и половины прогонов. Вообще фельд'егеря имели полную возможность обогатиться, перевозя государственных преступников в Сибирь» (Записки И. Д. Якушкина, М. 1905 г., 131, 132).

П. Е. Анненкова так характеризует Желдыбина: «Фельд'егерь Желдыбин был ужасный человек, он обходился жестоко с теми, кого вез, не давал им ни есть, ни отдохнуть, бил ямщиков и загонял несколько лошадей. И все для того, чтобы успеть доскакать с одними до места назначения, кажется, до Иркутска, и вернуться за другими: так соблазнительны были для этого изверга прогоны и разные сбережения от сданных на его руки арестантов... Мало того, что этот зверь Желдыбин заставлял беспощадно мчаться первые жертвы свои, но он еще чуть не заморил всех. Никто из них не имел шубы. Морозы стояли жестокие». Далее Анненкова пишет: «Екатерина Федоровна Муравьева задарила также фельд'егеря, но и это не помогло: он до самого Томска мчался, не обращая внимания на то, что его упрашивали остановиться где-нибудь, чтобы купить еще теплого платья; только в Томске удалось им это сделать» (С. Штрайх. «Декабрист А. М. Муравьев». СПБ. 1922, прим. к стр. 27 и 57).

В письме к отцу И. И. Пущин тоже говорит о Желдыбине: «Прощаясь, я немного надеялся кого-нибудь из вас видеть в Ладоге, или по крайней мере найти письмо. Впрочем, вы хорошо сделали, что не приехали, ибо Желдыбин никак бы не позволил свидания» (С. Штрайх. «Декабрист Пущин». М. 1925 г., стр. 155). Пущин не ошибся; фельд'егерю представился бы при этом только лишний случай проявить свою жестокость.

И все-таки беспощадный, жестокий к людям и лошадям, фельд'егерь, исполнявший не за страх, а за совесть инструкции, попал под суд. Еще в начале декабря 1827 года был предан суду жандарм Провалов, один из сопровождавших декабристов вместе с Желдыбиным, за то, что взял у Пущина письмо к отцу. Правда, Провалов оправдывается, что взял письмо с тем, чтобы доставить дивизионному начальству и за то получить награду, а, потеряв его, убоялся сказать, что брал. Желдыбин же был арестован на две недели за неисправность по службе (Д. № 248. св. 38, Леф. Арх.).

Поводом к привлечению Желдыбина к военному суду было следующее донесение ярославского гражданского губернатора управляющему министерством внутренних дел: «Сего ноября 16-го дня, на Петербургском тракте от г. Мологи в 10-ти верстах, проезжающими крестьянами найден завязанный мешок и представлен ими мологскому городничему. По осмотру оказалось в оном мешке: жандармская шинель с фуражкою, небольшой кожаный чемодан, теплые кенги, валеные сапоги, две портупеи, одна белая замшевая, другая черной кожи, старая;

в чемодане: рубашка, полотенце, салфетка, холстяные брюки и старые замшевые рукавицы, неизвестно кому принадлежащие; а в упомянутой фуражке под подкладкой найдена книжка в полосьмую долю листа, согнутая на 28 листах, вся исписанная карандашом, кроме последней страницы; при ней на четвертинке письмо, незапечатанное, писанное из Тобольска от неизвестного с адресом: Лизе Шаховской на Пречистенке в своем доме в Москве, а другое, тоже незапечатанное, на осьмушке листа от неизвестного же с адресом г. Рачинскому, и при сем последнем тою же рукою писанная на маленьком лоскуточке бумаги записка... Городничий донес, что 15-го числа в ночи на 16 число сего месяца, как по розысканию его открылось, проезжали к Петербургу через г. Мологу два фельд'егеря — один Миллер, другой Желдыбин (в донесении Шоладыбин), почему и должно полагать, что мешок тот с показанными вещами потерян ими... Как в упомянутой книжке содержится много иносказательного, что, по мнению моему, навлекает некоторое подозрение на связи писавшего ту книжку преступника с некоторыми из упоминаемых в ней лицами, особенно же открывается условие вести с ними секретную переписку с употреблением при том лимонного соку, который по об'яснению его может способствовать сохранению между ими секретов... При чем нужным считаю донести: 1-ое, что в означенной книжке между прочим упоминается, что преступник Якушкин имел в гор. Ярославле свидание с женой и тещею своею в продолжение 17 часов; но сие несправедливо, а имел он здесь свидание с помянутыми лицами вследствие об'явленного мне г. дежурным генер. Потаповым Высочайшего Е. И. В. дозволения в присутствии моем не более семи часов, но и сие время для свидания дано им было потому, что в то самое время перевоз через реку Волгу от проходящего льда сделался для переправы совершенно невозможным, коль же скоро препятствие таковое миновалось, то означенный Якушкин в тот же час и был отсюда выпровожден; 2) упоминается также в оной книжке о проживающей в Ярославле г-же Уваровой, которая ждет брата своего Лунина. Приехавшая в Ярославль г. Уварова действительно проживает здесь и теперь на постоялом дворе, но по какой надобности вовсе не было мне известно, а как ныне усмотрено мною для чего она здесь жительство имеет, то и принял я против намерения ее надлежащие меры». Гражданский губернатор не был предупрежден относительно проезда государственных преступников, а потому и были допущены некоторые беспорядки.

К делу приложена копия с книжки Пущина и письмо к отцу. И то и другое читатель найдет в книге С. Штрайха. «Декабрист Пущин», на стр. 143—155.

От 21-го января 1828 года за подписью Дибича было послано из канцелярии дежурного генерала главного штаба ген. Бенкендорфу след. отношение:

«Дошло до сведения, что отправленный отсюда 8-го октября прошлого года в Сибирь с государственными преступниками Мухановым и Пущиным фельд'егерь Желдыбин, вопреки данной тому инструкции, об'явив в Ярославле сестре преступника Лунина г-же Уваровой, пребывшей туда с намерением видеться с братом своим, что он везет преступника Муханова, ей знакомого, позволил ей с ним видеться, равномерно допустить свидание с находившимися там в то время г-жей Якушкиной и матерью ее, которая Пущина при от'езде благословила образом».

Затем следует предписание строжайше расследовать поступки Желдыбина и, если он окажется виновным, арестовать его и содержать под арестом вплоть до разрешения.

В следственном деле на месте, а затем и в военно-судном были опрошены ряд свидетелей, только показания двух жандармов, Кузьмичева и Дубового, говорят не в пользу Желдыбина. Они указали, что с дозволения фельд'егеря Желдыбина было устроено свидание Якушкина с Мухановым и Пущиным, во время свидания находились в доме, в особой комнате, где с ними вместе был и Желдыбин; Кузьмичев видал, что Якушкина дала фельд'егерю два картуза табаку и в ящике пирог. Содержатель постоялого двора и почтовых лошадей, а также и его приказчик показали, что Уварова действительно жила в Ярославле, но ни о каком фельд'егере Желдыбине они не знают. Крестьянин же Мешалкин, у которого Желдыбин менял лошадей, показал, что «осенью провозимы были трое преступников при фельд'егере, приезжали Якушкина и Уварова, из коих последняя просила фельд'егеря, стоя на коленях, позволить видеться с привезенными преступниками, но он их не допустил, а виделись они только в сенях, тогда как стали их выводить. В другой раз, при провозе троих же преступников, были допущены фельд'егерем к свиданию вышеизложенные госпожи и находились с ними вместе около получаса. Говорили не по-русски». Уварова в письме к подполковн. Шубинскому, производившему это расследование, об'ясняла, что так как ей было известно, что фельд'егерь увез ее двоюродных братьев Муравьевых, хотела о них расспросить, «кроме ответа на вопросы, внушаемые ей по духу христианства и родства, Желдыбин не подал ни малейшего повода сомневаться в ревностнейшем исправлении должности и даже упорно отказывался позволить ей снабдить с'естными припасами тех, которых он сопровождал и которых даже имена ей, Уваровой, неизвестны».

Показания самого Желдыбина таковы: «Пробыл на постоялом дворе 3/4 часа, Уварова и Якушкина с матерью просили позволения видеться с преступниками, но не получили оного; спустя несколько минут вышел он в компату почт-содержателя узнать, выставлены ли лошади на другой стороне Волги, и чтобы дано было знать полиции для принятия мер к переправе через реку; в сие время услышал он в комнате, где нахо-

дились преступники, женский голос и в ту же минуту бросился туда, дабы вывести их; но из разговоров их только слышал, что Уварова спрашивала о каком-то брате, здоров ли он, на что Муханов отвечал ей что-то по-французски. О ящике узнал он по утру, осмотрев, нашел только пирог. А Якушкина имела времени только дать образ. Он, Желдыбин, вовсе никогда не знал Уваровой и о жительстве ее; также не мог знать, знаком ли ей Муханов или нет, следовательно не имел надобности давать знать Уваровой, что он препровождает преступника Муханова».

Расследование на месте установило, что, хотя Желдыбин не уличается в действительном позволении свидания преступников с Якушкиной, ее матерью и с Уваровой, — но фельд'егерь «подвергается большому подозрению», а потому он был предан военному суду, который, рассмотрев все дело, вынес «сентенцию»: «допуск к свиданию с тремя преступниками был самый кратковременный, а притом и насильственным образом, несмотря на сопротивление жандарма Привалова, бывшего в то время при преступниках на часах, но чтобы к сему был какой-либо умышленный повод со стороны фельд'егеря Желдыбина, того по производству дела не открыто, и никем из посторонних совершенно не доказано... впрочем невозможно оправдать подсудимого по сему делу потому, что он не исполнил в точности данной ему инструкции... признать его виновным, хотя в неумышленном, но от непредусмотрительности происшедшем со стороны его допуске к свиданию с преступниками родственников их и за недонесение о сем происшедшем в свое время, а потому приговорил служить шесть месяцев рядовым». Дежурный генерал главного штаба не согласился с таким постановлением военно-судной комиссии. Он, правда, усматривал оплошность и упущение в поступке Желдыбина, но, принимая во внимание прежнюю отличную службу Желдыбина, и в особенности то, что он в 1826 году в подобном же случае отвергнул 3.500 р., предложенные ему родственниками препровождавшихся им в Сибирь государственных преступников Муравьевых, Торсона, и Анненикова, за дозволение видеться с ними он, дежурный генерал, полагает, «вменив фельд'егерю Желдыбину годичное нахождение под судом и арестом в наказание за вину, происшедшую от оплошности и самонадеянности, обратить его попрежнему на службу по фельд'егерскому корпусу, подтвердившему, что первое малейшее отступление от обязанностей повлечет на него строжайшее взыскание».

Дело закончилось 11-го декабря 1828 года.

Отправлялись декабристы в Иркутск, откуда их распределяли по рудникам и на поселения. Тут произошел инцидент, повлекший за собой предание суду председателя иркутского губернского правления Горлова. Случилось же следующее. Когда в Иркутск прибыли декабристы Муравьев, Давыдов, Тру-

бецкой, Якубович, Волконский, Оболенский и два Борисовых, Горлов отправил их на заводы гражданского ведомства; первых двух — в Александровский винокуренный, Оболенского и Якубовича—в Иркутский солеваренный, четырех остальных—в Николаевский винокуренный, тогда как все должны были быть отправлены в Нерчинские рудники. «Горлов дал приказание снять военный караул и даже освободить от оков», — возмущенно отмечает донесение,—«всякий беспрестанно мог иметь с ними сообщение, а некоторые, как, например, иркутский учитель Якульяни, бывал беспрестанно». За подобное попустительство и доброжелательное отношение к декабристам Горлов был отстранен от должности, вызван в столицу и отдан под суд (дело № 120, св. 34, Леф. Арх.). Осужденные декабристы были водворены на Нерчинские рудники. Все отправлявшиеся из Сибири или направлявшиеся туда находились под строгим контролем правительства. Сам шеф жандармов Бенкендорф требовал от дежурного генерала главного штаба Потапова сообщать ему «точнейшие и подробные сведения касательно осужденных верховным уголовным судом преступников и вообще всех прикосновенных к следственному делу о них лиц. Вопреки сему сведения ограничиваются отношением и принадлежащими к оному приложениями» (дело № 26, св. 29). Он не довольствуется, однако, шаблонной ведомостью казенного образца; ему нужно знать каждый их шаг, каждую мысль.

Немудрено, что в канцелярии дежурного генерала попадали письма, выражавшие настроения одних и отношение к сосланным других. Так, член горной экспедиции при Нерчинском заводе Федор Фриш описывает своему родственнику, бригадному командиру 3-ей гренадерской дивизии г.-м. Матвею Фришу (письмо от 13-го августа 1827 года), работу осужденных и свое отношение к ним: «Преступников доля, конечно, достойная их заслугам, но и то еще милость, что они дышат свободным воздухом, ходя каждый день на работу в оковах за грозною стражей. Там они поднимают, катают, носят руду и камень ломают, бьют, мельчат и проч. Здесь поблизости только восьмеро их и две жены, кои только издалека на них глядят. Прочие остановлены и содержатся в строгом присмотре при самом коменданте за 500 в. отсюда, в деревне, которая называется острогом, потому, что в древности тут был палисад от набегов монголов. Здесь, т. е. в остроге сем, считается и Павел Бобрищев-Пушкин, но Сергеевич ли он—не знаю, ибо их здесь не величают; а что он жив, знаю потому, что плата на него отпускается. Жен более в заводскую черту не допускают, напрасно Фонвизина едет, ее конечно остановят в Иркутске, как Нарышкину и других. О успехах построения тюрьмы ничего не знаю, это дело коменданта, которого мы снабжали людьми и припасами. Дай бог только, чтобы с нас за искреннее усердие и исполнение воли государя не взыскали» (Д. № 148, св. 35).

Повидимому, Фриш, отправляясь в экспедицию, получил кое какие задания разузнать о декабристах и на эти вопросы отвечает осторожно, избегая лишнего.

Задержано было письмо (и снята копия с него), написанное канцеляристом Антоном Войниловичем, поручиком Черниговского пехотного полка, принимавшим участие в возмущении, произведенном С. Муравьевым-Апостолом. Оно краткое и интересно тем, что рисует обстановку глубокой глуши, в которую попали декабристы: «Прибыл в крепость Ямышев, стоит на берегу Иртыша на границе киргизцев, народа почти дикого. Здесь в предместии находится только несколько изб казаков и женатых солдат, а других жителей нет и те большие пьяницы». (Д. № 158, св. 35).

Должностные лица, имевшие отношение к декабристам, старались выказать начальству свое осуждение делу декабрьского восстания. Правда, многие, наоборот, своим отношением к этим последним высказывали им сочувствие, но мелкие чиновники боялись, чтоб их в чем-либо не заподозрили. Так, нерчинский почтмейстер Климантов пишет служащему в Волынске, в имении гр. Мошинской, Портнову: «Крайне соболезную, что вы принимаете участие о таких людях, которые согрешили пред богом, царем и законами, страшусь даже слышать о них, а не только иметь переписку, бог с ними, кто в грехе тот в ответе...». Это письмо возбудило дело, государь поинтересовался узнать о Портнове, «какие он мог иметь причины к желанию иметь связь с сосланными в Сибирь преступниками». Оказалось, что по его предположению должен быть сослан в Сибирь Мошинский, и Портнов думал, что при помощи знакомого почтмейстера он сможет пересылать письма и деньги мужу графини и тем самым получать вознаграждение (Д. № 171, св. 35). Очутившись вдали от родины и близких, часто в полном одиночестве, декабристы искали все способы, чтоб занять тянувшееся годами изгнание. Самообразование, дело благотворительности, рисование, домашнее хозяйство заполняли вынужденный досуг.

Враницкий послал гражданскому губернатору письмом срисованный вид гор. Пелыма. Это было препровождено Бенкендорфу, который посылал ему готовальню, ящик красок, бумагу и пр. Материальное положение Враницкого, как многих других, было очень тяжелым. Он пишет в письме: «Отдален от родных, приятелей и всего просвещенного мира, в сем мрачном уголке земного шара мучительные дни жизни моей проходят и вместе с ними приметно моральные и телесные силы мои. Увядает растение, которое могло давать еще плодов, если-б его не покрывала тень и беспрестанная мрачность, солнце своею благотворительною теплотой уже давно не согревает его». Он просит помочь ему, т. к. ему не на что существовать, а также прислать все для рисования и снятия плана. Он был всем удовлетворен (Д. № 7, св. 28).

С подобной просьбой облегчить участь сыновей обращаются отцы декабристов. Отец Ивашева напоминает, что сын его не мог оправдать себя при первом допросе, т. к., когда Ивашев заявил, что он к обществу принадлежал, но о злодейской цели ничего не знал, то вопрошающий, «исполненный справедливым негодованием к пагубным богоотступным замыслам, вероятно, желая скорее исторгнуть признание, сказал: «если не сознаешься, то железа и пытки тебя ожидают», угроза сия поразила его, сердце и язык несчастного замерли», в таком состоянии его отправили в крепость.

Канцелярия главного штаба потребовала справку об Ивашеве, и на этом дело кончилось (Д. 40, св. 30). Точно так же обращается с просьбой записать сына в рядовые кн. И. Одоевский; он нашел бумагу о пожаловании ему ордена св. Георгия и думает, что его заслуги будут приняты во внимание, и сын его искупит свою вину, служа рядовым. Одоевский пишет: «Отними сына моего, юного безумца, у смерти поносной политической и отдай его на жертву смерти естественной, не бесчестной» [1]) (Д. № 14, св. 39). Но все мольбы отцов правительство Николая I по большей части оставляло без последствий.

Из дел, находящихся в военном архиве, останавливают на себе внимание дела о Шаховском и Бобрищеве-Пушкине, Николае Сергеевиче. Судьба этих двух декабристов глубоко драматична.

Шаховской, молодой энтузиаст, одно время масон, секретарь комиссии для выработки устава общества «Союза Благоденствия» в 1817 г., в 1822 году отходит от жизни общества и живет в деревне своей жены, ур. кн. Щербатовой, в Нижегородской губ., где занимается сельским хозяйством. В 1826 году был отправлен на допрос, перед которым он явился, как человек, которого нужно было обвинить, но он совсем не был источником сведений, как говорит П. Е. Щеголев в своих «Исторических этюдах». 2-го августа того же года он был отправлен на поселение в Туруханск, где он занялся привычным и любимым делом: сельским хозяйством. Гражданский губернатор всеподданнейше доносит, что «сосланный по приговору верховного уголовного суда в упраздненный гор. Туруханск преступник Шаховской по 1-ое число минувшего мая вел себя добропорядочно; располагает иметь в Туруханске домообзаводство и скотоводство, также заботится о разведении картофеля и прочих огородных овощей, чего доныне в сем крае не находится».

В ответ на этот рапорт из канцелярии дежурного генерала делается запрос: «спросить, не нужны ли ему каковые денежные пособия для разведения картофеля, каковые и будут ему доста-

---

[1]) В 1837 г. Одоевский был отправлен на Кавказ рядовым драгунского полка, но через два года умер.

влены, но с тем однако же, чтоб ваше превосходительство наблюдали за точным употреблением их на сие или на другие подобные заведения».

24-го октября 1827 года Шаховской переведен в Енисейск. Здесь его спросили, что может он устроить на пользу нового края. Шаховской отвечал, что «не отчаивается заведением хлебопашества по новой системе севооборотов и травосеяния, подать полезные примеры жителям, у которых хлебопашество находится еще в большом младенчестве, что есть возможность сделать пособие поселянам как для облегчения их работ, так и для сохранения их достояний через введение различных экономических строений и орудий, как напр.: орал, озередов, овинов, машин для выделки пеньки и льна и проч., что можно с пользой завести вайду и даже свекловичные плантации; что, наконец, предположение его состояло в том, чтобы завесть особенный хутор для практических опытов разных заведений сих. Благотворная помощь благодеятельного правительства, — пишет Шаховской, — необходима для достояния определенного числа земли, которая может заключаться в 50-ти десятинах, а равно и для заведения строений хутора, машин, орудий и лучших семян; не бесполезно бы также было для распространения образования в хлебопашестве употреблять на хуторе несколько поселян» (Д. № 225, св. 37).

К этому проекту Шаховского гражданский губернатор делает приписку: «не могу умолчать, что неизъяснимое милосердие государя императора сделало глубокое влияние на душу преступника Шаховского».

В результате этой переписки о Шаховском директор ботанического сада Фишер просит Бенкендорфа доставить Шаховскому три учебные ботанические книги, небольшое собрание сухих трав и микроскоп. Дибич не преминул указать, чтоб обратили внимание на могущие и впредь пересылаться к Шаховскому и другим преступникам книги и прочие вещи и поручить кому-либо пересматривать их, особенно книги, «не находится ли в оных что-либо могущее» подать повод к вредным последствиям. Вскоре по прибытии своем в Туруханск Шаховской пытается просить облегчить его участь и несколько оправдать себя. Он пишет государю письмо, подлинник которого хранится в бумагах канцелярии дежурства главного штаба. Написано оно ровным, четким и старательным почерком.

«Ваше императорское величество государь всемилостивейший. Бог поставил тебя отцом народа российского, а в великой душе твоей открыл источник надежды и милосердия, утешение несчастным, отраду горестным и прощение виновным.

Приговор суда, свершенный приложением определенной степени наказания, смыл с меня ужасное имя преступника. Лишенный чинов и дворянства, сосланный за шесть тысяч верст от родины, умер для семейства своего и счастья. Одно упование на милость монарха озаряет мрак жизни моей и увядшую

мечту будущего. Государь, обрати отеческий взор на горькую участь мою. Одна зеница твоя может облегчить тяжкое бремя, падшее на несчастного. Оживленный надеждой уменьшить в очах твоих вину, приписанную мне приговором свершившим несчастие мое, священнейшим долгом поставляю себе, с искренним чувством верноподданного, изложить пред тобою истинное положение дела моего, из которого вашему императорскому величеству представлены были одни исключительно избранные и усиленные обвинения, послужившие к усугублению моего жребия, обстоятельства же, преимущественно относившиеся к выгоде моей, остались тайною. Припечатанный в ведомостях доклад, поднесенный комиссиею вашему императорскому величеству, заключает обвинение меня в покушении на жизнь покойного императора, основанное на одном показании Матвея Муравьева-Апостола: «что для приведения заговора в действие, предлагал я воспользоваться днем моего караула, и что брат его Сергей называл меня тигром». — В бумагах, заключающих ход дела моего, представляется другое показание Никиты Муравьева, совершенно ему противное и более чести моей относящееся, из которого видно, «что, прибыв в собрание, когда узнал о предложенном предмете, то спорил, противился оному и, не дождавшись окончания, уехал».

Остальные же два свидетеля, Фонвизин и Александр Муравьев, отказались при очных ставках утвердить взятые с них показания и подписали под оными: «был ли в собрании — не помнят». Из показания же Матвея Муравьева, об'явленного мне в заседании комиссии господином ген.-ад'ютантом Чернышевым, приписано было мне одно предложение воспользоваться днем караула Семеновского полка, но прозвание тигром об'явлено не было. Муравьев-Апостол в сие время не имел уже качеств, определяющих лицо свидетеля, ибо имя его было предано поношению, о чем в начале февраля месяца в статье о возмущении Черниговского пехотного полка припечатано в ведомостях.

Но комиссия оказала ему предпочтительное доверие, и, не об'явя мне той главной части обвинения, от которой зависела честь моя и общественное мнение, лишила меня средств законной защиты; не взирая также и на положение дела моего, предоставлявшего мне всю выгоду к оправданию, избрала одно лицо Муравьева-Апостола, и по словам его, без допроса других свидетелей, осудило не только политические действия, но и внутренние чувства нравственного образования, личное отношение и частную жизнь мою, приписав мне участие в заговоре, жестокие поступки, свирепый нрав и имя тигра, которое предано было публичной гласности, быстро распространится и падет на несчастное семейство мое и будущее потомство с жестоким укором или злою насмешкой.

Наконец, комиссия поставила меня в числе членов Северного общества, но вместе признала и четырехлетнее прожива-

ние мое в деревне, чем и предоставила мне лучшее и вернейшее средство к оправданию от участия в том разряде; ибо, по изложению порядка заведения тайных обществ в России, установление Северного относится к двум или трем годам последних событий. Сколь тщательно употребляемы были и посторонние средства к моему обвинению, особенно видно из отметки под показанием Фонвизина, в которой приписана мне улика, что не знал его по обществу.

Недоумение сие произошло от неясного выражения и не входило в число вопросов, сделанных мне генералом Бенкендорфом, одним членом присутствовавшим при сей очной ставке; да и во всяком случае слова сии, видимо, относились единственно к лицу Фонвизина и не имели ни малейшего сродства ни с делом моим, ни с отказом его утвердить взятое с него показание.

В заключение верховный уголовный суд произнес свой приговор и за несознание в участии в цареубийстве, по утверждении четырех свидетелей, осудил меня по 8-му разряду преступников на лишение чинов и дворянства, с сосланием в Сибирь на поселение.

К числу неизвестных показаний и бумаг, служивших к пользе моей, принадлежат два отношения нижегородского гражданского губернатора Крюкова, писанные к господину военному министру, одно от 3-го марта, а другое за несколько дней прежде посланное с нарочным. Из штаба вашего императорского величества, где содержался с 9-го марта месяца, отправлен я был 6-го мая, по причине тяжкой изнурительной болезни, в военно-сухопутный госпиталь, откуда на другой день вытребован в заседание, составленное из двух господ сенаторов и генерала Бенкендорфа для подписи допроса по перенесении дела моего в верховный уголовный суд; при чем были показаны мне бумаги, содержавшие производство.

По сему случаю узнал я, что тех отношений к делу приложено не было; но по возвышенному раздражению нерв при чрезмерном расслаблении не мог дать надлежащего об'яснения и едва подписал свое имя 14-го числа; получив облегчение, выписался из лазарета и переведен в крепость.

Находя нужным довести до сведения комиссии происшествие, об'яснявшее начало дела моего, писал я к господину генерал-ад'ютанту Бенкендорфу, присутствовавшему во все время производства оного, представил его превосходительству, что отношения губернатора достойны внимания комитета тем, что заключают обстоятельство, предшествовавшее прибытию моему в Петербург. Из оных видно, что требован я был в Нижний-Новгород для об'яснения по перехваченному в городе Арзамасе письму от шурина моего, лейб-гвардии гусарского полка поручика Слепцова, подавшему на меня подозрение, а в Петербург отправлен по усиленной просьбе моей доставить скорейшее средство для оправдания себя перед правительством. В доказа-

тельство же, что до 9-го марта, дня прибытия моего, правительство подозрения, а комитет показаний на меня не имели, приводил полученное в дальнем краю моего жительства, в начале февраля месяца, припечатанное в «Московских Ведомостях» об'явление о составе всех тайных обществ в Росспи и о заговоре на жизнь покойного императора. Комиссия для изложения всех подробностей руководствовалась показаниями и сознанием членов, к тем обществам принадлежащих, — и если бы тогда имя мое находидось в числе участвовавших в заговоре, то давно последовало бы высочайшее повеление об арестовании меня и представлении к ответу. В заключение просил его превосходительство дополнить дело мое бумагами, полученными от господина нижегородского губернатора и, приложив к ним показание мое, служащее об'яснением случая, начавшего оное, препроводить в то место, веденню которого подлежит для окончательного решения.

Ответы мои на заданные мне комиссией вопросные пункты были чистосердечным сознанием принятия и всех действий моих по Союзу Благоденствия; они согласны были с последовавшим докладом ее, в котором описана цель, об'являемая принимаемым, основанная на добродетелях и просвещении и определенная быть поставленною правительству.

Вступив в военную службы на 17-м году жизни моей, не имел я прежде случая получить падлежащее образование и, видя себя чуждым в кругу просвещенных товарищей, обратил все старания на приобретение тех качеств и познаний, которыми они привлекли дружбу мою и уважение. Принятие в общество довершило во мне пламенное желание собственного усовершенствования и оно возрастало тем сильнее, чем менее видел я себя способным к исполнению благой цели и обязанностей, мне об'явленных. В сих ответах видны также были обстоятельства, рано, в 1817 году, отлучившие меня от общества. Переход в 38-ой егерский полк и последовавший за сим от'езд в расположение вверенной мне роты, стоявшей в 120 верстах от Москвы, прекратил сношение с оным, а в 1819 году по назначению в ад'ютанты к генералу Паскевичу, прибыв в Петербург, при первом свидании с Никитой Муравьевым, получил от него об'явление, что Союз Благоденствия совершенно разрушился. Но не довольствуясь сим искренним показанием, видимо, обращено было исключительное внимание комиссии на обвинение меня по предмету покушения на жизнь покойного императора, чему доказательством служит продолжительное время, протекшее с 9-го марта, дня прибытия моего в Петербург, до первых очных ставок 12-го и последних 25-го апреля, и дни взятых показаний с свидетелей по вновь сделанным допросам, относившихся прямо к лицу моему и заговору.

Между тем из всех известных мне обстоятельств дела моего, производившегося в комиссии, видя, что два главных пока-

зания взаимно разрушались противными и несообразными действиями, в одно и то же время мне присвоенными, а остальные были уничтожены по собственному отречению свидетелей— утвердить оные оставил я в совершенном спокойствии и с нетерпением ожидал решения своей участи. Чистота совести рождала в сердце моем твердую надежду на скорое освобождение и счастия возвратиться к семейству моему и мирной жизни: но радостные мечты исчезли и имя преступника поразило меня в самые минуты блестящих ожиданий. И когда уже свершилось несчастье мое, тогда только открылся мне источник моего злополучия, но вместе ожила и надежда оправдать себя перед государем и отечеством. Приписанные мне преступления, пороки, личное оскорбление, все тяжкие и усиленные обвинения, представленные вашему императорскому величеству, да падут пред благотворной и правосудной десницей от'езда монарха, с обращением милосердного внимания на истинный ход дела моего и на все принятые меры к усугублению несчастной моей участи.

Государь, возвращение милости твоей да осенит остаток дней моих. Они посвящены будут пламенным мольбам за царя, положившего предметом великой души своей счастье сынов России. Луч, излиянный на главу несчастного, отразится в лучшем мире у престола всевышнего, где славе твоей пред'идут души облаготворенных тобою и утешенных словом прощения, словом радости» (№ 25, св. 29). Далее следует подпись Федора Шаховского и дата. Енисейск. губ., упраздненный гор. Туруханск. Ноября 5 дня, 1826 г.

В изложенном выше письме Шаховской сам рассказал всю предвзятость и несправедливость следствия по его обвинению: напрасно он взывал к монарху и его правительству, умоляя признать ошибку в производстве следствия; это не было в обычае «великодушного» Николая I [1]).

Повидимому это пламенное послание возымело некоторое действие при переводе Шаховского из Туруханска в Енисейск.

Удалось ли Шаховскому заняться культурной работой на новом своем месте, об этом наши документы не говорят, и помогла ли «благотворная помощь благодетельного правительства» его занятиям, мы не знаем, но мы знаем, что суровость Туруханского края повлияла на его здоровье, а одиночество, тоска по семейству и сознание полной несправедливости своего осуждения, мысль, мучившая его все время, все это повлияло на его психику.

Из рапорта от 12 августа 1828 года мы узнаем, что Шаховской как и Бобрищев-Пушкин «впал в сумашествие». Оба были помещены в городскую больницу, городские казаки составляли их караул. Попрежнему начальство доносит: «Шаховской

[1]) Подробности ареста и следствия см. у Щеголева «Исторические этюды», СПБ. 1913 г.

тих и ведет себя благопристойно» (№ 230, св. 38). В дальнейшем, по настоятельным просьбам жены Шаховского, которая неустанно заботилась о нем, его перевели в Суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь во Влад. губ., где в 1829 году, 24-го мая он скончался. Жена, беззаветно ему преданная, успела только приехать и похоронить его [1]). Не менее драматична участь Николая Бобрищева-Пушкина, сосланного на поселение в Туруханск [2]). Он принадлежит к числу тех декабристов, на которых изгнание отразилось повышением религиозных чувств, выливщимся у Бобрищева-Пушкина в желании поступить в монастырь. В связи с этим возникла переписка между Сибирью и центром, выросшая в большое дело, тянувшееся с сентября 1827 года до февраля 1831 года.

Рапортом было донесено государю, что Бобрищев-Пушкин «изъявляет желание поступить в монастырь», который находится на берегу Енисея в 30 верстах от г. Туруханска. Николай разрешил с тем условием, чтобы Бобрищев-Пушкин не был изъят из-под надзора полиции. На синод было возложено соблюдение всех формальностей и испытание искренности его намерения. В ноябре Бобрищев-Пушкин снова впал в сильное сумасшествие, припадки которого заключаются «в жестоком молчании, в речах бессвязных, изъявляющих религиозное исступление и наконец даже в поступке дерзком против хозяина». Подобное состояние, по мнению начальства, приводило к сомнению относительно действительности желания его поступить в монастырь, даже еслиб припадки сумасшествия прекратились бы на время. Для монастыря подобный человек был очень неудобен, и братия не замедлила сообщить о всех неудобствах своего монастыря, где имеется только один полицейский чиновник, который часто отлучается далеко за 2000 верст, кроме того Троицкий монастырь стоит в пустыне, не имеет «достаточной ограды, ни значительного числа монахов, кроме игумена и трех человек братии, ни удобной кельи для помещения его на случай болезни». Государь нашел, что в монастыре больше средств для присмотра за больными и его должны были поместить в Енисейский монастырь.

В январе 1828 года припадки прекратились, и 7-го марта он поступил в Туруханский монастырь, а 12-го августа снова впал в сумасшествие, что обнаружилось в том, что без всяких причин, в исступлении прибил настоятеля монастыря. Бобрищев-Пушкин был помещен в городскую больницу вместе с Шаховским.

Попав в монастырь, Бобрищев-Пушкин отнюдь не предался молитвенному настроению; игумен доносит, что он не обнару-

[1]) А. С. Пругавин, «Декабрист кн. Ф. П. Шаховской в Спасо-Ефимиевском монастыре». «Русское Богатство», 1911 г.

[2]) Биографич. данные см. у Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Западной Сибири».

живает безропотного послушания воле начальства, ни благоговения к церкви [1]).

С августа по февраль 1829 года Бобрищев-Пушкин был совсем здоров, в феврале впал в сумасшествие, а в марте врач донес, что Бобрищев совсем здоров, в полном рассудке, и об'явил, что он давно уже желает проситься из монастыря, «ибо дознал опытом, что соблюсти все правила монастырской жизни есть выше душевных сил его». Но на просьбу декабриста выпустить его из монастыря государь собственноручно надписал «оставить в монастыре».

Настоятель доносит, что Бобрищев-Пушкин живет честно и мирно, но в церковь почти уж вовсе не ходит, занимается днем и ночью писанием чего-то, по отзыву его, «самонужнейшего» и добавляет, что он часто отлучается за монастырь без ведома и «частый плач и рыдания, особенно ночью, обнаруживают лютую душевную скорбь» (Д. № 230, св. 38).

«Самонужнейшим» было послание Николая Бобрищева-Пушкина архимандриту Спасского монастыря в Енисейске с просьбой выпустить его из обители, куда он проспился на временное богомолье и где оставаться у него нехватает ни душевных, ни физических сил. Послание это писано на 8 больших страницах, размашистым, местами непопятным почерком, неровным, со вставками, повторениями, некоторые места явно свидетельствуют, что логическая связь мыслей утрачена.

Но основная мысль ясна — он хочет уйти из монастыря, оставить монашескую жизнь, ему не соответствующую, и силится доказать, что его требование законно и должно быть исполнено.

Вот это письмо:

«Господину архимандриту Енисейского Спасского монастыря его высокопреподобию и святому отцу Ксенофонту. Находящегося на богомольи под его благоведением государственного преступника Николая Бобрищева-Пушкина.

Всепокорнейшее и всенижайшее представление или прошение или и рапорт.

Честь имею представить вашему высокопреподобию, что по состоянию моей души, или вообще душевного положения моего, нахожу я себя принужденным и принужденным по необходимости самой для меня важной и крайне для меня надобной, да и собственно и для души моей, дабы не повредить ей относительно даже самой несколько веры моей, чрез возложение на себя бремени да и свыше истинно моей силы и что довести меня может, как я чувствую до крайнего даже изнеможения моего нравственного и весьма вероятно, что наконец довести может до положения и совершенно ведь бессильного относительно чувства-то веры и особенно чувства, от непомерного

---

[1]) Подробности в ст. Львова, «Бобрищев-Пушкин», «Истории. Вести.» за 1896 г., т. LXV.

для меня духовного-то этого бремени, от которого даже или так сказать некоторые и мысленные страдания временами меня смущают, чего в мире ведь не случается: — да так, что чуть выйду из ворот даже монастырских уж не только вон из монастыря совершенно-то так уже и тут прихожу в совершенное спокойствие как мысленное так и вообще душевное, хотя обыкновенное хранение божие остается и все то же; что и еще ведь более мне показывает, что к монастырской жизни вообще я неспособен; да к тому же и просил ведь я на временное только богомольство, а ведь не более; словесно просил я: так *часовое*, *минутное* (подчеркнуто Б.-Пушк.) если так бы выразить по духовным своим особенным причинам в то время; и особенной своей набожной надобности, которой истолковывать да нет и необходимости, предполагал то его для себя: надобность в частном, временном недоумении относительно себя что кажется мне, что непременно де я должен это сделать; то есть побывать то в этом монастыре; год жертвы с моей стороны это было, но весьма временной, а не более; и никак не для всегдашней, безпредельной монастырской жизни; без особенного разве де повеления божия, так в одну минуту пришла мне даже и мысль: то есть что де в таком то случае делать бы я стал, ведь нечего бы де тут делать.

Хотя бы в таком случае и ничего де ужасное не было бы для меня, разумеется в моих летах, это хуже всяких болезней на свете; но в моих летах эдакого повеления и вероятно же и быть не может: так как и вообще эдакого особенного повеления свыше для нас то здешних быть же ведь не может. Так временного и очень богомолья хотел я; и потом уж не прежде, как уж услыша, что отпустить меня без позволения высшего то начальства туда не можно, и узнав также, что даже и господин гражданский губернатор так де и тот чуть ли сделать то де это ведь может то есть сам то лично; или вообще узнав, что никакой возможности для этой частной ведь почти безделицы не имеется без сношения весьма затруднительных и при том для такой что и не может де занять ничьего внимания хотя для меня собственно весьма де ведь и важна; потому собственная ведь моя набожная надобность; следственно моя и совесть, так от нечего уже делать, а при том истинно и из уважения шутка ли трудить этим самое де высшее ведь правительство, так что трудить де будет нужно самое быть может и высокое ведь министерство, а и еще де более стоит ли де и годится ли де для меня, человека в совершенном ведь и удалении, заставить быть может безделицею да и не нужною то и весьма только частной моей; поелику, как я говорю и временное ведь все богомольство — то и весьма на малое даже время собственно или в сущности то имел — то ведь я в предмете потрудиться, особенно де уж то что слишком то уже свято да и высоко, то есть самого де быть может ведь и его императорское величие

и это может де ведь статься, что нужно будет доводить до сведения даже и самого де ведь государя императора: так стоило ли я де, да и временная моя токмо и надобность этого, хотя и богомолье но все де ведь такого оно роду, что временная де токмо и весьма де ведь частная токмо моя безделица; да и для всепревысокой-то его особы; так из уважения уж истинного это годного, то есть вообще всего этого, решился то уже я на несколько другое то уже богомолье: и тут уже решился то я позабыть совершенно то уже и себя и со всевозможными жертвами, да почти несколько на свой-ведь и страх кто даже, если можно то так выразить, так выпросится тут уже просто законным порядком, и не на время уже токмо, а совершенно из этого уважения, слепую уже делая из себя тут жертву, то есть никого безделицей не трудя, просить уже просто и не говоря уж что на время, а почти под предлогом известного этого трехлетнего срока, что вообще для вступающих в монастырь обыкновенно то ведь и положен; то есть положат на особенное милосердие божие, так де уже и быть еще де и на большую решусь, на обет, а жертву, т. е. чуть не на вечное уже одиночество, хотя де как не ужасает оно человека, особенно как стрелы то уже в сердце и, не принимая уже в рассуждение безпредельные то безконечного, да кто ведь здесь не сопрягал себя, за того никто ведь не ручается, чтобы и там не был бы ведь он одиноким; так сделаю де уже, слепую же верь все же жертву, связав то де себя тут обстоятельством; все однако же возлагал я на милосердие же божие т. е. что господь примет де ее вероятно по причине самой же это веры моей в его милосердие и потом выведет меня изо всего этого и за это же де и самое да по известному де же правилу одного кого то из особ духовного чина светского столичного духовенства. Подставь де ты Исаака, а он уж сам найдет Елену для твоей пощады, так что уж прав наконец и на всю де жизнь твою уж ты останешся и можешь де в таком случае и не заботься де нисколько и никогда уже о монастыре, более то этого уже и сделать ничего уже невозможно так когда де увидишь, что можно де по своей совести и опять проситься де оттуда вон, так и вполне де этой путь не твой уже будет; разумея тут или какое либо особенное или чудесное поведение разве божие, на то, чтобы оставаться то, в таком де случае дело бы другое: но чего снова быть же ведь не может: так и тут де еще же и диавол ведь де может иногда тоже, подвизаться, что вот де тебе что велено сделать. Так одному и подставил было огненную колесницу. В этом де опять случае нечего де уже делать. Да этот путь и слишком ведь уж совершен в истинном и в полном то своем смысле, чтобы и вынести нам людям обыкновенным и грешным. Наконец и не особенное какое-либо и покаяние вело меня туда: раскаиваться можно ведь и не в монастыре. Да на счет монастырского есть одна ошибка и одно то несчастье. Уж лучше же де этак, т. е. про-

ситься то де этаким образом: законным де уже будет это порядком, как де вступление мое так де и прошение мое выпустить то де меня, когда найду де это нужным в свое время, познав при этом даже и свою немощь, да и то, что никакой на это и особенной то де и обязанности не имею: и на то что де и на другое полную де уже иметь буду я законность, да и даже и еще де раз могу это сделать, да едва ли и не два ли ведь еще раза и по крайней мере вступить то в монастырь (разумеется де это в самом де точном смысле и даже в смысле де и духовности). Поелику де и то де и другое, т. е. и вступление и устранение от этого рода жизни (будут де в моем случае подходить под закон, следственно еще более в мою де выгоду; а если бы де в совести де то решил на совершенный уж искус, ведь искус это почти трехлетнего этого срока прямо бы на это я просился то было бы это по точному его смыслу), да и притом и в таком то де случае, т. е. и в этом последнем то: так и тут де по закону имею я право выйти и вон опять до трехлетнего еще сроку да и когда де ведь даже ни захочу ведь де только т. е. когда ведь только ни познаю лишь свою то де тогда немощь или де и время не изнемогать от этого более или слишком: т. е. вообще кончить свое временное то и особенное свое богомольство к которому несколько впрочем и печаль меня принудила, но и от этого не легче, да человек и везде относительно своей духовности одинаковая же мера Христова пороха, т. е. ежедневная одинаковая конгрессовая ракета на все крепости да она же и по кораблям дует. И самым бы лучшим образом желал бы я во всем раскаяться, оказав ревность свою каким либо же образом для какой либо пользы военной службы его императорского величества если бы он только всемилостивейше этого дозволет и мы бы в тех же местах себя принадлежащих бы поручениях показать: чуть почти не об этом и рыдаю, почти всегда разумеется что в тайне. Да от этого они ежедневно в холодные окопы на биваках и достаются; да и всегда почти ежедневно ведь что диавол одесную его (Захар глав. 3, ст. 2) так почти то же за ним и Христос. Да разве не конгрессова эта ракета у Ширвонского и Эриванского и Имеритинского, а вместе и Таврического и Балканского, все почти одна и та же и есть. Младенец-так мудрено моему иногда и обманывается оттого и во все веки все понемногу полную то истину узнавал и никак не узнает вдруг, что повсюду и всегда все двоякое и где и откуда истинный то огонь. Да от сребролюбия *корень всех зол сребролюбие:* где оно так оттуда верно и есть.... Так могу де наконец испроситься и вон поелику де и право де это законом всякому де представлено да и словами де самыми точными и ясными и в моем то де случае так и еще де более полную де буду иметь я на это законность почему и в об'яснениях моих некоторых прежде и показал я де именно, что просился де я не иначе, как на основании известных де статей об

этом предмете и самого де духовного регламента блаженной памяти императора Петра I на срок во время которого, если де кто найдет себя не в состоянии продолжать монастырского рода жизнь, то по тем же статьям не только позволено даже да и в неукоснительном даже смысле повелено выпускать такового из монастыря снова в мирскую жизнь и без всякого де удержания и препятствия, не только де сами найдут себя для этого немощным, но если де и настоятели, в котором заметят или найдут неспособность, (немощность, непригодность и даже несклонность к этому роду жизни), что и таких де немедленно повелевается де ведь выпускать. Обо мне же едва ли и ваше высоко преподобие, господин и отец Архимандрит не изволит жаловаться и кажется мне, что благонравием моим ведь вы и довольны но едва ли ведь и вы изволите находить меня способным к монашескому то роду жизни: ни мои лета, ни прежний образ моей жизни ни круги людей как по службе моей так и по должности моей прежней жизни совершенно этому не соответствуют: и это бремя истинно взял было я на себя, да едва ли и родителю в глубине то души его то угодно я знаю, что ничего об этом также он мне не скажет, но едва ли ведь и он об этом да не плачет ли и особенно в тайне; сами извольте посудить каковы долженствуют быть всегда слезы у мужчины если бы не испытали их. Да и по письму теперь вижу, что истинно не могло выдержать моего письма и все семейство, а по закону и родительского позволения на вступление в монастырь требуется ведь непременно; иначе не велено ведь и принимать; если и я не принимал этого в рассуждение, так это по одним только обстоятельствам, где же мне было спрашивать его об оном, когда он далеко, а то без всякого сомнения почел бы я обязанностью ему повиноваться и на малое то самое время, что не вступил бы ведь, да если бы и показал он мне даже только что это мне не угодно, не только бы изъявил это явно, а не больше, то и еще того более. Да и какой я монах-священник, сами извольте рассудить без этого то ведь и вполне никакой уже нет цели кроме того что истинно сил моих нет и просто монашескую то жизнь, или монашеский то род жизни выдерживать и вместо пользы то душевной — и даже повредить даже мочь некоторым образом своей вере, по причине бремени слишком уже не по моим силам и вообще вытерпеть не может моя и природа этого рода жизни, которого впрочем и весьма ведь немногие вытерпеть или снести то на раменах своих могут.

Мысленные даже некоторые производили во мне страдания, которых я и понятия не имел, да и теперь чувствую, что от этого только и различие или в этом только почти кажется и есть между монастырским бременем и мирским; без всякого сомнения не для всякого: слаб я да и только, да не мое это бремя, никто на меня именно то его не возложил, да сам не совершенно не оный то есть вполне то и просился ведь я. Да

к тому же и вообще истинное или полное то же монашеское совершенство так я судить теперь несколько об этом лучше мне кажется могу, есть дело совершенно произвольное и в точности состоит кажется в том, что человек несколько не все понимает даже или и многого не понимает как мне кажется же, так оно много трудно и многоопытно вероятно. Кроме того, что если бы дать обет, то грех от этого еще увеличивается, а непроизвольных грехов вообще в смысле набожности во всяком человеке много, зачем и усугублять их еще произвольными не надеясь то ни сколько на свои силы, когда посильным образом, т. е. обыкновенный долг всякого христианина можно исполнять и в мире, да никто и не запрещает и более сделать если кто может и вообще обо всем, что касается до тех, которые берут на себя это святое бремя произвольно. Я на себя его не брал..., следственно до меня это и не касается. Вообще, находя себя вполне неспособным дать эти обеты и не будучи ничем к тому понуждаемым, к чему же быть в монастыре. Прежде я не все знал, теперь же знаю, что и несколько то уже мне известно о монашеской то жизни, так и того не в силах я вынести, а что не знаю и чего без всякого сомнения очень еще много, так и еще более, да где же мне до этого достигнуть, чтобы несколько лет ничем даже ведь не питаться: да чего точно ведь достигали, да чрез несколько лет опять же снова еще от этого уклонялися, что бы без всякого сомнения вознестись да еще и непостижимо вероятно превыше того. Сколько математически догадываюсь, то при безпрерывности своих подвигов душа человеческая долженствует быть да не безпредельна ли поелику всемогуже божество. Но это путь совершенства, кажется что и по св. евангелию чуть ли не отдан он на произвол, да и св. церковь к подвигам эдакого возраста никого не принуждает, кроме случаев некоторых временных покаяний, которые уже ведь светские почти. Но и вообще смею ли я говорить про всех, говорю только про немощного, т. е. только про себя, про немощного, про слабого, да и еще в таких летах как мои как и этого мне не сказать. Не говоря уже о произволении, собственное желание или нежелание идет также, не мое дело и говорить об них или о таковых. Никоим образом по истине не в силах я взять этих обетов на свою душу, да и без особенного то обещания и к тому вполне неспособен, поелику безпрестанная тут святыня, в мире же известные только дни ведь не более, это величайшая разница, да и занят ум там разнообразными вещами, иногда весьма полезными, а полезными так и христианскими: полезен и слесарь, полезен и воин, полезен и просто гостеприимный человек. Разнообразие несколько даже и нужно для немощи человеческой, разумеется не для всякого, тут же все одно и это вводит в изнеможение, да может иногда и совсем иного убить, а сохрани ведь от этого всякого благодетельная душа. Благоразумие и для этого нужно, чтобы не

по силам и бремени на себя не возлагать. Так лучше же просто и без всякого обета, буду говорить я как и всякий в мире живущий многогрешный же я человек и нет де грешнее меня. Да это ведь и вера. И вообще смею повторить, буду вести себя снова жизнь обыкновенную же мирскую, как и все православные христиане, а спасается же всякий по своему и что несравненно соразмернее с немощью моею человеческой. Посему и прошу всенижайше и всеуниженнейше ваше высокопреподобие, по милости своей — всевозможно постараться об этом, чтобы мне оставить совершенно уже монастырь, приняв это все в рассуждение, да для некоторого необходимого понятия о прежних моих, представя равномерно и самое это мое об'яснение, исходатайствовать у высшего начальства, позволение жить и опять мне в мире, т. е. позволить мне удалиться совершенно из монастыря, куда сам ведь я выпросился: меня не прислали в него ведь, а исполнили мое лишь собственное желание да и то было замечено выразуметь я могу из сказанных мне тогда слов, если де все хочу еще этого, т. е. при об'явленном то мне на оное дозволение, а прпказать, т. е. позволить то мне жить опять просто на какой же либо квартире города сего Енисейска, как жил я и прежде сего и относительно этого города где жил в надлежащей — на совершенной ведь свободе что ведь нужно несколько и для прокормления ведь своего и на квартире какую по силам моим могу я только нанять по небольшим тем способам, которые от родителей моих временами я получаю. Если можете так и сами позвольте ваше высокопреподобие выйти или удалиться мне и тотчас же из монастыря на таковую квартиру то и которую я отыщу покаместь несколько денег у меня есть: это не долго. Наконец пусть и в другом даже каком-либо городе, местечке, или деревне или селе наконец т. е. где высокое правительство или высшее начальство не соблаговолит токмо, этого уже не знаю, не мое это уже и дело: да без высочайшего помилования всемилостивейшего государя и всеавгустейшего императора и владыки всея земли, для меня все ведь и равно, т. е. в каком городе или губернии ни провести ведь мне остаток дней то моих и не теперешнею и давнишнею печалью по истине отреченных. С истинным всенижайшем и всеуниженнейшим высокопочитанием дерзаю прибыть перед вашим высокопреподобием с полною да и с благодарностью вполне и искреннею да и лично относится оно высокопочтенной вашей особе, т. е. прямо лицо именно вашего господин и отец архимандрит, поелику кроме добра да и всякого поистине ничего ведь и не видал от вас, да и во все ведь здесь мое и пребывание.

Находящийся на богомольи под вашим вашим высокопреподобия благоведением государственный преступник *Николай Бобрищев-Пушкин.* 1829 г. мая 6-го дня гор. Енисейск». (Д. № 230 св. 3).

К этому письму настоятель добавляет, что по сравнению посылаемого прошения Бобрищева-Пушкина с бумагою, писанной до поступления в монастырь, видно, что расстройство ума его приметно усилилось за время пребывания его в монастыре, «но ни дерзких, ни неприличных выражений в прошении его не заключается».

Бобрищев-Пушкин писал свое «всенужнейшее» послание архимандриту, когда безумие его на время оставило. Правда, некоторые места письма говорят нам, что полного восстановления рассудка уже не наступило, но основная, беспрестанно мучившая Николая Сергеевича мысль выявлена достаточно ясно и сильно. Он думал найти в монастыре утешение и облегчение своего тяжелого положения изгнанника, но, пробыв там, ему стало ясно, что монастырь не дает успокоения его душе, а усилит его душевные и физические страдания. Он горячо протестует всеми силами своей уже больной души против того, что его держат в «духовных тисках», он приводит все доводы закона и морали христианской, но государь остался глух к его доводам и мольбам. Первый раз в марте Бобрищев-Пушкин просился из монастыря, но государь на докладе написал «оставить в монастыре». В августе настоятель пишет, что необходимо его удалить из монастыря. Но на доклад управляющего штабом высочайшего соизволения не последовало. В 1830 году Бобрищев-Пушкин еще в монастыре. Настоятель ежемесячно доносит: «ходит в церковь очень редко, а за монастырь отлучается без ведома ежедневно раза по два и более и возвращается иногда в поздний уже вечер. В течение февраля месяца изредка бывал в церкви при богослужении, а за монастырем ежедневно и довольно долго иногда, впрочем при тихомирной жизни, бывал иногда веселым отчасти, а иногда весьма мрачным до слез и рыданий. В марте к церковному богослужению ходил довольно часто и в домашнем быту замечен более спокойным и веселым, нежели как прежде был смущен и мрачен; в течение мая ходил к богослужению неукоснительно к каждой службе, а за монастырем не бывал ни разу, долго занимается чтением более и письмом отчасти и по всему замечается против прежнего покойнее и веселее».

В прочие месяцы отмечено, что занимается только письмом. Кандалы железные и кандалы монастырские в конец надломили его здоровье. В 1831 году он помещен в доме умалишенных в гор. Красноярск. Позднее в 1840 году он с братом живет в Тобольске, нуждаясь попрежнему в материальных средствах, от правительства получал 114 р. $28^{4}/_{7}$ к. в год. В 1856 году он получил разрешение выехать с братом к сестре, помещице Тульской губ., где дожил до преклонной старости. Воспоминания о безумном декабристе долго сохранялись в округе.

Условия сибирского изгнания, суровость климата одних свели с ума, другим в конец расстроили здоровье, слабогрудые

скоро почувствовали вред новых климатических и других условий, в которых они очутились. Перед нами письмо Семена Григорьевича Краснокутского, обер-прокурора Сената, осужденного на поселение в Якутск. Письмо адресовано кн. А. Н. Голицыну:

«Снятельнейший князь, милостивый государь.

Добродетельнейшая душа Ваша и дружеское расположение к покойному дяде моему внушили мне смелость молить о предстательстве Вашего Снятельства у всемилостивейшего государя к облегчению горькой участи моей. Сколь ни велика милость его величества, оказанная нам при миропомазании, но в настоящем болезненном моем положении по всей вероятности я не доживу, чтобы воспользоваться оной, сильные ривматизмы почти лишили меня ног, боль грудная, жестокий кашель при необыкновенной слабости умножают мои страдания, более месяца пролежал в Иркутске в городской больнице с ворами и душегубцами, богу известно сколь чужды мне злодейства; теперь лишь установился зимний путь, отправили меня к месту назначения согласно желанию моему с покорностью нести меру наказания, высочайше определенную.

Суровый и жестокий северный климат убийствен для слабых грудью; в боях видал я смерть не раз и ближе сего, а ныне встречу ее с радостью, но по долгу христианскому обязан печься о бедственной жизни, а потому умолять Ваше Снятельство, ради самого бога, испросить у всемилостивейшего государя переводу меня хоть в южную часть Сибири, где я мог бы окончить дни мои, благославляя милосердие монарха и Ваше благодеяние. Смею льстить себя, что слишком двадцатилетняя беспорочная и ревностная служба моя, походы и сражения за царя и отечество заслужат всемилостивейшее воззрение царя». (Подпись). 26-го ноября 1826 г. Село Витим.

Рапортом от 15-го августа 1827 года донесено, что государственный преступник Краснокутский доставлен в Минусинск, Енисейской губ., удаленный на значительное расстояние от границы и от главного сибирского тракта. (Дело № 27, св. 29).

В январе 1828 года здоровье Краснокутского, видимо, улучшилось, он просит позволить ему заняться рыбной ловлей и охотой. Но на последнее он разрешения не получил, равно как и другие декабристы, просившие о том же. С огнестрельным оружием ходить им запрещалось. (Д. № 65, св. 31).

Но и Минусинск не восстановил его здоровья, в 1841 году он умер в Тобольске.

По истечении для декабристов первого года каторжных работ 24-го апреля 1828 года последовало распоряжение Лепарскому, что «государь император предоставляет ему снимать по усмотрению своему кандалы с тех государственных преступников, в каторжные работы сосланных, кои находятся в болезни,

и с тех, которые с кротостью, раскаянием и безропотно переносят свою участь и на поведение коих может он надеяться».

Того же числа сообщена высочайшая воля синодальному обер-прокурору кн. Мещерскому, чтоб для исправления духовных треб государственных преступников назначен был по распоряжению св. синода к коменданту при Нерчинских рудниках особый достойный священник, имеющий все качества, соответствующие его назначению, о чем был извещен иркутский преосвященный. (Д. № 5, св. 52).

Отослав декабристов за шесть тысяч верст, правительство Николая, как и он сам, не уничтожили призрака декабрьского восстания. Далекие по расстоянию, они были близки России по тем нитям, которые протянулись от Сибири до самой столицы и расходились по всем углам России. Каждый месяц фельд'егеря мчались с различными донесениями о них; жены и родственники постоянно напоминали о них Николаю и его приближенным той или иной просьбой. Наконец, живая память о них осталась в обществе, у их друзей в полках, в которых служили изгнанники, взбудоражившие мысль многих. Правительство прислушивается к каждому слову, выражающему то или иное отношение к следствию и самому восстанию, и на основании этого всюду обнаруживает повые тайные общества. «Друзья 14-го декабря» не давали покоя ни шефу жандармов, ни начальнику главного штаба, наконец, ни самому Николаю I до последней минуты его жизни.

С. Чернов.

Декабристы в Благодатске.

С конца октября 1826 года по двадцатые числа сентября 1827 года на Благодатском руднике жили и работали восемь декабристов: С. Трубецкой, С. Волконский, А. Муравьев, В. Давыдов, Е. Оболенский, Якубович, А. и П. Борисовы. Часть этого времени — с начала февраля по конец благодатского периода — с ними прожили жены Трубецкого и Волконского.

Разнообразный архивный материал, а также воспоминания и письма Оболенского и Волконской, дают возможность представить жизнь этих восьми декабристов в Благодатске с некоторых сторон отчетливым образом.

I.

Воспоминания о Благодатском руднике — тяжелые, кошмарные. Е. П. Оболенскому пришлось дважды записывать свои воспоминания о нем, и трудно сказать, когда они дались ему легче. На старости он многое позабыл; многое смягчилось в нем после долгих лет каторги и поселения.

Но, несмотря на это, даже его воспоминания о Благодатском руднике продолжают дышать ужасом.

Печальную картину являл Благодатский рудник. Впечатлительная Волконская так запомнила ее: «Это была деревня, состоящая из одной улицы, окруженная горами, более или менее изрытыми раскопками, которые там производились для добывания свинца, содержащего в себе серебряную руду. Местоположение было бы красиво, если-б не вырубили на 50 верст кругом лесов из опасения, чтобы беглые каторжники в них не скрывались: даже кустарники были вырублены; зимою вид был унылый» [1]).

Между тем, окрестности рудника были прекрасны: та же Волконская отрадно вспоминала дорогу в рудники с ее «краси-

[1]) М. Н. Волконская, «Записки», СПБ. 1904 г., стр. 44.

вым лесом» и «чудными цветами», которые так хорошо ее «окаймляли» [1]), когда Волконская по ней уезжала из рудника.

Красоту окрестностей отметил и Оболенский в речах о прогулках по «богатейшим лугам» Аргуни. Он рассказал, какое сильное «удивление» вызвала «так щедро рассыпанная» «красота сибирской природы» среди невольных обитателей рудника; сказал о «богатой флоре» Приаргунья и упомянул «красоту необыкновенную» букашек разных пород [2]). Среди этой красоты большим безобразным пятном выделялся рудник. В его ближайших окрестностях человек уже властно простирал свою разрушающую руку, но еще не все их уголки он сумел захватить и обезобразить — и среди им совершенных разрушений были полны прежнею почти девственною прелестью части им захваченного края, так жестоко уродуемого в целях эксплоатации природных богатств и охраны почти дарового труда каторжан.

«Деревня» при руднике отличалась страшной бедностой. Волконская запомнила избу, где жила с Трубецкой: «Она была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе бывало ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда». Вероятно, изба, где поместились княгини, была не из худших в деревне. «Жители Благодатска отправлялись ежегодно в известные дни на границу для обмена своих скромных произведений на кирпичный чай и на просо. Этот вид контрабанды существовал долго и был подспорьем для бедных людей, у которых не было бы чем уплатить таможенные пошлины» [3]). Так повествует Волконская о вынужденном жизнью преступлении благодатцев, — конечно, известном местной власти и ею пренебрегаемом. Оболенский тоже отметил большую бедность «заводских крестьян» селений, принадлежавших к Нерчинским заводам. В его памяти особенно запечатлелась «картина», которую он, видимо, далеко не один раз наблюдал «во время краткого переезда по селениям» заводов: в мороз до 10 и более градусов «дети разных возрастов»... в полдень стояли кучками около избы без всякой одежды — как мать родила — и грелись на солнце [4]). Трубецкой писал жене в одном из задержанных Бурнашовым писем о бедности Благодатского рудника и чрезвычайной трудности достать в нем все ей нужное... [5]).

Выехав из Иркутска 6 октября, государственные преступники прибыли на завод 25 того же месяца. Здесь их принял

---

[1]) М. Н. Волконская, стр. 68.

[2]) «Общественные движения в России в первую половину XIX в.» I, СПБ., 1905, стр. 277—78.

[3]) М. Н. Волконская, стр. 48 и 56.

[4]) «Общественные движения», I, стр. 269.

[5]) Архив. III отд., 1826 г., д. № 61, т. 5 приложение, л. № 5—10.

маркшейдер Черниговцев [1]). Оболенский припоминал, что им дали три дня отдохнуть с дороги. Черниговцев довольно внимательно перебрал вещи преступников; часть вещей он оставил у них на руках, а часть — в том числе два нагольных тулупа — отобрал на хранение. Взял на хранение и аптечный ящик, данный им на дорогу иркутским доктором. Вообще говоря, у преступников оказались у каждого: образ, евангелие, грудной крест, а у некоторых и чугунные распятия, белье, платье в ограниченном количестве, книги, в числе которых были календари и т. д. [2]). Трубецкой в своих письмах жене горько жаловался, что у него отобрали бывшие при нем вещи [3]). Любопытно поэтому посмотреть перечень отобранных у него вещей:

1) Сафьяновый футляр с бритвенным прибором (1 оселок цареградский, 2 английские бритвы, 1 стеклянная мыльница и 1 бритвенная кисть), 2) шкатулка красного дерева с принадлежностями для письма, еды и туалета (стеклянная чернильница в серебряной оправе, такая же песочница, 2 карандаша в серебряных трубках, 1 перо с костяной палочкой, 1 перочинный ножичек, 1 столовый нож, 1 столовая вилка, 1 чайная серебряная ложечка, 1 костяная гребенка, 2 роговых гребенки, 1 мыльница для бритья, 1 ножницы средние, 1 ножницы малые, 1 зеркало, 1 ножик складной со штопором, 3) печать стальная с буквами «Е. Б.», 4) ружье «Шурка», 5) патронташ с 16 патронами, 6) отвертка ружейная железная, 7) до 2 фунт. пороха, 8) до 5 фунтов мелкой дроби, 9) библия, 10) евангелие, 11) творения Иннокентия, 12) «Душевное врачество», 13) поваренная книга, 14) книжка для памятных записей, 15) набор лекарств (1 сверток английской мяты, 5 свертков и 1 пузырек от кровохарканья. 1 пузырек Гофманских капель, 1 сверток «слабительного сбору», 1 сверток саги, 1 сверток арарутв. и 16) деньги 300 р. (200 р., по 50 р. и 100 р. по 25 руб. [4])

Можно удивляться жестокости Черниговцева и правил, по которым он действовал, когда в числе отобранного у Трубецкого видишь евангелие, но нельзя не поразиться предусмотрительности близких Трубецкого, собравших его в каторгу, как

---

[1]) М. Н. Волконская, стр. 142.
[2]) Арх. III отд., 1826, № 61, т. 5, прил. д. № 4.
[3]) С. Г. Волконский, «Записки», СПБ, 1902, стр. 459.
[4]) Архив III отд., 1826, д. № 61, ч. 5, прил. док. № 5—10.
Позже количество вещей Трубецкого, находившихся на хранении в конторе, еще возросло, пополнясь вещами большой ценности: парою золотых часов, например, оцененных в 830 руб. и 1.500 руб. На руках у Трубецкого в это время были, кроме лекарств и книг, крест золотой, 2 креста деревянных маленьких, портрет жены, кольцо золотое, 7 названий туалетных вещей, 2 названия принадлежностей для курения, 2 щетки для платья, складной дорожный самовар, чемоданов юфтовых 3, суконных 1, тулуп, шуба, доха козья, шинели: холодная и на вате, сюртук, камзол, 4 шт. суконных панталон, 4 шт. летних брюк, шаровары скутские, 2 халата, шлафроки: теплый и холодный, фуфайка, лосиный нагрудник, 8 жилетов, полуштаны, перчатки замшевые, 2 фуражки суконных, пояс кожаный, кушак бумажный, шапка соболья, рукавиц две пары, 2 пары сапог выростков, 2 пары сапог сафьяновых, сапоги теплые медвежьи, 39 полотняных рубах, обык. и 2 теплых, 9 подштанников, 19 пар чулок, 11 полотенец, платков носовых: шелковых 12, батистовых 18, кисейных 4, шейных 6, косынок 4 (2 сорта), скатертей 2, салфеток 14, клеенка 1, 6 назв. постельного белья (22 предмета), 2 гол. сахару, до 2 фун. чаю и табаку.

в вольное путешествие, и давших ему в неведомые и невольные сибирские дали даже ружье с патронами, дробью и порохом.

Списки отобранного на хранение и оставленного у преступников на руках Черниговцев представил по начальству, а также и «прописи», собственноручно писанные на иностранных языках теми преступниками, которые такие языки знали, за их «подпискою», его Черниговцева, засвидетельствованием. Повидимому, через несколько дней обнаружилось, что не все преступники, знающие иностранные языки, в этом признались и дали «прописи». По крайней мере у бр. Борисовых отобрали «прописи на всех знаемых ими языках». Странным образом рапорт Котлевского, который об этой операции с бр. Борисовыми говорит, связывает ее с отобранием у преступников Трубецкого, Волконского, Муравьева, Давыдова, Оболенского и Якубовича писем к их родным словами «для сличения сих писем». Может быть, Черниговцев и Бурнашов не очень верили данным по их распоряжению «прописям», а предпочли хранить у себя вместе с ними и добровольно родным написанные письма. Но тогда что значат слова «для сличения писем».

Принимая преступников, Черниговцев, повидимому, предложил им в порядке ли анкеты или беседы, неизвестно, ряд вопросов, ответы на которые дали ему возможность так характеризовать своих новых клиентов: «все они ремесла за собой никакого не имеют, кроме Российского языка и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания», в том числе, некоторые «иностранных языков»[1]).

II.

Быт государственных преступников в Благодатске устраивался в соответствии с предписанием, которое сделал местному губернатору Цейдлеру начальник главного штаба. Получив это предписание, Цейдлер применительно к нему разрабатывал систему положений, на основе которых и вменил начальнику заводов Бурнашову в обязанность строить быт и работу государственных преступников. Вот его система положений в форме распоряжений Бурнашову:

1) Чтобы государственные преступники «тотчас по прибытии... были... употреблены, как в предписании сказано»; 2) «чтобы преступники сии были помещены в рудник, имеющий несколько разработок, по которым они могли бы быть размещены так, чтобы местопребывание их было в одном селении для удобнейшего за ними надзора во время, свободное от работ. К работам же были бы они по возможности разделены на разные смены; 3) «чтобы помещение их было в казармах или на квартирах под особым надзором; 4) «чтобы содержание их было обеспечено, дабы не допустить их до свободы, которую каторжане по окончании работ имеют, для сыскания себе вольными работами к содержанию подкрепления», — чтобы, значит, сполна обеспечить их продовольствование и тем

[1]) С. Г. Волконский, стр. 458, «Историческ. Вестн.», 1897, август, стр. 497—98.

лишить их повода сноситься с внешним миром; 5) чтобы рудник был избран в стороне от больших дорог и не близко к границе; 6) чтобы начальнику рудника было дано «особое наставление» касательно употребления «государственных преступников», надзора за ними «во время работ и во время отдыха», и предписано «содействовать во всем всеми мерами назначенному к ним чиновнику», каковым Цейдлер определил быть верхнеудинскому квартальному надзирателю Козлову при уряднике Фомине, «чтобы в виду важности... дела», требующей за государственными преступниками «бдительного наблюдения даже в самых обыкновенных поступках», было предписано «офицеру, чтобы он о каждом особенно вел дневные записки со всею подробностью», каковые через Бурнашова восходили бы к нему, Цейдлеру, для составления «из замечаний обоих» — очевидно, офицера, о котором идет речь, и представителя самого губернатора, Козлова — всеподданнейшего донесения государю; 8) чтобы Бурнашов «с сим же нарочным» представил «уведомление» о своих распоряжениях касательно места работ преступников, «наставления» относительно них начальнику рудников и сведения об определенных им «плате, одежде и содержании».

Из мер, которые, получив предписание Цейдлера, принял Бурнашов, нам известно его предписание управляющему рудниками маркшейдеру Черниговцеву и наставление приставу Благодатского рудника шихтмейстеру Котлевскому. Сообщая Черниговцеву о предстоящем прибытии государственных преступников, Бурнашов определял им местом отбытия наказания Благодатский рудник и предписывал Черниговцеву «немедленно отправиться на оный и приготовить для четверых особые места в казарме, а для других четверых, порознь для каждого, приискать частные квартиры, сколько можно у надежных хозяев, куда по приводе сих преступников и разместить вместе с приставом рудника» и назначенным со стороны губернатора чиновником, «описав лично у каждого из них рост, приметы, годы; также платье, вещи, белье и прочее в самой подробности и таковую опись представить». Бурнашов приложил к этому предписанию копию подробного и обстоятельного «наставления», которое он дал приставу Благодатского рудника Котлевскому. Это «наставление» определяло поведение преступников и надзор за ними гораздо суровее, чем было можно ожидать после общих предписаний Цейдлера: Бурнашов вышивал жестокие узоры по начальнической канве. Сам Бурнашов определяет разработанный им надзор за преступниками, как «строжайший». Этот им организуемый и, как строжайший, определяемый надзор везде — и дома и в руднике — изолирует преступников как друг от друга, так и от внешнего мира. «А на случай, когда по обстоятельствам подозрения или неожиданно создается соприкосновение преступников с этим внешним миром и всегда между собой, они не могли ни с кем вести и разговоров на ни каком языке, кроме российского». Это предписывалось им «подтвердить», а за исполнением подтвержденного распоряжения — «смотреть строжайше». Два «надежных» рядовых несут этот надзор в казарме, где четырем преступникам отведены особые места, а четыре — по квартирам, по одному на каждого отдельно кварти-

рующего преступника, живущего у «сколько можно» надежных хозяев». Эти рядовые «должны наблюдать строжайшим образом за их поведением, не допущать их к свиданию между собой, «устройству» у себя сборищ, «поведению» связей с обращающимися в тех же работах преступниками, чтобы не могли получать через тех или через кого-либо крепких напитков, писем, записок или денежного пособия» и т. д.. Такое наблюдение осуществлялось двойным путем — «главнейше» Козловым, но пристав рудника должен и через «надежных» приставленных к преступникам рядовых и лично «во всех случаях» следить за преступниками. «Отвод» преступников к работам протекает отнюдь не в порядке «общей раскомандировки», а особо установленным: «по наступлении смены» «надежный унтер-офицер и два рядовых принимают их по надлежащем обыске со стороны г. Козлова и доставляют в рудник», т. е. избегали возможности общения их с другими преступниками, отбывающими на заводе свое наказание, неизбежное при «общей раскомандировке». На работах их употребляют... в две смены по четыре человека. Каждый из них при этом сдается «на руки надлежащему человеку», с которым работает. Размещают преступников на работе «так, чтобы они не имели между собою свидания». Опять-таки предписывается личное пристава и через подчиненных ему лиц горного ведомства «неусыпное наблюдение» такого же, как и в казарме и квартирах их, характера. Однако надзор при производстве работ совсем не ограничивается внутренним наблюдением: «в приличных пунктах», сверх него, располагается «пристойный караул, на каковой случай» увеличивается воинская команда при... руднике. Это неусыпное наблюдение на работах и во время работ выполняется и контролируется при выходе преступников из горы осмотром в присутствии пристава, «не имеет ли при себе каких-либо бумаг, денег или чего-либо вредоносного»; «есть ли что» при этом «окажется», следует отбор обнаруженного и немедленный о том доклад Бурнашову. По окончании осмотра преступников «обращают... опять чрез того же унтер-офицера и рядовых на квартиру или в казарму и сдают г. Козлову». Так сильно охраняемым преступникам нельзя ни в порядке увольнения, ни в порядке отлучки уходить «никуда в селения, заводы и рудники» и даже «на другие квартиры». Как из предыдущего следует, надзор пристава охватывает главнейшие моменты работы, от приемки и отвода на них до «обращения» с них «на квартиру или казарму» и сдачи полицейскому чиновнику. Что касается самих работ, то «наставление предписывает приставу» употреблять преступников в настоящие горные работы и смотреть строго, «чтобы они вели себя скромно, были послушны поставленным над ними надзирателям и не отклонялись бы от работ под предлогом болезни». Повидимому, «главнейше» именно выполнения горных работ и поведения на них касались и те «особенные секретные дневные

записки», которые «о каждом из таковых преступников ведет» пристав рудника, «замечая в оных со всею подробностью, каким образом «преступник» производил работу, что говорил при производстве оной, не было ли в словах его чего-либо противного, какой показал характер, был ли послушен к постановленным над ним властям и каково состояние его здоровья».

Эти записки еженедельно, а «ежели случится что-либо особенное, то... немедленно», представляются Бурнашову. Как видно, надзор был замышлен действительно «строжайший» [1]).

Так, в августе, едва ли не вместе в Верхнеудинске вырабатывали свои меры Цейдлер и Бурнашов. И оказалось вдруг, что предположенный ход вещей нарушен. И позже, когда он был восстановлен, Цейдлер провозгласил непоколебимость августовских решений.

Как же были преступники помещены? Из позднейшей переписки мы узнаем, что в конце ноября Трубецкой и Волконский помещались не в казарме, а на частной квартире, но не врозь, как этого предписание Бурнашова требовало, а вместе. Бурнашов предписывал Черниговцеву «по неудобности квартиры к помещению преступников Трубецкого и Волконского и по неимению другой, а при том и для наилучшего и совокупного за ними надзора... поместить их в той казарме, где и прочие преступники содержатся». Очевидно, порядок конца ноября такой: все преступники, за исключением Трубецкого и Волконского, живут в казарме; эти двое вместе на особой квартире. Этот порядок явно не соответствует тому, что было установлено в августе и подтверждено в октябре: четверо в казарме, четверо по квартирам, по порознь, а не вместе. Едва ли здесь мы не имеем провала в наших источниках: общей отмены или сильного изменения этого порядка из-за его неудобства в полицейском смысле.

Любопытно, что Оболенский, дважды и по-разному описавший свое и товарищей помещение, ни слова не говорит о житье вне казармы, на квартирах, хотя бы временном, и все равно — в порядке августовских предписаний или позднейших льгот [2]).

В воспоминаниях, где он дает более полное описание жилища, он говорит, что это было «строение составом в две избы»; первую из них занимали караульные солдаты, а вторую — преступники; к ней со входа по левую сторону находилась огромная русская печь, направо вдоль всей стены «построены были три чулана, отделенные друг от друга досчатыми перегородками», а к противоположной стене от двери устроена была третья комната, наскоро сколоченная из досок. Размер первых двух чуланов был: с правой стороны 3 аршина с небольшим длины и аршина два ширины. Размер последнего чулана: «длина

---

[1]) «Истор. Вестн.», 1897, авг., стр. 491—494.

[2]) «Ист. Вестн.», 1897, авг., стр. 492—494, 497, 499. Архив III отд. 1826, № 61, ч. 5, прил. док. № 13.

та же, но ширина — аршина четыре»... Размещены преступники были, говоря словами Оболенского, так: «Давыдов и Якубович заняли каждый по особому чулану. Трубецкой и я помещались вместе в третьем чулане. Трубецкой имел свою досчатую кровать вдлину; моя кровать устроена была так, что половина моего чулана находилась под кроватью Трубецкого, а другая примыкала к двери; Волконский занял противоположную сторону против Трубецкого. Муравьев и двое Борисовых поместились подобным образом в своей досчатой комнате». Сверх них в избе находился «внутренний» караул. Судя по тому, что «караульные готовили» своим арестантам «кушанье, ставили самовар, служили ..... и были полезнейшими помощниками», надо думать, что они при исполнении обязанности находились около той же огромной русской печи, на которой они стряпали и которая возвышалась при самом входе в казарму.

Из всего рассказа Волконской о пребывании в Благодатске также явствует, что преступники обоих категорий сидели в своих комнатах близ друг друга: так, рассказывая о своем любимом занятии «сидеть на камне против окна тюрьмы» мужа, говорит, что ее «очень стесняло» видеть каторжников за носкою воды или дров «без рубашек или в одном необходимом белье»... [1])

Оболенский говорит, что внутренний караул казармы был «бессменен во все время пребывания в Благодатском руднике» заточенных в нем на работу государственных преступников. Его состав определен Оболенским так: «горный унтер-офицер и трое рядовых». Когда с течением времени все восемь преступников были водворены в казарме, вероятно, пришлось увеличить и надзор за ними; неясно, однако, до какого числа был доведен этот надзор. Дело в том, что февральское распоряжение Бурнашова Черниговцеву, изложив ряд предпринятых Бурнашовым по соглашению с Лепарским мер, предписывает, чтобы «внутренние посты всегда были занимаемы солдатами 5-го горного батальона», количество каковых Бурнашовым выше определяется в пять человек и каковые им подчиняются «верхнеудинской инвалидной команды унтер-офицеру Макавееву».

Этот надзор караула должен был быть по замыслу его творцов необычайно строгим. Однако, из этого фактически ничего не вышло. Оболенский и Волконская рисуют одинаковые картины. О внутреннем карауле Оболенский рассказывает, что караульные оказывали заключенным повседневные мелкие услуги, включая стряпню и самовар, «скоро полюбили их и были им полезнейшими помощниками».

Так же хорошо устроилось дело и с казаками, которые заменили большую часть песших при преступниках надзор солдат-горняков. Оболенский в своих воспоминаниях говорит,

---

[1]) «Обществ. Движение», I, стр. 269 — 270, «Ист. Вест.» 1890, янв. стр. 120; М. Н. Волконская, стр. 44, 46 и 54.

что эти казаки — «молодое, славное поколение», что они люди «грамотные» и развитые, что они «скоро полюбили» преступников и пытались общением с ними пополнить свои знания: «их жажда знания, которое они хотели почерпнуть из беседы с нами, нас радовала и удивляла» [1]). А чего стоит замечательный рассказ Волконской об ее «сошествии во ад» ..... Его главный персонаж, конечно, вовсе не Волконская, а тот «вооруженный солдат», который стоял рядом с дверью, за которой находился спуск под землю, в шахты, где и работали государственные преступники. Она спросила солдата, «можно ли их видеть на работе». Далее, ее словами: «Этот добрый малый поспешил дать мне свечу, нечто в роде факела, и я в сопровождении другого старшего решилась спуститься в этот темный лабиринт». Потом офицер кричал ей, чтобы она остановилась. Она убежала и видела дядю и его трех товарищей. Она сделала то, чего делать было нельзя, не понесла наказания и, видимо, даже выговора... она прославила свое имя необычайно эффектной картиной.

Такой караул, конечно, был мягок. Не страшен для заключенных был, конечно, и любой младший начальник такого караула.

III.

Оболенский в письме говорит об организации работ в очень общих выражениях. Отмечает, что «работа была под землею на 70 и более сажен», что в «ужасных подземных ходах» приходилось «версты полторы и более ходить с согнутою спиной», что «если количество работы» было «не столь отяготительно, то оно заменялось невыгодным положением во время работы: часто принужден работать в дыре, пробиваемой в стену, в которой садились на колена, и принимаешь разные положения, смотря по высоте места, чтобы ударить молотом фунтов в 15 или 20». К этому надо присоединить его замечание, что «с весною» преступников начальством было «велено употреблять только в работы над землею». Он поясняет, что «по их мнению это значило облегчение в работе», а по мнению заключенных — «увеличение тягости работы, которая под землею легче». «Их мнение» — конечно, мнение начальства [2]). В своих воспоминаниях Оболенский подробно остановился на работах. Вот как он описывает самое начало их:

«В 5 часов пришел к нашим казармам штейгер с рабочими, назначенными нам в товарищи; началась перекличка: «Трубецкой», ответ: «я»; «Ефим Васильев» и Трубецкой пошел с Ефимом Васильевым. «Оболенский» — «я»; «Николай Белов» и двое мы пошли тем же путем. Таким образом всех нас рас-

---

[1]) «Обществ. Движ.», I, стр. 278 — 279.
[2]) «Ист. Вест.», 1890, январь, стр. 120.

пределили по разным шахтам; дали каждой паре по сальной свече, мне дали в руку кирку, товарищу молот и мы спустились в шахты и пришли на место работы». Едва можно по этому месту записок Оболенского полагать, что государственные преступники всегда размещались «по разным шахтам». Так, напр., Волконская, вспоминая свое «сошествие во ад», рассказывала, что встретила в одном пункте «ада» — «на небольшом возвышении» вместе дядю Давыдова, обоих Борисовых и Муравьева.

Оболенский не считает работу такой тяжелой, как обычно думали. В письме он прямо говорит: «Работа вообще не столь тяжелая», как при виде подземных ходов и лестниц, которыми спускаются в самую пропасть, «воображают». В воспоминаниях он пишет: «Работа была не тягостна: под землею вообще довольно тепло, но когда нужно согреться, я брал молот и скоро согревался. В одиннадцать часов звонок возвещал окончание работы, и мы возвращались в свою казарму». «Нам не было назначено урочного труда; мы работали, сколько хотели, и отдыхали также» [1]). Припоминает он и ту атмосферу «сочувствия» «ссыльно-каторжан», в которой он и его товарищи оказались под землею: они «не вдали от нас заняты были одинаковою с нами работою, но «их» труды были втрое тягостнее. Они были в ножных цепях и на них лежали все тягости подземного руководства. Они проводили шахты в местах новых розысков, устраивали галлереи, которые должны были бы поддерживаться столбами и соединенными арками; как люди способные, они употреблялись и в плотничью работу и хорошо устраивали подземные ходы; они же выкачивали воду, которая накапливалась от времени до времени в местах, назначенных для розысков; они же относили руду, ими и нами добытую, к колодцу, откуда она подымалась вверх и относилась в назначенное место. Встречаясь с нами, эти люди, закаленные, повидимому, в преступлениях, показывали нам немое, но весьма явственное сочувствие». Оболенский к этому рассказывает, как «не раз», когда он «или кто из товарищей его выходил из-под земли на чистый воздух, подышать им на некоторое время, «разбойник» Орлов, яркий персонаж соответственных страниц записок Волконской, «начинал .... звучным, серебристым голосом заунывную русскую песню»: «он ею высказывал то, что не мог выговорить словом». Это было уже не совершенно «немое» выражение «сочувствия». «Немым», но всего более «явственным», оно становилось, когда эти сильные, «закаленные, повидимому, в преступлениях» люди «в порыве усердия

---

[1]) Однако Волконская говорит, что эта работа была «урочно» и измерялась «тремя пудами руды для каждого». Не распространила ли она на государственных преступников общего положения рудника? Или, может быть, она смешала условия подземных работ с условиями работы наверху?

брали.... молоты» государственных, в большинстве слабосильных или больных, преступников «и в десять минут оканчивали работу, которую «они» и в час не могли бы исполнить». Оболенский прибавляет: «Все это делалось без надежды возмездия. За нами надзирали, а мы могли только в коротких словах выразить, что мы их понимаем и оцениям их усердие». Об этих подземных услугах ссыльно-каторжных государственным преступникам говорит и Волконская: «Каторжники, когда работали вместе с ними в руднике, то предлагали выполнять за них урочную работу, они приносили им горячий картофель, испеченный в золе»; отмечает она и внешнее проявление каторжниками уважения к ним в наименовании их «наши господа», «наши князья». (М. Н. Волконская стр. 48). Все это создавало сносные условия работы под землею, и государственные преступники правильно учли их и поняли, что в работе на земле окажутся в худших условиях. Отсюда их попытки отстоять status quo работы, когда «приехал чиновник из Иркутска узнать лично от каждого» из них, «не расстроено ли» здоровье работою под землею и не «предпочтут ли они» «работу на чистом воздухе». «Мы единогласно утвердили,—рассказывает Оболенский,—что работа под землею нам вовсе не тягостна и что мы ее предпочитаем работе на чистом воздухе, потому что в последней мы были бы подвержены во всем переменам в воздухе, т. е. дождю и проч., и что здоровье наше ничем не пострадало от подземного воздуха». Но они не могли «высказать» часть причин, по которым они предпочитали подземную работу. Это — ее сравнительная свобода и та атмосфера ссыльно-каторжных, которая окружала и незаметно, но очень реально, переходила в крупные им со стороны ссыльно-каторжных услуги.

И вот началась новая работа. То была уже «работа... урочная». Оболенский описывает ее так: «Рудоразборщики, обыкновенно, подростки горных служащих, разбивали руду и отделяли годную к плавке от негодной; мы не могли заняться этим трудом, который требовал большого навыка в умении различать и сортировать руду по ее большей и меньшей годности. Итак, нам дали каждой паре по носилкам, и урочная наша работа состояла в том, что мы должны были перенести 30 носилок, по пяти пудов в каждой, с места рудоразбора в другое общее складочное место. Переход был шагов в двести. Началась работа; не все могли исполнять урок; те, которые были посильнее, заменяли товарищей, и таким образом урок исполнялся; в одиннадцать часов звонок возвещал конец трудам, но в час другой звонок вновь призывал на тот же труд, который оканчивался в пять или шесть часов вечера. Таким образом, по новому распоряжению и время труда и тягость его увеличена почти вдвое» [1]). Эта перемена в характере работы произошла

---

[1]) «Обществ. Движ.», I, стр. 271, 275—278.

у заключенных, по Оболенскому, «весною» и, очевидно, не ранею. Документы датируют ее началом мая. Но они же позволяют усомниться в том, чтобы с самого начала работа шла так, как ее описывает Оболенский. Так, Козлов еще в рапорте от 22 дек. сообщал, что «преступники употреблялись в работу на разборку руд» [1]). Рапорты Котлевского показывают, что в феврале, марте и апреле иные преступники «занимались разбором руд» или «работали при разборке руд». Лишь с 8 мая идет постоянная пометка: «работали при разборке руд со служащими в присмотре унтер-штейгера при воинском карауле». Повидимому, работа на поверхности земли начиналась для заключенных ранее, чем рассказывает Оболенский, и для части их продолжалась целиком или частью и то время, когда другая часть работала над землею. По рапортам, которые, однако, охватывают далеко не все время работ на Благодатском руднике и следуют с перерывами, надземную работу наиболее несли Трубецкой и Давыдов, участвовали в ней также Волконский и Якубович. Для последних, а может быть, и для первых, она перемешалась с работой под землею: Волконская в свое «сошествие во ад» искала под землею мужа и встретила Давыдова, Борисовых и Муравьева. Муж, очевидно, был в надземной работе, где его действительно и регистрирует ближайший по времени недельный рапорт Котлевского от 22 февр. Тот же рапорт «впрочем» регистрирует в надземной работе и Давыдова, которого Волконская отыскала в «аду». Так как этот рапорт не охватывает дня «сошествия во ад» Волконской, ибо она приехала в Нерчинский завод к Бурнашову 8 февр., 9 имела свидание с мужем и лишь 10 проникла в подземелье рудника, приходится думать, что порядок в предыдущую неделю был частью иной. Что касается характера надземной работы, то Оболенский, как это сказано уже выше, говорит, что она сводилась к переноске руды, но отнюдь не к ее разбивке и разборке.

Однако декабрьский рапорт Козлова говорит как-раз об употреблении преступников именно на «разборку руды».

Что же касается рапортов Котлевского, то они своей терминологией заставляют предполагать, что работа наверху для государственных преступников бывала двух родов. Так, 22 февраля помечено о Трубецком и Волконском, что они «занимались разбором руд», а о Давыдове, что «он работал при разборе руд». Далее везде имеем вторую формулу... Не свидетельствует ли это, что сперва была сделана попытка употреблять государственных преступников всех, позже частью, на работу

---

[1]) Рапорты в цит. деле арх. III отд. занимают док-ты приложения Котлевского—14 а и 6, 15, 38, 40, 42, 44, 51, 54, 55, 58, 60, 61, Козлова—18, Рика—35, 39, 41, 43, 45, Резанова—46, 47, 50, 56. В дальнейшем не указываю их номера.

именно по разбору руды, потом оставленную, может быть, действительно по их к ней непригодности [1]).

Когда работа кончалась в 11 часов, преступники, по словам Оболенского, «возвращались в свою казарму», где начинались приготовления к обеду. «Артельщиком был ими выбран Якубович, как самый опытный по военно-кухонной части». Неясно, как обстояло дело позже, когда работа при перерыве в 2 часа стала затягиваться до пяти или даже шести часов вечера. Не перешли ли они тогда в большей мере, чем это до той поры было, на обслуживание караульных солдат, о котором мельком упоминает, описывая внутреннее расположение казармы, Оболенский [2]).

Государственные преступники получали казенную плату и провиант. Из ведомости за 19 дней сентября видно, что «провианту» на 19 дней им было выдано по 1 п. из расчета, повидимому, $1^1/_2$ п. в месяц на человека. Стоимость выданного провианта вычиталась из платы — 40 коп. с каждого. Исчисление «платы», как это по ведомости явствует, происходило следующим порядком: клалась основная часть размером в 80 коп. в месяц, на которую шло начисление за каждый — «рабочий» день 4 к., а за каждый «больной» день — $^1/_3$ коп.

Вот суммы, выданные преступникам на руки в августе и сентябре (за весь август и 19 дней сентября), по совершении из них всех следуемых вычетов:

Трубецкой . . .	авг.	—	р.	$63^1/_2$	коп.,	сент.	$40^1/_2$	к.
Волконский . .	»	—	»	$65^1/_2$	»	»	26	»
Муравьев . . .	»	—	»	76	»	»	62	»
Якубович . . .	»	1	»	—	»	»	48	»
Оболенский . .	»	1	»	89	»	»	$83^1/_2$	»
Давыдов . . .	»	—	»	$95^1/_2$	»	»	22	»
Борисов 1 (Ан.)	»	1	»	93	»	»	$40^1/_2$	»
Борисов 2 (П.)	»	—	»	$69^1/_2$	»	»	$83^1/_2$	»
Итого авг.	8	р.	$61^1/_2$	к.	сент.	4	р. 06	к.

Кроме этих зарабатываемых денег преступники располагали и другими средствами.

Оболенский говорит, что по приезде на Благодатский рудник у него и товарищей «отобрали» ... деньги и распорядились таким образом, чтобы «из выдаваемых» им денег могли закупать всю нужную им «провизию», а в издержанных деньгах отдавали бы отчет [3]). Действительно, у них по приезде были

---

[1]) Архив III отд. 1826, д. № 62, ч. 5, прил. рапорты Козлова и Котлевского.

[2]) «Обществ. Движ.», I, стр. 270—71.

[3]) «Обществ. Движ.», I, стр. 270.

отобраны деньги. К сожалению, невозможно точно выяснить их количества. Но, кажется, можно установить общую сумму всех денег, поступивших в главную контору, как при отобрании, так и позже, видимо, из присылок на имя отдельных преступников. «Приходо-расходная тетрадь» их «собственных денег» дает такие цифры:

Трубецкой—300 руб.
Волконский—200 р. 06 к. + 170 руб.
Муравьев — (27 окт. 1827 г.) 300 руб. и отобрано при первом прибытии 130 руб.
Давыдов — отобрано 200 руб. + 195 р. + 300 руб.
Якубович — отобрано 45 руб. + 300 руб.
Оболенский — отобрано 60 руб.
Бр. Борисовы — отобрано 20 руб. и потом еще поступило (марта 23-го 1827 г.) — 300 рублей [1]).
Общая сумма внесенного в тетрадь — 2.520 р. 06 коп.

Богачи Трубецкой и Волконский не имели там денег. Но у Трубецкой было 275 руб., т. е. всего там было у заключенных в Благодатском руднике и их жен — 3.665 р. Что касается Волконской, то ее деньги тоже бывали в главном казначействе заводов; так, сохранилась ее расписка от 5 апр. 1827 г. в получении из принадлежащей ей суммы 500 руб. [2]).

Первоначально «собственные деньги государственных преступников Давыдова и Муравьева и жен преступников княгинь Волконской и Трубецкой» (как и А. Муравьевой) находились в Иркутской казенной палате и лишь позже по особому ходатайству Лепарского перед Бурнашовым были переведены в заводское казначейство [3]).

Может остаться впечатление, что в распоряжении заключенных было много денег и возможностей удовлетворять свои текущие нужды. Такое впечатление не будет правильным. Но мы можем сказать, опираясь на рассказ самой Волконской, что текущие нужды заключенных удовлетворялись далеко не целиком, и не только по условиям места и начальственного усмотрения, но и по причине частой недостачи денег. Бар. Розен об'яснял потом эту роковую недостачу денег в 1826—27 г. г. на Благодатском руднике медленностью переписки рудника с родными [4]) заключенных в нем и незнанием родных, куда надо

---

[1]) «Ист. В.», 1891, июль, стр. 223.
[2]) Архив III отд., 1826 г., д. № 61, ч. 5, прил. док. № 49.
[3]) «Ист. Вест.», 1891 г., июль, стр. 222. По инструкции Лавинскому он был должен все имеющиеся у них деньги, драгоценные вещи, серебро и прочее отобрать от жен государственных преступников, следующих к мужьям, и передать на хранение в Иркутское губернское казначейство. Вероятно, эти самые деньги здесь и разумеются. Деньги Давыдова и Муравьева, вероятно, были позже у них отобраны в Иркутске.
[4]) «Бесконечно долгое время, пока письма доходили до родственников», отмечает и Волконская, стр. 66.

обратиться, чтобы послать в Сибирь деньги, к дежурному генералу главного штаба Потапову или Бенкендорфу, шефу жандармов и начальнику III отделения, ибо и то и другое учреждение ведало государственных проступников, сужденных в 1826 г. [1])

Причины, указанные Розеном, правдоподобны, но недостаточны. Думается, что иногда дело было в обстоятельствах гораздо более низменного рода. Достаточно присмотреться к тому, что лицом, у которого «приходо-расходная татрадь собственных денег государственных преступников» и ведомость 8 февр. одинаково отметили наименьшее количество «собственных денег», был член одной из знатнейших русских фамилий и довольно состоятельной семьи — кн. Е. П. Оболенский. По его собственному показанию, его отец имел около полторы тысячи душ в разных губерниях; сверх имений, у него был и дом в Москве [2]). И этот богатый человек с прочным общественным положением не снабдил сына деньгами в Сибирь, не сразу стал писать ему и не посылал в Сибирь денег [3]). Оболенский осторожно писал об этом своем уже прошедшем горе зятю А. В. Протасьеву, сетуя тут же и на него самого и на других своих родных. Издатель письма в примечании замечает, что Протасьев «относился гораздо лучше остальных родных к Евгению, благодаря особой дружбе, существовавшей между кн. Евгением и его сестрой Екатериной Петровной Протасьевой, рожд. Оболенской». Однако это не в пример другим родным хорошее отношение Протасьева к Оболенскому почти ничем не сказалось в первое, самое трудное время отправки и каторги. С какою душевной грустью вспоминал Оболенский сухие поклоны зятя в письмах отца... Оказалось, что зять ограничивался поклонами и «не писал не по воле, а по неволе», что были «препятствия» проявлению естественных родственных чувств... И как приходилось Оболенскому в этом письме к любящему зятю убедительно доказывать, что «странны довольно люди, которые смешивают политическое поведение человека с его отношениями гражданскими или семейными» и горько спрашивать: «зачем же прибавлять к наказаниям политическим наказания семейные». В какую нравственную горечь был окунут этот человек тем, что люди, ему родственно близкие, не то, что бы позабыли его, а умышленно, в целях своей политической безопасности и служебного преуспеяния, прервали с ним всякое родственное общение и ввергнутому в политическую беду не протянули руки семейной, моральной и материальной поддержки [4]). С ним случилось то, что имело место, конечно, и с другими. Так же тяжело переживали отсутствие вестей от родных и другие. Достаточно про-

---

[1]) М. Н. Волконская, стр. XXIX (Розен) и 50, 52.

[2]) «Истор. Вест.», 1897, авг., стр. 504. Госархив, I В, № 315, сводка в конце дела.

[3]) Сам Оболенский в этом письме определял его молчание в 2 года.

[4]) «Ист. Вест.», 1890, янв. стр. 124, 125.

смотреть письма из Сибири М. Н. Волконской, чтобы убедиться, как в 1827 г. и она, и муж страдают из-за того же отсутствия писем. Волконская и страстно умоляет и униженно просит писать.

Правда, не всегда родные бывали виноваты в этом отсутствии писем: слишком долог был их путь не только по почтовому тракту, но и по бюрократическим канцеляриям; и там и здесь природа вещей создавала иногда длительные задержки. Но все же, например, мать того же Волконского, повидимому, до от'езда, М. Н. ни разу не писала сыну[1]).

При этих обстоятельствах текущие нужды государственных преступников не могли быть полностью удовлетворены. Мало того, в стремлении притти к ним на помощь Волконская и Трубецкая настолько исчерпывали «собственные» средства, что сами легко и часто оказывались без денег, испытывая большую нужду, тем более, что они никак не могли удержаться от хотя бы небольшой и случайной помощи ссыльно-каторжным и даже беглым, когда знакомые каторжники переходили в этот разряд. Розен свидетельствует, что зимою 1826—1827 г. и они «терпели от холода и голода», что они «сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом». Волконская рассказывает, как она и Трубецкая оказались в большой нужде, свели к супу и каше обед и к черному хлебу и квасу ужин; она вспоминает, как сама мыла полы, прибирала комнату. Их расходы были под таким же строгим контролем Бурнашова, как и расходы государственных преступников, при чем он сердился на них за помощь ссыльно-каторжным; а помощь бельем им от него, конечно, приходилось скрывать[2]).

IV.

Государственные преступники привезли с собою с разными вещами и деньгами немного книг. Первоначально эти книги были у них отобраны,—в том числе и священное писание[3]). Позже Бурнашов нашел возможным дать им библию. Об этом он сообщал Черниговцеву в собственноручной записке такими словами: «Благодатским преступникам обещал я для чтения библию, которую и препровождаю при сем». К сожалению, возвещавшая милость Бурнашова записочка не датирована. Так как декабрьский рапорт Козлова говорит о занятии преступников в свободное время чтением книг, милость Бурнашова последовала в первые недели пребывания преступников на Благодатском руднике. Можно думать, что она последовала много ранее двадцатых чисел декабря, ибо на это время падает дру-

[1]) «Русские Пропилеи», I. Москва, 1915, стр. 7 и далее.
[2]) М. Н. Волконская, стр. 50, 52, 54, 62 и XXIX.
[3]) «Истор. Вест.», 1897, авг. стр. 498. Архив III отд., 1826, д. № 61, ч. 5, прил. письма Трубецкого к жене, а также док. № 4.

гая его милость. В канун сочельника Черниговцев уведомил Котлевского, что по его докладу Бурнашов разрешил преступникам занятия рисованием, а ему—выдачу им «двух ящиков красок с кистями», «в употреблении» коих преступниками Котлевскому предписывалось «наблюдать... все меры осторожности» [1]). Казарменная жизнь преступников, когда надзор за ними перешел к Резанову, обогатилась еще одним развлечением — игрою с ним в шахматы. Но едва ли этим между собою они не занимались ранее. В рапортах нет указаний на их занятия рисованием и шахматами, зато и Рик и Резанов отметили, что «в свободное от казенных работ время» преступники «занимаются чтением книг». Рик выражался, что они «более» занимаются чтением, чем, очевидно, каким-либо другим развлечением. В февральских рапортах Рик говорит о чтении «священных книг», в мартовских — о чтении «разных» книг. Резанов не указывает, какие книги читали преступники; только в рапорте от 1 апреля он, сказав, что преступники «занимаются чтением книг», добавил, «а в особенности на страстной недели, постясь, предпочтительно читают священное писание».

Рапорты только в одном случае, да и то очень ограничительно и скупо, говорят о прогулках заключенных [2]). Между тем Волконская и Оболенский с удовольствием вспоминают о них и говорили о них, как о чем-то гораздо более значительном, чем рапорты их представляли. Волконская вспоминала, как преемник Рика Резанов водил преступников «на прогулку, когда наступила теплая погода»; эти прогулки, по ее словам, «длились по нескольку часов». Она вспоминала, как «братья Борисовы, страстные естествоиспытатели, собрали травы и составили коллекцию насекомых и бабочек». Оболенский рассказывает: «Настала весна, и мы получили позволение делать прогулки при конвое, в свободные дни от работ, по богатым лугам, орошаемым Аргунью. Сначала мы удалялись не более двух или трех верст от нашей казармы, но, постепенно приобретая все более и более смелости, мы, наконец, доходили до самой Аргуни, которая была от нас на расстоянии девяти верст. Богатая флора этого края обратила на себя общее наше внимание и возбудила удивление к красотам сибирской природы, так щедро рассыпанным и так мало известным в то время. Два брата Борисовых, любители естественных наук, наиболее занимались, как собранием цветов, так и зоологическими изысканиями; они набрали множество букашек разных пород, красоты необыкновенной, хранили и берегли их и впоследствии составили довольно порядочную коллекцию насекомых, которая была предметом любо-

---

[1]) «Ист. Вест», 1897, авг., стр. 505 и 506.

[2]) Именно Резанов в своем рапорте от 1 июня отметил, кроме чтения, прогулки заключенных: «прохаживаются внутри казармы и по наружности у оной».

пытства любителей естественных наук». Эти прогулки к Аргуни стали менее «заманчивы», когда переменилась к отягчению почти вдвое работа заключенных: «мы рады были отдыху в те дни, когда позволено было отдыхать». Когда на них надели «железа», «прогулка в свободные дни прекратилась». «И трудно было бы иметь желание прогулки при ножных наших украшениях»,—говорит Оболенский[1]). Но, как бы то ни было, прогулки, пока они были возможны, во многом скрасили жизнь заключенных. Естественная занятность прогулок разнообразилась научными работами братьев Борисовых и, вероятно, чьим-нибудь зарисовыванием прекрасных видов и на фоне их товарищеских лиц, на каковые занятия еще в морозный декабрь дал свое разрешение и прислал краски и кисти Бурнашов.

V.

Вопреки строгой, все предусматривающей инструкции сурового Бурнашова быт государственных преступников не сложился сразу в определенные, отлитые формы. Наоборот, в течение довольно длительного времени он терпел иногда очень значительные изменения. Пожалуй можно сказать, что эти изменения быта преступников начались задолго до их приезда в Благодатск. А первое время по их приезде, видимо, полно этих изменений. Может быть наибольшей силы и значительности изменения достигли в связи с приездом коменданта Лепарского и еще до самого факта его приезда и принятия им в свое ведение государственных преступников Благодатска.

По своем приезде преступники оказались в фактическом ведении начальника Нерчинских заводов Бурнашова. Обе стороны взаимно показали себя достаточно друг для друга тяжелыми. Первое время по приезде преступников полно осложнений и своеобразной открытой со стороны Бурнашова и скрытой с их стороны борьбы.

Документы показывают, что в конце-концов на заводе установилось хотя и очень опасливое, но внимательное и даже хорошее отношение начальства к преступникам. Правда, оно установилось не сразу: слишком было необычайно положение, и совершенно не было ясно, чего собственно хочет в Петербурге высшая правительственная власть. К тому же с самого начала обозначилась возможность каких-то колебаний и недоговоренностей сверху. И вдруг оказывалось, что, когда местное начальство хотело применить к преступникам во всей его установленной строгости обычный каторжный режим, он почти каждый раз бывал для них в том или другом об'еме ко всем преступникам или к их части неприменим по специальному распоряжению той же высшей правительственной власти. Да

---

[1]) «Обществ. Движ.», I, стр. 276 — 277, М. Н. Волконская, стр. 60.

и в поведении самих преступников было много такого, что заставляло недоумевать относительно расценки и положения, в котором они находились, их видов и надежд на будущее.

В частности, совокупность сведений, которыми мы располагаем, позволяет думать, что по первоначальному замыслу государственные преступники должны были отбывать во всей нарочитой строгости «настоящие горные работы», подчиняясь «во всех отношениях... установленному для каторжных положению». Однако довольно скоро были сделаны существенные послабления в порядке отбывания работ: еще в октябре и до приезда преступников в Благодатск Бурнашов смягчал первоначальный жестокий порядок осторожною оговоркою «соразмерно силам». Однако на этом послабления не остановились. В дальнейшем они совпадают с тем, что местная иркутская власть узнает решение петербургских сфер создать на Нерчинских рудниках грандиозный концентрационный лагерь для государственных преступников и поставить во главе его генерала Лепарского. Неясно, в какой связи стоят послабления, проведенные местною властью по отношению к государственным преступникам, с этим петербургским решением, но иркутский губернатор Цейдлер прочно их между собою связывал. Вероятно, и разгадку надо искать в решениях той же петербургской власти, которая послала в Сибирь создавать концентрационный лагерь ген. Лепарского.

Отдавая приказ об общем послаблении участи преступников, Бурнашов вел борьбу с первоначальными привилегиями отдельных лиц. Так, цвету декабристской аристократии, кн. Трубецкому, было оказано и на каторге исключительное и важное внимание: ему было предоставлено право один раз в неделю писать жене[1]). На почве этого права у Трубецкого вышло тяжелое столкновение с Бурнашовым. Дело в том, что Трубецкой позволил себе высказать жене недовольство теми новыми порядками, в которых он, попав в Благодатский рудник, оказался. Так, в письме от 29 октября он писал: «Здесь находят нужным содержать нас еще строже, нежели мы содержались в крепости; не только отняли у нас все острое до иголки, также бумагу, перья, чернилы, карандаши, но даже и все книги и самое священное писание и евангелие. Должен ли я причислить сие к новому наказанию, наложенному на меня, или только к мерам осторожности или испытания, мне неизвестно. Забыл сказать тебе, что в комнате, в которой я живу, я не могу во весь свой рост ставиться, и потому я в ней должен или сидеть на стуле или лежать на полу, где моя постель. Три че-

---

[1]) «Ист. Вест.», 1897, авг., стр. 491 и 494; Архив III отд., 1826, № 61, ч. 5, прил.

ловека солдат не спускают глаз с меня, и когда я должен выходить из нее, то часовой с примкнутым штыком за мною следует. Сверх того, мне наделано множество угроз, если я с кем либо вступлю в сношение личное или письменное, или получу или доставлю письмо тихонько. Прежнее начальство, в ведомстве которого я находился, кажется, могло убедиться, что таковые меры на мой счет совершенно излишни, но здешний порядок, видимо, сего требует». В письме от 5 ноября он был опять неосторожен, хотя и имея уже возможность понять, не получив с очередною почтою письма от жены, что дело обстоит не вполне благополучно. Впрочем, в этом письме он сдержаннее, чем в первом: «Я тебе описал, милый друг, первые дни моего пребывания здесь; с тех пор имел бы еще многое прибавить, но, не имея еще решительных и положительных о себе сведений, отложу до будущей почты, полагая, что тогда я буду сведущее... Если бы я был без действия, то, конечно, здоровье мое пострадало бы как от воздуха, так и от нечистоты, в которой я живу». Далее Трубецкой писал о чрезвычайной бедности мест нового заключения («та бедная хата, в которой мы жили в Николаевском заводе, была бы дворцом в здешнем месте»), приводил примеры этой бедности, говорил о невозможности найти «многие из самых простых даже потребностей в жизни» и о чрезвычайной дороговизне на то, что достать возможно. А потом писал: «Ты знаешь, что я весьма был скуден в одежде, дорогой кое-как перебился, а теперь рад, что у меня из нее нет ничего ценного, потому что у меня бы они взяли. Ты очень хорошо сделала, что не прислала мне шкатулки: она мне не нужна, а к тому же не дозволено было бы употреблять ее». Письмо Трубецкого от 12 ноября очень тревожно: не получая две почты писем от жены, он не знает, чему надо приписать их неполучение, но склоняется к мысли, что «имеют жестокость лишать» его «и сего утешения». Может быть, мысль об этом и склонила Трубецкого к тому, чтобы, наконец, почти ничего не писать жене о трудных условиях на новом месте, но что жене на этом новом месте будет «трудно, очень трудно», он все-таки отметил. Понятное дело, что начальство было недовольно жалобами Трубецкого. Оно нашло их совсем «неприличными», а в письмах вообще «довольно слов, обнаруживающих неспокойный дух его, Трубецкого». Бурнашов и предписал 15 ноября Черниговцеву «об'явить ему, Трубецкому, при приставах г.г. Козлове и Котлевском, с крепким подтверждением, чтоб он впредь не осмеливался помещать в своих письмах к жене ничего неприличного, ведая, что при малейшей его какой-либо нескромности совсем не будет и дозволено ему таковая переписка. А за всем тем ему дополнить в приказание, чтоб таковые письма были от него писаны и не с каждою почтою, а по временам, например, чрез неделю или и более, дабы не могло тем излишне обременяться начальство». Черни-

говцев уже 19 ноября отвечал за № 317 Бурнашову об исполнении его предписания [1]).

В статье П. Трунева есть недатированная собственноручная записка Бурнашова к Черниговцеву, в которой Бурнашов, между прочим, пишет: «Дозвольте Трубецкому писать к жене, хотя и каждую неделю, поелику то ему и от внешней власти дозволено, но только присылать ко мне его письма не позже, как в пятницу» [2]). Очевидная неудача Бурнашова заставляет думать, что его возмутила смелость Трубецкого, который не мог не знать, что все его письма, как и письма к нему, подлежат прочтению, и все-таки писал жене.

Что касается права писать жене, то оно сохранилось за Трубецким и после рассказанного конфликта. Цейдлер особо оговорил его в своей строгой инструкции от 15 дек., в которой от одного только Трубецкого разрешалось приставленному к государственным преступникам квартальному надзирателю Козлову принимать для дальнейшей передачи письма [3]).

В то же время Бурнашов повел борьбу с другою привилегиею Трубецкого. Дело в том, что, как говорилось выше, он и Волконский помещались отдельно от прочих государственных преступников. К Бурнашову, раздраженному общею неопределенностью положения и, в частности, перепискою Трубецкого, понимавшему, вероятно, ее, как попытку жалобы Трубецкого через его, Бурнашова, голову на него же, Бурнашова, Цейдлеру, как местному губернатору, видимо, поступали помимо установленных для наблюдения чиновников сведения о нарушении тем же привилегированным Трубецким, при участии другого аристократа Волконского, правил о порядке заключения и запрете сношений с населением. Выходило, что Трубецкой не только через его, Бурнашова, голову нашел средства обратиться к местной высшей власти, но и по небрежению приставленных к нему лиц получил возможность связей и жалоб в местном населении. Он и решил это быстро пресечь. К своему предписанию Черниговцеву о переписке Трубецкого он приложил небольшую собственноручную записочку, в которой на-ряду с другими поручениями писал: «Между прочим я слышал, будтобы в Благодатске Трубецкой и Волконский выходят с квартиры по улицам... Почему и постарайтесь узнать о том и, если окажется справедливо, то строго воспретите то делать, поставя на вид Козлову и Котлевскому, что они за таковое послабление будут ответствовать». Повидимому, наведенные Черниговцевым справки подтвердили сведения Бурнашова, ибо 27 ноября 1826 года Бурнашов предписал Черни-

---

[1]) Архив III отд., 1826 г., д. № 61, ч. 5, прил. док. №№ 6 — 10. «Ист. Вест.», 1891, июль, стр. 226; 1897, авг., стр. 498 — 99.

[2]) «Ист. Вестн.», 1897, авг., стр. 505.

[3]) «Ист. Вестн.», 1897, авг., стр. 506—07.

говцеву «по неудобности квартиры к помещению преступников Трубецкого и Волконского и по неимению другой, а при том и для наилучшего и совокупного за ними надзора,... поместить их в той же казарме, где и прочие преступники содержатся». Впрочем, от старого порядка кое-что осталось, ибо было велено это переселение устроить «с таким расположением, чтоб оба сии были в одном отделении» [1]).

В конце-концов, их всех поместил в казарму рассерженный Трубецким Бурнашов. Волконская называет казарму, где жили преступники, «тесной, грязной, отвратительной»; она же говорит о карауле, что он занимал «входную часть» той «комнаты», где помещались за перегородками преступники, «нимало не заботясь о чистоте помещения». От солдат караула или от тех заключенных, беглых каторжан, которые в кандалах сидели в другой комнате казармы, через «большие холодные сени» от первой, — на политических заключенных «напали клопы и в таком количестве, что Трубецкой натирал себя скипидаром, — и то не помогало». Чтобы хоть «на несколько часов избавить их от клопов», «Резанов позволил им почевать на чердаке». Сама Волконская, которая об этом рассказывала, «когда возвращалась из тюрьмы,... вытряхала свое платье, так их было много...». Она особенно подчеркивает, что это было большим страданием для заключенных: «Для наших это было почти равносильно наказанию, налагаемому в Персии на преступников, которых отдают на с'едение насекомым» [2]).

Пребывание в тесной и грязной казарме и тяжелые каторжные работы переносились хоть и с трудом, а иногда и большим, но все же без какого-нибудь сильного внутреннего массового излома (отдельные изломы бывали большой силы, самый мучительный из них — сумасшествие одного из Борисовых), благодаря тем отступлениям, которые были сделаны от строгих инструкций. Оболенский рассказывает, что то, что они были вместе, составило для них «большое утешение», и поясняет: «Тот же круг, в котором мы привыкли в продолжение стольких лет меняться и чувствами, перенесен был из петербургских палат в нашу убогую казарму; все более и более мы сближались, и общее горе скрепило еще более узы дружбы, нас соединяющей». Слова Оболенского про облегчение, которое давала совместная в казарме жизнь, подтверждаются воспоминаниями Волконской и документами в той части их, где речь идет о февральском инциденте с Риком. Рассказывая об этом инциденте, и Оболенский, и Волконская одинаково останавливаются еще на одной стороне установившегося в казарме порядка — чисто гигиенической: ежели бы, как это по порядку

---

[1]) Архив III отд., 1826, д. № 61; ч. 5, прил., док. № 13. «Ист. Вестн.» 1891, июль, стр. 227; 1897, авг., стр. 499.

[2]) Волконская М. Н., стр. 44 и 66.

следовало, заключенные жили по отведенным им камерам, они задохнулись бы от плохого воздуха, а они имели возможность их проветривать.

VI.

С прибытием коменданта Лепарского общий распорядок жизни был в своих основных чертах урегулирован особым положением о комендантском на Нерчинских рудниках управлении. Самое это управление и должность коменданта вводились «при рудниках» собственно для присмотра и содержания сосланных туда в каторжные работы государственных преступников (§ 1). Под угрозою взыскания комендант заботится об устройстве порядка во всех частях, сообразно данной ему инструкции [1]) (§ 25). Во всех делах и отношениях он «подчинен одному только начальнику главного штаба..., коему доставляет «сведения о прибыли и убыли государственных преступников в инспекторский департамент месячными рапортами», и от которого сам получает распоряжения (§§ 23—24). Он руководствуется ими, а также существующими указами и постановлениями. Их сообщает ему иркутский гражданский губернатор, как и нормы содержания государственных преступников (§§ 9 и 18). При коменданте находятся 1 плац-майор, 2 плац-адъютанта и воинская команда (§ 22). Но «в чрезвычайных случаях» («бунт» или «замысел к явочному заговору») коменданту предоставляется право, ежели состоящая при нем команда окажется недостаточною «для отвращения или укрощения зла, право требовать помощи в людях от ближайших военных и гражданских начальств, а в крайности и от горного начальства, которые по его требованиям обязываются давать ему нужную помощь без малейшего замедления» (§ 21). На такие чрезвычайные случаи коменданту даны вообще обширные права без ответа «за убитых и раненых»: так, в случае, когда «благоразумные меры» «не будут достаточны к усмирению бунта», он «может употребить холодное и в самой крайности огнестрельное оружие», как против самих государственных преступников, так и «даже» против сообщников их и жителей того края, если бы таковые дерзнули помогать бунтовщикам» (§§ 19—20). Относительно государственных преступников инструкция категорически постановила, что они «состоят в полном ведении коменданта» (§ 1). Но эта полнота комендантского ведения в сущности самою инструкциею была ограничена в двух направлениях. Так, оно, во-первых, охватывало лишь сторону надзора за преступниками, а не самую организацию их принудительных работ, остававшихся в распоряжении горного начальства. О ней, впрочем, вообще говоря, почти ничего не сказано в инструкции.

---

[1]) Инструкция в деле III отд. за 1826 г., № 61, ч. 5, № 6.

Отмечено лишь, что «преступники назначаются на работы по распоряжению горного начальства, а высылаются к оным с ведома коменданта при нужном числе конвоя», и приписано, когда преступники «поступают в ведение горного правления на работы по распоряжению горного начальства, то каждый раз в сдаче оных брать расписки. Впрочем, комендант и в этом случае не оставляет следить за преступниками и, заметив «недостаточный за ними надзор со стороны горного начальства, ... может требовать от оного о принятии надежнейших на сей счет мер». Равномерно он участвует вместе с горным начальством в выборе «каторжных для совместной работы... из надежнейших, имеет за ними надзор, хотя они живут отдельно» от государственных преступников, и даже может, если заметят неблагонадежность кого-либо из них, требовать у горного начальства его замены другим лицом. «Горное же начальство обязано удовлетворять во всем таковым требованиям коменданта». Во-вторых, полнота ведения государственных преступников комендантом органичивалась и в сфере надзора некоторыми обязательными для него распоряжениями центральной власти, введенными в текст самой инструкции; так, например, § 2 предписывал всегда содержать преступников в оковах, а § 4 — запирать их на ночь в палатах, т.-е. комендант не мог сделать в этих отношениях каторжный режим мягче для всех или некоторых преступников. § 10 и последующие определяют права жен государственных преступников: они могут жить по усмотрению в остроге или вне его, но в первом случае лишаются права иметь людей для услуг; зато во втором могут иметь свидания с мужьями лишь через два дня на третий с воспрещением сношений через служителей [1]); они сильно сужены в своих имущественных правах: так, их крепостные, ежели пожелают, могут, оставив их в Сибири, вернуться в Россию, деньги они получают, как и мужья их, исключительно через коменданта, который выдает деньги по частям, смотря по надобности, и следит за всякими обходами в получении денег; сужены права жен и в переписке: они могут писать лишь открытые письма и получают письма исключительно через коменданта, как и их мужья-преступники, которым, однако, письма писать запрещено. Всякие иные, кроме указанных, письменные сношения женам безусловно запрещены под прямою ответственностью коменданта. § 16 устанавливает, что в случае болезни государственные преступники подлежат лечению в общей больнице, которая должна быть в остроге устроена, а § 17 утверждает такие же общие основания для суда над государственными преступниками по их преступлениям, с тем лишь отличием, что при следствии

---

[1]) Кроме, как с приехавшими на житье в Сибирь женами, государственным преступникам ни с кем не могут быть дозволены свидания.

кроме общегражданской и горной стороны, должен участвовать и «со стороны военной — депутат».

Как видно из общего обзора, инструкция мало конкретизирует понятия о правах и обязанностях коменданта. Затем она оставляет деятельности коменданта обширное поле. Коменданту принадлежало и размещение государственных преступников. В каких же отношениях он был с общегражданской властью и горным его ведомством? Инструкция безусловно устанавливает в деле «надзора и содержания» превосходство коменданта перед всякой другой местной властью и полную его ею несвязанность. Наоборот, власть коменданта глубоко проникает в самые привычные сферы действия местной власти: так, его представитель принимает участие в следствии, которое местная общегражданская и горная власть ведет по преступлению, совершенному на каторге подведомственным коменданту государственным преступником.

Содействия всех этих властей—военной, затем гражданской и, наконец, в случаях крайности, горной—комендант может требовать, когда обстоятельства вызовут его к решительным в чрезвычайных случаях действиям, и эти власти в том, чего от них комендант требует, ему отказать не в праве и обязаны содействием без всякого промедления. Сверх этого, комендант продолжает осуществлять свой надзор за государственными преступниками даже в то время, когда они на работе находятся в распоряжении горного начальства: его функции надзора не прекращаются ни на миг, а он может требовать от горного начальства принятия всех, по его мнению, нужных мер к усилению и упорядочению горного надзора во время нахождения преступников в распоряжении горного начальства.

Таким образом, юридически комендант в праве надзора решительно стоял выше всякой местной власти. Как же, в действительности, в области надзора слагались отношения? На Нерчинских рудниках в царстве Бурнашова они по целому ряду обстоятельств не могли сложиться вполне так, как их устанавливала инструкция. Конечно, и сам Бурнашов был личностью, мало склонной к пассивному повиновению. Но гораздо существеннее было то, что занятый в другом месте, комендант Лепарский не мог ни постоянно быть, ни часто бывать в Благодатске. Жизнь в Благодатске складывалась и текла сама собою. На Благодатском руднике не Лепарский, а Бурнашов был и до конца остался центральною фигурой; это естественно, ибо Бурнашов был всегда вблизи, а Лепарский почти всегда далеко. Но было еще одно обстоятельство, усиливающее позицию первого в ущерб второму. Лепарский имел определенный штат, но он был лишен возможности дробить его на два места хотя бы путем выделения Благодатскому одной офицерской должности. Пришлось заменять ее местными силами. Так как иркутская гражданская власть отказалась предоставить Лепарскому поли-

цейского офицера, пришлось брать для контроля горной власти чиновника из ее рук. Конечно, вследствие этого указанная сторона деятельности коменданта в Благодатске не могла получить и не получила развития, а самая деятельность коменданта — той независимости от всякой местной и, в частности, горной власти, которую инструкция предусматривала. Правда, в распоряжении коменданта оставались еще 5 солдат, унтер-офицеров и 12 казаков с урядником, но он ведал их собственно через то самое лицо, которое от горного начальства получил, т. к. они в «команду» этого лица, по его распоряжению, поступили.

Все это сковывало личную инициативу Лепарского, и дело надзора осуществлялось им далеко не с тою интенсивностью, которой можно было от него ждать. В самом деле, мы видим, что фактически власть над декабристами находилась в руках Бурнашова, через посредство которого Лепарский ведает государственными преступниками. Бурнашов сам принимает ответственные решения и отдает приказания к немедленному исполнению. Иногда он уведомляет о них коменданта, иногда же, повидимому, нет. Бывает, что он запрашивает его решения, но, сколько можно судить, это бывает реже. Что же касается государственных преступников и их жен, то они все одинаково воспринимают власть Бурнашова, как бесспорную и для обыденного в их быту круга вопросов и отношений окончательную власть. Правда, был один момент, когда, повидимому, они хотели противопоставить его и вообще горной власти власть коменданта. Это было во время инцидента с Риком. Но в этот момент при необычайно напряженных обстоятельствах, когда жестокое применение грубой физической силы и позорного телесного наказания казалось в случае их упорства не только возможным, а совершенно неизбежным, они не стали на эту точку зрения со всею решимостью, которой в обстоятельствах инцидента казалось естественным от них ждать... Они дали понять, что считают после надлежащих раз'яснений Бурнашова такую точку зрения ошибочною. И тогда Бурнашов, как об этом уже говорилось, быстро отыскал для всех приемлемый выход, который, конечно, все—и он сам, и преступники, и их жены, и Рик со своими солдатами—восприняли, как окончательный, не нуждающийся в санкции коменданта и не могущий быть им отменен.

Изложенные доводы можно оспаривать, исходя из рассказа Оболенского в его воспоминаниях. Он говорит, что после посещения Благодатска Лепарским «новый порядок устроился в надзоре за преступниками» и продолжает: «Горный чиновник и горный начальник боялись оказать нам снисхождение, о котором могли довести до сведения коменданта; казаки, бывшие при нас, боялись такого же доноса от горного начальства. Таким образом, обе власти, наблюдая одна за другою, были в равных отношениях к нам». Кажется, довольно обычным является,

что осуществляющие надзор агенты власти на практике оказывают лицам, над коими они надзор держат, «снисхождение». Те агенты, которые на это «снисхождение» идут, конечно, должны опасаться и опасаются «доноса» более твердых товарищей или начальства и даже подчиненных. Чтобы испытывать этот страх, вовсе не надо быть в разном подчинении. Дело не в нем, а в факте нарушения определенной инструкции или определенного порядка и в страхе допустившего нарушение, что он не останется, ежели о нем начальство узнает, без тяжкого наказания. Так было, как мне кажется, и в случае, описанном Оболенским. Вот что он говорит в письме: «К нам приставлен был от иркутского губернатора квартальный, который должен был смотреть за нами; а от горного начальства офицер горный, которому также поручено было смотреть за нами. Горное начальство боялось донесений квартального и поэтому строгость умножало; квартальный же боялся горных, и таким образом нас окружали две неприязненные силы, которые старались только увеличить наши тягости непосредственной власти». Думается, что Оболенский, когда писал свои воспоминания, допустил хронологическую ошибку и совершенно не к месту приурочил те особенные тягости для преступников от надзора за ними, которые создавало двоевластие в нем.

Что же касается времени до приезда Лепарского, то, конечно, там была некоторая двойственность в организации надзора. Вероятно, она приводила на практике к не совсем желательным последствиям. Так думается потому, что иркутский губернатор с приездом Лепарского отказался держать от его имени своего чиновника в Благодатске. Вероятно, было от чего уклоняться в таком сотрудничестве.

Что же касается времени правления Лепарского, то при нем отношения слагаются так, что Бурнашов сам и через своих горных чиновников действует от имени Лепарского и отчитываясь перед ним, но действует в сущности совершенно самостоятельно, а Лепарский фактически передает Бурнашову полноту своих прав по надзору и содержанию преступников в Благодатске.

Поэтому при Лепарском двоевластия в надзоре нет. Конечно, надзор оставался тяжелым, что и было совершенно не мудрено, ибо сам Лепарский строго блюл форму, а Бурнашов считал нужным быть тягостным и строгим и в форме и по существу. Но над властью Бурнашова временами тяготеет особыми полномочиями облеченная комендантская власть, укрощая ее невидимым, но ощутительным давлением.

С приездом Лепарского в жизни и работе государственных преступников вновь наступили некоторые изменения. 5 февраля Лепарский «осмотрел» подведомственных ему преступников. Оболенский сохранил приятное воспоминание об этом осмотре. Лепарского иные из заключенных давно знали лично, по командованию конно-егерским полком. Он был вообще доста-

точно известен в военной среде, «как кроткий, снисходительный начальник», «любимый и сослуживцами, и подчиненными». Заключенные с удовольствием ожидали его прибытия. Действительно, на осмотре «он был ласков и учтив, со всеми расставаясь... оставил надежды на улучшение... положения». Оболенский горько добавляет: «Ожидания не сбылись: в тот же день нас повели в ближайшую кузницу и там заковали нас в «ножные цепи». Оболенский относит это к июлю или августу 1827 г. В письме 1830 г. он дает другую дату для заковки (о приезде Лепарского он в письме не говорит) — февраль [1]). Документы относят на февраль приезд Лепарского, осмотр заключенных и правила, когда и как «отписать оковы». Это позволялось делать лишь при переодевании и мытье, исключительно днем и никак не более, чем двум одновременно [2]). Так, приезд несомненно гуманного начальника принес заключенным ухудшение положения. Но ежели, действительно, Лепарский, снабженный совершенно определенными правилами своего и преступников поведения, и был против своей воли повинен в ухудшении быта людей, среди которых имел старых знакомых, то так же несомненно, что он воздействовал на Бурнашова и всю местную власть в духе смягчения их отношения к заключенным. Иначе и понять нельзя, как вдруг суровый Бурнашов отыскал для всех приемлемый выход из печального инцидента, созданного неуместною ретивостью его же горного чиновника Рика. В том, как он улаживал этот инцидент, чувствуется страх перед Лепарским: как-де отнесется он к неожиданным событиям?

VII.

Замечания о поведении преступников в казарме и на работах очень коротки и совершенно одинаковы. Только Рик 10-го февраля рапортовал, что преступники замечены в непослушании, но с сего числа вели себя хорошо и были во всем послушны. «Непослушание», о котором говорит Рик, было вызвано его собственною бестактностью. О нем далее будет сказано особо. Во всех же других своих рапортах за февраль и март, до нас сохранившихся, Рик везде характеризует их поведение «хорошим». Сменивший Рика в итоге Резанов 2-й одинаково характеризует их поведение словами: «скромны и послушны» (лишь один раз в рапорте от 15 апр. несколько иначе: «кротки и послушны»). Котлевский в разных комбинациях говорит

---

[1]) «Обществ. Движ.», I, стр. 278 «Ист. В.», 1890, янв.

[2]) Архив III отд. 1826 г., д. № 61, ч. 5, прил. док. №№ 22 и 24. Несколько позже оковы были заменены специально приготовленными на Нерчинском заводе «по новому образцу с замками с одним у всех ключом» «весом.... каждые по 5 фунтов»: они были записаны «при дистанции на приход ценою каждые по 2 руб. 15 3/8 к.» Это случилось уже в конце марта. «Ист. В.», 1897, авг., стр. 511.

о хорошем поведении и послушании преступников, — напр., «вели себя хорошо и при производстве горных работ были послушны» или наоборот «при производстве горных работ вели себя хорошо и были послушны». Впрочем, иногда Котлевский давал более подробные сведения, таков его первый рапорт от 3 ноября. Вот отзывы поведения преступников — о Трубецком, Волконском, Муравьеве и Давыдове: «Вели себя добропорядочно, при производстве работ были прилежны и ничего противного не говорили, к поставленным над ними смотрителям были послушны, характер показывали скромный, в квартирах своих никаких в чем-либо ропотных слов не говорили, кроме слов чувствительных, раскаяние в своих преступлениях изъявляющих».

В феврале разыгрался известный по запискам кн. Волконской и Оболенского инцидент с Риком [1]). Дело началось с того, что, когда комендант Лепарский приехал в Иркутск, тамошний губернатор Цейдлер просил его освободить околоточного надзирателя Козлова от несения надзора при государственных преступниках. То был, повидимому, дельный полицейский чиновник, сумевший установить с преступниками необременяющие их тяжелым формализмом отношения. Не имея в своем распоряжении ни одного офицера, которым бы он мог сменить Козлова, Лепарский просил Бурнашова определить на место Козлова кого-либо из подведомственных ему чиновников. Бурнашов назначил члена нерчинской горной каторги шихтмейстера Рика. В его команду поступили состоящие в ведении коменданта урядник забайкальского казачьего войска Гантимуров с 12 казаками и верхнеудинской инвалидной команды унт.-оф. Макавеев; ими была заменена часть воинской команды из состава 5 горного батальона; из этой команды оставалось всего 5 человек; помощник Козлова, казачий урядник, был тоже отозван Цейдлером. Таким образом, состав надзора за преступниками изменился коренным образом: старых осталось только 5 солдат и ни одного начальника, хотя бы и мелкого [2]).

Цейдлер просил о возврате Козлова и «состоящего при нем урядника», 6 февр. 7-го Бурнашов назначил Рика, к 9 февр. Рик уже вступил в должность, потому что именно ему 9 февр. Бурнашов предписал руководственные правила по отношению к прибывшей на завод Волконской [3]). А 10 февр. уже разыгралась громкая история. Что здесь было в основе—тупой ли формализм Рика, его ненужная жестокость, или просто его не-

---

[1]) Оболенский относил его на январь; «Общест. Движ.», I, стр. 274; Волконская определила его правильнее «через несколько дней после моего приезда», как это в действительности и было (стр. 58).

[2]) «Ист. Вест.» 1897, авг., стр. 508—09.

[3]) Архив III отд., 1826г., д. № 61, ч. 5, прил. док. № 28; «Ист. В.» 1897 авг., стр. 508—509. 4 Е. П. в «Ист. Вест.» 1891, июль, стр. 227, дата отозвания Козлова и назначения Рика указана неверно 17 (вместо, конечно, 7) февр.

знание, что буква предписания и его действительное выполнение по отношению к государственным преступникам уже достаточно далеко разошлись — решить трудно.

10 февраля Рик встретил неожиданное сопротивление своим распоряжениям со стороны государственных преступников. В своем донесении о нем Бурнашову он изложил его ход следующим образом: 10 февр. «в полдни» «он, исполняя инструкцию» Лепарского, «подтвердил — ... чрез караульного унтер-офицера Макавеева, чтобы «государственные преступники ужинали по закату солнца и, как скоро станет смеркаться, были бы все по своим каютам»; однако, в тот же день вечером, в 7 ч., он застал преступников за столом со свечкой и чаем; они раньше отказались разойтись по подтверждениям Макавеева, а теперь на «вызов» Рика «почему не ужинали до сумерок — вместо приличных ответов и должного повиновения, наделали ему грубостей и говорили, что кроме господина коменданта, если не захотят, не будут повиноваться никакой власти и никто и ничем к тому принудить их не могут, и не хотели итти в каюты», тогда он, Рик, «нашелся принужденным для усмирения и отводу в свои места употребить силу караула»; подводя итоги, он находил, что «хотя в оном бунте участвовали все восемь человек государственных преступников, но первые начинщики были Сергей Трубецкой и Сергей Волконский». Бурнашов 16 февраля сообщил Лепарскому о донесении Рика и своих мероприятиях в связи с ним. Последнее Бурнашов излагал в следующих выражениях:

«Я немедленно отправился на означенный рудник и напервее осмотрев караул, а затем преступников, и нашел первый в надлежащей исправности, а последних в своих местах и в приличном их состоянию положении; ибо тогда по случаю праздника были они не на работе. Чтоб узнать истинную причину таковой не замеченной от них до сего с самой пресылки сюда ни в каком случае грубости, тотчас приказал я представить к себе в квартиру, тамошней казенный дом, троих из них по одиночке: Трубецкого, Волконского и Оболенского.

«Все сии преступники насчет вышеизъясненного обстоятельства представили мне со всею скромностью в извинение, что они то сделали без всякого умысла к чему-либо противному, но единственно по неведению, думая, что не от самого ли только того пристава Рика таковой новый распорядок начал вводиться с тем еще, чтоб им не давать ночью или с вечера во все и огня, что они по тому неведению единственно столь долго и не ужинали, отрицаясь однако-ж в рассуждении слов, сказанных насчет неповиновения иной власти, кроме Вашего Превосходительства.

«По поводу всего того, дабы не могло впредь выйти от тех преступников чего-либо или по незнанию, или же и с какими намерениями, сделал я им в сем внушение, что все относящееся

до присмотра за ними и вообще за их содержанием есть начальственное распоряжение, и потому как определенный к тому чиновник и вообще караул должны поступать по оному в точности, так и они сами преступники обязаны вести себя в должном порядке и повиновении, не уклоняясь от того ни под каким видом никакими неосновательными... вымышленными предлогами под опасением и за малейшую противность или чего-либо тому подобное, строгого поступления.

«Таковое внушение мое принято было теми преступниками с чувством видимой большой внимательности и уважением».

К сему Бурнашов добавлял:

«Краше сего оные преступники вели себя с 1 по 15 сего февраля в должном порядке и повиновении, и при всем внимательном наблюдении ничего особенного и противного за ними не замечено.

О всех сих обстоятельствах и имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства.»

Как видно, Бурнашов принял меры к тому, чтобы не разросся мелкий конфликт, уже возведенный Риком в степень «бунта», — может быть, по его недостаточной искушенности в административной терминологии. Но еще до отправления Лепарскому своего отношения Бурнашов 13 февраля писал Рику: «Дабы могли государственные преступники по спуске из дневной работы, в вечеру заниматься по сильному их желанию чтением книг свящ. писания, предписываю дозволить им иметь в их комнатах огонь на два с половиною часа после захождения солнца — то же самое и в праздничные дни; а потом тушить огонь у всех вдруг, осматривая в то же время чрез караульного на поставленном порядке и самих тех преступников».

Об этом распоряжении Бурнашова, менявшем предписания коменданта, ничего не сказано в использованном выше документе — отношении Бурнашова к Лепарскому [1]).

Оболенский и Волконская в своих воспоминаниях приблизительно одинаково передают разыгрывающийся при участии первого и частью на глазах второй инцидент, только в их рассказе приобретающий драматический оттенок, намеков на который нет в осторожном изложении документов. Видимо, Бурнашов очень позаботился не все сообщать Лепарскому, что имело место в эти мучительные для преступников февральские дни. Так, нет ни слова о голодовке, которой заключенные ответили на распоряжения Рика. А между тем и Оболенский, и Волконская согласно говорят о ней. Любопытнее, что о ней нет ни слова и в донесениях Рика Бурнашову, хотя Волконская прямо говорит, что «Рик потерял голову .... немедленно послал доклад о том, будто государственные преступники в полном возмущении и хотят уморить себя голодом». Очевидно,

---

[1]) Архив III отд., 1826 г., д. № 61, ч. 5, прил. док. №№ 30 — 32.

или Волконская не знала действительного положения вещей, или «доклад» Рика, существо которого так несообразно сформулировано Волконской, был потом изъят из бумаг, чтобы не отягчать ничьего, ни «бунтовщиков»-преступников положения, ежели Лепарский пожелает самолично произвести расследование дела.

Что касается самого решения заключенных не принимать пищи, то Оболенский и Волконская толкуют его по-разному: первый говорит, что «в решимости рассуждения не было; инстинктивно предложение сделано, принято так же и приведено в исполнение», а вторая сохранила воспоминание об умысле заключенных «напугать Рика»: «зная, до какой степени тюремщики боятся, чтобы вверенные им арестанты не покушались на свою жизнь, наши сговорились не принимать никакой пищи, дабы напугать Рика»; и действительно, «Рик потерял голову»...

И заключенные, и их «хранительницы» — жены Трубецкого и Волконского, тяжело перенесли дни кризиса. Воспоминания Оболенского рисуют яркую картину «страха и трепета» первых, когда Бурнашов вызвал на допрос Волконского и Трубецкого и испуга вторых. Их короткую мучительную драму прекрасно набросала Волконская. Ее же и Оболенского воспоминания дают возможность понять состояние Бурнашова. Он привык к спокойной покорности заключенных. Сообщение Рика о бунте должно было его прежде всего поразить. Он начал и вел допрос так, как привык и считал должным его вести над каторжниками, но едва ли при самом приступе к нему не чувствовал, что дело не носит характера «бунта», как Рик его изобразил и наименовал. В общем, все кончилось благополучно.

Оболенский просто говорит, что после следствия «к обеду... чуланы были отперты и все пошло прежним порядком». Волконская говорит, что на ее вопрос «о причине всего происшедшего» Бурнашов отвечал: «Ничего, ничего, мой офицер сделал из мухи слона». Было заметно, что он разделял испуг Рика.

Этою боязнью и продиктовано, конечно, предписание Бурнашова Рику, восстановившее прежние льготы во внутреннем распорядке казармы. Волконская говорит, что «вскоре» после описанного инцидента Рик был уволен и заменен Резановым. Действительно, 14 марта на его место был определен прапорщик 5-го горного батальона Резанов [1]). Возможно, что увольнение Рика стояло в связи с созданным им инцидентом. Цитированные выше документы показывают, что Бурнашов проявил искусство и настойчивость в доведении до конца дела таким образом, чтобы оно в сознании начальства не разрослось до пределов не то, что «бунта», а даже сколько-нибудь крупного неповиновения.

---

[1]) «Ист. Вест.», 1891, июль, стр. 227.

О сменившем Рика Резанове Волконская дает очень теплый отзыв, называет его «честным и достойным человеком», рассказывает что «он приходил в тюрьму играть в шахматы и водил» заключенных на прогулку, «когда наступила теплая погода» [1]). Как видно, кризис миновал совсем благополучно, и положение заключенных даже переменилось к лучшему. Что касается самого Бурнашова, то, начав борьбою с преступниками и с привилегиями их социальной верхушки, он кончил, в сущности говоря, сдачею и вечным страхом беды из-за них. В конце-концов он стал редко посещать заключенных, что доставило им прямое удовольствие, ибо он при посещениях обычно бывал груб и даже, принимая полезные для заключенных меры, не стеснялся задевать их личное достоинство [2]).

Действительно, его положение было довольно затруднительным; он по всему своему прошлому не мог не быть с ними груб и, вместе с тем, учитывал их вполне реальную, потустороннюю ему силу в далеком Петербурге, и видел с ними учтивость и ласковость Лепарского, и знал, что тот и от него хочет такого же с ними обращения.

В этом неожиданном прорыве фронта, весьма трудного для Бурнашова, решающее значение имел, конечно, приезд гуманного, лично со многими из Благодатских заключенных знакомого и снабженного определенными личными инструкциями государя Лепарского. Но рядом с этим очень большое значение имел приезд жен декабристов. Если приезд Лепарского знаменовал собою скрытый отказ правительства от полноты осуществления им всенародно возглашенных решений Верховного Уголовного Суда, принятых в свое время, как это ни малейшему сомнению не может подлежать, в соответствии с определенно выраженными директивами самого вдохновителя следствия и суда — государя, то приезд жен декабристов лишал Бурнашова возможности «саботировать» новый для него правительственный курс — даже в том случае, ежели бы у него оказалось особенное желание этому саботажу отдать свои силы и упорный темперамент. Даже по одному этому пребывание в Благодатске жен декабристов Трубецкого и Волконского заслуживало бы особенного рассмотрения. Но они внесли в жизнь своих мужей и их товарищей так много тепла и добра, что на их пребывании и работе в Благодатске стоит остановиться подробнее. Я делаю это в особой небольшой статье.

VIII.

Как в этих условиях работы и быта физически и морально чувствовали себя заключенные?

---

[1]) М. Н. Волконская, стр. 60.
[2]) «Ист. Вест.», 1891, август, стр. 121.

Что касается их здоровья, то «каторжные» материалы о нем у вас есть: правда, они не всегда достаточны, но картина из них вырисовывается совершенно ясная. Она достаточно тяжела. Между прочими материалами надо прежде всего отметить рапорт об общем осмотре больных преступников управляющего медицинскою частью лекаря, титулярного советника Владимирского. Лекарь нашел только одного Андрея Борисова вполне здоровым. Остальные были больны. Брат Андрея, Петр, страдал «помешательством в уме», Трубецкой — «болью груди и кровокарханьем», «слабы грудью» были Волконский, Муравьев и «от увечья» головою и грудью Якубович; Муравьев к тому же был одержим геморроидальными припадками... Оболенский страдал «цынготною болезнью с болью зубов», и т. д. С одним из осмотренных Владимирскому пришлось познакомиться ранее — с Трубецким. О необходимости «преподать ему от болезни способы» Козлов 20 дек. писал Черниговцеву, тот принял меры, и 22 дек. рапортовал Бурнашову, что Трубецкой по заключению осматривавшего его младшего лекаря ученика Пазникова «имеет, как кажется, чахотку и одержим кровохарканьем, от коей чувствует великую слабость в груди», и просил прислать медицинского чиновника. Вероятно, Бурнашов перепугался, — потому что в самый день рождества лекарь Владимирский осматривал Трубецкого и доносил, что он действительно «бывает одержим кровохарканьем от прежде полученной раны, чахотной же болезни вовсе не имеет».

Нездоровье Трубецкого, конечно, было давнее: недаром он привез с собой в числе других лекарств порошки от кровохарканья. Странно только, что бдительный и «строжайший» надзор проглядел это нездоровье Трубецкого: так, рапорты Котлевского от 3, 6 и 23 ноября неизменно показывают его «здоровым». А можно ли было говорить о здоровье!.. Как-то Черниговцев направил к ним старшего лекарского ученика Чеснокова, который 12 ноября рапортовал ему, что по его «словесному приказанию» «свидетельствовал» Давыдова и Борисова, «которые одержимы болезнями, первый — часоткою, а второй простудною горячкою и ушибом левой руки большого перста на казенной работе» и «дал им для излечения оных болезней пособий... должное». А 9 января Козлов рапортовал Черниговцеву, что Волконский и Муравьев «третий день одержимы болезнями, первый — грудью, а последний — колотьем», что «по объявлению сего последнего,... сия болезнь у него существует от полнокровия, каковую он, по привычке, нередко прежде сего из рук отпущал, почему и ныне... просит дозволить ему чрез фершела отпустить». Но сам Козлов «как... ныне дозволения не имея ни от кого повеления», не решился «ныне сам собою, и просил Черниговцева если он, в сем случае не будет предвидеть никакой опасности, приказать, кому следует, помянутому преступнику Муравьеву из рук его отворить кровь, равно и

сделать Волконскому в болезни его пособие». Черниговцев послал Чеснокова. Тот, осмотрев преступников, нашел, что они, действительно, «одержимы болезнями, первый — грудью, а второй колотьем в левом боку»; «для лечения оных болезней» он дал им «пособие: первому от грудной боли лекарство, а второму от колотья в груди отворена кровь»; свой рапорт Чесноков заключил словами: «болезни их не представляют никакой опасности и не требуют помещения в гошпиталь, которые не более трех дней могут быть при команде».

Рапорты агентов надзора, о которых выше мельком было упомянуто, дают возможность ближе подойти к вопросу о здоровье заключенных за ряд месяцев Благодатска, — но, к сожалению, не за все.

Сопоставляя рапорты Котлевского с рапортами Рика и Резанова, замечаем, что Котлевский в сущности не интересуется здоровьем преступников, а лишь отмечает факт их явки или неявки на работу в то время, как Рик и Резанов, указывая род болезни и общее состояние здоровья иногда вне вопроса о факте явки на работу, интересуются именно здоровьем преступников, как таковым. Поэтому рапорты Рика и Резанова показывают преступников больными в дни, когда рапорты Котлевского ничего не знают об их болезни.

Нельзя не пожалеть, что эти рапорты сохранились далеко не за все время пребывания в Нерчинском руднике декабристов. Полная картина здоровья их, которую можно было бы по этим рапортам подобрать, ускользает от нас и, группируя материал одних рапортов, мы никак не получим этой картины.

В нашем распоряжении имеется еще небольшой материал. Это, прежде всего, расчет вознаграждения преступникам перед их отправлением в Благодатск. Он позволяет внести несколько строк в историю их здоровья, — правда, строк характера очень общего. Сентябрьская ведомость показывает за 19 дней сентября «больных» дней; у Трубецкого 12, Волконского 16, Муравьева 6, Якубовича 10, Давыдова 17, А. Борисова 12, только у Оболенского и П. Борисова нет совсем больных дней. Причины болезни в ведомости, конечно, не указаны, но картина получается печальная: на 19 дней сентября при 8 работниках получается 152 прогула; на них падает 73 — больных дач, т. е. 48%, почти половина.

Для двух преступников, Давыдова и Волконского, мы можем несколько увеличить наши сведения о состоянии здоровья. Для Давыдова сохранилась цифра «жалованья» за октябрь 1826 г. 15½ коп. Строя аналогичное вышеиспользованным уравнение, мы можем догадываться, что в октябре у Давыдова было 3 — рабочих «и 4» больных. Что касается Волконского, то для него мы имеем совсем особый материал в письмах его жены, княгини Марьи Николаевны. Правда, письма не дают его «больных» и «рабочих» дней, но все же позволяют про-

следить кривую его здоровья. Вот что говорят письма Марии Николаевны.

В феврале 1827 г. Волконская писала свекрови о муже, что «худ и болезненно выглядит», степень его худобы и болезненности такова, что Волконская ее «не может передать». «Его здоровье» ее «беспокоит», ему нужны все «ее» заботы, а она по обстоятельствам тюремного режима и жизни в Благодатске «не может отдать их ему»... В начале десятых чисел марта ему было лучше: Волконская оценивает его здоровье словами «сейчас довольно хорошо». Но в середине двадцатых ему хуже, чем раньше: «Его нервы последнее время совершенно расстроены и улучшение, которому я так радовалась в моих последних письмах, было лишь кратковременным, потому что его грудные боли возобновились еще с большей силой». «Он старается скрыть» от нее «свои страдания», напрасно: ей «достаточно было увидеть его дважды на прошлой неделе, чтобы составить себе ясное представление о них». Сама «ухаживать за ним» она «не имеет возможности». В начале апреля здоровье Волконского «очень слабо»; он «нервен и бессилен до крайности». Жена хочет «надеяться на предстоящую весну,... на бога», но в ее тоне начинает проглядывать боязнь за плохой конец. И вдруг надежды оправдываются: в конце месяца она говорит, что его здоровье «все в таком же положении, то лучше, то хуже... нынче — один из его хороших дней; он выглядел получше, не жаловался и голос его значительно окреп». Надолго ли? Ведь так недавно она писала, что муж «старается скрыть... свои страдания»; «потом нервы истрепались, наступило бессилие — и стал жаловаться»... В начале 20-ых чисел мая Волконская пишет, что его здоровье «попрежнему довольно хорошо». И в начале июня она довольна его состоянием. Но уже через неделю она находит его здоровье только «сносным», а еще через неделю пишет, что ее страхи и тревоги за... мужа возобновляются, его состояние так неустойчиво, «здоровье быстро сменяется сильным недомоганием», «боль в груди истощает его в конец». Правда, когда Волконская «приехала... он был гораздо больнее», так что все-таки улучшение есть и можно «надеяться, что милосердный бог... вернет ему силы и здоровье». Прошла еще неделя, наступил конец июня, и его здоровье ухудшилось: «усилилась боль в груди»; кроме нее его «одолевает крайняя слабость... в ногах; в особенности ему больно ходить». И Волконской «овладевает отчаяние». И вновь в середине августа ему лучше: «он последние дни здоров». В начале сентября «его здоровье довольно хорошо». Она даже удивляется: ведь «приближение зимы сказывается здесь очень неприятно». Может быть, именно ее заботам муж был обязан своею поправкою. Ведь перед отъездом из Петербурга он перенес воспаление легких и выехал «едва оправившись» от него. Так, в Петербурге было подорвано здоровье, а на каторге было еще

«ослаблено всеми этими жестокими испытаниями», и становилось «несомненно, что оно должно с каждым днем все более разрушаться при том образе жизни, на который он обречен». И вдруг упрочилось улучшение [1]).

Осмотр Владимирского установил наличие почти у всех преступников, — у всех кроме А. Борисова, болезни или последствия «преждебывшей» болезни. Только один А. Борисов мог похвалиться совершенным здоровьем. От него отстал, но не был сравнительно с другими в очень тяжелом положении, Оболенский: у него шла «цынготная болезнь с болью зубов». Но позже мы видим, что А. Борисов не выдержал: рапорты и ведомости показывают его больным чаще не только Оболенского, но и Якубовича, у которого Владимирский отметил слабость «от увечья» «головой и грудью». Преступники были, повидимому, очень доступны заболеванию простудой: так, сентябрь сразу дает значительное повышение заболеваний по сравнению с августом. Просматривая «больные» дни, легко подметить, как часто они для разных лиц падают на одни и те же числа месяца или группируются вокруг какого-нибудь одного числа, — повидимому, простуда, начавшись у одного, быстро перебирала других. Эта легкая подверженность преступников простуде заставляет думать, что их физическое состояние в Благодатске было сильно подорвано: даже лето не смогло восстановить их нарушенное здоровье и сентябрь несет с собой решительное ухудшение здоровья для большинства их.

Медицинский надзор за государственными преступниками, как видно, в сущности почти отсутствовал; пользование же их в болезни налажено было, главным образом, через двух лекарских учеников — старшего Чеснокова и младшего Позникова. Что касается лекарств, то преступники кое-что привезли с собой. У Муравьева оказалась даже целая небольшая аптечка, не то привезенная им самим, не то ему присланная. В конце мая, по надлежащем ее осмотре лекарем, аптечка была передана Резанову для пользования преступников. Тот же Муравьев в июне получил 6 бутылочек «о-де-колонь»; бутылочки были задержаны у Резанова и обращены на лечение Муравьева от «разных болезненных припадков». Располагали запасом лекарств и другие преступники, как, например, Трубецкой. Но, конечно, как явствует из переписки преступников, приходилось довольствоваться и казенным лекарством [1]).

IX.

Мудрено ли, что в таких внешних условиях и при таком состоянии здоровья преступники не отличались ровностью настроения. Чтобы представить его в общих очертаниях, можно

---

[1]) «Пропилеи», I, М. Н. Волконская, письма passim.
[1]) «Ист. Вест.», 1897, авг.

использовать сохранившиеся в «деле» III отд. рапорты и индивидуальные характеристики преступников. Они принадлежат, с одной стороны, Козлову, Рику и Резанову и с другой—Котлевскому.

Козлов так отзывался о них в своем рапорте от 24 декабря: «Во время, свободное от работ, вели себя скромно, были во всем послушны — так, как порядок рода сего людей требует, никаких предосудительных поступков по званию их заведомо не было, разговоров на иностранных языках не имели».

Рик дал ряд справок о настроении преступников. Они обрываются на середине марта и их продолжением служат заметки Резанова. Перебирая материалы обоих, получаем кривую настроения преступников. Рассмотрим ее в отдельности для каждого из них.

В рапорте от 16 февраля Рик отметил о Трубецком и Волконском, что они «с приезду жен сделались примерно веселы», а в рапорте от 23 февраля сообщил, что они «довольно спокойны, даже иногда бывают и веселы». Далее их настроение перестает быть одинаковым: Трубецкой, видимо, вновь впадает в тоску, и рапорт Рика неустанно ее отмечает: «хотя и кажется веселым, но не может совершенно скрыть душевной тоски» (1 марта), «с недавнего времени прежнее спокойствие и веселость исчезли и место их заступила душевная тоска, которую при всем старании не может скрыть» (8 марта). Волконский, наоборот, «удержался в чувствах спокойствия и веселости», «довольно спокоен, иногда и весел» (1 и 8 марта), спокоен «и весел» (15 марта), — впрочем ненадолго. Но на этом справки Рика кончаются. Резанов в первом же рапорте (23 марта) не ограничился общею характеристикою преступников, которые, по его словам, «между собою дружны; харчевые припасы и табак курительный употребляют общий, которые доставляются им наиболее княгиней Трубецкой и Волконской и нередко одежные вещи», и «все . . . временно заметны в тоске и унылости». Резанов вместе с этим дал сведения о настроении отдельных преступников. Так, о Трубецком отметил, что он «говорливее» других.

Муравьев, видимо, очень тяжело переносил свое положение; по рапортам Рика, он душевно тоскует и, хоть старается быть веселым, но не в силах совершенно переменить себя и во всем покорен (16 февраля), «уныл и кроток» (23 февраля).

Вскоре угнетавшая Муравьева тоска еще более возросла: по крайней мере Резанов в рапорте от 1 апреля писал: «с получением им письма (27 марта) от его жены душевно страдает»; к апрелю его страдания чрезвычайно возросли: «от душевной скорби здоровьем слаб»...

Судя по рапортам Рика, Давыдов, видимо, ушел в себя и искал утешения в чтении священных книг; рапорты более всего говорят о его задумчивости: «задумчив и крайне недо-

волен своим положением» (16 февраля)[1]), «задумчив, молчалив, великий охотник заниматься великим писанием» (23 февраля). Оболенский выглядит, по данным обоих, спокойнее товарищей и даже веселым. Рик доносил о нем: «старается быть равнодушным и веселым, хотя и не всегда» (16 февраля).

Еще более потребовалось этой работы над собою Якубовичу, которому приходилось пересиливать не одно невеселое настроение, как физически здоровому Оболенскому, а и постоянное нездоровье, на которое он часто жаловался и которое, видимо, донимало его так же жестоко, как Трубецкого. В рапорте Рика читаем: «всегда в неудовольствии и собою занят» (16 февраля), «бывает весел, но очень редко» (23 февраля).

Резанов вслед за Риком отмечает про Якубовича: «уныл больше и, кажется, от частых припадков» (23 февраля), «по частым его припадкам головой и грудью бывает нередко уныл» (1 апреля).

Тихая тоска у Борисовых, один из которых к тому же был психически болен, а другой всегда связан им. Рик сообщает о братьях: «всегда печальны, тихи, молчаливы и с большим терпением переносят свое состояние» (16 февраля), «тихи, молчаливы и много тоскуют» (23 февраля).

Сведения Рика и Резанова охватывают, как из их датировки видно, всего 7 недель. Несколько больший срок охватывают справки Котлевского, — правда, с большими перерывами. В них есть и другой интерес. Рик и Резанов наблюдали преступников, главным образом, в казарме и вообще вне работы, а Котлевский как-раз вел свои наблюдения за их работою и за ними на работе. Вот почему в его отзывах основное — отношение преступников к своей подневольной работе. Касается Котлевский и настроения преступников; в его изображении оно имеет особый интерес, потому что подхвачено не в казарме, а на работе; можно, пожалуй, даже сказать, что на работе настроение преступников иной раз отливало другими цветами, чем в казарме. Вот записи Котлевского.

Трубецкой. 22 февраля. «Работает охотно и старается быть веселым». 1 марта. «Работал охотно и старается быть веселым и равнодушным». 8 марта. «Работал прилежно и был иногда и весел». 15 марта. «Работал прилежно и старался быть веселым».

Волконский. 16 ноября. «При производстве работ был послушен, характер показывал тихий, ничего противного не говорил, часто бывает задумчив и печален».

Давыдов. 16 ноября. «Характер показывает тихий, ничего противного не говорил».

---

[1]) К сожалению, не пояснено, в чем выразилось это крайнее недовольство Давыдова своим положением. По дальнейшему трудно предположить, чтобы он был очень разговорчив, жаловался или ворчал.

Оболенский. 16 ноября. «При производстве работ был прилежен и послушен и ничего противного не говорил; характер показывал скромный».

Якубович. 16 ноября. «В работах старается быть равнодушным». 1 марта. «Работал с некоторым неудовольствием и часто был задумчив».

Борисовы. 16 ноября. Борисов I. В работе «был прилежен, послушен и ничего противного не говорил; характера скромного». Борисов 2. «При производстве работ был прилежен, ничего противного не говорил». Далее везде отзыв — общий для обоих братьев. 22 февраля. «Больше тихи и скромны, нежели веселы».

Сопоставляя материалы Котлевского с данными Рика и Резанова, можем сделать несколько общих замечаний. Трубецкой на работе дольше сохранял бодрое настроение, чем вне ее. Но к осени его настроение начинает заметно улучшаться. Муравьев, как и Трубецкой, долее владел на работе своим настроением, чем в казарме. Можно потому понять, отчего он нередко упорно не хотел, несмотря на болезнь, сидеть дома... «Сдал» он, как и Волконский и Трубецкой, опять-таки между 15 марта и 22 апреля и, как они, к осени начал оправляться. У Давыдова господствующею чертою остается печальная «задумчивость»; впрочем, и он на работе держался несколько бодрее, чем в казарме; к концу лета и его настроение стало улучшаться. Оболенский, видимо, медленно терял свою уравновешенность. Якубович — весь в напряженной борьбе с самим собой. Борисовы — все время в ущемляющей грусти.

Волконская в своих письмах к свекрови от 12 марта говорит о «полной покорности» и «сосредоточенности в самом себе» мужа. Через полтора месяца в письме к сестре мужа она определяет его душевное состояние, как «чувство религиозного раскаяния, которому отдалось его сердце так искренне и горячо». И рядом с этим в его душе живет мучительное настроение «неподдельной и полной глубокого самоотречения привязанности ко всем своим, устраняющей всякую мысль о том, что кто-нибудь из них мог быть виновен перед ним; полное самопожертвование».

Волконскому не помогло даже присутствие жены. Другие не имели и этого утешения, а Муравьев особенно страдал, получив от жены письмо... Мучительные переживания несчастного Волконского приобретают религиозный оттенок. Он мог бы искать утешения в религии, в беседе со священником, в церковной службе. Но как-раз здесь он ничего, повидимому, не может получить, по крайней мере, мы касательно религиозных потребностей преступников совершенно не знаем, как они были обслуживаемы.

Для княгинь и через них для мужей и всех заключенных были «большою радостью» «известия», которые пришли от «Але-

ксандры Муравьевой из Читинского острога, где находились уже ее муж и несколько других заключенных», о том, что благодатских заключенных всех переведут туда. Радостью было и то, что их «соединят с другими», и то еще, что они «не будут больше под начальством чиновников горного ведомства». Волконская рассказывает обо всем этом так, что получается впечатление немедленных или почти немедленных вслед за получением известий Муравьевой сборов в читинский путь ее и Трубецкой. Впрочем, эти сборы тут же были приостановлены Бурнашовым, и княгини получили разрешение ехать только через две недели. «Мы уже укладывались, когда Бурнашов велел о себе доложить... он спросил меня, начала ли я готовиться к отъезду; я ответила с довольным видом, что мы уже собрались». «Ну, так, не спешите, вы не так скоро уедете, дороги ненадежны; каторжники, шедшие из России, взбунтовались и занялись грабежом»... Наконец, через две недели мы получили разрешение ехать.

Между прочим, Волконскою не совсем верно передана обстановка, в которой отдано было распоряжение о переезде. Дело в том, что Лепарский сам приезжал в Благодатск. 8 сентября он осмотрел государственных преступников. Волконской следовало бы об этом помнить, потому что осмотр имел хорошие последствия для ее мужа. Дело в том, что Лепарский нашел его «более всех похудевшим и довольно слабым» и поэтому на следующий день просил Бурнашова «дозволить получить от княгини Волконской офицеру, кто отправится с преступниками, «две бутылки вина мадеры и одну водки» для пользования Волконского в пути, потому что «при переезде —... не встретится... на случай надобности в лекарствах никакой помощи медицинской».

Лепарский внимательно разработал план перевода и все подробности пути: разработал маршруты, подумал о лошадях и повозках, о ночлегах и охране во время ночлегов; установил порядок похода и продовольствования арестантов и команды и т. д.

Бывшую в его распоряжении и заново мобилизуемую вооруженную силу он разделил на 2 отряда: первый в составе 12 забайкальцев и 5 вооруженных крестьян при унтер-офицере Балагомском и офицере по назначению Бурнашова, второй — всего из двух-трех вооруженных крестьян при унтер-офицере инвалидной команды Макавееве; в состав этого отряда входит и «человек» Волконской. Первый отряд сопровождает преступников, второй—княгинь. Первый уходит 13 сентября, второй двумя днями раньше — 11. Лепарский поручал Бурнашову, за своим отъездом к своей команде, сделать нужные распоряжения и предписать проведение в жизнь намеченных им мер по переводу арестантов и их жен. Конечно, этим лицом, которому Бурнашов дает распоряжения и предписания, и будет тот офи-

цер, о назначении которого от Бурнашова выше говорилось. Преступники и их жены опять даже в самый момент от'езда были во власти Бурнашова... Комендант, как и ранее, и должен был уехать к своей читинской команде и не имел в Благодатске сего офицера...

Однако, по каким-то причинам план перевода, выработанный Лепарским, не был полностью осуществлен: а именно, 13 числа преступники перевезены не были; повидимому, только 20 сентября тронулись в путь.

По крайней мере, в документах о довольствовании их платою и провиантом предписывается провести таковое поименно 20 сентября, а о самих удовлетворяемых платою и провиантом преступниках говорят 18 и 19 числа, как об «ныне отправляемых» [1]).

Если верить Волконской, задержку вызвало опасение Бурнашова, что отправляемые им в Читу государственные преступники присоединятся к взбунтовавшимся на путях каторжникам. Ежели это, действительно, было так, то как же долго Бурнашов не мог понять, с кем он собственно в лице своих «секретных» имел дело, и какими надеждами они жили!

А они, конечно, еще не утратили — ежели не все, то частью, и их «ангелы хранительницы», вероятно, тоже не утратили — этих надежд и ожиданий. Разве только перевод в читинский концентрационный лагерь убил эти надежды и ожидания.

Но даже ежели это, действительно, было так, т. е. ежели все надежды и ожидания были, наконец, и в самом деле оставлены, их недавние носители по самому своему существу, по своей старой и новой социальной и личной настроенности в своем подавляющем большинстве не были способны на возмущение в союзе с каторжанами... Бурнашов, очевидно, не умел их понять до самого конца.

---

[1]) С. Г. Волконский, стр. 467 — 468; М. Н. Волконская стр. 66, 68, 148 и 150, «Ист. Вест.», 1897, авг., стр. 512 — 514; Архив III отд. 1826 г. д. № 61, ч. 5, прил. док. № 63 и 64. Оболенский ошибочно относил начало переезда к октябрю или ноябрю, «Общест. Движ.», I, стр. 279.

П. Н. Сакулин.

А. И. Одоевский в неизданных письмах.

I.

Недостатка в строгих судьях у декабристов никогда не было. История имела довольно времени, чтобы раскрыть общее значение 14 декабря 1825 года. Теперь, кажется, мы получили возможность с полной ясностью судить о декабризме и декабристах. Мы уже не рисуем себе этого движения в одних условно-светлых тонах; состав участников расклассифицирован по признакам сословно-классовым и идеологическим; результат восстания взвешен на точных весах истории.

Люди великой революционной эпохи имеют право пред'являть повышенные требования к своим предтечам, но, как бы взыскательны мы ни были, нельзя отрицать того, что в ряды декабристов вступали, действительно, выдающиеся люди эпохи.

Среди них не затерялся молодой аристократ, князь Александр Иванович Одоевский (1802—1839). В общей группе ему принадлежит особое место. Поэтически озаренным стоит его хрупкий образ перед нами, как тончайшей работы насквозь просвечивающая статуя, из прекрасного каррарского мрамора. Это не герой революции в картинной позе, с развернутым знаменем в руках... Это драгоценная жертва «жестокого века», живая человеческая элегия.

Юность справляла свой весенний праздник в этом молодом, красивом теле, в этой богато одаренной душе. Жизнь играла в нем бесконечными переливами и рвалась наружу. Нежнейший цветок, выращенный в оранжереях барской культуры, — Одоевский был выхвачен из своей привычной обстановки и брошен в «каторжные норы», в болота и снега полудикой Сибири. Он вянет, чахнет и напрасно взывает о пощаде. Скупо, гомеопатическими дозами отмеряли ему волю, пока на Кавказе не подкараулила его злокачественная горячка и не свела в могилу.

II.

Немало воспоминаний осталось нам об А. И. Одоевском. Среди них драгоценные свидетельства Лермонтова (в стихах) и Огарева (в прозе). Государственные архивы хранят показания Одоевского в Следственной комиссии. Неизмеримо ценнее для понимания Одоевского, конечно, его поэтические произведения и письма. Сравнительно недавно И. А. Кубасовым были изданы вновь найденные стихотворения А. И. Одоевского [1]). Писем его до сих пор опубликовано очень мало, да и известно вообще немного.

При собрании стихотворений (редакции Розена, Поссе) печатается письмо Одоевского к М. А. Назимову от 21 июня 1839 г.; в «Р. Архиве» 1885 г., кн. I, помещено его письмо к тетке (В. И. Ланской, а не П. С. Щербатовой, как думают некоторые) из Иркутска от 1836 г.; шесть писем двадцатых годов к двоюродному брату, Вл. Фед. Одоевскому опубликованы П. А. Бычковым в «Р. Старине», 1904 г., февр. Вот и всё, что появилось в печати: только 8 писем.

Неизданными остаются несколько писем, находящихся в Государственной публичной библиотеке [2]), в делах Следственной комиссии и в III отделении. Ими пользовались в своих работах об Одоевском П. А. Котляревский, П. А. Кубасов и я (в книге о Владимире Федоровиче Одоевском).

В моих руках находятся 27 неизданных писем А. И. Одоевского. Они попали ко мне через б. помещицу Юрьево-Польского уезда, Владимирской губернии, через Анну Петровну Пузыревскую (ныне уже покойную) от б. помещика той же губернии (также покойного), Александра Устиновича Соллогуба, соседа по имению князя Ивана Сергеевича Одоевского (отца декабриста). После смерти Ивана Сергеевича (1839 г.) его имение (с. Николаевское, Юрьево-Польского уезда) стало приходить в упадок; наследники [3]) не удержали за собой имения: оно стало распродаваться по частям, между прочим и местным крестьянам. Библиотека (по крайней мере, часть ее) была приобретена А. У. Соллогубом. Вероятно, в Николаевском был и домашний архив. Судьба его неизвестна, но небольшая пачка писем А. И. Одоевского к отцу оказалась у Соллогуба. Он довольно охотно уступил их мне, когда я работал над книгой о Вл. Фед.

---

[1]) П. А. Кубасов. Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения. Труды Пушкинского дома при Российской Академии Наук. 1922.

[2]) 20 писем в бумагах В. Ф. Одоевского, в переплете № 97.

[3]) Одна дочь, Нина Ивановна, вышла замуж за уездного врача, Юрия Николаевича Новикова; другая дочь была замужем за олонецким губернатором, Гр. Гр. Григорьевым. В числе наследников был и генерал Маслов (именовавшийся потом Одоевским — Масловым).

Одоевском (в 1912 г.). Я тогда же воспользовался ими и огласил в печати факт существования этих писем. В 1922 г. я давал их (в копии) И. А. Кубасову, который готовит академическое издание сочинений А. И. Одоевского и предварительно напечатал упомянутую выше книгу с вновь открытыми его стихотворениями [1]).

Публикуемые мною 27 французских писем Одоевского к отцу составляют лишь малую часть его семейной переписки. Переписка с отцом из Сибири велась с большой регулярностью: оба корреспондента старались посылать письма с каждой почтой; письма нумеровались; для каждой маркировки, особенно со стороны сына, требовалось оправдание. На письмах Александра Ивановича отец обычно помечал время их получения, а также кому посылал их для прочтения и когда их вернули ему (некоторые письма ходили по рукам родни). Видимо, бережно, как святыню, хранил отец письма Александра Ивановича, и все-таки до нас дошло всего 27 разрозненных писем.

Само собою разумеется, письма «государственного преступника» проходили ряд контрольных инстанций, прежде чем попасть в руки прямого адресата. На некоторых письмах есть явственные следы лиц и учреждений, которым было дело до чужих писем. На одном письме (п. XIII) даже целая приписка рукой какого-то административного лица, правда, вежливая и даже доброжелательная, написанная для успокоения отца.

Александр Иванович, конечно, должен был считаться с условиями своей переписки, но, повидимому, скрывать ему было нечего, и к тексту его писем мы можем относиться с полным доверием. Тем более, что они не находятся в противоречии с другими известными нам материалами.

Что же нового дают нам публикуемые письма для биографии Александра Одоевского, для понимания его личности, как человека, поэта и декабриста?

В основном образ Одоевского останется тем же, каким он рисовался, напр., его талантливому биографу, Н. А. Котляревскому [2]), но письма дают ряд живых дополнительных черт к знакомому нам портрету.

III.

Александр Иванович Одоевский родился и рос баловнем судьбы. Богатая и патриархальная семья древнейшего княжеского рода окружала любимца всевозможными попечениями.

---

[1]) По напечатании я передам оригиналы писем, согласно давнишнему своему обещанию, в рукописное отделение Государственной публичной библиотеки в Ленинграде.

[2]) Декабристы. Кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский, их жизнь и литературная деятельность. Н. Котляревского. СПБ. 1907 г.

Воспитанием заведывала сама мать, урожденная княжна Прасковья Александровна Одоевская, а образованием руководил отец. Следовательно, Одоевский получил так-называемое домашнее образование.

Александр Иванович боготворил своих родителей; мать называл вторым своим богом. Не раз с умилением говорит он о матери-наставнице.

Позднее, однако, Одоевскому стали видны и недостатки полученного им воспитания.

В XI письме (из Елани от 23 января 1834 г.) он решается на такие критические суждения: «Maman, которая дала мне примерное нравственное воспитание, столь долго держала меня вдали от всякого общения с внешним миром, что я, по прошествии двадцати лет, еще был совершенным ребенком, с непростительной легкостью характера, затем, может быть, с воображением слишком впечатлительным и с женским воспитанием».

Односторонним, как понял потом Одоевский, было и его образование. Сравнивая в письме XX (от 30 января 1836 г.) тридцатые годы с предыдущим десятилетием XIX в., он сетует что в его время «воспитание ограничивалось изящной словесностью, изучением языков, чтением поэтов и изготовлением стишков»; точные науки были не в почете. Лишь в ссылке Одоевский стал питать к ним «любовь, к сожалению, запоздалую». Гуманитарным и особенно словесным наукам раньше отдавалось явное предпочтение.

Французский язык был обиходным языком семьи. Отец и сын переписываются только по-французски. К погрешностям в языке или орфографии относятся строго. Любопытно, что однажды (письмо XXVII, от 21 июня 1836 г.) Одоевский возмущенно критиковал ошибку, допущенную его кузеном, Владимиром Федоровичем, в употреблении subjonctif'a после союза si и рассуждал так: «Для нас, людей севера, это — чужой язык; и никто не в праве требовать, чтобы мы с изяществом изъяснялись по-французски: но, по крайней мере, нужно иметь легкое представление о грамматике того языка, который мы позволяем себе искажать! Я спрашиваю вас: что это за несчастный subjonctif: si aucun effet n'advienne! Это невежество»[1]).

В 1820 году умерла мать Одоевского, когда ему было 18 лет. Незабываемая для него потеря. Всю жизнь с болью вспоминал

---

[1]) «C'est du Welche»! — восклицает он, т.-е. это—дурной, «галльский» оборот. Словом «Welsch» («Waelsch»), «галльский», немцы обозначали с оттенком презрения всё романское (французское, итальянское) и вообще всё иностранное. Вольтер воспользовался этим термином для обличения своих компатриотов, и слово «Welche» стало употребляться во французском языке с значением человека невежественного, грубого, чуждого изящных искусств. (Этой филологической справкой я обязан любезности Л. П. Милицыной).

он о ней, воскрешая образ матери то в письмах, то в стихах. Есть трогательные строки о матери и в печатаемых мною письмах.

Молодость брала свое. Горе не мешало наслаждаться жизнью. От матери Одоевский унаследовал имение с 1000 душ. В финансовом отношении он был независим от отца.

1-го октября 1821 года, по обычаю дворянской молодежи, Одоевский поступает на военную службу — юнкером в лейб-гвардии конный полк; 23 февраля 1823 г. производится в корнеты. Это, может быть, самая веселая пора его жизни,—жизни богатого офицера на полной свободе.

К этому времени относятся письма, адресованные В. Ф. Одоевскому и опубликованные И. А. Бычковым, а также два письма к отцу (I и II). В последних письмах виден прежде всего юный офицерик, которого забавляют смотры и новые кирасы, но уже первое письмо содержит интересное указание на его умственные запросы. Он жалуется, что маневры в Витебской губернии оторвали его от любимых занятий и прежде всего от поэзии.

Жизнерадостный юноша, Александр Одоевский, как Моцарт, беззаботно играл своим талантом и временами зло трунил над кузеном-философом, Владимиром Одоевским, в котором видел как бы Сальери любомудрия. Сознавая в себе «что-то общее avec le génie», «с беспечностью любимца муз» питал он «огнь воображенья мечтами лестными, цветами заблужденья» и «дерзостным орлом» хотел летать, «куда зовет упрямая богиня славы»[1]) Любомудрием его не соблазнишь. Ему милее капризная жизнь сердца и воображенья. «Без заблужденья—счастья нет», писал он[2]).

Александр Одоевский — прежде всего поэт, влюбленный в жизнь.

Когда сквозь темную завесу каторжного десятилетия всматривался он в свое счастливое прошлое, ему вспоминались лучшие стремления и мечты юности, когда хотелось «всецело посвятить себя служению искусствам и наукам». Душа жаждала высокого и прекрасного, искала всё новых и новых впечатлений. Из того же письма к отцу от 12 окт. 1835 г. (№ XVI) узнаем, что весною 1823 г. Одоевский вместе с Авраамом Норовым собирался в Египет и в Палестину. «Нечто более реальное», прибавляет он, «был мой проект отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым».

А. Бестужев и Рылеев увлекли Одоевского мечтами декабризма. Его пленила, надо полагать, самая поэзия заговора,

---

[1]) Из раннего стихотворения А. И. Одоевского.

[2]) Параллель между Александром и Владимиром Одоевскими набросана мною в книге: «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский (т. I, ч. I. М. 1913 г.), стр. 299—307; см. еще 95—96, 134. См. также в книге Н. А. Котляревского «Декабристы кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский «(СПБ. 1907), стр. 9—13.

красота революционного экстаза. Участие в событии 14 декабря было для него одним из тех красивых «заблуждений», без которых счастья нет.

IV.

1 февраля 1827 г. Одоевского, присужденного к 12 годам каторги, повезли из Петербурга (из Алексеевского равелина) в Сибирь. 20 марта того же года водворился он на Нерчинских рудниках (в Чите), в 1831 г был переведен в Петровскую тюрьму (за Байкалом, близ Верхнеудинска). В конце 1832 г. последовала «высочайшая милость»: по случаю рождения великого князя Михаила Николаевича сократили срок каторги (до 8 лет). И Одоевский в начале 1833 г. мог отправиться на поселение. Ему назначили сначала Тельму (недалеко от Иркутска), потом Елань, село Иркутской губ. (в 36 верстах от уездного города). Здесь пробыл он до конца августа 1836 г., когда его переслали в Ишим, Тобольской губернии, [1]) с тем, чтобы в июне 1837 г. перевести на Кавказ рядовым Нижегородского драгунского полка в действующую армию, где он и нашел себе смерть в 1839 году.

Печатаемые мною письма в количестве 25 (первые два — до ссылки) писаны все из Елани и относятся ко времени от 19 июля 1833 г. до 21 июня 1836 года.

Письма дают нам возможность судить о разных сторонах жизни поселенца, о его думах и настроении.

Трудно представить себе более нежные отношения между отцом и сыном. Александр Одоевский не находит слов для выражения своей поистине благоговейной любви к отцу, который, в свою очередь, платит ему самыми трогательными попечениями. Кажется, весь барский дом Одоевских в с. Николаевском жил заботами о несчастном узнике, хотя отец женился второй раз и имел еще нескольких детей. Одоевский мечтал о приезде отца в Сибирь (п. VIII, от 14 ноября 1833 г.), но ему оставалось только мысленно переноситься в родную семью. В письмах он посылает бесконечные поцелуи всем, всем. Не забыт и слуга Никита, которого Одоевский очень любил, как близкого домочадца, и называл в письмах своих «милым другом». [2]) Чувствуется атмосфера дружной дворянской семьи, возглавляемой «добрым барином».

Как и прежде, отец боялся, не представляется ли местность, в которой поселили Александра Ивановича, опасной для его здоровья.

---

[1]) Отец хлопотал о переводе в Курган. Ср. в письме XIII.

[2]) Письмо III. Ср. также письма IV, V, VIII, IX и X. В письме XXIII Одоевский заботливо справляется о своем бывшем камердинере Курицыне, который жил на пенсию, получаемую от него.

Одоевский успокаивает отца: с самой выгодной стороны описывает он Елань и ее население (всё т.-н. старожилы, за исключением четырех или пяти «посельщиков»); жить хорошо и безопасно (п. VI и VII). Но позднее пришлось признаться, что Елань расположена в болотистой местности и что болотные миазмы вредят его здоровью (п. XVII).

И еще любопытные данные об Елани (п. XII, от 1 июля 1835). Погода летом «очень хорошая, и вполне можно бы подумать, что находишься в Италии, так жарко в полдень; но ночи обычно—очень свежие, чтобы не сказать холодные». «Вообще», замечает Одоевский, желая предупредить опасения отца, «непостоянство сезона могло бы действовать опасно на здоровье, если бы я не принял мер предосторожности. Несмотря на старание не простудиться, третьегодня я заполучил такую боль в горле что с трудом могу говорить. Я натираю шею летучим спиртом моего состава — и это помогает мне».

Материальной нужды Одоевский не испытывал. Ему присылали и вещами (напр., п. XXV) и деньгами. И ранее было известно, что ему позволено было получать по 1000 р. в год [1]). Случались, конечно, периоды безденежья, когда приходилось производить экстренные расходы, напр., на отделку комнаты, но помощь поспевала во-время и всё обходилось благополучно (п. V и VI).

Повидимому, за Одоевским каким-то образом осталось имение, полученное в наследство после матери; управлял им дядя Дмитрий Сергеевич Ланской. На нем, главным образом, лежали финансовые заботы об Александре Ивановиче. Когда дядя умер (в конце 1833 г.), тетка, Варвара Александровна, считала своим долгом обеспечить материальное положение Александра (п. XXVI от 10 июня 1836 г.).

Одоевский жил в собственном домике, к которому пристроил «горницу», обставив ее по своему вкусу.

«Занимаю я,» пишет он 22 ноября 1833 г. (п. IX), «одну комнату, которую отделал сам, как я уже сообщал вам; род маленького фонаря: ибо на квадрате в две с половиною сажени— четыре окна, довольно больших. Это — мой эрмитаж. Я почти не выхожу из него, потому что вы, может быть, помните, что я всегда был врагом пешего передвижения». Прогулки по деревне особенного удовольствия не доставляли (ср. и в письме XVII).

Обзавелся Одоевский и хозяйством, не только домашним, но и полевым. Сохранилась опись этого хозяйства, из которой видно, что он владел $1^1/_2$ десятинами земли и снимал у крестьян еще $16^1/_2$ десятин, что у него было 4 лошади и 1 корова [2]). В нескольких письмах он рассказывает отцу о своих сельскохозяйственных заботах, как настоящий рачительный помещик.

---

[1]) Ср. в книге Н. А. Котляревского, стр. 42.
[2]) Н. Котляревский, 42—43 стр., прим.

он возделывал огород (семенами нередко снабжал его отец) засевал поля хлебом. «Эту весну», пишет Одоевский 15 мая 836 г., «я сам занимался надзором за сельскими работами, оторые я предпринял». «Я усвоил себе долг и привычку», ловито замечает он (п. XXVII, от 21 июня 1836), «самому аниматься сельскими работами, — единственное средство заста-ить хорошо работать» (ср. письма XXIV, XXV и XXVI).

V.

Разумеется, в распоряжении нашего поселенца оставался громный досуг. Его образ жизни, казалось, мог способствовать ому, чтобы он свободно развернул свое поэтическое творчество.

В стихотворении «Поэзия» (1837 — 1839) Одоевский свиде-ельствует, что в творчестве черпал он «все радости, усладу корбных дней», когда в снегах пустынных мир он славил, «его расу и стройность вечных дел, господних дел, грядущих высшей цели». В собрании сочинений Одоевского помещается есколько стихотворений, созданных в сибирский период жизни, о ни одно из них не помечено Еланью. Даже «Послание к отцу» бычно датируется «Ишим, 1836 г.». Впрочем, в «Старине Новизне» (1905 г., кн. X) то же стихотворение напечатано по втографу, хранившемуся в бумагах П. А. Вяземского, с датой: Дерев. Елань, Иркутск. губ. 14 апр. 836 года».

Общеизвестно, что Одоевский не любил записывать своих тихотворений, не любил и печататься. И. А. Кубасов старается нести коррективы в эту «легенду», но факт всё-таки остается актом [1]).

Наши письма дают несколько интересных черт для осве-щения техники и всего характера поэтического творчества Александра Одоевского.

22 ноября 1833 г. (п. IX) он описывал отцу свой обычный ень. После короткой прогулки поэт усаживается на постели, итает что-нибудь или сочиняет. «Принимаюсь», говорит автор оэмы «Василько» (1827 — 1830), «размышлять о плане какой-ибудь поэмы или трагедии, которую, может быть, начну, но оторую никогда не кончу, по милости разборчивой совести: ще никогда она не была довольна ни одним моим эпическим ли трагическим планом и почти ни одной моей пиесой». Сочи-яемое почти никогда не кладется на бумагу; тем легче забыть. очень давних пор источником вдохновения служит для Одоев-кого древне-русская история, «столь простая и иногда столь рекрасная в устах наших монахов-летописцев». «Если я», кромно замечает Одоевский, «может быть не поэт в истинном начении этого слова, всё-же я очень люблю поэзию и лите-

[1]) И. А. Кубасов. «Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные го стихотворения». Петербург. 1922. Стр. 7—22.

ратуру, больше, чем всё остальное в сфере искусств и человеческих знаний».

VI.

Главным занятием Одоевского, особенно, конечно, в зимние и осенние месяцы, было чтение. «Поэтому», пишет он отцу (п. XVII, от 5 дек. 1835 г.), «моя первая и единственная просьба: книг, книг, мой добрейший отец, если это возможно». Отец, тетка и другие родственники охотно снабжали его книгами. У Одоевского составилась библиотечка из иностранных и русских книг. От времени до времени он сообщает отцу о своем чтении и делится литературными суждениями. Два-три письма он сумел превратить в настоящие литературно-критические этюды. Одоевский всегда сознательно относился к проблемам литературного творчества. Вспомним, что еще в 1825 году им написана критическая статья о трагедии «Венцеслав», сочинение Ротру, переделанной г. Жандром.

Из иностранных авторов в наших письмах упоминаются Монтескье (п. XXV), Руссо (п. XXIV и XXV) [1]), Ламартин и Шекспир [2]).

Английскому языку Одоевский обучался в Сибири, у декабриста Завалишина [3]).

В Елани он усердно читал Шекспира. Без словаря было трудно, и он настойчиво просит прислать ему английский словарь Bowl'я. «Я погрузился в изучение Шекспира», заявляет Одоевский: «Всё, что имеет отношение к этому поэту-философу, представляет для меня особенную прелесть». Получил Одоевский биографию Шекспира, его портрет и изображение могилы. Портрет вызывает любопытные замечания см. в письме XV [4]).

Но, конечно, из иностранных писателей главное место в чтении Одоевского занимали французские авторы.

Ламартин вызвал его на очень интересные рассуждения.

Сначала Одоевскому прислали фельетон «Journal de St. Pétersbourg», где был напечатан отрывок из Ламартина, именно из его сочинения: «Souvenirs, impressions, pensées, paysages, pendant un voyage en Orient». Одоевский — в полном восхищении и пишет целую критическую статью, сравнивая Ламартина с прославленным русским паломником, Андреем Муравьевым.

---

[1]) Еще в письме от 2 окт. 1821 г. Одоевский называл Руссо: «Мой Жан Жак». См. «Р. Ст». 1904, февр., стр. 372.

[2]) Из письма к Варваре Ивановне Ланской от 17 июля 1836 г. («Р. Арх». 1885, I, стр. 128—131) узнаем, что Одоевскому прислали еще Сент-Бева, Менцеля и Виктора Жакмона. См. мое примечание к письму XXIII.

[3]) Хотя еще дома он учился английскому языку вместе с немецким, французским и древними языками. Н. А. Котляревский. «Декабристы кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский». СПБ. 1907. Стр. 14.

[4]) О Шекспире — в письмах XIV, XV и XVII.

См. письмо XVI от 12 октября 1835 г. (ср. сказанное об Андрее Муравьеве в письме XXVII).

Получив в мае 1836 г. четыре томика Ламартина, его «Souvenirs» в полном виде, Одоевский почувствовал «дрожь радости», но, внимательно прочитав текст, испытал разочарование, хотя и не отказался от прежнего мнения по поводу отрывка. В целом «Souvenirs» не удовлетворили Одоевского: они показались ему монотонными, мечтательными, слишком суб'ективными (вместо Востока видишь только Ламартина). В прозе Ламартин — менее поэт, чем в стихах. Самым интересным нашел он письмо русского государя графу Орлову: оно придало блеск всему произведению (п. XXV от 28 мая 1836 г. и примечание к нему).

С особенной любовью читал Одоевский русских летописцев (п. IX). Его глубоко интересовало историческое прошлое родины. Отец послал ему роман Лажечникова «Новик». Не получив его, он просит у отца второй экземпляр (п. V, от 10 окт. 1833).

Внимательно следит Одоевский за судьбами русской культуры, поскольку они выражались в литературной жизни. Первые тома «Энциклопедического словаря», конечно, Плюшара, привели его в настоящее восхищение: это научно-литературное предприятие свидетельствовало ему о быстром росте русской образованности в царствование Николая I [1]). (См. в письме XX).

Интересовали и радовали Одоевского такие издания, как «Новоселье» Смирдина и особенно «Библиотека для чтения» Сенковского. Последний журнал он получал, повидимому, довольно регулярно и оказался большим его почитателем, хотя и не соглашался с некоторыми литературными суждениями журнала. [2]) Политическая платформа журнала была ему близка. В последних нумерах французского журнала «Revue Etrangère»,— писал он отцу 12 марта 1836 г., — «я нашел очень мало интересных статей: — маленькие и скудные романические приключения, претенциозно рассказанные;—между тем как последние тома «Библиотеки для чтения» содержат страницы превосходно продуманные». Называется статья о Фридрихе Великом, которую Одоевский склонен приписывать перу самого Сенковского; в ней нашел он панегирик принципам военной монархии (см. письмо XXII и примечание к нему [3]).

---

[1]) В «Словаре» некоторое время участвовал и В. Ф. Одоевский. О том, как зачиналось это предприятие, и какой, в действительности, носило оно характер, — см. в моей книге «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский» (т. I, ч. II, стр. 414—415, прим. 2). Словарь стал выходить с 1835 г. и прекратился в 1841 г., на 17 томе, на букве Д.

[2]) Впоследствии в стихотворении «Поэзия» (1837—39) Одоевский решительно восстанет на «Протея Сенковского», глумившегося над поэзией.

[3]) Ср. о «Библиотеке для чтения» также в письмах IX, XIV, XVI, XVII, XX, XXIII.

В рассуждениях Одоевского по поводу письма Николая I к Орлову, «Энциклопедического словаря» Плюшара и, наконец, по поводу статьи о Фридрихе Великом явственно выступают его монархические симпатии. Одоевский, очевидно, не принадлежал к тем декабристам (может быть, немногим), которые с самого начала выработали себе определенные политические убеждения. Монархизм Одоевского на время, притом на короткое время, был заслонен революционным энтузиазмом. Туман рассеялся, и материк монархизма снова выступил во всей своей четкости.

VII.

Публикуемые письма отразили далее настроение Одоевского, черты его физического и душевного здоровья.

Одоевский — натура религиозная, поэтически верующая. «Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных», сказал о нем Н. П. Огарев, познакомившийся с поэтом в 1839 г. в Пятигорске.

В письмах Одоевский часто проявляет свое религиозное настроение. Не холодной фразеологией звучат его слова, когда он говорит, что возносит горячие мольбы за отца, за его здоровье и счастье (напр., п. XVIII) и за близких родных. Болезнь и смерть маленькой сестры Мари дали ему повод для настоящих религиозно-лирических излияний (п. IV, VI и VII). Кротко мирится он с режимом своей поселенческой жизни. Никогда не услышишь от него жалоб. Напротив, то и дело благодарит он правительственных лиц за внимание и гуманность, а царя за оказываемые ему милости (особенно за разрешение переписываться с отцом) и за непрестанное его великодушие. Конечно, Одоевский делает это частью потому, что не хочет волновать отца, частью, может быть, из дипломатической предосторожности, но главным образом из убеждения, что он должен терпеливо нести заслуженное наказание. Повидимому, страдалец сжился с своей тяжелой судьбою и обрел высокое спокойствие духа.

Но победа христианского смирения не была, да и не могла быть полной. Психология живого человека, как всегда, оказывалась более сложной: и плоть напоминала о своих правах, и дух принимался бунтовать.

Как ни старался Одоевский скрывать от нежного отца состояние своего здоровья, но с каждым годом вести его о себе невольно становятся всё тревожнее и тревожнее.

Уже в июле 1833 г. (п. III) жалуется он на боль в груди, на одышку. Впоследствии пришлось говорить об этом всё чаще и чаще (ср. письма XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV). Видимо, болезнь глубоко внедрялась в организм. По возрасту Одоевский был еще «во цвете лет», но печать обреченности уже лежала на нем.

К физическому недугу присоединялся и душевный. Одоевского стали посещать минуты острой тоски. Письмо от 4 августа 1835 г. (XIV) содержит на этот счет весьма характерные строки. Одоевскому было мучительно сознавать, что он, столь любивший жизнь, отрезан от нее и как бы заживо погребен в этой постылой Елани. Каждое событие, происходившее среди близких ему людей и требовавшее его присутствия, растравляло его ноющую рану. Тут-то с новой болью сознавал он, что лишен элементарного права—права передвигаться (напр., п. XI от 23 янв. 1834). Получит Одоевский первые тома «Энциклопедического словаря», представит себе картину этой, как ему казалось, дружной коллективной работы на пользу родины и науки, под покровительством просвещенного государя, — и ему станет бесконечно горько, что даром пропадают его способности и знания. И он пишет (п. XX от 30 янв. 1836 г.): «Как я сожалею, видя себя выброшенным из недр того мира, который обожает нашего императора и который шествует от успеха к успеху под его августейшим руководством! Да и я — мог бы вложить сюда свою долю полезных услуг, вместо того, чтобы бросаться в бездну самого преступного безумия».

Раскаяние в непоправимом безумии гложет сердце Одоевского.

Это нисколько не удивит того, кто знает его биографию. Раскаиваться Одоевский стал в самый день 14 декабря, когда в беспамятстве бежал он с Сенатской площади. Кстати сказать, принадлежность Одоевскому знаменитого стихотворения «Струн вещих пламенные звуки» (ответ на послание Пушкина) в сущности никем не доказана: оно лишь приписывается ему.

В 1833 г. из Елани Одоевский молил царя о прощении. О том же хлопотал отец. Царь был непреклонен. Тем не менее Одоевский продолжал жить мечтой об освобождении и именно надеждой на милость государя. Наши письма полны как дифирамбов по адресу Николая, так и покаянных речей. Достаточно было малейшего повода, прямого или косвенного, чтобы из груди Одоевского лирическим потоком хлынули слова скорби и раскаяния. См. в письмах XI (23 янв. 1834), XVI (12 окт. 1835), XXII (12 марта 1836), XXV (28 мая 1836).

Конечно, мы в праве предположить, что подобные тирады писались не без расчета произвести соответствующее впечатление на лиц, от кого зависела судьба Одоевского, но не подлежит никакому сомнению, что он не кривил душою, а выражал тут свое подлинное настроение и свои продуманные мысли. К декабристам Одоевский примкнул по искреннему у в л е ч е н и ю; в течение трех месяцев, о которых он сам говорит, ч у в с т в о в а л себя революционером, пока не дошло до дела, но революционером, в действительности, он никогда не был.

Александр Одоевский — искренний, но **случайный** декабрист [1]).

Красота его личности воспринимается нами не в плане политической борьбы, к которой он имел весьма далекое отношение.

Потомство ценит в нем «поэта с прекрасною душой, с душою светлою, как луч денницы» (Огарев), и человека с печатью «сердечной грусти» на челе. О себе именно сложил Одоевский элегию «Что вы печальны, дети снов» (1830), в которой набросал такой автопортрет, поместив его на глубоком фоне мировой истории.

Кто был рожден для вдохновений
И мир в себе очаровал,
Но с юных лет пил желчь мучений
И в гробе заживо лежал;
Кто ядом облит был холодным
И с разрушительной тоской
Еще пылал огнем бесплодным
И порывался в мир душой,
Но порывался из могилы,—
Тот жил! Он духом был борец;
Он, искусив все жизни силы,
Стяжал страдальческий венец;
Он может бросить взор обратный
И на минувший темный путь
С улыбкой горькою взглянуть...

. . . . . .

Как тени, исчезают лица
В тебе, обширная гробница!
Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья.

. . . . . .

В лазурь небес восходит зданье;
Оно незримо, каждый день,
Трудами возрастает века;
Но со ступени на ступень
Века возводят человека.

П. Сакулин.

---

[1]) Делая подобный вывод, я не забываю того эпизода в кавказском Ставрополе во время пребывания государя, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Сатин. Помимо того, что Сатин скрыл от нас латинское восклицание Одоевского,—его воспоминаниям можно противопоставить воспоминания Огарева о «христоподобном» Одоевском, изумлявшем своим «религиозным самоотвержением». Ср. в книге Н. А. Котляревского «Декабристы», стр. 47—53.

ПИСЬМА А. И. ОДОЕВСКОГО.

Общие замечания к тексту писем.

Все печатаемые мною письма А. И. Одоевского писаны на французском языке. Я даю их и в оригинале и в переводе на русский язык.

Во французском тексте строго соблюдаются правописание и пунктуация подлинника.

По принятой тогда французской орфографии, А. И. Одоевский пишет: tems, longtems, printems, contens, sentimens, raisonnemens, désagrémens, momens, remercîmens, parens, enfans, fervens, savans, interessans, fragmens. Изредка встречаются явные описки (напр., nôce, reflêt), которые в соответствующем месте и оговорены мною. Обращение к отцу — Vous, начиная с IX письма, пишется с большой буквы, а до этого писалось с малой.

Подпись имени большею частью неполная и неразборчивая, но в некоторых случаях написана вполне четко, и я всюду пишу: Alexandre Odoievsky [1]). По-русски его фамилию я передаю с окончанием «ой», как подписывался он сам в своих русских письмах.

Наиболее часто в письмах упоминаются:

1) О т е ц — Иван Сергеевич Одоевский, помещик Владимирской губернии, Юрьево-Польского уезда в с. Николаевском; умер в 1839 году.

2) М а т ь — урожденная княжна Прасковья Александровна Одоевская; умерла в 1820 году.

3) М а ч е х а, именуемая в письмах княгиней; от нее у Ивана Сергеевича было несколько детей; в письмах фигурирует девочка Мари, заболевшая и умершая.

4) Т е т к а — по матери, Варвара Александровна, бывшая замужем за Дмитрием Сергеевичем Ланским, который в письмах называется дядей; Дмитрий Сергеевич должен был за границей подвергнуться операции камнедробления, но операция не состоялась; умер в 1833 г.

5) В а р в а р а И в а н о в н а, упоминаемая в письмах IX, XV и XXIII, это — Варвара Ивановна Ланская (1800 — 1844), дочь кн. Ив. Пв. Одоевского, двоюродного брата Ивана Сергеевича; ей Алекс. Ив. Одоевский посвятил свою элегию «Что вы печальны, дети снов».

6) Несколько кузин и других родственников, ничем особо не замечательных.

Два-три других имени об'яснены в примечаниях к соответствующим письмам.

Бумага писем — большею частью с ярославской фабрики князя Гагарина.

Конвертов нет. На многих письмах адрес писан на четвертой странице.

П. С.

I.

Vélikii Louki, le 3 Juin, 1822.

Cher Papa!

La date de ma lettre vous a déjà appris, d'où j'ai le plaisir de vous écrire. — Voici le huitième jour que nous sommes en marche. Le tems nous a assez favorisé, excepté la journée d'hier

---

[1]) На письме XIII подпись, повидимому, «Alexandre Odoievski».

qui a été très-pluvieuse. — Que nous sommes contens d'avoir dépassé les limites du gouvernement de Vitebsk, qui nous avaient paru une éternelle barrière entre les plaisirs et l'ennui, entre Pétersbourg et Vélije. Qu'il me coûte de prononcer ce maudit nom, et que je suis heureux de ne plus être dans la nécessité de le mettre au commencement de mes lettres! — Comme on sent bien la différence qu'il y a entre la Russie et la Russie blanche, d'abord qu'on est au-delà de la borne qui sépare le gouvernement de Pskoff de celui de Witebsk! Je respire l'air de mon pays, et je renais à la vie, à la poésie, à l'étude, à tous les sentimens que j'ai nourris au fond de mon coeur, et qui se sont peu à peu évanouis, pendant notre séjour dans la ville des Juifs: c'est que l'inspiration naît du dehors, et que les sentimens meurent sans inspiration.

Mais trève de raisonnemens. J'ai quelque chose de plus important à vous demander. D'où vient, cher Papa! que depuis deux semaines je suis privé du plaisir de recevoir de vos nouvelles. Vous êtes cependant, et vous vous dites si exact! Si vous alléguez la marche pour raison du retard de vos lettres, en cas que vous en ayez écrit: je vous répondrai que le jour même que nous sortîmes [1]) de Vélije, la poste de Moscou arriva [2]), sans m'apporter de vos nouvelles. A quoi attribuer votre silence?

Dans l'espoir que mes doutes seront bientôt dissipés, je vous prie de me croire.

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

Приписка сбоку на последней (4-ой) странице:

«Si vous avez reçu ma dernière, vous avez dû apprendre le besoin urgent d'un millier de roubles, dans lequel je me trouve en ce moment».

Вторая приписка сбоку на второй странице:

«C'est à présent que les numéros sont nécessaires: je commencerai par le premier».

Русский перевод. Великие Луки, 3 июня, 1822.

Дорогой папа!

Дата моего письма уже показывает Вам, откуда я имею удовольствие писать Вам. — Вот уже восьмой день, как мы в по-

[1]) Сначала было написано: «sommes sortis». *П. С.*

[2]) Перед «arriva» зачеркнуто «est»; значит, предполагалась другая временная форма, *П. С.*

ходе. Погода достаточно благоприятствовала нам, за исключением вчерашнего дня, который был очень дождливым. Как мы довольны, что миновали границы Витебской губернии, которые казались нам вечным барьером между удовольствиями и скукой, между Петербургом и Велижем. Чего мне стоит произносить это проклятое имя, и как я счастлив, что не нужно более ставить его в начале моих писем! — Как сильно чувствуется разница между Россией и Белоруссией, тотчас же за межой, которая отделяет Псковскую губернию от Витебской! Я вдыхаю воздух моей страны, и возрождаюсь к жизни, к поэзии, к занятиям, ко всем чувствам, которые я питал в глубине моего сердца и которые мало-по-малу исчезли во время нашего пребывания в еврейском городе: вдохновение приходит извне, и чувства гибнут без вдохновения.

Но довольно рассуждений. У меня есть нечто более важное, о чем спросить Вас. Почему, дорогой папа, уже две недели я лишен удовольствия получать от Вас письма? Между тем, ведь, Вы такой точный и сами считаете себя аккуратным! Если Вы сошлетесь на наш поход, как на причину опоздания Ваших писем, в случае если Вы писали их, я отвечу Вам, что в тот самый день, как мы вышли из Велижа, прибыла московская почта и не принесла мне Ваших писем. Чему приписать Ваше молчание.

В надежде, что мои сомнения скоро рассеются, прошу верить моей полной преданности.

Ваш сын Александр Одоевской.

Сбоку на четвертой странице письма: «Если вы получили мое последнее письмо, вы, стало быть, знаете, что в данное время мне настоятельно необходима тысяча рублей».

Сбоку на 2-й странице: «Как раз теперь особенно нужны нумера: я начну с первого» [1]).

Примечания:

Великие Луки — в Псковской губернии.

С 1820 года Одоевский служил в лейб-гвардии конном полку; 1 мая 1822 г. он был произведен в эстандарт-юнкера. С сентября 1821 г. полк находился на маневрах в Велиже (Витебской губ.), откуда в конце мая 1822 г. пошел обратно в Петербург.

Два письма А. И. Одоевского из Велижа к двоюродному брату, В. Ф. Одоевскому, от октября 1821 г. напечатаны И. А. Бычковым в «Русской Старине», 1904 г., февраль, стр. 371 — 374.

В Публичной библиотеке (в Ленинграде) хранится в числе неизданных писем А. И. Одоевского другое его письмо от 3 июня 1822 г. также из Великих Лук. Оно цитируется Н. А. Котляревским в книге «Декабристы» (Спб. 1907 г.), стр. 8 — 9. Одоевский так говорит здесь о своем настроении: «Другой воздух, другая жизнь в моих жилах! Я в отечестве! Я в России! Лица русские, человеческие. Молодцы русские испод-

[1]) Нумерации на письме, однако, нет.

любья, как жиды, не смотрят, русские девушки нас не убегают, как беловолосые уннатки! Я почувствовал, что я человек в тот самый миг, как мы перешли за роковой столб, отделяющий Белоруссию от нашей милой отчизны. Я отягчен полнотою жизни! Я пламенею восторгом, каким-то чувством вожделения, жаждой наслаждений».

II.

Cher Papa,

J'ai l'honneur de vous féliciter.

Il y a quatre jours que notre régiment a été passé en revue, par notre nouveau chef du corps, le Général Воинов. Nous avons d'abord passé съ права по одному, на двѣ лошади дистанции — tout le régiment; ensuite par plotons [1]), la première fois au pas, ensuite au trot. Il a témoigné sa satisfaction. Le régiment des Chevaliers-Gardes nous avait précédé. C'est au manège du Palais St. Michel que notre revue a eu lieu, sans cuirasses; parce que les nouvelles ne sont pas encore tout-à-fait prêtes. Elles seront très-belles, à l'instar de celles des officiers, si vous vous souvenez de la mienne. — Пригнаты онѣ по каждому человѣку. — Le régiment sera très-beau, lorsqu'il aura endossé ces cuirasses et les nouveaux casques. Ces derniers seront moins hauts que les anciens, et auront à-peu-près la forme romaine.

Vous savez, mon cher Papa! que le Général Paskevitch a été fait aide-de-camp Général, et Варвара Васильевна demoiselle d'honneur. Je crois que vous le savez déjà, par l'entremise du Prince Alexandre Borissovitch.

Pardon, mon cher Papa! que je vous écris si mal. Je n'ai plus de tems de reste. La semaine passée j'ai fait des prouesses. J'ai monté deux fois la garde, pour le Comte Laval qui m'en a prié, et la seconde pour moi-même. — C'est ce qui m'a privé du plaisir de vous écrire.

J'ai l'honneur d'être

S. P. Votre dévoué fils

Le 23 [2] Décembre Alexandre.

1824.

Je vous prie de présenter mes respects à la Princesse, et de la féliciter de ma part.

---

[1]) Вместо «pelotons» *II. C.*

[2]) Дата неразборчива; цифра «3» переправлена из «2», а ранее, повидимому, стояла «1». *II. C.*

Русский перевод.

Дорогой папа,

Имею честь поздравить Вас.

Четыре дня тому назад наш полк был на смотру у нашего нового корпусного командира, генерала Воинова. Сначала мы прошли справа по одному, на две лошади дистанции — всем полком; потом повзводно, в первый раз шагом, затем рысью. Он изъявил свое удовольствие. Конногвардейский полк шел впереди нас. Наш смотр происходил в манеже Михайловского дворца без кирас; потому что новые еще не совсем готовы. Оне будут очень красивы, на подобие офицерских, если Вы помните мою. Пригнаты оне по каждому человеку. — Полк будет очень хорош, когда обрядится в эти кирасы и в новые каски. Эти последние будут пониже прежних и будут иметь почти римскую форму.

Вы знаете, мой дорогой папа, что генерал Паскевич сделан генерал-адъютантом, а Варвара Васильевна фрейлиной. Я думаю, Вы уже давно знаете об этом через посредство князя Александра Борисовича.

Простите, мой дорогой папа, что я написал Вам так плохо. У меня не было времени. Минувшую неделю я совершил подвиг. Два раза ходил на караул, вместо графа Лаваля, который просил меня об этом, а второй раз за себя самого. — Вот что лишило меня удовольствия писать Вам.

Имею честь быть Вашим преданным сыном

Александр.

С.-Петербург,
23 декабря
1824 г.

Прошу засвидетельствовать мое почтение княгине и поздравить ее от меня.

Примечания:

Одоевский поздравляет отца и княгиню (мачеху) с наступающим праздником рождества.

В это время Одоевский был уже корнетом (с 23 февраля 1823 г.).

Упоминаемый в письме генерал Паскевич, это — Иван Федорович Паскевич (1782—1856), впоследствии граф эриванский и светлейший князь варшавский. Участвовал в суде над декабристами. Паскевич был в родстве с Одоевским и Грибоедовым. Последний в 1828 году умолял его похлопотать о переводе А. И. Одоевского из Сибири на Кавказ, но успеха не имел. См. письмо Грибоедова к Паскевичу — в III т. полного собрания сочинений (издание Академии Наук, под редакцией Н. К. Пиксанова), стр. 242.

III.

Mon cher Papa,

Le bonheur si pur que j'ai éprouvé, en recevant vos deux lettres à la fois (le numéro 11 et 12), ne peut être que senti, et non exprimé. J'ai acquis à la fin la conviction que la cause de votre silence si prolongé n'a pas été une indisposition: ce qui m'eût affecté jusqu'au fond de l'âme.

Je vous suis bien reconnaissant pour tous les bons conseils que vous me donnez, touchant mon mal de poitrine; mais de tous les maux c'est peut-être celui qui est le plus opiniâtre; parce qu'il tient à une désorganisation intérieure, au moins pour l'ordinaire. Je ne vous parle pas de mon mal à moi; car il n'est pas si dangereux, quoiqu'il tienne à une faiblesse pulmonaire. Si je presse le pas ou si je monte à une petite élévation, je me sens d'abord essoufflé. Au reste, depuis que je me contrains moi-même de mettre en action mes facultés locomotives, (ce que je ne fais pas volontiers,) — je me sens mieux, et je vous le dis en toute vérité; non pour vous tranquilliser seulement, mais parce qu'effectivement depuis que je me promène, et que j'accoutume au mouvement mon corps qui y était peu habitué, surtout les pieds — je ne suis plus affecté aussi péniblement, et mes organes de respiration se mettent beaucoup mieux en jeu, quoique mes poumons soient bien faibles.

Il n' y a pas huit jours que j'ai reçu une lettre de la part de mon Oncle, Дмитрій Сергѣевичъ, et de ma bonne Tante. Je crois vous en avoir parlé dans ma dernière; mais vous savez déjà, à en juger par ce que vous me dites, qu'ils ne partent plus pour Carlsbad, et qu'ils ont le projet de faire un voyage à Paris, où Дмитрій Сергѣевичъ veut se soumettre à la lithotritie. Dieu veuille qu'il puisse guérir.

Ma Tante m'a annoncé dans sa lettre que vous avez remis votre voyage pour Pétersbourg à une autre époque; parce que la nôce [1]) de ma cousine, la Princesse Annette, n'aura lieu qu'au mois de Septembre; c'est ce que vous confirmez dans votre № 11.

Je vous supplie de présenter mes respects à la Princesse et d'embrasser bien cordialement mon aimable ami, Никита, qui me porte un attachement si constant. Baisez sur les deux joues mes frères et soeurs. J'ai l'honneur d'être

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

№ 5.

Le 19 Juillet, 1833, Elagne.

---

[1]) Следует «посе». *П. С.*

Русский перевод.

Мой дорогой папа,

Столь чистое счастье, какое я испытал при получении зараз двух Ваших писем (нумера 11 и 12), можно только почувствовать, а не выразить. Наконец-то получил я доказательство того, что причиной Вашего столь долгого молчания не было нездоровье: то, что огорчало меня до глубины души.

Очень признателен Вам за все добрые советы, которые Вы даете мне касательно моей грудной боли; но из всех болезней, это, может быть, — самая упорная, потому что она зависит от внутреннего расстройства, по крайней мере, обычно. Я не говорю Вам про свою боль, ибо она не столь опасна, хотя и зависит от слабости легких. Если я ускоряю шаг или поднимаюсь на небольшое возвышение, сначала я чувствую одышку. Впрочем, с тех пор, как я приневоливаю себя упражнять мои двигательные способности (что я делаю неохотно), я чувствую себя лучше; говорю Вам это по всей правде, не для того только, чтобы Вас успокоить, но потому, что и в самом деле с тех пор, как я гуляю и приучаю к движению свое тело, которое к этому мало привыкло, особенно ноги, я не чувствую себя столь плохо, и мои дыхательные органы действуют гораздо лучше, хотя мои легкие очень слабы.

Нет и восьми дней, как я получил письмо от дяди Дмитрия Сергеевича и от доброй тети. Думаю, что я говорил Вам об этом в моем последнем письме; но Вы уже знаете, — судя по тому, что Вы мне говорите, — что они более не поедут в Карлсбад. и что у них есть проект отправиться в Париж, где Дмитрий Сергеевич желает подвергнуться операции камнедробления. Дай бог ему вылечиться.

Тетя известила меня в своем письме, что Вы отложили свою поездку в Петербург до другого времени, так как свадьба моей кузины, княжны Аннет, будет только в сентябре месяце; это и Вы подтверждаете в Вашем письме № 11.

Покорнейше прошу Вас засвидетельствовать мое почтение княгине и от всего сердца обнять моего милого друга Никиту, который питает ко мне столь прочную привязанность. Поцелуйте в обе щеки моих братьев и сестер.

Имею честь быть Вашим преданнейшим сыном

Александр Одоевской.

№ 5.
19 июля, 1833, Елань.

IV [1]).

Mon excellent Père,

Après plus de quinze jours d'une cruelle attente, j'ai eu enfin le plaisir bien vif de recevoir une lettre de votre part, datée du 2 Août de Nicolaévsky, № 17. Que de suppositions j'ai faites pendant tout ce tems qui m'a paru bien long! J'ai appréhendé que l'état de Marie n'eût empiré, et que la tendre affection que vous portez à cet aimable enfant, n'eût altéré l'état de votre propre santé. Je forme journellement des voeux pour le rétablissement de ma petite soeur; et j'ai presque le pressentiment que Dieu les exaucera, et qu'il vous rendra au bonheur et à la joie, ainsi que la Princesse dont le coeur maternel doit être bien douloureusement affecté, en soignant la pauvre malade. Je me transporte bien souvent en imagination au chevet de son lit que je voudrais mouiller de mes larmes,—mais de larmes de plaisir de la voir revenir à la santé.

La nouvelle de la nôce [2]) de Sophie m'a fait une surprise bien agréable: je lui ai toujours porté une bien bonne amitié. Je désire qu'elle sort réellement heureuse; et je vous remercie pour les bonnes choses que vous me dites sur le compte de son époux.

Veuillez me croire

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

Elagne.
№ 11.
Le 19 Sept. 1833.

Présentez, je vous prie, mes tendres respects à la Princesse et embrassez de ma part mes frères et soeurs et Никита que j'aime beaucoup.

На четвертой странице — адрес: «Его Сіятельству Милостивому Государю Князю Ивану Сергѣевичу Одоевскому. Владимірской Губерніи в Г. Юрьевъ-Польскій. Въ селѣ Николаевскомъ».

На той же стороне листа, где адрес, рукою отца сделано несколько приписок (по-французски и по-русски) о времени получения № 12 и 13 и других писем.

---

[1]) Рукою отца помечено: «11».
[2]) Вместо «посе». *П. С.*

Русский перевод.

Мой добрейший отец,

После более чем пятнадцати дней мучительного ожидания я имел, наконец, огромное наслаждение получить от Вас письмо, датированное 2 августа, из Николаевского, № 17. Сколько предположений делал я в течение всего этого времени, которое показалось мне очень долгим! Я опасался, как бы не ухудшилось положение Мари, как бы нежная любовь, какую Вы питаете к этому милому ребенку, не повредила состоянию Вашего собственного здоровья. Каждый день возношу я мольбы за выздоровление моей сестрицы; и я имею почти предчувствие, что бог услышит их и что он вернет Вам счастье и радость, равно как и княгине, чье материнское сердце должно мучительно страдать во время ухода за бедной больной. Очень часто в воображении переношусь я к изголовью ее постели, которую я хотел бы оросить моими слезами, — но слезами счастья видеть ее опять здоровой.

Известие о свадьбе Софи является для меня очень приятным сюрпризом: я всегда питал к ней очень большую дружбу. Желаю, чтобы она действительно стала счастливой; благодарю Вас за то хорошее, что Вы сообщаете мне насчет ее супруга.

Благоволите верить моей полной преданности

Ваш сын Александр Одоевской.

Елань.
№ 11.
19 сентября 1833.

Прошу передать мое нежное почтение княгине, и обнимите за меня моих братьев и сестер, и Никиту, которого я очень люблю.

V.

Mon cher Papa,

Pour cette fois-ci je n'ai pas eu de vos nouvelles. J'en attends aussi avec impatience de la part de mon Oncle et de ma Tante qui sont partis pour Paris. Ils m'ont écrit qu' ils seraient de retour pour la mi-Octobre; le sont-ils? Veuillez me le faire savoir au plutôt. — Je vous ai prié d'informer Дм. Сергѣевичъ que je suis à sec sous le rapport pécuniaire; mais je crois que vous ferez mieux de le lui faire savoir par ma Cousine, Elise. —

L'arrangement de ma chambre — et cependant ce n'est qu'une seule chambre, assez petite! — n'est pas encore achevé, et absorbe mes finances, — peu-à-peu.

Vou sme parlez de Новикъ que vous me dites m'avoir envoyé: je ne l'ai pas reçu. N'avez-vous pas un exemplaire de ce Roman chez vous? — Je vous en serai très-obligé, ainsi que pour Новоселье, un almanach qui a paru au commencement de l'année; mais que je n'ai pas encore lu.

Présentez mes respects à la Princesse, et embrassez mes frères et soeurs et Никита.

J'ai l'honneur d'être, en vous baisant les mains des millions de fois.

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

Elagne,
le 10 Oct. 1833.
№ 13.

На четвертой странице адрес: «Его Сіятельству Милостивому Государю Князю Ивану Сергѣевичу Одоевскому. Владимірской Губерніи въ Г. Юрьевъ-Польскій. Въ селѣ Николаевскомъ». Сверху кем-то помечено: «22».

Русский перевод.

Мой дорогой папа,

На этот раз я не имел от Вас писем. Я жду их с нетерпением также от дяди и тети, которые уехали в Париж. Они писали мне, что вернутся к половине октября; вернулись-ли? Благоволите поскорее дать мне знать. — Я просил Вас известить Дмитрия Сергеевича, что в денежном отношении дела мои плохи; думаю, что Вы поступите лучше, если уведомите его об этом через мою кузину Элизу.

Устройство моей комнаты — это одна только комната, довольно-маленькая! — еще не закончено и поглощает мои финансы — мало-по-малу.

Вы говорите мне о «Новике», которого, как пишете, послали мне: я не получил его. Нет ли у Вас еще экземпляра этого романа? — Я буду Вам за него очень обязан, равно как за «Новоселье», за альманах, который появился в начале года; но которого я еще не читал.

Засвидетельствуйте мое почтение княгине и обнимите моих братьев и сестер, и Никиту.

Миллион раз целую Ваши руки.

Имею честь быть Вашим преданнейшим сыном

Александр Одоевской.

Елань.
10 октября 1833.
№ 13.

Примечания:

«Новик», точнее «Последний Новик» — исторический роман И. И. Лажечникова, законченный печатанием в 1833 г.

«Новоселье» — альманах, изданный известным книгопродавцем Смирдиным по случаю перемещения магазина на Невский проспект (19 февраля 1832 г.). На торжестве присутствовало много литераторов, кои, по предложению В. А. Жуковского, подарили издателю на новоселье по произведению. Первая книга альманаха вышла, вероятно, в марте 1833 г. В 1845 году это издание было повторено. В 1834 г. Смирдин выпустил вторую книгу «Новоселья». В первой книжке, между прочим, напечатаны произведения В. Ф. Одоевского: «Бал» и «Бригадир». «Бал» напрашивается на сравнение с стихотворением А. И. Одоевского того же названия, которое впервые было напечатано в альманахе «Северные Цветы» на 1831 г. (а написано еще в 1827 г.).

VI.

Elagne, le 23 Octobre, 1833.
№ 13.

Mon cher Papa,

Vous vous inquiétez à tort: pourquoi Elagne vous effraie-t-elle jusqu'à un tel point? Le site n'est pas si affreux que vous vous le représentez. Quoiqu'il soit entouré de forêts, la vue s'étend jusqu'à des crêtes [1]) de montagnes très-éloignées, grâce à l'élévation du sol. Le village se trouve au bas d'une colline oblongue; et [2]) avant d'arriver jusqu'à la lisière de ces bois, vous aurez encore bien du chemin à faire au travers de gras pâturages et des champs très-fertiles. Je suppose que le rayon du cercle que forme l'espèce de vallée où se trouve Elagne, est à-peu-près de quatre verstes. Vous voyez que ces sombres forêts dont vous parlez et que j'ai décrites, comme quelque chose d'assez pittoresque, ne sont pas si près de moi.

[1]) Надо: «crêtes». *П. С.*
[2]) В оригинале описка: «at». *П. С.*

Quant aux lettres que je reçois de votre part et que je vsnoadresse, elles ne peuvent souffrir aucune espèce de retard, grâce aux dispositions de Son Excellence, M-r le Gouverneur. Je les recevrai le même jour à-peu-près que lorsque je me trouvais à Telma; et la preuve en est — que vous avez eu de mes nouvelles tous les huit jours, sans discontinuer, excepté la semaine passée, et encore une fois que j'ai été malade: je vous ai écrit que j'ai eu une esquinencie [1]).

Vous me portez une affection si tendre que tout vous effraie. Souvenez-vous, combien vous avez eu d'appréhensions sur le compte de Telma? Ne m'avez-vous pas écrit que je serai entouré de варнакъ, comme vous vous êtes exprimé; quoique ce terme ne soit employé que comme une injure, et non, comme une dénomination de la classe de ces malheureux. Il n'y avait à Telma que des paysans; ceux qui avaient été forçats, le sont devenus, grâce à une disposition particulière du Gouvernement. Quant à Elagne, il ne s'y trouve que des старожилъ, excepté quatre ou cinq поселъщикъ; et je suis à l'abri de tous les désagrémens possibles, parce que les intentions réellement bienfaisantes de Sa Majesté, qui diminue et allège à tout moment les punitions que nous avons méritées, se manifestent dans les garanties, dont le Gouvernement nous entoure, pour qu'aucun mal ne nous arrive, tant que nous remplissons strictement les ordres qui sont donnés à notre égard. Or, quant à moi, je les remplirai toujours saintement: c'est le mot.—Adieu, mon cher Papa! je vous baise les mains bien tendrement.

Votre tout dévoue fils

Alexandré Odoievsky.

Приписка на 4, 3, 2 и 1-ой страницах:

«Je viens de recevoir 500 Rbles de la part de Sophie Корнилов, à titre d'emprunt. Ma Tante les lui remettra. M-r Корнилов m'a écrit une lettre tout-à-fait aimable, où il se recommande à mon amitié. Ce doit être un galant-homme, dans toute la force du terme. Mes respects à la Princesse; j'embrasse mes frères et soeurs et je pleure Marie: — je crains de vous en parler!.. et que puis-je vous dire? La pauvre Marie est au ciel: ne la pleurez pas, voulais-je vous dire, ou plutôt je ne voulais pas vous en parler du tout!»

---

[1]) Пишется: «esquinancie». *Ред. С.*

Русский перевод.

Елань, 23 октября, 1833.
№ 13.

Мой дорогой папа,

Вы напрасно беспокоитесь: почему Елань до такой степени пугает Вас? Местоположение не так ужасно, как Вы себе представляете. Хотя Елань окружена лесами, но вид, благодаря под'ему почвы, простирается до хребта очень отдаленных гор. Селение находится у подножья продолговатого холма; прежде чем достигнуть опушки этих лесов, вам нужно еще много итти через тучные пастбища и очень плодоносные поля. Полагаю, что радиус круга, образуемого долиной, где находится Елань, будет приблизительно версты в четыре. Вы видите, что эти мрачные леса, о которых Вы говорите и которые я изображал, как нечто довольно живописное, уже не так близко от меня.

Что касается писем, которые я получаю от вас, и которые посылаю вам, они не могут испытывать никакой задержки благодаря распоряжениям его превосходительства, г. губернатора. Я буду получать их почти в тот же день, как тогда, когда я находился в Тельме; доказательством этого служит то, что вы имели от меня письма каждые восемь дней, без перерыва, за исключением прошлой недели и еще одного раза, когда я был болен: я вам писал, что у меня была жаба.

Вы питаете ко мне такую нежную любовь, что вас всё пугает. Помните, сколько опасений было у вас насчет Тельмы? Не писали ли вы мне, что я буду окружен варнаками, как вы выразились; хотя это слово употребляется только как ругательство, а не как наименование класса этих несчастных. В Тельме были только крестьяне; те, кто были каторжниками, сделались крестьянами, благодаря особому распоряжению правительства. Что касается Елани, то тут находятся только старожилы, за исключением четырех или пяти посельщиков; и я — в безопасности от всех возможных неприятностей, так как действительно благодетельные намерения его величества, который беспрестанно уменьшает и облегчает заслуженные нами наказания, проявляются в гарантиях, которыми нас окружает правительство, чтобы никакая беда не постигла нас, пока мы в точности исполняем предписания, данные относительно нас. А что до меня, то я всегда буду свято исполнять их: воистину так! — Прощайте, мой дорогой папа. Нежно целую Ваши руки.

Ваш преданнейший сын

Александр Одоевской.

Приписка на 4, 3, 2 и 1-й страницах:

«Только-что получил 500 рублей от Софи Корниловой [1], в виде займа. Тетя отдаст их ей. Г. Корнилов написал мне вполне любезное письмо, где поручает себя моей дружбе. Это, должно быть, благородный человек, во всем значении слова. Мое почтение княгине; обнимаю моих братьев и сестер и оплакиваю Мари:—боюсь говорить вам об этом!.. и что могу я сказать вам? Бедная Мари—на небе: не плачьте о ней, хотел я вам сказать, или, лучше, я совсем не хотел вам говорить об этом!»

VII.

Mon cher Papa,

Je vous ai écrit ma dernière lettre, pour vous tranquilliser entièrement sur mon compte. Loin de vous, tous les lieux, quels qu'ils soient, sont également tristes; mais je vous repète et vous assure qu'Elagne n'est pas un endroit tel que vous vous le représentez: et puisque je puis vous écrire d'ici, aussi bien que de Telma, et recevoir vos lettres, sans le moindre retard, je suis aussi heureux que je puis l'être dans ce pays-ci, et je rends tous les jours des actions de grâce à Sa Majesté qui a bien voulu ranimer mon existence par cette douce consolation.

Les deux dernières lettres que j'ai reçues de votre part, m'ont affecté bien sensiblement. Les détails que vous me donnez sur les derniers momens de Marie, inspirent un intérêt bien vif pour ce cher enfant que malheureusement je n'ai pas connu. Au moins, si j'eusse vu la bonne et pauvre Marie une seule fois dans ma vie, j'aurais eu la consolation de pouvoir en garder un souvenir précis, et d'en conserver le portrait vivant au fond de mon âme. J'aurais pu m'associer plus intimement à votre douleur et à celle de la Princesse que je prie d'agréer mes sentimens sincères de condoléance. À présent je ne puis m'en imaginer que des traits détachés, ceux que j'ai appris à connaître par vos lettres; et si je me représente Marie, ce n'est jamais qu'à travers un nuage: mais c'est ainsi, au reste, que nous apparaissent toujours les anges. Il y avait quelque chose de réellement céleste dans les paroles qu'elle a dites à la Princesse, au moment de vous quitter, pour s'envoler vers un monde meilleur.—

Veuillez croire à toute la part que je prends à la perte que vous avez faite. Je ne vous console pas; il n'y a pas

---

[1]) О свадьбе кузины Софи говорилось в IV письме. *Н. С.*

d'autre consolation que cette pensée ci douce qu'elle est au ciel.

Je vous baise les mains, ainsi que celles de la Princesse

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

№ 14.
Elagne
le 29 Oct. 1833.

На четвертой странице обычный адрес: на село Николаевское.

Возле адреса чьи-то пометки: «1» (в верхнем правом углу), «Одоевскаго» (посредине).

Русский перевод.

Мой дорогой папа,

Я написал свое последнее письмо, чтобы совершенно успокоить Вас на мой счет. Вдали от Вас, все места, каковы бы они ни были, одинаково печальны; но повторяю и уверяю Вас, что Елань не такая местность, какою Вы ее представляете себе: я могу отсюда писать Вам столь же хорошо, как из Тельмы, и получать Ваши письма без малейшего замедления; я счастлив настолько, насколько могу быть счастливым в этой стране, и каждый день возношу благодарение его величеству, который соблаговолил оживить мое существование этим сладостным утешением.

Два последних письма, которые я получил от Вас, очень глубоко опечалили меня. Подробности, какие сообщаете Вы о последних мгновениях Мари, вызывают во мне весьма живой интерес к этому милому ребенку, которого, к несчастью, я не знал. По крайней мере, если бы я видел хоть раз в моей жизни добрую и бедную Мари, у меня было бы утешение в возможности иметь точное воспоминание о ней и хранить ее живой портрет в глубине моей души. Я мог бы более интимно присоединиться к Вашему горю и к горю княгини, которую прошу благосклонно принять выражение моих искренних чувств соболезнования. Теперь я могу вообразить себе только разрозненные ее черты, те, о которых я узнал из Ваших писем; и если я представляю себе Мари, то всегда сквозь облако: впрочем, так именно всегда являются нам ангелы. Было нечто в самом деле небесное в словах, которые она сказала княгине в момент, когда покидала Вас, чтобы улететь в лучший мир.

Благоволите верить, что я с полным участием отношусь к потере, которую Вы понесли. Я не утешаю Вас; нет другого утешения, как столь сладостная мысль, что она пребывает на небе.

Целую Ваши руки, равно как руки княгини.

Ваш преданнейший сын

Александр Одоевской.

№ 14.
Елань.
29 октября 1833.

VIII.

Mon cher et bon Papa,

Pardon, mille pardons d'avoir été inexact, et d'avoir mis deux fois de suite le numéro cinq. Je me fie à la fidélité de ma mémoire qui commence à être en défaut. A présent je suivrai votre exemple, et je noterai chaque numéro de mes lettres sur mes tablettes.

Voici deux postes que je ne reçois pas de nouvelles de votre part: vous êtes sans doute en voyage. Si jamais Sa Majesté, l'Empereur, vous permettait de vous mettre en chemin, pour venir passer quelques jours avec moi! Vous pensez bien que mon bonheur serait indicible; mais ce n'est malheureusement qu'un doux rêve qui ne doit pas se réaliser, quoique vous m'ayez témoigné plus d'une fois le désir de venir me voir en Sibérie, et ranimer par votre présence une existence qui vous est entièrement vouée.

Que je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous dites sur le compte de ma bonne et chère Elise que je chéris, comme une soeur. Merci, mon excellent Père, mille fois merci pour la peine que vous avez bien voulu prendre de copier la charmante lettre qu'elle vous a écrite; et veuillez lui dire que je ne cesse de penser à elle, et qu'un des besoins les plus intimes de mon coeur — c'est celui de recevoir des nouvelles de sa part, et de vivre dans son souvenir qui m'est si précieux. — Je lui ai des obligations, ainsi qu'à son excellent Père — de ces obligations de coeur que je ne puis jamais oublier: je les aime tous les deux, comme jamais je n'ai aimé personne, excepté vous seul, mon cher Papa, et ma défunte Mère que je crois quelquefois retrouver dans la personne de ma Tante, Варвара Александровна. Dites mille et mille choses affectueuses à mon excellente Cousine; dites-lui que je ne cesserai jamais de la chérir, ainsi que mon bon et cher Oncle.

Veuillez présenter mes respects à la Princesse, et embrasser tendrement mes frères et socurs et Никита.

Je vous prie de me croire.

Votre très-humble et

très-obéissant fils

Alexandre Odoievsky.

Elagne, le 14 Novembre,
1833. № 15.

На четвертой странице обычный адрес: на село Николаевское.

Над адресом в верхнем правом углу кем-то помечено: «24».

Русский перевод.

Дорогой и добрый мой папа,

Простите, тысячу раз простите за неаккуратность, за то, что два раза под-ряд я поставил нумер пятый. Я положился на верность своей памяти, которая начинает быть неисправной. Теперь я буду следовать Вашему примеру: каждый нумер своих писем стану помечать на табличке.

Вот уже две почты, как я не получаю от Вас писем: без сомнения, Вы находитесь в дороге. О, если бы когда-нибудь его величество, император позволил Вам отправиться в путь, чтобы провести несколько дней со мной! Вы хорошо знаете, что мое счастье было бы невыразимо; но, к сожалению, это — только сладкая мечта, которой не суждено сбыться, хотя Вы не раз выражали желание посетить меня в Сибири и своим присутствием оживить мое существование, которое всецело посвящено Вам.

Как признателен я Вам за всё то, что Вы говорите насчет моей доброй и дорогой Элизы, которую я нежно люблю, как сестру. Благодарю, мой добрейший отец, тысячу раз благодарю за труд, который Вам угодно было взять на себя, чтобы скопировать прелестное письмо, написанное ею Вам: благоволите сказать ей, что я не перестаю думать о ней, — и что одна из самых интимных забот моего сердца, это—получать от нее весточки и жить в ее памяти, которая мне столь дорога.—К ней, равно как и к ее прекрасному отцу, я имею обязательства сердца, которых никогда не могу забыть: я люблю их обоих, как никогда не любил никого, за исключением одного Вас, мой дорогой папа, и моей покойной матери, которую иногда я го-

тов находить в лице тети, Варвары Александровны. Скажите тысячу и тысячу приятных вещей моей добрейшей кузине; скажите ей, что я никогда не перестану сердечно любить ее, равно как и моего доброго и дорогого дядю.

Благоволите выразить мое почтение княгине и нежно обнять моих братьев и сестер, и Никиту.

Прошу верить

Вашему всенижайшему и всепокорнейшему
сыну Александру Одоевскому.

Елань,
14 ноября 1833.
№ 15.

IX.

Elagne, le 22 Nov. 833.
№ 16 [1]).

Mon cher Papa,

Votre lettre № 23 du 10 Oct. m'a été remise avant-hier. Je Vous dois de sincères remercîmens pour la copie de la lettre d'Elise. Cette bonne et aimable Cousine que j'aime du fond de mon coeur, ne m'oublie pas et me porte un intérêt que je ne saurais mériter. Elle Vous demande des détails sur ma manière de vivre. Je puis d'autant plus facilement la satisfaire, ainsi que Vous-même, mon excellent Père, — d'autant plus aisément, que mon existence ici est assez uniforme. J'occupe une chambre que j'ai arrangée moi-même comme je Vous l'ai déjà marqué; une espèce de petite lanterne: car sur un quarré de deux toises et demie il y a quatre fenêtres assez grandes. C'est mon hermitage. Je n'en sors presque pas; parce que Vous vous rappelez peut-être que j'ai toujours été ennemi du mouvement pédestre. Quelquefois je fais une petite tournée en traîneau par les rues ou plutôt par les ruelles du village. Je reviens après un quart-d'heure, pour me rasseoir sur mon lit, et lire quelqu'ouvrage que j'affectionnais, p. e. les chronographes de mon pays, ou je me mets à réfléchir au plan de quelque poème [2]) ou tragédie que je commencerai peut-être, mais que je n'acheverai jamais, grâce à ma conscience timorée qui n'est jamais satisfaite d'aucun de mes plans épiques ou tragiques, et presque d'aucune de mes pièces. Aussi, si j'en fais jamais à présent, je tâche de les oublier: ce qui m'est d'autant plus facile que je ne couche pres-

---

[1]) Под нумером рукою отца помечено: «doit être № 16», но последняя цифра (6) переправлена, повидимому, из 5. *П. С.*

[2]) В оригинале poéme. *П. С.*

que jamais mes vers sur le papier, comme Vous le savez d'ancienne date. Depuis bien longtems c'est l'histoire de Russie qui est la source de mes inspirations habituelles — l'histoire ancienne, si simple et quelquefois, si belle en passant par la bouche de nos moines-historiographes.

Si je ne suis pas peut-être poéte [1]) dans le vrai sens de ce mot, j'aime beaucoup la poésie et la littérature plus que tout au monde dans la sphère des arts et des connaissances humaines [2]). Aussi ai-je une prière à Vous adresser. J'ai écrit à la bonne et chère et excellente Варвара Ивановна de m'envoyer Библіотеку для Чтенія, журналъ издаваемый Смирдинымъ, dans le cas qu'elle s'y soit abonnée. Dans le cas contraire, c'est Vous que je supplie de me l'envoyer, en adressant les numéros qui vont paraître dès le mois de Janvier, à Son Excellence, M-r le Gouverneur civil, qui par Sa bienveillance accoutumée et bien reconnue, ne manquera pas de me les faire tenir, comme étant un journal purement littéraire. Encore veuillez Vous abonner pour moi à un journal d'Hygiène qui m'est très-nécessaire: другъ здо́ровья. Le prix en est très-modique: 17 Rbles.—Vous m'obligerez infiniment, mon cher Papa, et contribuerez efficacement à mes distractions, si nécessaires dans mon état de solitude, et non défendues par le Gouvernement. — Embrassez mes frères et soeurs et Никита, et ayez la bonté de remettre cette lettre à la Princesse.

Votre tout dévoué fils

Alexandre.

Русский перевод.

Елань, 22 ноября 1833.
№ 16.

Мой дорогой папа,

Ваше письмо № 23 от 10 октября доставлено мне третьего-дня. Я обязан Вам искренней благодарностью за копию письма Элизы. Эта добрая и милая кузина, которую я люблю от всего сердца, не забывает меня и проявляет ко мне внимание, которого не сумею заслужить. Она спрашивает Вас о подробностях моего образа жизни. Я могу тем легче удовлетворить ее да и Вас, мой прекрасный отец, что мое существование здесь довольно однообразно. Занимаю я одну комнату, которую отделал сам, как я уже сообщал Вам; род маленького фонаря: ибо на квадрате в две с половиной сажени — четыре окна, довольно

---

[1]) В оригинале poéte. *П. С.*
[2]) Слова «dans la sphère» и т. д. вставлены над строкой. *П. С.*

больших. Это — мой эрмитаж. Я почти не выхожу из него; потому что Вы, может быть, помните, что я всегда был врагом пешего передвижения. Иногда я совершаю маленькую прогулку на санях по улицам, или, вернее, по переулкам деревни. Через четверть часа я возвращаюсь, чтобы снова усесться на постели и читать какое-нибудь произведение, которое мне полюбилось, напр., летописцев моей родины, или принимаюсь размышлять о плане какой-нибудь поэмы или трагедии, которую, может быть, начну, но которую никогда не кончу, по милости разборчивой совести: еще никогда не была она довольна ни одним моим эпическим или трагическим планом и почти ни одной моей пиесой. А если я теперь когда-нибудь сочиняю их, стараюсь забыть: это для меня тем легче, что я почти никогда не кладу своих стихов на бумагу, как Вы давным-давно знаете это. С очень давних пор история России служит источником моих обычных вдохновений — древняя история, столь простая и иногда столь прекрасная в устах наших монахов-летописцев.

Если я, может быть, не поэт в истинном значении этого слова, все-же я очень люблю поэзию и литературу, больше, чем всё остальное в сфере искусств и человеческих знаний. И вот я имею обратиться к Вам с просьбой. Я писал доброй, дорогой и превосходной Варваре Ивановне, чтобы она присылала мне «Библиотеку для чтения», журнал, издаваемый Смирдиным, в случае, если она абонировалась на него. В противном случае, умоляю Вас присылать мне его, адресуя нумера, которые будут выходить с января месяца, его превосходительству, г. гражданскому губернатору, который с своей обычной и хорошо известной благосклонностью не замедлит доставить их мне, как журнал чисто литературный. Еще благоволите подписаться для меня на гигиенический журнал «Друг здоровья», который мне очень необходим. Цена на него—весьма умеренная: 17 рублей. — Вы, мой дорогой папа, бесконечно обяжете меня и сильно посодействуете моим развлечениям, столь необходимым в моем одиночестве и не запрещаемым властью. Обнимите братьев и сестер и Никиту и будьте добры передать это письмо княгине.

Ваш преданнейший сын

Александр.

Примечание:

Журнал «Библиотека для чтения» издавался с 1834 г. А. Ф. Смирдиным под фактической редакцией О. И. Сенковского (барона Брамбеуса).

X.

Mon excellent Père,

Veuillez agréer mes sincères félicitations: je souhaite du fond de mon âme que la nouvelle année qui commence, réalise tous les désirs de Votre coeur.

Vous m'avez donné une nouvelle qui m'a fait verser des larmes amères. J'ai aimé Дмитрій Сергѣевичъ; mais c'est surtout ma bonne, ma pauvre Tante, qui m'inspire une douleur profonde! Son mari était tout son univers depuis trente ans: que fera-t-elle sans lui? Son image ne me quitte pas ni le jour, ni la nuit! — Pourquoi mon Oncle défunt a-t-il entrepris ce voyage qui, au lieu de soulager ses souffrances, l'a conduit au tombeau? Il eût mieux fait de rester à Pétersbourg. Je suis sûr que c'est en partie l'attente de l'opération qui a affaibli ses forces; et que le fameux chirurgien de Londres, en la remettant d'un jour à l'autre, y a contribué. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit tout bonnement qu'il est trop âgé, trop infirme, pour subir une opération aussi douloureuse, au lieu de le faire aller de Paris à Londres? A présent tous ces beaux raisonnemens [1]) que je fais, sont inutiles; mais le chagrin que j'éprouve, me les suggère malgré moi. Ce que j'appréhende surtout, c'est que ma pauvre et chère Tante ne le suive bientôt dans la tombe: elle a adoré Д. С. Dans tous les cas, elle ne fera pas de longs jours. Je lui écrirai — pas plus tard que la semaine prochaine; mais dans ce moment, je n'en suis pas capable: je ne suis pas maître de mes idées. Il n'y a rien de plus difficile et de plus pénible que d'écrire une lettre de condoléance à une personne qu'on chérit sincèrement. S'abandonner à ses sentimens, c'est aggraver sa douleur: or, comment ne pas lui dire tout ce que j'ai sur le coeur, à présent que je le sens encore saigner? c'est le mot, mon excellent Père! J'attends que la plaie douloureuse que notre perte y a faite, se cicatrise un peu; et que je puisse lui écrire quelques lignes qui lui prouvent l'intérêt vif et profond que je lui porte, sans déchirer son âme sensible.

Veuillez présenter mes félicitations à la Princesse, et l'assurer que je forme des voeux pour son bonheur et sa santé. Je souhaite la bonne fête à mes frères et soeurs, et à Никита que j'embrasse cordialement.

Je Vous supplie de me croire

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

Le 4 Janvier, 1834.
Elagne. № 1.

---

[1]) В оригинале описка: raisonnemes. *Н. С.*

На четвертой странице обычный адрес: на село Николаевское.

На той же странице в верхнем правом углу стоит цифра «1».

На первом листе, в правом верхнем углу, рукою отца помечено, кому отсылались письма для прочтения, а именно:

№ 1.
2 отослань (sic) Елизѣ.
4 [1]) —— Никитасу (sic).

Русский перевод.

Мой добрейший отец,

Благоволите принять мои искренние поздравления: от глубины души желаю, чтобы начинающийся новый год осуществил все желания Вашего сердца.

Вы сообщили мне весть, которая заставила меня проливать горькие слезы. Я любил Дмитрия Сергеевича; но особенно моя добрая, моя бедная тетя вызывает во мне глубокую скорбь! В течение тридцати лет муж составлял для нее весь мир: что она будет делать без него? Ее образ не покидает меня ни днем, ни ночью! — Зачем мой покойный дядя предпринял это путешествие, которое, вместо того, чтобы облегчить его страдания, привело его к могиле? Он лучше бы сделал, если бы остался в Петербурге. Я уверен, что отчасти ожидание операции ослабило его силы и что знаменитый лондонский хирург, откладывая ее со дня на день, способствовал этому. Почему вместо того, чтобы заставлять его ехать из Парижа в Лондон, врач попросту не сказал ему, что он слишком стар, слишком слаб, чтобы подвергаться столь мучительной операции? В настоящее время все эти благие рассуждения, которые я высказываю, уже бесполезны; но печаль, которую я испытываю, невольно внушает мне их. Чего я особенно опасаюсь, это — чтобы моя бедная и дорогая тетя не последовала вскоре за ним в могилу: она обожала Дмитрия Сергеевича. Во всяком случае долго она не проживет. Я напишу ей — не позднее ближайшей недели; но сейчас я не способен на это: я — не господин своих мыслей. Нет ничего труднее и мучительнее, как писать соболезнование лицу, которое искренно любишь. Предаться своим чувствам, это значит усилить ее скорбь: а как не высказать ей всего того, что у меня на сердце, теперь, когда оно, чувствую я, еще истекает кровью? Это поистине так, мой добрейший отец! Подожду, когда мучительная рана, причиненная нашей потерей, немного зарубцуется; и когда я мог бы написать ей несколько

---

[1]) Переправлено из *З. И. С.*

строк, которые, не раздирая ее чувствительной души, покажут ей живой и глубокий интерес, какой я питаю к ее положению.

Благоволите передать мои поздравления княгине и заверить ее, что я возношу молитвы за ее счастье и здоровье. Желаю хорошего праздника моим братьям и сестрам и Никите, которого сердечно обнимаю.

Усердно прошу верить моей полной преданности.

Ваш сын Александр Одоевской.

4 января 1834.
Елань
№ 1.

XI.

Le 23 Janvier, 1834.
Elagne, № 3.

Mon cher Papa,

Votre lettre, datée de Moscou du 20 Décembre (№ 31) m'a été remise. Quant aux étrennes que Vous avez eu la bonté de m'envoyer, je les recevrai probablement dans huit jours d'ici: parce que la poste à malles est ordinairement d'une semaine en retard.

Combien je Vous suis obligé pour avoir bien voulu me céder l'ouvrage de la Princesse! Ce cadeau de votre part aura à mes yeux un double prix; et je Vous prie de lui exprimer ma reconnaissance, pour avoir autorisé cette transmission, ou pour parler en termes de barreau, — cette aliénation en ma faveur.

Je n'ai que des remercîmens à Vous adresser pour la proposition que Vous venez de faire à ma Tante, Варвара Александровна, que je chéris tendrement, comme Vous le savez. Si je n'avais pas perdu le droit de disposer de ma personne et la possibilité d'être utile à mes bons parens, c'eût été mon devoir de voler auprès d'elle et de lui porter toutes les consolations et tous les secours que mon coeur m'êût suggérés! C'est au moment de ces catastrophes qui viennent affliger ma famille, que je sens, combien je suis coupable vis-à-vis d'elle, pour l'avoir privé de son soutien naturel. Ce n'est pas ici le moment ni l'endroit de Vuos parler de má grave culpabilité sous tous les autres rapports— surtout vis-à-vis de Notre Auguste Souverain que je vénère si profondément pour Sa magnanimité. Que ne donnerais-je, pour rayer seulement trois mois de ma vie—trois mois de jeunesse, ou plutôt d'enfance! Quand j'y songe à huit années de distance, je ne puis me rendre compte de cette déraison complette qui a dévoré, pour ainsi dire, toute mon existence. Maman qui m'a donné une éducation morale exemplaire, m'a tenu si longtems

loin de tout commerce avec le monde extérieur, que passé vingt ans, j'étais encore tout enfant, et d'une facilité de caractère impardonnable, suite, peut-être, d'une imagination trop impressionable, et d'une éducation féminine. Je me laissais mener par le premier-venu, s'il était homme [1]) à grandes amitiés. N'y-a-t-il aucune puissance humaine qui puisse passer l'éponge sur le passé? sur trois mois? Avec mon expérience d'à présent, je pense que je serais un être raisonnable; mais il n'en est plus tems: ma vie s'est écoulée, inutile pour tous ceux que je chéris dans ce monde; et ma pauvre Тантинька que j'affectionne comme une Mère, qui n'a, pour ainsi dire, d'enfans — que moi seul qui suis son proche par excellence, — elle peut mourir, privée de tout secours, de toute consolation, sans que je puisse bouger de place! Que ne donnerai-je, pour voler auprès d'elle, et presser ses deux mains sur mes [2]) lèvres et ses genoux contre mon coeur! Dieu veuille qu'elle supporte son malheur! Oh! rendez-Vous près d'elle, si elle y consent; consolez-la! Mes respects à la Princesse.

Votre tout dévoué fils,

Alexandre Odoievsky.

На первом листе, в левом углу, рукою отца написано: «répondu».

Русский перевод.

23 января, 1834.
Елань, № 3.

Мой дорогой папа,

Ваше письмо, датированное из Москвы 20 декабря (№ 31) доставлено мне. Что касается новогодних подарков, которые Вы были добры послать мне, я получу их, вероятно, дней через восемь, так как почтовые посылки обыкновенно приходят неделей позже.

Как я Вам признателен, что Вам угодно было уступить мне рукоделье княгини! Этот Ваш подарок будет иметь в моих глазах двойную цену; прошу Вас выразить ей мою признательность, чтобы закрепить эту передачу, или, говоря адвокатским языком, это отчуждение в мою пользу.

Я могу лишь благодарить Вас за предложение, которое Вы только-что сделали моей тете, Варваре Александровне; как Вы знаете, я нежно ее люблю. Если бы я не потерял права располагать своей личностью и возможностью быть по-

---

[1]) Слова «s'il était homme» вписаны над строкою. *П. С.*
[2]) Написано над строкой. *П. С.*

лезным моим добрым родственникам, моим долгом было бы лететь к ней и принести ей все утешения и всякую помощь, какие только внушило бы мне сердце! В моменты таких катастроф, постигающих мою родню, я чувствую, как я виноват перед нею, лишив ее своей естественной поддержки. Сейчас не время и не место говорить Вам о моей тяжелой виновности во всех других отношениях — особенно по отношению к нашему августейшему государю, которого я столь глубоко уважаю за его великодушие. Чего бы я ни дал, чтобы только вычеркнуть три месяца своей жизни — три месяца юности или, вернее, детства! Когда я думаю об этом на расстоянии восьми лет, я не могу отдать себе отчета в этом полном безумии, которое пожрало, так сказать, всё мое существование. Maman, которая дала мне примерное нравственное воспитание, столь долго держала меня вдали от всякого общения с внешним миром, что я и в двадцать лет еще был совершенным ребенком, с непростительной легкостью характера, затем, может быть, с воображением слишком впечатлительным и с женским воспитанием. Я легко мог пойти за первым встречным, если только он обладал большой привлекательностью. Есть ли какая-нибудь человеческая сила, которая могла бы бесследно стереть прошлое? эти три месяца? С теперешним моим опытом, думаю, я был бы благоразумным существом; но уже поздно: жизнь моя прошла, бесполезная для всех тех, кого я люблю в этом мире; и моя бедная Тантинька, к которой я привязан, как к матери, которая, так сказать, не имеет детей кроме меня одного, ей самого близкого, — она может умереть без всякой помощи, без всякого утешения, без того, чтобы я мог двинуться с места! Чего не дам я, чтобы полететь к ней и прижать ее руки к моим губам, а ее колени к моему сердцу! Дай бог ей перенести несчастье! О! поезжайте к ней, если она на это согласна; утешайте ее!

Мое почтение княгине.

Ваш преданнейший сын Александр Одоевской.

На первом листе, в левом углу, рукою отца написано: «отвечено».

XII.

Le 1-er Juillet, 1835, Elagne.
№ 1.

Mon Père chéri,

Comme il y a déjà longtems que je n'ai pas reçu de Vos nouvelles, je pense que Vous vous serez mis en voyage pour Pétersbourg, pour réaliser le projet que Vous aviez eu de voir

ma bonne Tante. J'attends avec impatience des nouvelles d Votre entrevue avec elle, et je souhaite du fond de mon âme que Vous ayez eu à Vous louer de son accueil affectueux.

J'ai oublié de Vous dire dans ma dernière lettre qu'il y a eu à Elagne un léger tremblement de terre à trois secousses. — Le tems qui règne à présent, est fort beau, et on pourrait avec raison se croire en Italie, tant il fait chaud à midi; mais les nuits sont ordinairement très-fraîches, pour ne pas dire froides; et en général, l'inconstance de la saison pourrait agir dangereusement sur la santé, si je ne prenais pas des mesures de précaution. Malgré les soins que je prends de ne pas me refroidir, j'ai gagné avant-hier un mal de gorge tel que je puis parler avec peine. Je me frotte le cou avec un esprit volatile de ma composition — et qui me fait du bien.

Veuillez présenter mes respects à la Princesse, et embrasser mes frères et soeurs. Je Vous baise les mains de millions de fois, et Vous supplie de me croire

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

На четвертой странице обычной адрес: на село Николаевское.

Над адресом, в правом верхнем углу, проставлена цифра «1»: посредине чьей-то рукой помечено: «Одоевскава». Ниже адреса рукою отца: «repondu».

Русский перевод.

1 июля 1835 г., Елань.
№ 1.

Мой возлюбленный отец,

Так как давно уже я не получал от Вас писем, думаю, что Вы отправились в Петербург, чтобы осуществить проект, который был у Вас, — посетить мою добрую тетю. Жду с нетерпением известий о Вашем свидании с нею и желаю от глубины души, чтобы Вы остались довольны ее сердечным приемом.

Я забыл Вам сказать в своем последнем письме, что в Елани было легкое землетрясение, в три толчка. — Погода, которая господствует в настоящее время, очень хорошая, и вполне можно бы подумать, что находишься в Италии, так жарко в полдень; но ночи обычно — очень свежие, чтобы не сказать холодные; вообще, непостоянство сезона могло бы действовать опасно на здоровье, если бы я не принял мер предосторожности. Несмотря на старание не простудиться, третьего дня я заполучил

такую боль в горле, что с трудом могу говорить. Я натираю шею летучим спиртом своего состава — и это помогает мне.

Благоволите передать мое почтение княгине и обнимите моих братьев и сестер. Миллион раз целую Вам руки и усердно прошу верить моей совершенной преданности.

Ваш сын Александр Одоевской.

XIII.

Le 15 Juillet, 1835, Elagne
№ 16.

Mon excellent Père,

J'ai reçu trois lettres de Votre part simultanément, les № 12, 13 et 15, la dernière datée du 22 Mai, de Moscou. Vous m'y écrivez que Vous vous mettez en route pour Pétersbourg: que ne Vous dois-je pas de reconnaissance pour la sollicitude inaltérable que Vous me témoignez? Il est de toute impossibilité d'imaginer un Père plus tendre que Vous; et je ne sais, comment, malgré toutes les peines si profondes que je Vous avais causées, ai-je pu mériter tant d'affection de Votre part? Que j'attends avec impatience Votre prochaine lettre où Vous me promettez de me donner les détails les plus circonstanciés sur le compte de ma Tante, d'Александръ Степановичъ, d'Elise et de Sophie. Je voudrais apprendre tout ce qui les concerne, et me transporter entièrement au milieu de leur cercle. Votre voyage à Pétersbourg m'offre en perspective les plus douces consolations et des nouvelles réellement intéressantes. Une seule chose qui m'inspire de vives appréhensions, — c'est l'état de Votre santé qui n'était pas encore entièrement rétablie, lorsque Vous vous êtes mis en chemin. Le mal de côté dont Vous me parlez, est-il passé? — Quant à moi, je me porte bien à présent; et l'esquinancie dont je Vous ai informé dans ma dernière lettre, et qui m'a fait beaucoup souffrir pendant une dizaine de jours, s'est dissipée à la fin des fins.

J'adresse cette lettre à Nicolaévsky, comme je le fais ordinairement; parce que je présume que pour le moment de son arrivée en Russie, Vous serez déjà de retour dans les lieux de Votre séjour habituel. Que de tems se passe, pendant que mes lettres sont en route! — Si, comme Vous le désirez, j'étais à Kourgane, elles ne seraient que quinze jours en chemin; et j'aurais le bonheur de recevoir de Votre part des nouvelles bien plus fraîches. Veuillez présenter mes hommages affectueux à la

Princesse, et embrasser bien tendrement mes frères et soeurs. Je Vous baise les mains des millions de fois et Vous prie de me croire

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

На полях 3-й страницы: «P. S. Je suis encore faible: et ma lume m'obéit mal, comme Vous voyez».

На четвертой странице обычный адрес.

На первой странице, вдоль левого поля. рукою какого-то административного лица приписано (в точности соблюдаю орфографию): «Медленность и неровенство вдоставление вашему Сіятелству писемъ пропзходитъ отъ того что доставляютса комне чресъ земскую полицею управляющеи онную бываетъ вотлучке. Сынъ вашъ после простудноЙ Горячке ныне совершенно здоровъ вчемъ будте спокойны. Простите мою приписку». (Подпись — сокращенно и неразборчиво).

На первом листе, в левом углу, рукою отца помечено: «reçu le 17. 7-bre».

На той же стороне письма, где адрес, отцом сделана приписка: «Je Vous pris de me renvoyer cette lettre par la première poste».

Русский перевод.

15 июля, 1835, Елань.
№ 16.

Мой добрейший отец,

Я получил от Вас разом три письма, №№ 12, 13 и 15, последнее датировано 22 мая из Москвы. Вы пишете в нем, что едете в Петербург: какою только признательностью не обязан я Вам за неизменную заботливость, проявляемую Вами ко мне? Совершенно нельзя представить себе отца более нежного, чем Вы, и я не знаю, каким образом, несмотря на все столь глубокие мучения, которые я Вам причинил, мог я заслужить столько любви с Вашей стороны? С каким нетерпением ожидаю я Вашего ближайшего письма, где Вы обещаете сообщить мне обстоятельнейшие детали насчет моей тети, Александра Степановича, Элизы и Софи. Я хотел бы знать всё, что касается их, и всецело перенестись в их среду. Ваше путешествие в Петербург сулит мне в перспективе самые приятные утешения и известия действительно интересные. Одно только возбуждает во мне живые опасения, это — состояние Вашего здоровья, которое окончательно еще не восстановилось, когда Вы отправи-

лись в путь. Прошла ли боль в боку, о которой Вы мне говорите? — Что до меня, то я чувствую себя сейчас хорошо; жаба, о которой я сообщал Вам в последнем письме, и которая в течение десяти дней заставляла меня сильно страдать, в конце-концов, прошла.

Адресую это письмо на Николаевское, как делаю обыкновенно, потому что рассчитываю, что к моменту его прибытия в Россию Вы уже вернетесь в свое обычное местопребывание. Сколько теряется времени, пока мои письма находятся в дороге!— Если бы, как Вы того хотите, я был в Кургане, они находились бы в пути только пятнадцать дней, и я имел бы счастье получать от Вас значительно более свежие известия.

Благоволите передать княгине мое сердечное почтение и нежнее обнимите моих братьев и сестер. Миллион раз целую Ваши руки и прошу верить моей совершенной преданности.

Ваш сын Александр Одоевской.

P. S. Я еще слаб, и перо мое, как Вы видите, плохо повинуется мне.

На первой странице, вдоль левого поля, рукою какого-то административного лица приписано (в точности соблюдаю орфографию): «Медленность и неровенство вдоставление вашему Сіятельству писемъ произходитъ отъ того что доставляются комне чресъ земскую полицею управляющей онную бываетъ вотлучке. Сынъ вашъ после простудной Горячке ныне совершенно здоровъ вчемъ будте спокойны. Простите мою приписку».

Подпись — сокращенно и неразборчиво.

На первом листе, в левом углу, рукою отца помечено: «получено 17 сентября».

На той же стороне письма, где адрес, отцом сделана приписка:

«Прошу Вас вернуть мне это письмо с первой почтой».

XIV.

Le 4 Août, 1835, Elagne

№ 19.

Mon excellent Père,

Que je suis heureux d'apprendre que Vous êtes parfaitement satisfait de l'accueil cordial de ma bonne et chère Tante. Que les deux êtres à qui j'ai voué un attachement sans bornes, et que je confonds dans ma tendresse, soient à jamais unis d'une franche et intime affection, — c'est-là mon voeu le plus fervent!

Pardon, mon Père chéri, si je ne Vous ai pas écrit depuis longtems; j'étais tous ces jours si triste que je n'ai pu prendre la plume en main: mes lettres eussent été le reflêt [1]) des sentimens de mon coeur, qui a beaucoup souffert pendant cette quinzaine, sans que je sache trop moi-même la cause de ces souffrances morales: ma position est de souffrir. Cependant, que cela ne Vous attriste pas, Vous, mon tendre Père, mon Père adoré! — J'ai au fond de l'âme une parfaite résignation; je me sens bien à présent: ma tristesse passe, quand je pense à Votre attachement et à Votre sollicitude paternelle.

Je Vous remercie sincèrement pour Vos deux lettres, datées du 7 et du 15 Juin, de St.-Pétersbourg № 17 et 18, ainsi que pour la 2-de partie du 9-ème tome de la Bibliothèque, et pour la Biographie et la tombe de Shakspear [2]). Que Vous êtes bon, — mon excellent Père! — Je pense que Vous êtes déjà de retour à Nicolaévsky: ainsi, je Vous prie de présenter mes respects à la Princesse et d'embrasser mes frères et soeurs bien tendrement. Je Vous baise les mains des milliers de fois.

Votre tout dévoué fils,

Alexandre Odoievsky.

На четвертой странице адрес обычный (на с. Николаевское). Над адресом проставлена цифра «26». На той же стороне письма рукою отца помечено: «derniere (sic) lettre de mon si cher Sachà — recu (sic) à Noël le 25. 10-bre à Moscou».

Русский перевод.

4 августа, 1835, Елань.
№ 19.

Мой добрейший отец,

Как я счастлив узнать, что Вы вполне довольны приемом моей доброй и дорогой тети. Да будут два существа, к которым я питаю безграничную привязанность и которых я сливаю в своем чувстве к ним, да будут они навсегда соединены чисто сердечной и интимной любовью, — вот мое самое горячее желание!

Простите, мой нежно любимый отец, что я так давно не писал Вам; все эти дни мне было так грустно, что я не мог взять пера в руки: мои письма были бы отражением чувствований моего сердца, которое очень мучилось в течение этих

---

[1]) Пишется просто «reflet». *П. С.*
[2]) Вм. Shakspeare. *П. С.*

двух недель, хотя я и сам не знаю причины этих моральных страданий: моя судьба — страдать. Но пусть это не огорчает Вас, мой нежный, мой обожаемый отец! — В глубине души я храню полную покорность провидению; теперь я чувствую себя хорошо: моя грусть проходит, когда я думаю о Вашей привязанности ко мне и о Вашем отеческом попечении.

Искренно благодарю Вас за два письма, датированных 7 и 15 июня из С.-Петербурга, № 17 и 18, а равно за вторую часть 9-го тома «Библиотеки», и за биографию и могилу Шекспира. Как вы добры, — мой прекрасный отец! — Думаю, что Вы уже вернулись в Николаевское: так прошу Вас передать мое почтение княгине и понежнее обнять моих братьев и сестер. Тысячи раз целую Вам руки.

Ваш преданнейший сын Александр Одоевской.

Адрес обычный (на с. Николаевское).

На той же стороне письма рукою отца помечено: «последнее письмо моего столь дорогого Саши — получено в Рождество, 25 декабря, в Москве».

XV.

Le 3 Octobre, 1835, Elagne
№ 20.

Mon Père chéri,

J'ai reçu de Votre part trois lettres à la fois, l'une datée du 10 Juillet de Pétersbourg, les deux autres de Nicolaévsky (№ 21, 22 et 23). Que je Vous suis obligé pour la tendre sollicitude que Vous m'y témoignez, et pour toutes les peines que Vous avez prises en ma faveur! Non, je ne saurais jamais Vous bien exprimer, mon Père adoré! — les sentimens de la reconnaissance profonde que m'inspire l'affection inaltérable que Vous me portez.

Le Dictionnaire de Bowl et les ouvrages anglais que Vous m'aviez annoncés dans une de Vos lettres précédentes, — ne m'ont pas encore été remis; parce que ma Tante ne fait jamais inscrire mon nom sur les envois qu'elle me destine, et qu'ainsi on se trouve obligé d'en deviner le propriétaire. J'espère néanmoins recevoir bientôt ce Dictionnaire qui est devenu pour moi l'objet de la plus vive impatience, depuis que je me suis mis à étudier Shakspear [1]). Merci, mille fois merci — pour le dessin de son

[1]) Вм. Shakspeare. *Н. С.*

tombeau, pour son portrait et sa biographie. Que de bontés de Votre part! Tout ce qui a rapport à ce poète-philosophe — a pour moi un charme particulier. Quant au portrait, Варвара Ивановна me l'a fait tenir depuis longtems—avec l'exemplaire de ses oeuvres complètes et le glossaire qui y est joint. Par malheur—il y a l'air d'un juif, et ne ressemble nullement à la belle gravure de Shakspear [1]) que j'ai vue chez feu Johann Müller — une de mes anciennes connaissances de Pétersbourg, — (le célèbre professeur de contre-point;) — une gravure, que son ami, G o ë t h e, lui avait donnée, et qu'il m'avait léguée, — ou du moins promis de me léguer à sa mort. Croiriez-Vous que le portrait dessiné à la plume que Vous m'avez envoyé—a quelque ressemblance avec cette belle gravure de Müller? C'est la même noblesse de traits! Aussi Vous en suis-je doublement reconnaissant. Mes hommages affectueux à la Princesse, et de bien tendres baisers à mes frères et soeurs.

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

На четвертой странице адрес — обычный (на с. Николаевское). На той же стороне письма, где адрес, в правом углу сверху—цифра «1», а посредине: «Одоевскаго».

Ниже адреса рукою отца помечено: «toute dernière».

Русский перевод.

3 октября, 1835, Елань.
№ 20.

Мой возлюбленный отец,

Я получил от Вас сразу три письма, одно, датированное 10 июля из Петербурга, два других из Николаевского (№ 21, 22 и 23). Как я обязан Вам за нежную заботливость, которую Вы проявляете ко мне, и за все труды, которые Вы предприняли из-за меня! Нет, мой обожаемый отец, никогда я не сумел бы вполне выразить Вам чувств глубокой признательности, которые возбуждает во мне Ваша неизменная любовь ко мне.

Словарь Bowl'я и английские произведения, о которых Вы уведомили меня в одном из предыдущих писем, еще не доставлены мне, потому что моя тетя никогда не надписывает моего имени на посылках, предназначаемых ею мне, и таким образом вынуждены бывают отгадывать их собственника. Тем не менее я надеюсь скоро получить этот словарь, который стал для меня предметом самого живого ожидания, с тех пор, как

[1]) Вм. Shakspeare. *Н. С.*

я погрузился в изучение Шекспира. Благодарю, тысячу раз благодарю — за рисунок с изображением его могилы, за его портрет и за его биографию. Сколько милостей с Вашей стороны! Всё, что имеет отношение к этому поэту-философу — представляет для меня особенную прелесть. Что касается портрета, то Варвара Ивановна давно снабдила меня им — вместе с экземпляром полного собрания его сочинений и с толковым словарем, который к нему приложен. К сожалению, здесь у него наружность еврея, и портрет нисколько не похож на прекрасную гравюру Шекспира, которую я видел у покойного Иоганна Мюллера — одно из моих старых знакомств по Петербургу — (известный профессор контрапункта) — гравюру, которую дал ему его друг, Гете, и которую он завещал мне или, по крайней мере, обещал завещать мне после своей смерти. Не находите ли Вы, что портрет, рисованный пером, который Вы послали мне, имеет некоторое сходство с этой прекрасной гравюрой Мюллера? То же благородство в чертах! Вдвойне признателен Вам за него.

Мое сердечное уважение княгине и нежные поцелуи братьям и сестрам.

Ваш преданнейший сын

Александр Одоевской.

Ниже адреса рукою отца помечено: «совсем последнее».

XVI.

Le 12 Octobre, 1835, Elagne
№ 21.

Mon Père bien-aimé,

Vous m'avez fait bien du plaisir, en m'envoyant le feuilleton du Journal de St.-Pétersbourg, où se trouve un fragment de prose de Lamartine. Le style en est plastique: tout y prend une forme arrêtée, tout y est vrai; parce que l'auteur a bien vu lui-même le tableau qu'il déroule sous nos yeux. C'est à tort que la Bibliothèque de lecture attaque les Souvenirs de l'Orient, si tout y répond à la belle description des environs de Jérusalem: saper la renomée [1]) de cet ouvrage dans un article de critique, et dans un autre—élever jusqu'aux nues le voyage en Palestine de M-r André Mouravieff ne me paraît pas très-conséquent. Il y aura bientôt trois ans que j'ai lu cette dernière production; et en la considérant comme un surcroît de richesses de la littérature de

[1]) Пишется: «renommée». *П. С.*

notre patrie, j'ai eu lieu d'en être agréablement surpris. C'est une oeuvre recommandable sous beaucoup de rapports: il y règne un sentiment religieux qui fait aimer notre compatriote; — quelques échappées d'éloquence de coeur, quelques bonnes pages: mais, en général, plus de mouvement que d'idées, plus de vivacité de coloris que de vérité de dessin; un certain entraînement de style, mais presque jamais ce recueillement de pensées que sembleraient exiger les lieux saints et tristes que le pélerin [1]) a visités; et quant au style proprement dit et à la musique de la parole, — des phrases sonores une à une, mais toutes sorties du même moule, et par conséquent, — un ensemble de tours entièrement monotone. Il n'y a que la verve de la pensée qui donne de la variété aux formes. Sans doute, il s'en faut de beaucoup que les deux volumes de Mouravieff manquent d'intérêt: ce n'est pas une compilation inanimée, — bien loin de-là; et l'on voit bien qu'il a été sur les lieux-mêmes; mais l'imagination du lecteur, au lieu de se soumettre aux points de vue de l'auteur russe et de tout ressusciter dans l'ordre de ses impressions de voyage, — tombe et s'abîme dans le vague des généralités. L'à-peu-près est de nul effet dans les arts; et malheur au tableau dont on peut dire: «mais c'est presque cela!» Lamartine, au contraire reproduit tout avec la précision des traits et le grâcieux [2]) des contours, avec le feu des couleurs et la succession des nuances de la nature elle-même: on se croit sous la magie des mêmes impressions, — assis aves lui à l'ombre de sa tente, sous les murs de la cité de Sion, et-écoutant, sans les entendre, les récits et les chants d'Antar. Que l'on reconnaît bien le poète au plaisir qu'il trouvait à déchiffrer sur les physionomies impressionnables de ses Saïs ce qu'ils se récitaient de ce poème — dans une langue qu'il ignorait!

Moi-même — j'ai failli éprouver la plupart des sensations que Lamartine nous transmet avec tant de charme! Connaissez-Vous, par hasard, le colonel d'artillerie, Abraham Noroff, voyageur [3]) à la jambe de bois, et auteur d'une tournée en Sicile, — d'une de ces tournées qu'on peut faire, sans sortir de chez soi? Il se sera établi pour le moment à Moscou, s'il ne s'abandonne plus à sa passion de voir le monde. Eh bien, nous avions eu l'intention d'aller ensemble au printems de l'année 23 en Egypte et en Palestine. Quelque chose de plus réel, c'était mon projet pour la Perse avec le bon et cher Alexandre Griboédoff. Deux ans plutôt, — je Vous avais supplié de me permettre d'aller joindre mon Oncle, et de me consacrer entièrement au culte des arts et des sciences: c'est ainsi que j'avais manqué échapper trois fois à mon égarement de trois mois [4]) — si criminel et si incompréhen-

---

[1]) Пишется: «pèlerin». *П. С.*
[2]) Пишется просто: «gracieux». *П. С.*
[3]) Написано над строкой. *П. С.*
[4]) Слова «de trois mois» написаны над строкой. *П. С.*

sible, qui m'a enlevé à tous mes projets d'études, de voyages, et à tout un avenir de poésie — ce dont mon âme a eu uniquement soif, — Vous le savez Vous-même, mon excellent Père! — et jamais de rien autre, n'est-il pas vrai? Mais pourquoi Vous en parlé-je? le passé a tout englouti, — ce passé si inéxorable [1]); et puis — l'homme ressemble si peu à lui-même à la distance d'une dizaine d'années, qu'en repassant en pensée sa propre individualité d'autrefois, — il lui semble lire — une nécrologie. — Adieu, mon Père chéri, je Vous baise les mains bien tendrement.

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoïevsky.

Сбоку на последней странице приписано: «Mes respects à la Princesse et un baiser bien fraternel à mes soeurs et frères». На первой странице также сбоку: «En pliant cette lettre, il m'est venu une idée: ne m'arrive-t-il pas, peut-être, de Vous importuner, mon excellent Père! en Vous offrant de tems à autre un exposé de mes opinions sur les ouvrages et les articles d'art que Vous m'envoyez? mais c'est une partie de mon existence; et — Vous m'en demandez compte».

XVI.

Русский перевод.

12 октября, 1835, Елань.
№ 21.

Мой возлюбленный отец,

Вы доставили мне большое удовольствие, послав фельетон «Journal de St.-Pétersbourg», где находится отрывок прозы Ламартина. Ее стиль — пластический: всё принимает здесь завершенную форму, всё здесь — истинно; потому что автор сам прекрасно видел картину, которую развертывает перед нашими глазами. Напрасно «Библиотека для чтения» нападает на «Воспоминания о Востоке», если всё там соответствует прекрасному описанию окрестностей Иерусалима: подрывать реноме этого произведения в одной критической статье, а в другой превозносить до небес путешествие в Палестину г. Андрея Муравьева — мне не кажется очень последовательным. Скоро будет три года, как я читал это последнее произведение; рассматривая его, как приращение богатств нашей отечественной литературы, я имел основание быть приятно удивленным. Это — сочинение, достойное одобрения во многих отношениях: в нем господствует рели-

---

[1]) Пишется просто: «inexorable». *П. С.*

гиозное чувство, которое заставляет любить нашего соотечественника; — несколько проблесков сердечного красноречия, несколько хороших страниц; но, в общем, больше живости, чем идей, больше яркости колорита, чем верности рисунка; известная увлекательность стиля, но почти никогда этой сосредоточенности мыслей, которой, казалось бы, требуют святые и печальные места, кои посетил наш паломник; что касается стиля в собственном смысле и музыки слова,—звучные фразы одна за другой, но все отлиты по одному образцу и, следовательно,— ансамбль оборотов совершенно монотонный. Только горячность мысли придает разнообразие формам. Без сомнения, далеко до того, чтобы два тома Муравьева не представляли интереса: это — не бездушная компиляция, — очень далеко от этого; хорошо видишь, что он был в этих самых местах. Но воображение читателя, вместо того, чтобы подчиняться точкам зрения русского автора и всё воскрешать в порядке его впечатлений от путешествия, — увядает и погружается в неопределенность общих мест. Почти не дает никакого эффекта в искусствах; и горе картине, о которой можно сказать: «но это — почти то!» Ламартин, напротив, воспроизводит всё со всею точностью черт и грациозностью контуров, с живостью красок и последовательностью нюансов, как о самой натуре: чувствуешь, что находишься под обаянием тех же самых впечатлений,— сидишь вместе с ним под тенью его шатра, под стенами города Сиона, и — слушаешь, не понимая их, рассказы и песни Антары. Как хорошо познается в нем поэт по наслаждению, какое он находил в том, чтобы на выразительных физиономиях своих саисов [1]) прочитать то, что повествовали они из этой поэмы— на неизвестном ему языке!

Я сам чуть было не испытал большую часть тех ощущений, какие Ламартин передает нам с такой прелестью! Не знаете ли Вы случайно артиллерийского полковника, Авраама Норова, путешественника с деревянной ногой и автора поездки в Сицилию, — одной из тех поездок, которые можно совершить, не выходя из дому? В настоящее время он, верно, в Москве, если не предается больше своей страсти видеть свет. Так вот мы имели намерение ехать вместе весною 23 года в Египет и в Палестину. Нечто более реальное был мой проект отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым. Двумя годами ранее, — я умолял Вас позволить мне присоединиться к моему дяде, и всецело посвятить себя служению искусствам и наукам: итак, три раза упускал я случай избежать моего заблуждения этих трех месяцев — заблуждения, столь преступного и столь непостижимого, которое оторвало меня от всех моих проектов занятий, путешествий и от всего будущего

---

[1]) Арабское название конюхов, конвоиров. За эту справку приношу благодарность *Л. С. Некора*. *П. С.*

поэзии — от того, чего моя душа единственно жаждала — вы сами, мой добрейший отец, знаете это! — и никогда ничего другого, не правда ли? Но зачем я говорю Вам об этом? Прошлое поглотило всё, — это столь неумолимое прошлое; и затем — по прошествии десятка лет человек так мало походит на самого себя, что, когда мысленно восстанавливает свою собственную прежнюю личность, — ему кажется, что читает — некролог. — Прощайте, мой возлюбленный отец, нежно целую Ваши руки.

Ваш преданнейший сын Александр Одоевской.

Сбоку на последней странице приписано: «Мое почтение княгине и братский поцелуй моим сестрам и братьям».

На первой странице также сбоку:

«Когда я складывал это письмо, мне пришла мысль: не надоедаю ли я Вам как-нибудь, мой добрейший отец, представляя от времени до времени изложение своих мыслей о произведениях искусства и статьях по поводу их, которые вы мне посылаете? Но ведь это — часть моего существования; а вы требуете отчета в нем».

Примечания.

Известный французский писатель, Альфонс Ламартин в 1832—1833 г. путешествовал по Востоку. Описание этого путешествия [1]) имело чрезвычайно большой успех. Русские журналы также не преминули познакомить своих читателей с новым произведением Ламартина.

А. И. Одоевский получал «Библиотеку для чтения». Здесь в X томе за 1835 г. (ценз. разрешение 29 апреля 1835 года) в отделе иностранной словесности, на стр. 158—172, была помещена неподписанная статья под заглавием «Ламартин у леди Стенгоп». Ее, очевидно, и имеет в виду Одоевский.

В ней мы читаем, между прочим, следующее:

«Новое сочинение Г. Ламартина, Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient, чрезвычайно слабо, чтобы не сказать — недостойно его имени, хотя его провозгласили до небес заранее, и хотя оно издано в один день по-французски и по-английски, в Париже и в Лондоне... Г. Ламартин не видал Востока, несмотря на то, что пробыл там полтора года. Его воспоминания такого рода, что могли бы без потери быть им забыты; его впечатления не чисты и ложны, — чекан, видно, поскользнул в то самое время, когда стремился отпечатать свои чудные и характеристические черты на уме путешественника; его мысли престранны; его виды списаны сквозь очки, которые, кажется, не были хорошо протерты. Изо всего Востока великий поэт увидел ясно только леди Стенгоп; и изо всего его сочинения мы приведем только свидание с этою странною, некогда очень умною, теперь восторженною женщиной, которая так сильно и так долго занимает любопытство европейской публики по поводу многих, очень занимательных

[1]) Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832 — 1833), ou notes d'un voyageur, par M. Alphonse de Lamartine. Seconde édition. Seule édition in — 18 reconnue par l'auteur. Paris, 1835. В четырех томиках.

сплетней, ходивших в свете насчет причин добровольного ее удаления из Англии в Сирию» (158).

Приведя в переводе весь отрывок о посещении Ламартином леди Эсфирь Стенгоп (см. далее примечания к письму XXV), журнал (вероятно, сам ориенталист Сенковский) упрекает Ламартина в неточностях описания природы и в легкомыслии суждений.

Кстати отмечу и другие отклики «Библиотеки для чтения» на путешествие Ламартина. В XI томе за тот же 1835 г., в отделе «Смесь» (стр. 17—20), дан второй отрывок с комментариями «Госпожа Ламартин в турецкой бане». А на стр. 93 той же «Смеси» есть краткая заметка: «Сочинение Г. Ламартина о путешествии его по Востоку подвергается жестокой критике со стороны парижских журналов и газет. Общий голос самых благосклонных судей его согласен в том, что оно слабо, надуто, наполнено ложными взглядами и недостойно великого поэта, который после этого опыта должен воздержаться от прозы». В томе XIII за 1835 (ценз. разр. 31 октября 1835) анонимная статья (вероятно, Сенковского) «Способности и мнения новейших путешественников по Востоку». Здесь говорится и о Ламартине (138—144). Отзыв опять неблагоприятный: Ламартин — «совершенный француз» и не способен понимать Востока.

Сам Одоевский пока мог познакомиться с путешествием Ламартина лишь по фельетону газеты: «Journal de Saint-Pétersbourg, politique et littéraire». «Здесь в № 51 от субботы 29 апреля — 9 мая 1835 г., на стр. 210—212, был помещен отрывок под заглавием: «Jérusalem», т.-е., то что помещается в II т. «Souvenirs» на стр. 209—216, под 3 ноября 1832 г. Тексту Ламартина редакция предпослала краткое введение, в котором выражает уверенность, что читатели будут рады познакомиться с новым произведением Ламартина, которое уже вызвало огромную сенсацию в литературном мире, и что печатаемый отрывок может дать представление о поэтическом стиле этого замечательного (remarquable) произведения, достойного гения автора.

Отрывок начинается с описания окрестностей Иерусалима. Ламартин раскинул свой лагерь под самыми стенами Иерусалима. Был полдень. Сопровождавшие его арабы расположились под тенью маслин на дамасских циновках, курили, рассказывали друг другу поэтические истории пустыни и пели стихи Антары, национального поэта арабов-кочевников, жившего в VI веке по р. х. Ламартин поэтически изображает всю эту экзотическую сцену, передает свои впечатления, как слушателя, который не понимал слов, а лишь улавливал смысл по тону и мимике. Тут же автор сообщает некоторые сведения об Антаре, восторженно характеризуя его творчество. В приложении (299 — 327) даны отрывки из поэмы Антары («Fragments du poème d'Antar»), по материалам, которые, конечно, были со браны впоследствии.

Небезынтересно отметить, что в 1832 г. барон Брамбеус написал свою восточную повесть «Антар». См. в I томе собрания сочинений Сенковского (СПБ. 1858).

Прочитанный Одоевским отрывок из путешествия Ламартина дал ему повод вспомнить сочинение Андрея Муравьева: «Путешествие к святым местам в 1830 г.» (СПБ. 1832). Сочинение это выдержало восемь изданий (2-е изд. — в 1833 г., 3-е изд. в 1835 г.). В журнальных похвалах, вообще говоря, не было недостатка. «Библиотека для чтения» (1835, т. XI лит. летопись за август, ст. 36) отметила появление 3 издания книги Муравьева, но никакой статьи с похвальной оценкой этой книги в «Библиотеке для чтения» 1834 и 1835 годов найти не удалось.

Аврааму Норову принадлежало «Путешествие по Сицилии в 1822 г.» (ч. I и II, СПБ. 1828).

XVII.

Le 5 Décembre, 1835, Elagne
№ 24.

Mon excellent Père,

Je Vous remercie bien sensiblement pour les quatre lettres que j'ai reçues presque simultanément de Votre part, et les quatre volumes de la Bibliothèque de lecture. — Veuillez Vous charger aussi des remercîmens que j'adresse à Madame la Princesse pour la douzaine de bas qu'Elle a eu la bonté de faire tricoter pour moi. — J'attache un prix réel à la moindre attention qu'Elle me témoigne, et ne saurais jamais assez reconnaître les prévenances délicates dont Elle ne cesse de me combler.

Une maladie assez grave m'a privé, pendant le mois passé, du plaisir de Vous écrire: ce n'est pas, sans doute [1]), que je n'eusse pas été capable de tracer quelques lignes; mais comme je connais à fond la tendresse que Vous me portez, j'ai craint, en traçant des caractères peu lisibles, de Vous inspirer des appréhensions à mon égard, et j'ai mieux aimé essuyer de Votre part une inculpation de paresse. Une affection de poitrine et des quintes de toux, suivies d'une sueur froide, m'ont fait beaucoup souffrir; mais à présent, je me porte bien: je suis entièrement rétabli. — Je pense que cette toux qui dure depuis bien longtems, et qui de faible pendant l'automne, est devenue très-forte pendant l'hiver, — a été la conséquence des brouillards qui ont régné à Elagne, pendant la saison des moissons. Vous savez que mes fenêtres de derrière donnent sur un marais, — dont les miasmes ne sont pas très-salubres.

Que je Vous dois de reconnaissance pour les livres que Vous m'envoyez! Comme je ne suis pas sorti de ma chambre pendant le mois de Novembre, le seul plaisir qui m'était permis de me procurer, — c'est la lecture. — Au reste, comme je ne sais jamais où aller et où me promener dans ce village où il n'y a presque pas de rues, — je reste chez moi-même lorsque je suis bien-portant. Aussi ma seule et unique prière: des livres, des livres, mon excellent Père, s'il est possible. Pour Shakspear, [2]) je le lis, mais avec les mêmes entraves: car le Dictionnaire me manque.

Veuillez présenter mes respects à la Princesse et embrasser mes frères et soeurs.

Votre tout dévoué fils,

Alexandre Odoievsky.

На четвертой странице адрес — обычный (на село Николаевское). Наверху цифра «1». Под адресом рукою отца: «toute derniere (sic) reçu le 9 fevr» (sic).

---

[1]) Написано над строкой. *П. С.*
[2]) Вместо «Shakspeare». *П. С.*

Русский перевод.

5 декабря, 1835, Елань.
№ 24.

Мой добрейший отец,

Чувствительнейше благодарю Вас за четыре письма, которые я получил от Вас почти одновременно, и за четыре тома «Библиотеки для чтения». — Благоволите также взять на себя труд передать мою благодарность княгине за дюжину чулок, которую она любезно заказала связать для меня. — Я придаю настоящую цену малейшему вниманию, какое она оказывает мне, и никогда не сумел бы достаточно отблагодарить за те деликатные услуги, какими она не перестает осыпать меня.

Довольно тяжелая болезнь в течение прошлого месяца лишила меня удовольствия писать Вам: без сомнения, это не значит, что я не был в состоянии набросать несколько строк; но, так как я глубоко сознаю всю нежность, какую Вы питаете ко мне, я боялся, выводя трудно читаемые буквы, внушить Вам опасения на мой счет, и я предпочел навлечь на себя ваше обвинение в нерадении. Боль в груди и приступы кашля, сопровождаемые холодным потом, заставляли меня сильно страдать; но в настоящее время я чувствую себя хорошо: я вполне поправился. — Думаю, что этот кашель, который держится уже очень давно и который из слабого осенью сделался очень сильным зимою, был следствием туманов, господствовавших в Елани в продолжение страдной поры. Вы знаете, что мои задние окна выходят на болото, миазмы которого не очень здоровы.

Какой признательностью обязан я Вам за книги, которые Вы мне посылаете! Так как в течение ноября месяца я не выходил из комнаты, то единственное удовольствие, которое было мне позволено доставлять себе, это — чтение. — Впрочем, так как я никогда не знаю, куда итти и где гулять в этой деревне, почти не имеющей улиц, — то я сижу дома даже тогда, когда я вполне здоров. Поэтому моя первая и единственная просьба: книг, книг, мой добрейший отец, если это возможно. Что до Шекспира, я его читаю, но с теми же затруднениями: ибо мне не хватает словаря.

Благоволите передать мое почтение княгине и обнять моих братьев и сестер.

Ваш преданнейший сын

Александр Одоевской.

Под адресом рукою отца:
«совсем последнее, получено
9 февр».

XVIII.

Le 1-er Janvier, 1836, Elagne.
№ 1.

Mon Père adoré,

Que de sentimens se pressent au fond de mon coeur, au moment de Vous souhaiter la bonne année? Ne pourrai-je plus jamais le faire de vive voix? — Mais que de reconnaissance réelle ne dois-je pas à Sa Majesté dont la magnanimité indicible réunit nos sentimens, nos pensées les plus intimes, en me permettant de jouir d'une correspondance non-interrompue avec mon Père bien-aimé! — Si notre Auguste Souverain ne nous eût pas fait cette grâce, — nous serions bien malheureux tous les deux; et je n'eusse pas eu la consolation si douce de Vous présenter mes félicitations, et de Vous prier d'agréer les voeux fervens que je forme pour Votre santé et bonheur. Qu'ils soient inaltérables: c'est la prière journalière que j'adresse au Tout-puissant.

Veuillez souhaiter de ma part une année heureuse à la Princesse dont l'attachement pour Vous est un tître [1]) bien valide à tout mon respect et à toute ma tendresse. — Félicitez aussi mes frères et soeurs, en leur donnant sur leur petit front un baiser bien affectueux.

Je commence l'année 36 sous des auspices bien favorables: — par Vous écrire, mon Père bien-aimé! — et j'espère bien continuer à le faire pendant tout le courant de cette an[née] [2]. Des indispositions fréquentes m'ont [3]) empêché d'être exact vers la fin de l'année passée.

Je Vous baise les mains des milliers de fois, et Vous supplie de me croire à jamais

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

На четвертой странице адрес — обычный (на село Николаевское). Над адресом, — цифра «1», а сбоку — «№ 416».

На письме красная сургучная печать III отд. собственной его императорского величества канцелярии. Кр. того, штемпель (неразборчивый): «СПБург..... Апрель 2».

---

[1]) Пишется просто: «titre». *П. С.*
[2]) Вторая половина слова — вырвана. *П. С.*
[3]) Вероятно, ont: слово это залеплено сургучом. *П. С.*

Русский перевод.

1 января, 1836, Елань.
№ 1.

Мой обожаемый отец,

Сколько чувств теснится в глубине моего сердца в момент пожелания Вам доброго года? Неужели я более никогда не могу сделать это живым голосом? — Но какой истинной признательностью обязан я его величеству, чье невказанное великодушие соединяет наши самые интимные чувства и мысли, позволяя мне наслаждаться непрерывной перепиской с моим возлюбленным отцом! — Если бы наш августейший государь не позволил нам этой милости, — мы оба были бы очень несчастны; и я не имел бы столь сладкого утешения выразить Вам мои поздравления и просить Вас благосклонно отнестись к горячим мольбам, кои я воссылаю за Ваше здоровье и счастье. Да будут они неизменными: вот ежедневная молитва, с которой я обращаюсь к всемогущему!

Благоволите пожелать от меня счастливого года княгине, чья привязанность к вам служит мощным основанием для моего уважения и для моей нежности к ней. — Поздравьте также моих братьев и сестер, напечатлевши сердечный поцелуй на их маленьком челе.

Я начинаю 36-й год при очень благоприятных ауспициях: — начинаю тем, что пишу Вам, мой возлюбленный отец! — и очень надеюсь продолжать делать это в течение всего года. Частые недомогания мешали мне быть аккуратным под конец прошлого года.

Тысячу раз целую Вам руки и усердно прошу навсегда верить

Вашему преданнейшему сыну

Александру Одоевскому.

XIX.

Elagne, le 20 Janvier, 1836,
№ 2.

Mon Père chéri,

Combien je Vous suis reconnaissant pour les lettres que je viens de recevoir de Votre part! — Votre sollicitude me procure des momens de consolation et de jouissance réelle; et je rends journellement grâce à Sa Majesté pour le bonheur que j'éprouve tous les huit jours, en recevant de Vos nouvelles qui me sont si précieuses.

Je suis bien coupable envers Vous; car j'ai passé quelquefois trois, quatre postes, sans Vous écrire: des indispositions assez fréquentes en ont été la cause; et d'ailleurs, demeurant à près de 36 verstes du chef-lieu de l'arrondissement, je n'ai pas toujours été exact à saisir les momens opportuns d'expédier mes lettres. Désormais, j'en agirai avec plus de prudence, et j'essaierai de satisfaire autant que faire se pourra, — le désir que Vous m'avez témoigné à tant de reprises, d'avoir de mes nouvelles tous les huit ou quinze jours.

Ma Tante vient de m'envoyer un Evangile rélié [1]) très-élégamment pour l'Eglise d'Elagne. Je lui en suis très-obligé. Ma Cousine, Elise a joint une lettre charmante à celle de Варвара Александровна. Elle s'informe avec anxiété de l'état de ma santé. Il est vrai que ma poitrine me fait souffrir; mais non — au point d'inspirer de vives appréhensions à mes bons et chers parens. En toute vérité, quand je me replie sur moi-même, je ne conçois pas trop à quoi je dois le vif intérêt que me témoignent tous mes parens qui, selon le cours naturel des choses, auraient dû m'oublier depuis longtems; mais tout au contraire, — on se souvient de moi, on m'aime, on me chérit plus vivement que jamais; et surtout Vous, mon Père adoré! J'en suis touché jusqu'au fond de l'âme, et ferai mon possible de mériter Votre affection. Je Vous baise les mains des milliers de fois.

Votre fils dévoué

Alexandre Odoievsky.

На третьей странице сбоку приписка:

«Mes respects bien tendres à la Princesse, et mille baisers à mes frères et soeurs».

На четвертой странице — адрес — обычный (на село Николаевское).

На письме сургучная печать III отделения.

Кроме того штемпель: «СПБург..... апрель 9».

Над адресом, в правом углу — цифра «14», а сбоку — «Одоевскаго» и «№ 474».

Возле адреса рукою отца: «reçue le 19. Avril

renvoye d'Elise le 24 mai [2])

Au nom de Dieu renvoyés la moi (sic).

---

[1]) Надо: «relié» *П. С.*

[2]) Другими чернилами, чем подчеркнутые фразы, следовательно, писалось позднее.

Русский перевод.

Елань, 20 января, 1836.
№ 2.

Мой возлюбленный отец,

Как признателен я Вам за письма, которые только-что получил от Вас! — Ваша заботливость доставляет мне минуты утешения и истинного наслаждения; и я ежедневно приношу благодарность его величеству за счастье, которое я испытываю каждые восемь дней, получая ваши письма, столь дорогие для меня.

Я очень виноват перед Вами; ибо иногда я пропускал три-четыре почты, не писав Вам: недомогания, довольно частые, были причиною этого; да, кроме того, живя почти в 36 верстах от главного города уезда, я не всегда мог точно уловить моменты, удобные для отправки писем. Отныне я буду заботиться об этом с большей рачительностью и постараюсь, насколько только возможно, удовлетворить желание, которое Вы столько раз выражали мне иметь от меня письма каждые восемь или пятнадцать дней.

Тетя только-что прислала мне очень изящно переплетенное евангелие для еланской церкви. Очень обязан ей за это. Моя кузина, Элиза, присоединила милое письмо к письму Варвары Александровны. Она тревожно справляется о состоянии моего здоровья. Это правда, что моя грудь причиняет мне страдания; но не до такой степени, чтобы возбуждать живые опасения в моих добрых и дорогих родственниках. Воистину, когда я сосредоточиваюсь на самом себе, я не очень понимаю, чему обязан я тем живым интересом, какой из'являют ко мне все мои родственники, которые, по естественному ходу вещей, давно должны были бы забыть меня; но, совершенно напротив, вспоминают обо мне, любят меня, живее, чем когда-либо, любят, и особенно Вы, мой обожаемый отец! Я тронут этим до глубины души, и сделаю всё возможное, чтобы заслужить Вашу любовь.

Тысячу раз целую Ваши руки.

Ваш преданный сын

Александр Одоевской.

На третьей странице сбоку приписка:

«Мое нежное почтение княгине и тысячу поцелуев моим братьям и сестрам».

Возле адреса рукою отца: «получено 19 апреля, возвращено от Элизы 24 мая, ради бога верните мне». Средняя фраза написана позднее: другими чернилами, чем подчеркнутые.

XX.

Le 30 Janvier, 1836, Elagne.
№ 3.

Mon excellent Père,

Je Vous suis bien reconnaissant pour la seconde partie du douzième tome de la Bibliothèque de lecture qui m'a fait bien du plaisir. Je suis si content d'avoir quelque chose à lire dans ma solitude!

Ma Tante m'a aussi envoyé le même ouvrage périodique; mais ce dont je suis bien aise, c'est qu'elle y a joint les deux premiers volumes du Dictionnaire Encyclopédique, — entreprise belle et nationale et parfaitement réalisée, — au-delà de toute attente du moins de ma part! Comme notre Patrie a avancé dans la voie des lumières pendant ces dix années du règne de notre glorieux Monarque qui imprime à tous les efforts utiles une impulsion si grandiose. Il y a dix ans le Dictionnaire Encyclopédique eût été une chose presque chimérique; car le concours de savans, d'érudits et de littérateurs qui a élevé ce monument à la gloire et au profit de la Russie, n'était pas même possible à supposer: les sciences étaient peu cultivées; et l'éducation se bornait aux belles-lettres, à l'étude des langues, à lire les poètes et à faire de petits vers. — A présent, tout au contraire, l'attitude de la civilisation russe a acquis quelque chose de mâle; et on a abandonné les chimères, les futilités, les fantômes (qui, par parenthèse, m'ont aussi perdu) — pour le culte de réalités utiles et nobles, pour les sciences exactes à qui je porte un amour malheureusement tardif, — pour des entreprises d'un intérêt ostensible et toutes pénétrées d'un dévouement à toute épreuve à notre Auguste Souverain et à la Russie qu'il a élevée si haut! — Que je regrette de me voir rejeté du sein de ce monde qui adore Notre Empereur et qui march[e] de progrès en progrès sous Son Auguste direction! Et moi aussi — j'eusse pu y apporter mon écot de services utiles, au lieu de me précipiter dans un abîme de la plus criminelle folie. — Adieu, mon excellent Père! Je Vous baise les mains.

Alexandre Odoievsky.

На третьей странице сбоку приписано: «Mes tendres respects à la Princesse, et des baisers bien affectueux sur le front de mes frères et soeurs».

На четвертой странице адрес — обычный (на село Николаевское).

Пометки вверху в правом углу — «1», а сбоку — «Одоевскаго».

Кроме того, если сложить письмо, то можно прочесть следующие слова: «к № 137: 17 Марта представить г-ну Генер.-Губер.».

Русский перевод.

30 января, 1836, Елань.
№ 3.

Мой добрейший отец,

Очень благодарен Вам за вторую часть двенадцатого тома «Библиотеки для чтения», которая доставила мне много удовольствия. Я так доволен, что у меня есть что-нибудь для чтения в моем уединении!

Тетя также прислала мне то же периодическое издание; но чему я очень рад, это то, что она присоединила к нему два первых тома Энциклопедического словаря, — предприятие прекрасное, национальное и в совершенстве выполненное, — выше всякого ожидания, по крайней мере, с моей стороны! Как наше отечество двинулось по пути просвещения в течение этих десяти лет царствования нашего славного монарха, который всем полезным стремлениям дает столь мощный толчок. Десять лет тому назад Энциклопедический словарь был бы вещью почти химерической; ибо нельзя было даже предполагать возможности соединения ученых, образованных людей и литераторов, которые теперь соорудили этот памятник на славу и пользу России: науки мало разрабатывались; воспитание ограничивалось изящной словесностью, изучением языков, чтением поэтов и изготовлением стишков. — Теперь, напротив, облик русской цивилизации приобрел нечто мужественное; бросили химеры, пустяки, фантомы (которые, говоря в скобках, погубили также меня) — для возделывания полезных и благородных реальностей, для точных наук, к которым я питаю любовь, к сожалению, запоздалую, — для начинаний, представляющих очевидный интерес и всецело проникнутых непоколебимой преданностью к нашему августейшему государю и к России, которую он столь высоко поднял! — Как я сожалею, видя себя выброшенным из недр того мира, который обожает нашего императора и который шествует от успеха к успеху под его августейшим руководством! Да и я — мог бы вложить сюда свою долю услуг, вместо того, чтобы бросаться в бездну самого преступного безумия. — Прощайте, мой добрейший отец! Целую Вам руки.

Александр Одоевской.

Сбоку на третьей странице приписано: «Мое нежное почтение княгине и сердечнейшие поцелуи в лоб моим братьям и сестрам».

Примечание.

«Энциклопедический словарь» издавался Плюшаром. О нем смотри в моей вводной статье.

XXI.

Le 15 Février, 1836, Elagne.
№ 4.

Mon Père chéri,

Vous m'accusez de paresse dans toutes les lettres que je reçois de Votre part: je Vous fais mille et mille excuses, mon bon, mon excellent Père! — Je serai désormais beaucoup plus exact. Il est vrai que j'ai été malade à plus de quatre reprises: des esquinancies et un mal de poitrine qui date de l'année 24, — m'ont fait remettre quelquefois d'un jour à l'autre le plaisir, le bonheur de correspondre avec Vous: j'attendais que ma tête fût plus fraîche; et puis, connaissant Votre tendresse indicible, je craignais qu'en Vous écrivant, Vous ne fissiez l'observation que ma main — est celle d'un malade: ce qui aurait pu Vous inspirer plus d'appréhensions que mon mal ne le méritait. — Pour paresseux, il est bien difficile que je le sois: la seule consolation, qui puisse charmer — (c'est bien le terme) — mon isolement, — c'est celle de Vous écrire, de Vous réitérer à tout moment l'expression de l'affection et de la reconnaissance sans bornes que je ne cesserai jamais de Vous porter au fond de mon coeur. Ma destinée serait affreuse, si j'étais privé du bonheur de Vous parler, et de celui de recevoir de Vos nouvelles. Aussi, — même en passant sous silence tous les bienfaits réels dont la magnanimité de Sa Majesté, notre grâcieux [1]) Monarque, a si généreusement adouci le sort que nous méritions, — il suffirait de la seule permission de correspondre avec Vous, pour m'inspirer un dévouement à Notre Souverain et une reconnaissance qui dureront tant que je serai animé du moindre souffle de vie, et que j'emporterai dans ma tombe.

Votre tout dévoué fils,

Alexandre Odoievsky.

Приписка на третьей странице сбоку: «Mes respects affectueux à la Princesse, et un baiser fraternel à mes soeurs et frères».

Адрес — обычный.

Возле адреса пометки чужой рукой: «1», «Одоевскаго», къ «№ 152-му».

---

[1]) Пишется просто: «gracieux». *П. С.*

Русский перевод.

15 февраля, 1836, Елань,
№ 4.

Мой возлюбленный отец,

Вы жалуетесь на мою леность во всех письмах, которые я получаю от Вас: приношу Вам тысячу и тысячу извинений, мой добрый, мой прекрасный отец! — Отныне я буду значительно аккуратнее. Правда, что я более четырех раз был болен: жаба и боль в груди, которая идет с 24 года, — иногда заставляли меня со дня на день откладывать удовольствие, счастье переписываться с Вами: я ждал, чтобы моя голова стала свежее; и затем, зная Вашу несказанную нежность, я боялся, как бы мое писание не подало Вам повода для наблюдения, что моя рука — рука больного: это могло бы внушить Вам более опасений, чем заслуживала того моя болезнь. — Что до ленивого, то мне очень трудно быть таковым: единственное утешение, которое могло бы услаждать — (это подлинно так) — мое одиночество — это возможность писать Вам, повторять Вам каждую минуту выражение безграничной любви и признательности, которые я никогда не перестану питать к Вам в глубине моего сердца. Моя участь была бы ужасной, если бы я лишился счастья говорить Вам и получать Ваши письма. Поэтому, — даже обходя молчанием все действительные благодеяния, которыми великодушие его величества, нашего милостивого монарха, столь благородно смягчило жребий, коего мы заслуживали, — достаточно было бы одного только позволения переписываться с Вами, чтобы внушить мне преданность нашему государю и признательность, которые пребудут, пока останется во мне малейшее дыхание жизни, которые я унесу в могилу.

Ваш преданнейший сын
Александр Одоевской.

Приписка к третьей странице сбоку:
«Мое сердечное почтение княгине и братский поцелуй моим сестрам и братьям».

XXII.

Le 12 Mars, 1836, Elagne.
№ 5.

Mon excellent Père,

Dans les derniers numéros de la Revue étrangère que ma Tante, Варвара Александровна, a eu la bonté de m'envoyer, j'ai trouvé bien peu d'articles intéressans: — de petites et mesquines

aventures romanesques, prétentieusement narrées; — tandis que les derniers volumes de la Bibliothèque de lecture renferment des pages parfaitement bien pensées; — et précisément celles sous le titre [1]): Frédéric le Grand. Ce qui y est dit des Monarchies militaires vaut cent fois mieux que toutes ces folles et sottes théories, qui ont enlevé, dans le courant de vingt années, des milliers de jeunes victimes à tant d'honnêtes et respectables familles! J'ai cru y reconnaître le style de M-r Сенковскій et autant des vues aussi saines font-elles honneur à l'esprit de cet auteur consciencieux, — autant méritent l'exécration publique ces malheureux faiseurs de pamphlets qui soutiennent des absurdités à l'aide d'une logique beaucoup trop élastique, et s'amusent à dépouiller, — à coups de plumes, — de nobles arbres de leurs fruits encore verts! — Le faiseur de ces traités à faux éclat se trouve à l'aise au fond de son cabinet, assis nonchalamment sur son fauteuil à la Voltaire, tandis que ses victimes croupissent au fond de l'abîme qu'il leur a creusé en souriant. — Dans ce moment, je ne fais pas de retour sur moi-même: je jouis de toute la paix et de toutes les aisances que mon état comporte, grâce à la magnanimité indicible de notre Souverain; — mais en réfléchissant à mon passé, — je trouve que s'il y a jamais eu un choléra moral en Europe, — c'est la licence de la presse. Toutes ces utopies me font à présent l'effet d'une tour de Babel que bâtissent des aveugles qui ont la prétention de bien voir, en se cassant le nez à chaque pas. Oh! si j'avais eu, il y a dix ans, le loisir de bien réfléchir pendant un petit quart-d'heure. — Continuez, je Vous supplie, à m'envoyer la Bibliothèque de lecture: elle me procure quelquefois des momens utiles et agréables.

Je Vous baise les mains des milliers fois, et Vous prie de me croire

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

На третьей странице сбоку приписка: «Veuillez présenter mes respects à la Princesse, et embrasser mes frères et soeurs. — Vous me demandez ce dont j'ai besoin: — les poudres d'Imsen tirent à leur fin; et je continue à souffrir. Envoyez-m'en, cher Papa».

Адрес обычный.

Возле адреса чужою рукою помечено «къ № 177».

---

[1]) Пишется просто «titre». *П. С.*

Русский перевод.

12 марта, 1836, Елань.
№ 5.

Мой добрейший отец,

В последних нумерах «Revue étrangère», которые тетя Варвара Александровна была добра прислать мне, я нашел очень мало интересных статей:—маленькие и скудные романические приключения, претенциозно рассказанные; — между тем как последние тома «Библиотеки для чтения» содержат страницы превосходно продуманные; — таковы страницы под заглавием «Фридрих Великий». То, что здесь сказано о военных монархиях, в сто раз лучше, чем все эти безумные и глупые теории, которые на протяжении двадцати лет похитили тысячи юных жертв из стольких честных и почтенных семейств! Я готов признать тут стиль Г. Сенковского, и насколько столь здравые взгляды делают честь уму этого добросовестного автора, — настолько заслуживают публичного проклятия эти несчастные сочинители памфлетов, которые поддерживают нелепости с помощью чересчур эластичной логики и забавляются тем, что сбивают ударами перьев с благородных деревьев их еще зеленые плоды!—Сочинитель этих трактатов, сверкающих ложным блеском, спокойно пребывает в глубине своего кабинета, небрежно сидя на вольтеровском кресле, тогда как его жертвы гниют в глубине пропасти, которую он с улыбкой вырыл для них. — В эту минуту я не намекаю на самого себя: я наслаждаюсь всем покоем и всеми удобствами, какие позволяет мое положение, благодаря несказанному великодушию нашего государя;—но, размышляя о своем прошлом, я нахожу, что, если когда-нибудь в Европе была моральная холера, так это — своеволие печати. Все эти утопии в настоящее время производят на меня впечатление вавилонской башни, которую строят слепые: они имеют претензию думать, что прекрасно видят, а между тем на каждом шагу разбивают себе нос. О, если бы десять лет тому назад я имел досуг хорошенько подумать в течение маленькой четверти часа!—Продолжайте, умоляю Вас, присылать мне «Библиотеку для чтения»: иногда она доставляет мне минуты полезные и приятные.

Тысячу раз целую Вам руки, и прошу верить моей полной преданности.

Ваш сын Александр Одоевской.

На третьей странице сбоку приписка:

«Благоволите передать мое почтение княгине и обнять моих братьев и сестер. — Вы спрашиваете, в чем я нуждаюсь: — порошки Имсена приходят к концу; а я продолжаю страдать. Вышлите мне их, дорогой папа».

Примечание.

Статья, которая так понравилась Одоевскому, носит заглавие «Фридрих Великий в отношении к XIX веку» и помещена в «Библиотеке для чтения» 1835 г., т. XII, отд. III, стр. 1—32. Написана она по поводу многотомного сочинения фон-Прейсса (Friedrich der Grosse. Eine Lebensgeschichte. Von. J. D. E. von Preuss. 4 Bände, und Urkundenbuch, 4 Theile. Berlin, 1832—1835).

Историческую заслугу Фридриха автор видит именно в том, что он создал систему «военной монархии», послужившую образцом для всей Европы, разумеется, и для России. Это—«особенная форма очень кроткого и чрезвычайно сильного самодержавия». «Все отдельные власти потеряли свой вес одна за другою, и король сделался центром и движителем всего.» «... Великим правилом Фридриха было — делать всё для народа и ничего посредством народа, так что, уничтожив последние остатки своевольной политической свободы средних веков, он силою чистого самодержавия вполне обеспечил свободу гражданскую, — единую настоящую свободу в мире, — и поставил ее на высшую степень, чем у всех других народов, не исключая и самых либеральных, где всегда политическая свобода, то-есть свобода плутов-интриганов и наглецов, становится тираном мирных действий честного, трудолюбивого и покорного власти гражданина. Ограничения, стеснявшие дотоле нравственную и физическую деятельность его подданных, были устранены». Пример, поданный Фридрихом Великим, оказал благотворное влияние на всю Европу: «Страсть к конституциям значительно ослабела на твердой земле. Это было заблуждение века, последний бред умирающей философии XVIII столетия, который непременно кончится и даже кончится скоро. Головы выздоравливают... Кроткое, но сильное самодержавие будет общею формою правительства всех просвещенных народов, как превосходнейшая из всех выдуманных человеком».

Статья анонимная. Одоевский склонен приписывать ее перу самого Сенковского. В собрании сочинений последнего такой статьи нет, не называется она и в библиографическом перечне его работ.

Небезынтересно отметить, что в 1844 г. вышла об'емистая и роскошно изданная (с рисунками Адольфа Менцеля) книга «История Фридриха Великого», текст Федора Кони.

XXIII.

Le 30 Avril, 1836, Elagne,
№ 8.

Mon Père chéri,

Je Vous suis sensiblement obligé pour la Bibliothèque de lecture que Vous avez la bonté de m'envoyer, et qui fait le charme de ma solitude. C'est surtout Vos délicieuses lettres dont j'ai déjà reçu jusqu'à quatre, datées de cette année-ci, — qui ne cessent de verser sur mon coeur un baume réellement consolateur. Merci, mon excellent Père, merci pour Votre inaltérable sollicitude.

Ma Tante, Варвара Александровна, a bien voulu m'envoyer la cassette bleue de Maman, d'après la prière que je lui avais adressée à ce sujet; mais ce qui me surprend — c'est que celle

qui vient de m'être remise, — est bien une cassette bleue à secret, — recouverte de plaques en fer blanc, — tout juste comme celle de Maman, et cependant — elle me paraît avoir une tout autre physionomie. Ma mémoire me tromperait-elle? Celle de mon excellente Mère était, autant que je m'en souviens, — un peu voûtée par le haut, — à trois serrures, tandis que celle-ci est à cinq. Ma Tante n'aurait-elle pas retrouvé cette cassette bleue où Maman gardait toujours sa bible et ses bijoux, — et m'aurait-elle envoyé par compensation une des siennes? A ce qu'il me semble, — il y a eu un peu de désordre dans ma maison de la place Isaak, — grâce à mes gens; et cependant-ils m'avaient toujours été si fidèles, surtout Курицынъ [1]), tant que j'avais été leur maître. Que fait ce bon Курицынъ? mon vieux valet-de-chambre doit être à Karkoff, à la petite campagne de sa soeur, — n'est-ce pas? — Il y vit en propriétaire, — surtout à l'aide de la pension que je lui ai assignée sur mes biens, — et que Дм. Сепг. a toujours parfaitement acquittée. Veuillez m'en dire un petit mot.

Варвара Ивановна m'a fait bien du plaisir, en m'écrivant une bien aimable lettre, et en m'envoyant une petite Biographie du C-te Komaroffsky, — de cet excellent ami, — tracée de sa propre main, ainsi qu'une vingtaine de livres de la part de ce dernier, — malheureusement endommagés en route. — Je vais leur répondre; mais pas aujourd'hui: j'ai un peu la fièvre — une fièvre de printems. Je Vous baise les mains mille fois.

Votre fils dévoué

Alexandre Odoievsky.

На третьей странице сбоку приписка: «Mes hommages bien tend[res] [2]) à la Princesse, et mille et mille caresses affectueuses [à] [2]) mes frères et soeurs».

Адрес — обычный.

Возле адреса пометки: «1», «№ 839», «Одоевскаго».
Сургучная печать III отделения и пометка: «къ № 267».

На первой странице сверху рукою отца написано:

«le № 7. envoyé à Elise
de Moscou au mois de juin».

---

[1]) Сверху (вероятно, рукою отца) надписано: «Смирновъ».
[2]) Вырвано, но сохранилось на кусочке, приклеившемся к сургучу. *П. С.*

Русский перевод.

30 апреля, 1836, Елань.
№ 8.

Мой возлюбленный отец,

Чувствительно обязан Вам за «Библиотеку для чтения», которую Вы имеете доброту присылать мне и которая служит отрадой в моем одиночестве. Особенно же Ваши прелестные письма, которых я получил уже до четырех с датой этого года, не перестают изливать на мое сердце поистине утешительный бальзам. Благодарю, мой добрейший отец, благодарю за Вашу неизменную заботливость.

Тетя, Варвара Александровна, соблаговолила прислать мне голубую шкатулку maman (мамы), по просьбе, с которой я обращался к ней относительно этого; но, что меня изумляет, это то, что только-что врученная мне шкатулка, — как следует голубая шкатулка с секретом, — покрытая жестяными пластинками, — совсем как шкатулка maman, и однако — та, кажется мне, имеет совсем другой вид. Неужели память обманула бы меня? Шкатулка моей добрейшей матери, насколько я припоминаю, была немного выгнутой вверху, — с тремя замками, между тем как эта с пятью. Может быть тетя не нашла голубой шкатулки, в которой maman всегда хранила свою библию и свои драгоценности, — и послала взамен одну из своих? Как мне кажется, — в моем доме на Исааковской площади был немного беспорядок, — благодаря моим людям; но вместе с тем они всегда были мне столь верны, особенно Курицын [1]), пока я был их господином. Что поделывает этот добрый Курицын? Мой старый камердинер, должно быть, в Харькове, в деревушке своей сестры, — не так ли? — Там он живет помещиком, — особенно с помощью пенсии, которую я назначил ему из моих средств и которую Дм. Серг. всегда исправно выплачивал. Благоволите сказать мне об этом словечко.

Варвара Ивановна доставила мне большое удовольствие, написавши мне очень милое письмо и приславши небольшую биографию графа Комаровского, — этого прекрасного друга, — набросанную его собственной рукой, равно как около двадцати книг от него, — к сожалению, поврежденных в дороге. — Я им скоро отвечу; но не сегодня: у меня небольшая лихорадка — весенняя лихорадка.

Тысячу раз целую Вам руки.

Ваш преданный сын

Александр Одоевской.

---

[1]) Сверху (вероятно, рукою отца) надписано: «Смирнов».

На третьей странице сбоку приписка:

«Мое нежнейшее почтение княгине и тысячу, тысячу сердечных ласк моим братьям и сестрам».

На первой странице сверху рукою отца написано:
«№ 7 послан Элизе из Москвы в июне месяце».

Примечание.

Граф Комаровский, Егор Евграфович служил вместе с А. И. Одоевским в лейб-гвардии конном полку и в 1832 г. вышел в отставку ротмистром, женившись на родной сестре поэта Д. В. Веневитинова. В письме к Владимиру Федоровичу Одоевскому от 15 октября 1821 г. Александром Ивановичем в числе новых его сотоварищей назван и граф Комаровский,— «давнишний мой друг, любезный молодой человек, весьма, весьма ученый, с утонченным, даже строгим вкусом». См. «Из переписки князя В. Ф. Одоевского» (сообщил И. А. Бычков) в «Русской Старине», 1904, февраль, стр. 373. — Ответ Варваре Ивановне Ланской (на французском языке) был послан Одоевским из Иркутска с датой 17 июля 1836 (по дороге в Ишим). Он напечатан М. А. Веневитиновым в «Русском Архиве» 1885, I, стр. 128—131, в его статье: «К биографии поэта Веневитинова (причина его преждевременной смерти)». Это письмо Одоевского подтверждает, что вместе с письмом Варвары Ивановны он получил соответствующую записку Комаровского об его образе жизни («Je lui suis très-obligé pour son esquisse autographique», т.-е. «Я очень обязан ему за автобиографический эскиз», — говорил Одоевский). Упоминается также о получении книг от Комаровского и о том, что они повреждены в дороге. «Виктор Жакмон (Victor Jacquemont) — в клочках (en lambeaux), также как Сент-Бев и Крылов», пишет Одоевский: «Мне очень любопытно прочитать Менцеля». Следовательно, вот каких авторов, между прочим, прислал ему Комаровский. Виктор Жакмон (1801—1832), известный естествоиспытатель и путешественник. Одоевскому, вероятно, прислали тогдашнюю новинку: «Journal de voyage de Victor Jacquemont, avec les descriptions zoologiques et botaniques» (1835). Сент-Бев (1804—1869) — знаменитый критик и поэт. В тридцатых годах выходили его «Critiques et portraits littéraires». Имя немецкого критика и историка Вольфганга Менцеля (1798—1873), врага т. н. «Молодой Германии», в тридцатых годах не сходило со страниц наших журналов; в 1840 г. Белинский напал на него в статье «Менцель, критик Гете». Может быть, Одоевский получил второе издание известной книги Менцеля «Die deutsche Litteratur» (1836). — Из Ишима Одоевский собирался послать непосредственно Комаровскому список желательных для него книг. Таким образом, круг лиц, которые снабжали его книгами, еще расширился.

XXIV.

Le 15 Mai, 1836, Elagne.
№ 9.

Mon excellent Père,

Je Vous suis très-obligé pour les graines que Vous avez eu la bonté de m'envoyer, ainsi que pour les livres et la marmelade aux pommes: j'ai tout reçu avec la plus grande exactitude. C'est dommage, que vu l'énorme distance qui nous sépare, les graines

sont arrivées à leur destination — un peu tard; cependant — j'en ai semé la plupart. — En général, je m'occupe beaucoup. de la culture — non seulement de mon potager, — mais des terres dans toute l'étendue du terme; et dans ce cas, — je suis le précepte d'Horace: je mêle l'utile à l'agréable. — Comme ce printems-ci j'ai vaqué moi-même à l'inspection des travaux rustiques que j'ai entrepris, — j'ai gagné de petits accès de fièvre à trois reprises différentes — dont je me suis délivré très-facilement au moyen de bains de pieds et de sinapismes — qui sont pour moi une espèce de panacée, d'autant plus que ma science hyppocratique ne s'étend pas de beaucoup au-delà. — En passant la plus grande partie de la journée au beau milieu des champs, je me sens beaucoup mieux sous le rapport de mon affection pulmonaire. Ma poitrine est plus dégagée.

Je Vous baise les mains des milliers de fois, et Vous supplie de présenter mes respects à la Princesse, et d'embrasser bien tendrement mes frères et soeurs.

Je Vous remercie beaucoup pour Emile, et pour tous les onze volumes que Vous avez eu la bonté de m'envoyer: merci, mille fois merci pour tout ce que Vous faites pour moi, mon bon, mon excellent Père!

Votre dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

Адрес — обычный. — Возле адреса пометки: «1», «№ 933».

Сургучная печать III отделения и пометка: «къ № 359»; штемпель (неразборчивый): «СПБург» и т. д.

На первой странице рукою отца: «C'est la reponse au № 8 du 7. Mars».

Русский перевод.

15 мая 1836, Елань.
№ 9.

Мой добрейший отец,

Очень обязан Вам за семена, которые Вы были добры прислать мне, равно как за книги и за яблочный мармелад: всё получил я с величайшей исправностью. Жаль, что вследствие огромного расстояния, которое нас отделяет, семена пришли к своему назначению—немного поздно; однако—большую часть я посеял.—Вообще я много занимаюсь возделыванием—не только моего огорода, — но полей во всем об'еме этого слова; в этом случае я следую правилу Горация: соединяю полезное с приятным.—Так как эту весну я сам занимался надзором за сельскими

работами, которые я предпринял,—то приобрел маленькие приступы лихорадки, повторявшиеся три раза—от них я очень легко отделался с помощью ножных ванн и горчичников—которые для меня род панацеи, тем более, что мое гиппократическое знание не слишком поднимается над этим.—Проводя большую часть дня в прекрасной обстановке полей, я чувствую себя много лучше в отношении к легочной болезни. Моей груди легче.

Тысячу раз целую Вам руки и очень прошу передать мое почтение княгине и нежно обнять моих братьев и сестер.

Премного благодарен Вам за «Эмиля» и за всё одиннадцать томов, которые Вы были добры прислать мне: благодарю, тысячу раз благодарю за всё то, что Вы делаете для меня, мой добрый, мой прекрасный отец!

Ваш преданный сын

Александр Одоевской.

На первой странице рукою отца: «Это ответ на № 8 от 7 марта».

Примечание.
«Эмиль» — роман Жан-Жака Руссо; первое издание – 1762 г.

XXV.

Le 28 Mai, 1836, Elagne,
№ 10.

Mon Père bien-aimé,

Je viens de recevoir Vos numéros 9, 10 et 11, et des envois de Votre part: draps de dame, nankin gris et rayé, une couverture, des bottes, des mouchoirs pour le cou, une cravate très-élégante, six serviettes, six essuie-mains, une brochure sur la manière de confectionner le savon [1]) enfin, tout exactement selon la liste que Vous avez jointe à Votre lettre. — J'ai oublié de Vous remercier pour l'essai sur la culture du houblon, pour les délices de la solitude, pour Montesquieu et Emile. En général, tout me parvient avec la plus stricte et la plus scrupuleuse exactitude.

Je Vous suis bien sensiblement obligé pour les quatre volumes de Lamartine: j'ai éprouvé un saisissement de plaisir, en les recevant; mais en parcourant ces quatre volumes de ses Souvenirs, mon attente a été frustrée, et j'ai été puni pour avoir énoncé [2])

---

[1]) За этим словом стоит какое-то условное сокращение. *П. С.*
[2]) Эти два слова написаны над строкой. *П. С.*

un jugement anticipé, — porté après la lecture d'un fragment de son ouvrage, — d'un article délicieux inséré dans une feuille du Journal de St. Pétersbourg que Vous m'aviez envoyée. — Ses Souvenirs sont monotones: rien de réel; tout y est [1]) rêverie, bonne et douce rêverie qui enveloppe d'un épais [2]) brouillard tout ce qu'il a été à même d'observer; — de manière que le lecteur, au lieu de l'Orient, — n'y voit que Lamartine, — bien moins poète en prose qu'en vers. Sans parler de Lady Stanhope qui depuis vingt ans est le thème favori et bien peu varié de tous les voyageurs, — et si Vous mettez de côté cette scène délicieuse au pied des murs de Jérusalem qui m'avait si vivement charmé (et il faut bien avouer, que la plus belle part de l'attrait appartient à ce nom magique d'Antar), — si donc Vous en [3]) excluez ces deux fragmens, — les choses réellement intéressantes qu'on y trouve, n'appartiennent pas à Lamartine: c'est, je veux dire, le voyage de Lascaris, et puis, — ce qui est d'un intérêt bien plus général et sans aucun parallèle, bien plus profond encore pour tout homme, et surtout pour tout Russe: — la lettre sublime de Sa Majesté, l'Empereur, adressée au Comte Orloff, — ce chef si distingué, et dont le nom m'est si cher, toutes les fois que je le rencontre, surtout à présent qu'après dix tristes années, je puis apprécier plus sensément que jamais les bontés qu'il avait eues pour moi, et l'affection qu'il m'avait toujours témoignée. C'est un vrai bonheur pour Lamartine d'avoir eu l'honneur d'entendre la lecture de cette lettre magnanime qui, à mes yeux, donne du relief à tout son ouvrage. Tous les traits qui parviennent jusqu'à moi, — m'inspirent de l'enthousiasme pour mon Souverain, et plus de repentir que jamais. — Mais on ne change pas le passé, — malheureusement pour moi!.. j'eusse été si dévoué! — Adieu, mon Père chéri.

Votre très-obéissant fils,

Alexandre Odoievsky.

Приписка сбоку на 4-ой и 3-ей страницах: «Que de mercis pour les graines de fleurs et de légumes! Quoiqu'elles soient arrivées un peu tard, j'en ai néanmoins semé la plus grande partie. Mes tendres respects pour la Princesse, et mille remercîmens que je Vous supplie de lui adresser pour les envois que je tiens de la part de Vous deux. Mon baiser fraternel à mes frères et soeurs, et mes félicitations sur l'heureuse délivrance de la Princesse».

---

[1]) Написано над строкой. *П. С.*
[2]) Написано над строкой. *П. С.*
[3]) Написано над строкой. *П. С.*

Русский перевод.

28 мая, 1836, Елань.
№ 10.

Мой возлюбленный отец,

Только-что получил я Ваши нумера 9, 10 и 11 и Ваши посылки: дрядедам, серую полосатую нанку, одеяло, сапоги, шейные платки, очень изящный галстук, шесть салфеток, шесть полотенец, наконец, брошюру о способе приготовления мыла,— все в точности согласно списку, который вы присоединили к своему письму.—Я забыл поблагодарить Вас за этюд о разведении хмеля, за усладу одиночества — Монтескье и Эмиля. Вообще, все приходит ко мне с самой строгой и с самой скрупулезной аккуратностью.

Чувствительнейше обязан Вам за четыре тома Ламартина: я испытал дрожь радости, получая их; но, когда я пробежал эти четыре тома его «Воспоминаний», мое ожидание было обмануто, и я был наказан за преждевременное суждение, — высказанное по прочтении отрывка из его произведения,—прелестной статьи, помещенной в газете «Journal de St.-Pétersbourg», которую Вы мне прислали.—Его «Воспоминания» — монотонны: ничего действительного; всё тут мечта, хорошая и сладкая мечта, которая обволакивает густым туманом всё то, что он имел возможность наблюдать;—так что читатель, вместо Востока, видит там только Ламартина,—значительно менее поэта в прозе, чем в стихах. Не говоря о леди Стенгоп, которая уже двадцать лет служит излюбленной и очень мало варьируемой темой для всех путешественников,—и если Вы оставите в стороне эту прелестную сцену у подножия иерусалимских стен, которая так живо пленила меня (и нужно вполне признаться, что самая лучшая доля привлекательности принадлежит этому магическому имени Антары), — так если Вы исключите отсюда эти два отрывка, — то вещи действительно интересные, которые здесь находятся, не принадлежат Ламартину: это, хочу я сказать, путешествие Ласкариса и затем, — то, что представляет интерес значительно более общий и, без всякого сравнения, значительно более глубокий для каждого человека и особенно для каждого русского:— возвышенное письмо его величества, императора, адресованное графу Орлову, — этому столь знаменитому начальнику, чье имя мне так дорого, всякий раз я его встречаю, особенно теперь, по прошествии десяти печальных лет, когда я могу рассудительнее, чем когда-либо, оценить милости, какие он оказал мне, и любовь, которую он всегда проявлял ко мне. Это—истинное счастье для Ламартина, что он имел честь слушать чтение этого великодушного письма, которое в моих глазах придает блеск всему его произведению. Все черты, какие доходят до меня,

возбуждают во мне энтузиазм к моему государю и раскаяние большее, чем когда-либо.—Но не изменишь прошлого,—к несчастью для меня!.. Я был бы так предан!—

Прощайте, мой нежно любимый отец.

Ваш всепокорнейший сын,

Александр Одоевской.

Приписка сбоку на 4-й и 3-й страницах:

«Как благодарен я за семена цветов и овощей! Хотя они пришли немного поздно, я тем не менее большую их часть посеял. Мое нежное почтение княгине, и очень прошу Вас передать ей тысячу благодарностей за посылки, которые я имею от вас обоих. Мой братский поцелуй братьям и сестрам, и мои поздравления княгине с счастливым исходом» (родов).

Примечания.

Монтескье — знаменитый французский писатель (1689—1755). «Эмиль» — см. в предыдущем письме.

Одоевский получил, наконец, те четыре томика «Воспоминаний» Ламартина, о которых шла речь раньше (см. примечания к письму XVI). Как и «Библиотека для чтения», Одоевский отнесся теперь к французскому путешественнику весьма критически.

Посещение Ламартином леди Стенгоп заинтересовало и его, хотя он и оговаривается, что ее имя уже слишком часто появляется на страницах путешествий и в журналах. Леди Эсфирь Стенгоп, племянница государственного деятеля Питта Младшего, богатая аристократка, имевшая большое влияние на общественные дела своей родины, после смерти своего дяди (1806) покинула Англию и пустилась путешествовать сначала по Европе, потом по Востоку. После целого ряда приключений, она поселилась, наконец, на одной из гор Ливана, по соседству с Сайдой (древним Сидоном). Никто не знал истинных причин, побудивших леди совершенно порвать с Европой. Ее имя стало легендарным. Тем более, что она жила в полном одиночестве и особенно избегала сношений с европейцами. Ламартин застал ее уже 50-летней женщиной. Окружив себя восточной обстановкой, Стенгоп отдавалась религиозно-мистическим настроениям и даже холила у себя седлистую кобылицу для ожидаемого мессии. Ламартин видит в этом смесь европейского иллюминизма с восточными верованиями, особенно с астрологией (Сенковский, между прочим, усматривает здесь влияние француза Лустано, который некоторое время служил управителем в доме Стенгоп). «Как бы то ни было», замечает Ламартин, «леди Стенгоп — большое имя на Востоке и большое диво для Европы». Ламартин подробно описывает свое путешествие в резиденцию леди, ее образ жизни и свою беседу с нею (1, p. 191—217; ср. в примечании к письму XVI о «Библиотеке для чтения»).

Ласкарис — грек по происхождению, но уроженец Пьемонта; жил на Мальте, когда Наполеон покорил этот остров. Тогда еще очень молодой человек, Ласкарис увлекся гением Наполеона, последовал за ним в Египет и отдал свои выдающиеся способности делу счастливого завоевателя. Ласкарис был того мнения (может быть, внушенного самим Наполеоном, как предполагает Ламартин), что самым достойным поприщем для Наполеона является Азия, и он в течение семи лет, преодолевая чрезвычайные трудности, агитировал на Востоке в пользу Наполеона.

Когда цель казалась уже достигнутой, его кумир пал, и Ласкарис, разбитый морально, отправился в Египет и умер в Каире, оставив после себя интересные записки. Близким сотрудником Ласкариса был молодой араб Фаталла Сейегир (Fatalla Sayeghir), который также вел записки. Ламартин приобрел их и в переводе приложил к своему путешествию (IV, 36—41, 43—228).

Письмо имп. Николая I к графу Орлову приведено Ламартином под 18 июня 1833 г. (т. III, стр. 260—261). Находясь под Константинополем, путешественник не мог не коснуться восточного вопроса, в котором, как известно, близкое участие принимала русская дипломатия. Ламартин писал: «Политические новости из Европы. Здесь это теперь важный пункт. Уйдут ли русские, расположившиеся лагерем в Азии и бросившие якорь перед самыми нашими окнами? Что до меня, я не сомневаюсь в этом. Незачем хватать добычу, которая всё равно не может ускользнуть. Граф Орлов вчера дал мне прочитать (me faisait lire) удивительное письмо, которое написал ему император Николай. Вот его смысл: — Дорогой Орлов, когда провидение поставило человека во главе сорока миллионов людей, то для того, чтобы он давал высочайший в мире пример честности и верности своему слову. Этот человек — я. Я хочу быть достойным миссии, которую я получил от бога. Как только осложнения между Ибрагимом и султаном сгладятся, не медлите ни одного дня, уведите мой флот и мою армию. — Вот благородный язык, хорошо угаданная ситуация, плодотворное великодушие. Константинополь не улетит, и необходимость снова приведет сюда русских, которых на время удаляет отсюда их политическая честность».

Речь идет о том моменте, когда Мехмед-Али, почти независимый повелитель Египта, восстал против турецкого султана и отправил против него войско под командой своего сына, Ибрагима-паши. Николай поддерживал султана своей армией и флотом (под командой генерала Н. Н. Муравьева). В качестве чрезвычайного посла был отправлен в Турцию граф А. Ф. Орлов. Мехмед-Али подчинился султану, Ибрагим вернулся в Египет, и Орлов немедленно увел русские войска из-под Константинополя.

XXVI.

Le 10 Juin, 1836, Elagne,
№ 11.

Mon excellent Père,

Je viens de recevoir les graines de tabac que Vous avez eu la bonté de m'envoyer. Elles arrivent un peu tard: je n'en pourrai plus faire usage cette année-ci; mais je ne Vous en remercie pas moins, cher Papa! Vous êtes si bon qu'il m'est bien difficile, sinon impossible, d'exprimer, en termes précis, toute la reconnaissance que Votre tendre sollicitude ne cesse de m'inspirer. Jamais, au grand jamais—je ne saurais assez mériter l'amour paternel que Vous me témoignez jusque dans la moindre des choses.

N'ayez aucune appréhension sur le compte de Vos lettres et des effets que Vous avez la bonté de me faire tenir: les unes, ainsi que les autres parviennent sans faute à leur destination. On est d'une exactitude parfaite. Il n'y a pas un seul numéro

de Vos lettres qui se soit égaré; et tous Vos paquets de graines, — livres, objets d'habillement, d'après la note que Vous y aviez jointe, — m'ont été remis dans le plus court délai, sans qu'il y manque quoi que ce soit.

Votre indicible attachement pour moi Vous rend mècontent des procédés de ma Tante, Варв. Алекс., à l'égard de mon avenir. Si elle n'a pas encore pris de résolution, pour faire un acte définitif, — pensez, cher et bien-aimé Père, que c'est une femme qui ne s'est jamais occupée d'affaires; et n'ayant plus à ses côtés Дмитрій Сергѣевичъ sur qui reposait toute la régie de ses biens, elle ne sait plus quel parti prendre, et passe son tems à choisir le meilleur moyen de consolider mon avenir matériel. Ce qui m'importe avant tout, — c'est qu'elle m'aime bien tendrement: cela me suffit.

Je réitère mes remercîmens à la Princesse pour la part qu' Elle a bien voulu prendre dans l'envoi des effets que Vous m'aviez envoyés.—Je Vous baise les mains et suis à jamais

Votre fils dévoué

Alexandre Odoievsky.

Сбоку на 3-й странице: «P. S. Mes tendres respects à la Princesse et mille baisers sur Vos deux mains et sur le front de mes frères et soeurs, et des deux jumeaux nouveau-nés».

Адрес обычный; без всяких пометок.

XXVI.

Русский перевод.

10 июня, 1836, Елань.
№ 11.

Мой добрейшій отецъ,

Только-что получил семена табаку, которые Вы были добры прислать мне. Они приходят немного поздно: в этом году я уже не смогу воспользоваться ими; но от того не менее благодарю Вас за них, дорогой папа! Вы так добры, что мне очень трудно, если не невозможно, со всею точностью выразить полную признательность, какую Ваша нежная заботливость не перестает возбуждать во мне. Никогда, решительно никогда я не сумел бы достаточно заслужить отеческую любовь, которую Вы проявляете ко мне вплоть до самых мелких вещей.

Не питайте никакого опасения насчет ваших писем и вещей, которые Вы имеете доброту посылать мне: те и другие неукоснительно доходят по своему назначению. Исправность полная. Нет ни одного нумера из Ваших писем, который за-

терялся бы; все Ваши пакеты с семенами,—книги, платье, согласно списку, который Вы к ним прилагали,—были вручены мне в кратчайший срок, без потери чего бы то ни было.

Ваша несказанная привязанность ко мне делает Вас недовольным действиями тети, Варвары Александровны, относительно моего будущего. Если она еще не приняла решения, чтобы совершить окончательный акт,—то подумайте, мой дорогой и возлюбленный отец, что ведь это женщина, которая никогда не занималась делами; не имея более возле себя Дмитрия Сергеевича, на которого она возлагала всё управление ее имениями, она уже не знает, какое принять решение, и медлит, чтобы выбрать лучший способ для упрочения моего материального будущего. Что мне важнее всего,—это то, что она очень нежно любит меня: этого мне достаточно.

Повторяю мои благодарности княгине за то участие, какое ей угодно было принять в отправке вещей, которые Вы прислали мне.—Целую Вам руки и остаюсь навсегда

Вашим преданным сыном

Александром Одоевским.

Сбоку на 3-й странице: «P. S. Мое нежное почтение княгине и тысячу поцелуев в обе Ваши руки и в лоб моих братьев и сестер, и двух новорожденных близнецов».

XXVII.

Le 21 Juin, 1836, Elagne,
№ 12.

Mon Père bien-aimé,

Je viens de recevoir simultanément Vos deux numéros 14 et 15. Si je ne Vous pas ai écrit aussi souvent que Vous le désirez,—veuillez ne l'attribuer qu'aux soins que j'ai donnés jusqu'à ce moment à la culture des terres: je me suis fait un devoir et une habitude de vaquer moi-même aux travaux rustiques,—moyen unique de faire bien travailler.

Vous voulez m'envoyer l'ouvrage d'André Mouravieff:—son voyage en Palestine. Quoique je l'aie déjà lu une fois,—je ne Vous en serai pas moins très-obligé: notre littérature est si pauvre, et j'ai si peu d'ouvrages russes dans ma petite bibliothèque que je serai très-satisfait de posséder le pélérinage [1]) de Mouravieff, quoiqu'il soit bien au-dessous de sa réputation.

[1]) Пишется: «pèlerinage». *П. С.*

J'aime bien mieux, en vérité, ses lettres o Греко-Россійскомъ Богослуженіи que le Comte Komarovsky a eu l'aimable attention de me faire parvenir.

Je suis tout surpris que mon Cousin Woldemar s'amuse à écrire des billets aussi absurdes et en un aussi mauvais français. C'est une langue étrangère pour nous, hommes du nord; et personne n'est en droit d'exiger que nous nous exprimions en français avec élégance: mais au moins doit-on avoir une légère idée de la grammaire de la langue que nous nous permettons de torturer! Je Vous demande quel est ce malheureux subjonctif: si aucun effet n'advienne! C'est du Welche! et puis—le billet est si indécent! Il n'a pas même le mérite d'une bonne plaisanterie. La bonne société de Pétersbourg n'a pas fait faire de grands progrès à mon pauvre Woldemar: il a encore gardé l'allure d'un écolier de la Pension de l'Université de Moscou. Je ne l'en aime pas moins cependant; et je désire de tout mon coeur qu'il fasse un jour honneur à notre famille.

Votre tout dévoué fils

Alexandre Odoievsky.

Сбоку на третьей странице: «P. S. Vous me dites que la Princesse est indisposée: veuillez l'assurer que je forme des voeux bien sincères pour sa santé, et la prie d'agréer mes respects affectueux. Je Vous baise les mains bien tendrement et embrasse mes frères et soeurs».

Адрес — обычный; без всяких пометок.

XXVII.

Русский перевод.

21 июня, 1836, Елань.
№ 12.

Мой возлюбленный отец,

Только-что получил разом два Ваших нумера 14—15. Если я не писал Вам столь часто, как Вы того желаете,—соблаговолите приписывать это только заботам, которые я до сих пор отдавал возделыванию полей: я усвоил себе долг и привычку самому заниматься сельскими работами,—единственное средство заставить хорошо работать.

Вы хотите послать мне сочинение Андрея Муравьева:—его путешествие в Палестину. Хотя я один раз уже читал его,—тем не менее я буду очень обязан Вам за него: наша литература так бедна, и в моей маленькой библиотеке так мало русских произведений, что я буду очень рад иметь паломничество

Муравьева, хотя оно значительно ниже своей репутации. Сказать по правде, я гораздо больше люблю его письма о греко-российском богослужении, которые граф Комаровский любезно прислал мне.

Я очень изумлен, что мой кузен Вольдемар забавляется писанием записочек столь же нелепых, сколь и дурных в отношении французского языка. Для нас, людей севера, это—чужой язык; и никто не в праве требовать, чтобы мы с изяществом из'яснялись по-французски: но, по крайней мере, нужно иметь легкое представление о грамматике того языка, который мы позволяем себе искажать! Я спрашиваю Вас: что это за несчастный subjonctif: si aucun effet n'advienne! Это—невежество! И затем записка столь неприлична! Она не имеет даже достоинства удачной шутки! Хорошее общество Петербурга не заставило моего бедного Вольдемара сделать больших успехов: он еще сохранил повадку воспитанника Московского университетского пансиона. Однако, из-за этого я не менее люблю его, и желаю от всего сердца, чтобы когда-нибудь он сделал честь нашей фамилии.

Ваш преданнейший сын

Александр Одоевской.

P. S. Вы говорите, что княгиня—нездорова: благоволите заверить ее, что я воссылаю искреннейшие мольбы за ее здоровье, и прошу ее благосклонно принять мое сердечное почтение. Нежнейше целую Вам руки и обнимаю моих братьев и сестер.

Примечание.

О графе Комаровском—см. в письме XXIII. Там, между прочим, перечислены некоторые книги, которые получил от него Одоевский. К ним теперь нужно присоединить «Письма о богослужении восточно-кафолической церкви» Андрея Муравьева, книгу, которая вышла в Петербурге в 1836 г., выдержала потом еще десять изданий и была переведена на иностранные языки.

О «Путешествии» А. Муравьева уже шла речь в письме XVI (см. примечания к нему).

Кузен Вольдемар—Владимир Федорович Одоевский, известный писатель. О нем говорится в моей вступительной статье.

П. Попов.

П. А. Муханов в Сибири.

Нам смерть не может быть страшна;
Свое мы дело совершили...
(Из «думы» Рылеева, посвященной Муханову).

Самый культурный и самый энергичный слой аристократической молодежи 20-х годов прошлого века оказался заброшенным волею судеб в далекие дебри Сибири. Эта молодежь, двинутая под наплывом новых идей с прежнего бытового клада, находясь в самых недрах государственного механизма — служа в армии, порывисто устремилась куда-то в даль, но порыв этот застыл при первом же движении, и карающая рука отбросила эти молодые жизни от их поприща и кинула их в глушь. Жизненные силы, однако, не замирают сразу, крылья продолжают трепетать. Никакой деспотизм не может приглушить все мгновенно; сознание еще бьется, деятельность, хотя бы сжатая, продолжается, жизнь ищет себе выхода и простора. Только упорные неудачи, постоянные препятствия и тянущаяся годами мгла существования могут загасить жизненные силы. Тогда энергия иссякает. Остаются крохи воспоминаний, добрые намерения, которые замыкаются в себе, натыкаясь на неприступную скалу. Такое угасание жизни не должно навевать меланхолию: ведь не изнутри жизнь умирает; ее затирает глухое безвременье, внутри же источник жизни остается светлым. Это замкнутое, трагическое изживание сил у декабристов определялось многими сторонами жизни: тут и климат Сибири, неподатливость края, внешняя отрешенность — с одной стороны, и глухие, тупые и безнадежные препятствия со стороны властей — с другой. У некоторых декабристов к этому присоединялись и личные несчастия. У декабриста Петра Александровича Муханова дело обстояло именно так — судьба его нигде не щадила. Его одиночество и вынужденная бездеятельность подтачивали его силы из года в год. Но его духовные ка-

чества оставались неопрокинутыми, и нежной теплотой веет от его писем; сначала они полны энергии и написаны тщательно и обстоятельно, а затем переписка становится все более монотонной, сжатой и поневоле пессимистической.

Петр Александрович Муханов родился в 1798 г., сын шталмейстера, штабс-капитан л.-гв. Измайловского полка, он был ад'ютантом у генерала Раевского; в 1819 г. он примкнул к Союзу Благоденствия. П. А. занимался историей и опубликовал целый ряд интересных исторических работ; кроме того, он был литератором, беллетристом и занимался издательским делом [1]). Его статьи мы находим в «Сыне Отечества» и «Московском Телеграфе»; из него мог выйти незаурядный русский историк. Муханов был хорошо знаком с Погодиным, Полевым; он близко сошелся с Пушкиным, и Пушкин упоминает его в своих письмах 25 года. Друг Муханова Рылеев посвятил ему свою думу «Смерть Ермака»; из других декабристов он был близок с Ал. Бестужевым, С. Муравьевым, Орловым и др. [2]). Якушкин рассказывает о том, как он встретился с Мухановым у Орлова в Москве, уже после восстания, и как они вместе отправились к Митькову, хотя никто Муханова по-настоящему не знал. Муханов, однако, в чужом обществе был чрезвычайно разговорчив и на совещании предлагал убить царя. Это и была главная вина Муханова, выяснившаяся после его ареста в Москве. Он был обвинен в том, что «произносил дерзостные слова в частном разговоре, означающие не умысел, а мгновенный порыв на цареубийство, и принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели относительно бунта». Причисленный к IV разряду, Муханов был осужден на временную ссылку на каторжные работы, а потом на поселение. Обстоятельства его ареста, отправления в Петербург, заключения, приговора над ним и т. д. описаны его сестрой, кн. Е. А. Шаховской. После суда Муханов был заключен в Выборгскую крепость. В 1827 году он был отправлен в Сибирь. После пребывания в Читинском остроге, он был переведен в Петровский завод. В 1832 г. Муханов был освобожден и отправлен на поселение в Братский Острог Нижнеудинского округа, Иркутской губ. Там он прожил до 1842 г.

---

[1]) При дознании на вопрос, «в каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться», Муханов дал след. ответ: «Преимущественно занимался военными науками, историей и статистикой российского государства» (Архив Октябрьск. рев. в Москве, Особый отдел, 6. «Госуд. Архив I В», № 356, лист 62 и сл.).

[2]) В своих показаниях на вопрос о круге знакомства Муханов дал след. ответ: „Быв ад'ютантом у ген. Раевского в Киеве, я был в ежедневном сношении с ген.-майор. Орловым, бывал у кн. Серг. Волконского, близко знаком с Сергеем Муравьевым, с коим учился вместе в корпусе ген. Муравьева, знал кн. Трубецкого, сверх чего был в сношении со всеми моими товарищами по службе“ (Г. А., № 356).

после чего перебрался в селение Усть-Куда в 24-х верстах от Иркутска; в Иркутске Муханов и скончался в 1854 г. [1]).

Муханов тянулся из своего далека к Москве, к родным, к друзьям. Он был влюблен в княжну Варвару Михайловну Шаховскую и мечтал о женитьбе и переезде дорогого ему человека в Братский Острог. Очень дружен он был со своей сестрой, Елизаветой Александровной Шаховской, которая нежно его любила; большим другом Муханова был и муж ее, князь Валентин Михайлович. Мы располагаем неопубликованной перепиской Муханова из архива Шаховских (в имении Белая Колпь). В архиве с лишком 110 писем Петра Александровича с 1833 по 1849 г. В начале этого периода до 1837 г. Муханов чаще всего писал своей сестре; связь с нею была регулярной и не прерывалась до внезапной кончины Ел. Ал. в октябре 1836 г.

После этого муж Ел. Ал. взял на себя попечение и заботы о Петре Алекс. Отношение его к сосланному родственнику было заботливое и внимательное. Переписка продолжалась и после переезда Муханова в Усть-Куду. Впрочем, с новым браком Шаховского, с началом шумной жизни его в Петербурге, вследствие его занятий в банке, где он был директором, и постоянных поездок за границу, письма в Сибирь стали приходить реже, но Шаховской не забывал своего друга юности. Правда, Муханов часто жалуется Шаховскому, что его письма становятся редкими и краткими, но тут прежде всего сказывается тяжкое настроение Муханова, терявшего все связи с Европой и родными и поэтому поневоле становившегося мнительным. Ему кажется, что все старые знакомства отпадают, а новые не могут установиться. Близкие умирают; другие забывают его. Тут Муханов не мог не испытывать горечи. Под конец остались лишь Валентин Мих., его сестра Елизав. Мих. и старушка мать Муханова. П. А. дорожил этими последними нитями и боялся, как бы и они не порвались. Другие родные оказались ему чуждыми. Павел Александрович Муханов, писатель и ученый, деятель народного образования в Царстве Польском, попечитель Варшавского округа, бежавший тайно из Варшавы, при чем в Петрокове его провожали ругательствами и камнями ученики гимназии, впоследствии член Государственного Совета, украшенный орденом Александра-Невского, относился к сосланному брату с полным равнодушием, почти не писал ему и только под давлением Шаховского принял меры к денежному обеспечению обездоленного брата. В продолжение всего времени, которое может быть подробно охарактеризовано благодаря наличным письмам за все эти 16 лет, настроение Муханова все более и более падает; неблагоприятные обстоя-

---

[1]) Наиболее полная биография Муханова дана в книге А. А. Сиверса. Материалы к родословию Мухановых, стр. 135 — 144.

тельства обрушиваются на него со всех сторон; все начинания его не удаются; даже переезд в более благоприятную местность, Усть-Куду, не мог поднять слишком уже подавленного настроения П. А. Попробуем проследить по письмам основные стороны его жизни.

Пачка писем [1]) начинается с большого послания Шаховскому, бодрого, наполненного разнообразнейшими планами и чаяниями. Привожу его целиком.

5 мая 1833 года, Братский Острог.

«Я весьма рад, любезнейший друг, что дружба твоя ко мне оскорбилась от собирательного имени, в которое я включил твое. Я вижу, что ты любишь меня ревниво. Впрочем ты напрасно даешь худое толкование моей ошибке; истинная причина такому смешению вас в одно была поспешность, с которой я писал первое письмо. Я не перемещу тебя с той степени, на которой поставили тебя мои чувства и твоя внимательная, заботливая, братская дружба, разве ты думаешь, что обстоятельства извели мое сердце? Иначе как могу я тебя разжаловать? Но все это многословие лишнее. Благодарю тебя за оказанные мне вновь важные услуги, об которых получил я подробное известие через других. Желаю, чтобы ваш общий труд увенчан был совершенным успехом, столь необходимым для меня. Из моих последующих писем, которые должны быть для вас не весьма приятны, ты еще мог видеть положение, в котором я нахожусь. Ты знаешь, что не только по характеру и привычкам моим, но и по долгой опытности в сем роде жизни я могу много перенести; но здесь едва ли кому достанет сил терпеть. Три месяца сряду я в болезни и в праздности. Здесь нет средства помочь первым и избавиться от последней. Перевод мой в другое место, сколько-нибудь выгоднейшее для существования, будет настоящим освобождением моим из тюрьмы, и по многим отношениям не милостью, а благодеянием. Пользуясь доверием начальства, в прямом ведомстве которого я нахожусь, доверием, ежедневно внушаемым моим образом жизни, может быть нашел бы я средства увеличить мои занятия; но все, что я могу приобрести не через письменные приказания губернатора, а от попущений, почитаю я злоупотреблением, и по тому самому я не выстрелю в утку из чужого ружья, хотя всякий день в тридцати шагах от избы моей стреляют не только уток, но и в коз и сохатых, и эта запрещенная для меня стрельба меня очень соблазняет. Я надеюсь, что такая строгая осторожность избавит меня навсегда от сибирских выдумок и клеветы. Поведение мое тем более должно быть осторожно,

---

[1]) Все письма шли официальным путем и таким образом проходили через III отделение. Эти цензурные условия надо иметь в виду при оценке содержания писем.

что мне не об'явлены ни мои права, ни обязанности; я знаю только по слухам, что состою вне общего постановления о поселенцах, и от неведения сего мне трудно узнать, что, действительно, позволено и что запрещено. Что же касается до главной вашей заботы, т.-е. до здоровья моего, — оно худо, но весна может его поправить. Впрочем, не получив до сих пор средств к лечению, несмотря на данные окружному начальнику приказания, я вынужден был вторично просить губернатора о приказании ему поступать почеловеколюбивее. Я знаю, что просьба получать от лекаря лекарства не может быть противозаконною, ибо есть постановление лечить больных поселенцев, и надеюсь, что в сем случае я не составляю исключения. Хотя, действительно, смешно лечиться заочно и писать о болезни и лекарствах, когда знаешь, что ответ едва ли придет через три месяца; но я повинуюсь обстоятельствам.

Если должен я буду остаться здесь, я не имею другого занятия в виду, как завести лошадиную мукомольную мельницу и заниматься переводом книг. Писать из головы почти невозможно за неимением книг для совещания. А получив хотя очень ограниченную от худой местности свободу, я получил обязанность трудиться и стараться как можно меньше быть в тягость тем, которые семь лет содержали меня. О доставке мне плана и подробного описания такой мельницы писал я тебе и с нынешней партией пишу А. А. Саблукову [1]), который вызвался помогать мне своими знаниями. Что-ж касается до второго занятия, которое может быть для меня прибыльнее, приятнее и занять более времени, то я прошу тебя посоветоваться с Александром [2]) и Погодиным и доставлять мне по одному тому в месяц хорошего сочинения, но стараясь, чтобы оно было не огромно. Я могу в день легко перевести один печатный лист, но с поправкой это много. Пришли мне каталоги графа от 30 №. В сем случае вы будете поступать со мною коммерчески. Я знаю, что все мои намерения сего рода вам кажутся смешными, но вы должны убедиться, что при малейшей свободе человек должен действовать и приносить пользу по крайней мере себе. Я не думаю, чтобы дремать было честно, когда можно делать. Все, что я могу делать теперь, ничтожно с моими желаниями; но должно опять начинать жить. Я просил сестру прислать мне собрание русских законов, но как я узнал, что вышел Свод оных, который продается у Селивановского по сто руб., я прошу доставить мне оный переплетенным, за что вы прибавите Селивановскому деньги

---

[1]) Александр Александрович Саблуков (1773 — 1857) — дядя Муханова, брат его матери Натали Александровны, генерал-лейтенант (Сиверс, стр. 87).

[2]) Александр Алексеевич Муханов (1800 — 1834), — двоюродн. брат П. А., состоявший в это время в ведомстве министерства иностранных дел при Московском главном архиве (Сиверс, стр. 93 — 98).

и попросите его переслать на имя губернатора для доставления ко мне. Я писал вам тогда, чтобы вы получили способы на покупку сию от Машеньки [1]). Из всего сказанного ты видишь, любезный друг, как я живу теперь и что намерен я делать. И поэтому я вполне удовлетворяю твое любопытство. Если по просьбе матери моей оказана будет мне милость и меня переведут на другое место (что вы уже знаете), то состояние мое весьма улучшится, ибо все отзывы моих всех прежних товарищей, которых судьба избавила Иркутской губернии, доказывают, что они блаженствуют в сравнении с нами; в противном случае, повинуясь обстоятельствам и не имея даже надежды переехать из сей волости в соседственную, гораздо выгоднейшую во всех отношениях, я поставлю избу и стану жить как велит бог, благодаря вас за все ваши заботы и попечения, которые приносят вам много труда. Но пора мне сказать хотя два слова жене твоей. Я очень благодарен ей за ее два письма 12 и 20 марта, обещание писать чаще и распоряжение, которое она сделала насчет отсылки моего письма матушке. Оно совершенно согласно с моими желаниями. В письме Лизы столько любви и хороших намерений, что оно вовлекло бы меня в нежности, если бы место было для оных. Если когда-нибудь сбудутся все ее, мои желания и желания всех людей нам близких, тогда я буду сметь радоваться с нею, но мне кажется, этот переворот в моей жизни очень не верен или далек, и заранее я не предаюсь никакой утешительной надежде. После ваших писем стал я покойнее и довольнее, ибо вижу, что вы желаете и действуете совершенно сходно с моими ожиданиями. А, признаюсь, я люблю, чтобы в важном для меня деле было совершенное согласие в наших мыслях.

Она желает знать, могу ли я ходить в церковь; в тюрьме за неимением церкви собирались мы (т. е. немногие) в общую комнату по воскресеньям и читали Завет, псалмы и проповедь. Здесь хожу я в церковь каждый воскресный и праздничный день, но с трудом, а часто не могу выстоять всей обедни.— К попу и другим людям я не хожу, кроме одного очень честного и очень умного мужика, который хорошо знает здешний край и рассказывает мне свои баталии с дикими зверями. Когда хорошая погода, я сижу на берегу реки, покрытой еще льдом, и жду с нетерпением, чтобы она прошла, и тогда буду сидеть с удой. Встаю я в 5 часов утра, ложусь спать в 12 и живу без всякого дела, как-будто бы у меня много дела.

Вот вам весьма откровенное письмо—впрочем, я желаю быть сколько возможно прозрачнее. Прощайте, обнимаю вас обоих.

П. Муханов.

На письма Машеньки и Лизы, которые меня обрадовали много, буду отвечать следующий раз.»

---

[1]) Марья Мих. Голынская, урожден. Шаховская.

Мы видим, что у Муханова есть свои твердые нормы, которые так уверенно звучат в его словах. «Я не думаю, чтобы дремать было честно, когда можно делать». Он не хотел дремать, он хотел быть честным. Его привлекал всякий труд и, главным образом, умственный; но жестокая действительность разбила эти мечты: действительно, эти намерения оказались смешными в его положении. Работы над переводами не могли оправдать себя в реальных условиях его жизни. Вообще, литературные занятия оказались неимеющими практического результата. 21 октября 1833 г. Муханов сообщал сестре, что он было, написал для детей Шаховской краткую историю русскую, но в одно холодное утро подтопил ею сырые дрова. «Слишком три дести славно вспыхнули — при недостатке книг и особенно с дружбою твоею с Погодиным мне писать или продолжать писать историю было бы безрассудно». Тем не менее литературная деятельность продолжала привлекать Муханова. Он пишет: «Теперь я занят очень странным делом, вообрази себе, что я из памяти без всяких других источников, разве рассказов моей кривой кухарки, дополняю Академический русский лексикон — и вот уже у меня готова шестая сотня слов, пропущенных в труде почтенных мужей, — как скоро перепишу, пошлю тебе, чтобы ты велела их напечатать в Ученых Записках». Занятия переводами продолжают привлекать его; в том же письме он просит сестру поговорить с Погодиным, чтобы тот прислал Муханову какое-нибудь древнее сочинение иностранцев о России времен Петра I или царя Грозного для переводов; «я на досуге весьма рад бы заняться делом», добавляет Муханов. Но это все оказывалось лишь работой для самого себя.

Не удалась и другая его мечта — перемещение в другое место, «сколько-нибудь выгоднейшее для существования», как он выражается. Просьба матери не была уважена [1]). П. А. пока не теряет надежды, и ему кажется, что настанут еще лучшие дни. «Бог даст когда-нибудь будет и для меня лучше». Но пока, если судьба пригвождала Муханова к Братскому Острогу, то приходилось заботиться о жилье. Уже загодя Муханов был озабочен этим. В письме от 1 июня 1833 г. он пишет сестре: «Из письма моего к матушке вы увидите, что я по выздоровлении, по получении решительных ваших писем и позволении губернатора намерен строить избу. Потеряв надежду и почитая неблагоразумным, непристойным искать новых средств к перемещению своему в выгоднейшие и приближеннейшие места к городу или к средствам лечебным, я вынужден заботиться о нужном устройстве своем здесь и приступаю к мере необхо-

---

[1]) См. текст этой просьбы в VI части «Сборника старинных бумаг, хранящихся в музее Щукина», стр. 336 — 337; срв. также у Цявловского „Гол. Мин.“, 1920 — 21, стр. 102; после приведенного письма несомненно, что прошение было подано.

димой, но совершенно противной моим желаниям и скудным денежным способам. — Иначе будущую зиму пришлось бы мне жить или на дворе или в семейном курене крестьянина. — Не имея средств ни к каким сельским и торговым занятиям по причинам, мною откровенно вам изложенным, я прошу вас прислать мне понемногу, но часто книг по моим запискам и по совету Александра, стараясь прекратить для сего другие ваши для меня расходы — как-то платье, белье и проч., в чем я на два и даже на три года обеспечен. Иначе от праздности и сильных головных болей, которым я стал подвержен, я попаду в число сумасшедших». В самом деле, болезни стали донимать Муханова с самых первых лет его поселения. Он пишет так: «Благодаря человеколюбивому распоряжению губернатора, я имел свидание с лекарем и получил от него необходимые лекарства, которыми немедленно воспользовался. Две недели прилив крови к голове и невозможность пособить довели меня до ужасного состояния. Я не мог заниматься даже самыми безделками и думал, что должен буду сойти с ума. Хотел заставить коновала поставить на затылке заволоку, но по несчастию он тоже занемог и ему нельзя было приехать ко мне. Теперь у меня хороший запас шпанских мух, и я надеюсь избавиться от этой временной боли, мешавшей мне лечиться от постоянной крепостной моей болезни, к чему вина и свежие травы могли бы много способствовать, между тем я лишился на днях 12-го зуба, так что теперь остались у меня одни парадные, а необходимых нет. Впрочем это меня не заботит. Но боль головы, что-то постороннее под черепом, беспрерывный жар, бред и бессонница — все то, что препятствует умственному существованию, — вот что для меня нетерпимо. Надеюсь как-нибудь справиться и при помощи оставленных мне средств избавиться от ветеринарных пособий. Что же касается до нравственной части моего существования, то вы, без сомнения, вполне уверены, что я принимаю все средства пересиливать действия болезни и, чем она суровее действует, тем упорее становлюсь я сам. Впрочем, мне приходилось очень худо. Не сообщайте ничего этого матушке, которую намерен я тешить разными рассказами, чтобы унять ее горесть». (1/VI — 33 г.).

В существующей литературе о декабристах мы находим упоминания о лицах, пострадавших от скорбута. Свистунов указывал на П. А. Муханова и О. В. Поджио. «Последний, пробывши 8 лет в крепости, выпущен был на поселение вовсе без зубов» [1]). Из приведенного отрывка мы видим, что у Муханова остались лишь одни передние, «п а р а д н ы е» зубы, как он их называл. Но более всего одолевали Муханова головные боли. Муханов выражает большую благодарность за разрешение вла-

---

[1]) «Русск. Арх.», 1871, 2, стр. 367.

стей на доставку ему врачем необходимых лечебных средств. Помимо этой выгоды, как он ее называет, Муханов 14 июня 1833 г. получил позволение выезжать из деревни. Это было для него тоже большим облегчением. Что же касается первой льготы, то наличностью под руками лекарств, по мнению Муханова, была спасена его жизнь. Он так описывает этот эпизод. «Два дня после от'езда лекаря застудил я голову; время было ужасное, сырой северный ветер дул резко. В 10 часов почувствовал я боль под самым черепом, которая возрастала ежеминутно и через четверть часа достигла до совершенного мучения. Самое легчайшее прикосновение к волосам заставляло меня кричать. Вспомнил смерть Керестури [2]) и заметил, что первые признаки его болезни были совершенно сходны с моими. След., это — воспаление мозга. Я решился поступить отважно. Лекарь оставил мне шпанских мух. — Я помазал и прилепил 4 пластыря величиною в ладонь, и 3 огромных синопизма. Голова моя стала холодна, как лед, и пот горошинами катился по ней. Я хотел послать за священником, но моя стряпка спит в другом доме, хотел написать вам несколько строк, но здесь я прилепил последнюю мушку; как я потерял все силы и что было со мной, я не помню — я пришел в себя только в 4 часа поутру, когда мушка и горчица были в полном действии. Я взял 5 горячих полуванн и начал оживать, другой день был худ, на третий — я был вне опасности, и вчера первый раз вышел, но по слабости должен был плыть в лодке. Если бы бог не сохранил мне присутствия духа и ума на столько времени, чтобы принять эти решительные меры, я не существовал бы более. Теперь я здоров и, кажется, здоровее, чем был прежде. Самое трудное было для меня заживить раны... ибо за 1.000 рублей нельзя здесь найти даже конопляного масла — даже в церкви не было елея. 12 суток кроме нескольких чашек чаю я в рот ничего не брал. Прошу вас быть совершенно покойными на мой счет. Я в совершенном выздоровлении и по обыкновению смотрю на прошлую опасность с удовольствием и благодарностью к всевышнему. Я уверен, что в этом сообщаемом мною известии вы найдете скорее предмет радости, чем новый случай к скорби или беспокойствам, которым вы беспрерывно предаетесь. Итак, лекарь нечаянно доставил мне средства к излечению, и что бы было, если бы мне должно было писать в уезд, из уезда к губернатору... от него в уезд, из уезда в волость. Теперь, как выражаются сибиряки, мало-мало лучше стало» (15/VI — 33 г.).

Муханов был совсем одинок в Братском Остроге. Ни близких друзей, ни вообще равных ему интеллектуально, подходящих для общения лиц не было. Он вел знакомство только

---

[2]) Керестури (1735 — 1811) — проф. анатомии и хирургии Моск. университета.

с одним крестьянином. Тем более дороги были ему связи, оставленные в Петровском заводе, который он покинул всего год тому назад. В цитированном выше письме он любовно вспоминает своих друзей-декабристов и дает очень глубокую оценку их общественного значения. Он пишет так. «Я получил письмо от княгини Марии Николаевны [1]), которое меня очень обрадовало, прошу тебя сообщить ей известие о мне; только не весьма хулите мой Братский Острог, чтобы не отбить у них охоты на волю. Она пользуется хорошим обществом, множеством книг, искусным врачем; всего этого у них не будет здесь; но не следует марать их будущности. Нравственные наслаждения сообща для меня заменят многое, но воспоминания трех четырех приятелей, с которыми, может быть, я расстался навсегда, часто наводят на меня грусть — Марию Николаевну я любил за отца ее, за нее самое, за мужа, которого оставил я без амуниции, ибо он все раздает бедным в тюремниках своих. Большая часть его небольшого жалования идет на корм в тюрьме и Сибири. Скажи ей, что я желаю Мишеньке [2]) здоровья души и ума и более счастливых дней, чем она имела их в своей жизни. Обнимаю ее мужа и прошу кланяться Басаргину, Пущину и Ивашеву [3]). Да не возревнуете вы за огромное число друзей моих, которые до сих пор были вам неизвестны. Два первых исполнены таких высоких достоинств, душевных и умственных, что их нельзя мне не любить. С ними провел я всю тюремную жизнь и, признаюсь, сожалею от души, что тайное общество вывело первого, а 14-ое число второго из гражданской деятельности. Прибавлю к ним Глебова, который торгует теперь тесемочками и серьгами на поселении, но не затушит этим пустым занятием своих деловых способностей, и вы теперь увидите, с кем единственно провел я пять лет жизни... Кланяйтесь доброму Захару [4]) — я душевно рад, что он выплыл на белый свет. После от'езда его из тюрьмы я пользовался хорошим расположением его родни. Нонушка [5]), племянница его, — такой прекрасный и умный ребенок, каких я редко видал» (15/VI — 33 г.).

---

[1]) М. Н. Волконская.

[2]) Сын Волконского, родившийся в 1832 г.

[3]) Муханов спас в свое время совместно с Басаргиным декабриста Ивашева, когда Ивашев затевал побег по совершенно безумному плану. Наиболее полная биография Ивашева дана внучкой декабриста О. К. Булановой (см. „Былое“, № 19, 1922, стр. 30 – 60). О своем знакомстве с Волконским по Киеву Муханов дал во время дознания следующее показание: «Познакомился с ним в 1824 году в сентябре перед поездкой моей на смотр, был у него раз, видел у Раевского. По возвращении в январе 1825 г. видал редко, ибо жена его была больна (Г. А., № 356, лист 7).

[4]) Чернышев.

[5]) Дочь Ник. Мих. Муравьева и Алек. Григ., урожд. граф. Чернышевой.

Судьба декабристов-сотоварищей живо затрагивает Муханова. 6-го авг. того же 33 года он писал: «Я сейчас узнал, что Пушкин соединился со своим братом [1]) и поехал в Красноярск, равно и два Беляева, которые будут жить оба в Минусинске [2]). Я душевно рад за них. Все они прекрасные молодые люди и так дружны между собою, что эта временная разлука, вероятно, их сильно печалила».

Муханов постоянно вспоминал о своих прежних друзьях по заключению. Что могло их заменить на новом месте? Как в Братском Остроге думал Муханов устроить свою личную жизнь? Дружеские и сердечные связи издавна влекли Муханова к семье Шаховских. Это те самые Шаховские, о которых в Москве шла молва, что они послужили Грибоедову прототипом для семьи Тугоуховских, изображенных в «Горе от ума». Правда, сам Грибоедов отрицал это [3]), но внешнее сходство налицо: княжен действительно был целый выводок, даже на одну более, чем Тугоуховских.

Чтобы понять письма интересующего нас периода, надо отойти несколько в прошлое Муханова. В 1826 году, когда сестра Муханова Ел. Алекс., уже после суда над декабристами, добилась свидания с братом, при чем разрешение было получено и на княжен Шаховских — Варвару Мих. и Елизавету Михайловну — Бабет и Лили, как их называла Елиз. Алекс., она записала следующее в своем дневнике: «Перед первым свиданием я немного боялась, что Пьеру будет больно видеть моих сестер, потому что я знала, как он их любит, и всегда подозревала его в чувстве более нежном, чем простая дружба». Далее мы читаем в том же дневнике: «Итак мы приехали вместе с сестрами. Мне всегда казалось, что Пьер любит Лили, но в это мгновение, когда его душа была переполнена чувством и он не мог его скрыть, я ясно увидала, что сердце его целиком принадлежит Бабет... И она, обыкновенно очень скрытная, теперь была такой, какова она и есть на самом деле, — мне стало ясно, что она любит Пьера» [4]). Варвара Мих. не осталась в Москве, она разделила участь декабристов; ее сестра, Прасковья Михайловна, была замужем за Александром Николаевичем Муравьевым [5])

---

[1]) Сопост. у Якушкина: «впоследствии перевели в Красноярск и Павла Бобрищева-Пушкина для соединения с его сум шедшим братом» (3-е изд. 1905, стр. 190).

[2]) Сопос. у Головачева: «в 1833 году Беляевы были переведены в Минусинск». («Декабристы, 86 портретов»; стр. 68).

[3]) Полн. собр. сочин. Грибоедова, изд. Акад. Наук.

[4]) „Гол. Мин.“, 1920 — 21, стр. 109.

[5]) А. М. Муравьев и принял Муханова в число членов. Последний дал след. ответ на вопросы, предлож. ему комитетом 27 января 26 года: «Не допуская посторонних свидетельств, имею честь об'явить, что сделал отрицательное показание при начальном допросе не для того, чтобы ускользнуть от строгости закона, но избегал быть обвинителем брата моего; ныне же, уверен будучи, что и он обвинен другими, показываю

Муравьев по суду над декабристами не был лишен чинов и дворянства; его лишь сослали на житье в Сибирь. Его участь разделила его жена, а к ней присоединились сестры — Варвара и Марфа. Таким образом, княжна Варвара Михайловна оказалась в Верхнеудинске. И. Д. Якушкин в своих записках сообщает, как он в 1827 г. при проезде через Верхнеудинск принял меры к тому, чтобы свидеться с А. Н. Муравьевым... «Но вместо Муравьева я нашел тут княжну Варв. Мих. Шаховскую. Она приехала как-будто для того, чтобы приискать кормилицу для сестры своей, и надеялась встретить здесь Муханова, с которым она была в родстве и очень хорошо знакома» [1]). Связавшись с Муравьевым, чтобы быть поближе к Муханову, В. М. жила последовательно в Верхнеудинске, Иркутске и Тобольске; таким образом сравнительно Петр Алек. был не слишком далеко. Но для осуществления сердечной связи было препятствие — свойство́ могло помешать браку. Об этом сокрушалась в свое время и Е. А. Шаховская. После того, как Валентину Мих. удалось при свидании с Петр. Алек. передать последнему портрет Варв. Мих., Елизавете Александровне пришли на ум тяжкие мысли. Она боится, что портрет заставит еще больше мучиться Пьера, и тот, глядя на него, будет думать: «Если бы Лиза не вышла замуж за Валентина, я мог бы быть мужем Бабет». Ее утешали лишь слова Бабет, что она не видит в Елиз. Мих. человека, ставшего на пути к ее счастью.

Суждено ли было осуществиться сердечным мечтам П. А., когда он оказался на поселении? Нужно было добиться разрешения на брак. К этому стремятся все помыслы и мечты П. Ал. В письме от 6-го августа 33 года Муханов пишет:

«Благодарю твоего мужа за обстоятельные извещения о мерах, к которым приступает Варенька, и, как скоро я узнаю, что она уже обратилась с просьбою о браке нашем к тому лицу, которое должно дать окончательное на оный позволение [2]), я немедленно буду писать губернатору о том же, несмотря на то, что представление, которое он должен будет сделать высшему начальству, дойдет позже в Петербург, но я не почитаю приличным писать прежде получения от нее извещения об отправлении ее письма. Не думаю, чтобы дело затеявшего сие воспрепятствовало положить окончательное решение на просьбу ее, ибо из писем моих к вам известно желание мое. Без сомнения, нужно будет для сего письменное из'явление согласия матушки;

---

1) был принят в члены Союза Благоденствия в Москве в 1818 или 1819 году двоюродным братом, отставным гвардии полковником Муравьевым (Александром), которому по установленному обряду и дал расписку в том, что обязуюсь по сделанному мною выбору из трех отделений (1 — человеколюбия, 2 — просвещения и 3 — правосудия) принадлежать ко второму.

[1]) Стр. 138 — 139.

[2]) См. ниже приложение: письмо кн. Шаховской Бенкендорфу.

я уверен, что вы озаботитесь, чтобы она во-время отправила оное, куда следует.

Дай бог, чтобы дело сие кончилось по радостным предчувствиям обоих наших семейств или совершением наших общих, искренних и многолетних желаний, мы все с одинаковым чувством возблагодарим бога.

К этим радостным ожиданиям примешивается много опасений насчет будущего ее местожительства. Все, что я писал вам на сей счет, вас печалило, тревожило и, может быть, несколько вредило мне. Но повторяю, все это вы должны были знать, прежде чем принять меру, на которую она решилась. Если я теряю надежду на скорое перемещение на лучшее место, то уверяю вас, что я сохранил надежду быть перемещенным со временем. После неудачной личной моей просьбы местному начальнику я имел в виду ожидать прибытия жандармских офицеров, которые посещением сего края лично убеждаются в нашем положении; человеколюбивым попечением их многие из товарищей одной со мной судьбы уже переведены в такие места Сибири, где они блаженствуют в сравнении со мной — я сохраняю эту надежду и желаю передать оную всем тем, которые опасаются за долговременное пребывание Вареньки здесь. Письмо ее от 6-го июля, подтверждающее желание ее, которое вы мне сообщили, и убеждает меня, что вполне знает, на что она решается».

В предыдущем письме Муханов писал так: «Что касается до ожиданий моих насчет исполнения единственного и многолетнего моего желания, то тут я нетерпелив и прошу вас делать все, что вы можете, для достижения цели и достигать оной скорее. Не советы и увещевания ваши меня успокаивают, но ваша ревность, деятельность благоразумия и убеждение, что в семействе нашем ни одно старое и малое существо не в состоянии произвести veto против этого. Глупое сватовство [1]) наше не есть родство — многие примеры в Петербурге, Москве и в России убеждают меня, что подобные старообрядческие препятствия ныне не существуют. — Самая ссылка, разрушающая связи между мужем и женой, неужели не разрушает с в а т о в с т в а и не благоприятствует совершению наших желаний?» (20/VII—33 г.).

В письме от 26-го августа 33 года он тоскует, почему нет давно известия от Вареньки и добавляет: «Я не просил еще через Гд. Губернатора позволения на брак наш, ибо, как вам уже известно, я решил ожидать извещения от нее об отправлении просьбы ею». Прошение о разрешении брака было отправлено Мухановым 31-го августа 33 г. В ноябре месяце он сообщает: «Варенька пишет мне исправно, и в письмах ее утешительны для меня одни ее намерения» (15/XI—33 г.).

---

[1]) Свойство́.

Надеждам Муханова и Вареньки не суждено было сбыться – разрешение на брак не было дано. В бумагах III отделения имеется официальный о т к а з на имя губернатора Лавинского от 6-го ноября 1833 года за № 5076. Муханов описывает свое состояние по поводу этого удара, вероятно, самого тяжелого среди многочисленных его невзгод, следующими мрачными строками: «Скорбь моя все так же мучительна и одна мысль, что просьба наша не была доложена государю императору, оставляет во мне последнюю надежду. Что мы будем делать, я решительно не знаю. — Отказом, мне об'явленным, — все законные пути для меня закрыты. — В письмах Вареньки убийственная скорбь. Дай бог, чтобы мысли мои несколько прояснились»... «Мне стало тяжело писать к тебе», — добавляет Муханов Елизавете Михайловне (20/II—34 г.).

Через неделю он пишет о Вареньке так: «Я давно не писал ей. Мне так же мучительно тешить ее надеждами, как и говорить ей о последствиях отказа. Но как скоро прояснятся черные мысли мои, которые меня совершенно покорили, я буду писать ей... Несчастная отрада... Но не вините меня». Муханов, всегда религиозно настроенный, тут, однако, не может примириться с церковным правилом, отнявшим у него счастье и расстроившим его жизненные планы. Он добавляет: «Покориться провидению легко, но покориться монашеским причудам тягостно — и невозможно — с противными убеждениями. Это жертва... всего будущего — слишком велика...» (1/III—34 г.).

Варенька жила в Сибири вместе с Муравьевыми; в 1834 году Александр Николаевич Муравьев покидал Тобольск и переезжал в Вятку, где он получил место председателя уголовной палаты. Вареньке пришлось вместе с Муравьевыми покинуть Сибирь. Вследствие этого, конечно, и она, и Муханов должны были почувствовать себя еще более отторгнутыми друг от друга. Муханов писал сестре: «Я получил от Вареньки письмо от 1-го февраля, в котором нет ни одного слова без скорби: сожалею, что и в самом переезде ее через Урал не будет ничего радостного собственно для нее, — несмотря на окончание самовольного и великодушного ее изгнания. — Что же касается до Александра, то, вероятно, друзья и недоброжелатели его примут с равными чувствами известие о перемещении его из Сибири в Россию. — Я, с своей стороны, напутствую его искренним желанием, чтобы он пробыл на новой станции менее времени чем на предшествовавшей» (14/III—34 г.).

15-го февраля Варенька отправила из Тобольска последнее свое письмо Муханову. П. А. замечает по этому поводу сестре: «Что во мне теперь, ты догадаешься». В конце этого письма мы находим мрачные строчки: «Прошу тебя кланяться твоим и обнять мужа дружески — я уверен, что он разучился писать. Я также разучился писать к Вареньке. С тех пор, как ве-

возвестили мне наше бедствие, мой ум в таком тумане, что я не умею сказать ей ни слова» (2/IV—34 г.).

В конце июля Муханов уже получает от Вареньки письма из Вятки. Он сызнова начинает соображать, нельзя ли как-нибудь повернуть дело в благоприятную сторону после постигшей неудачи. Он пишет сестре о письмах Вареньки так: «Они исполнены самой убийственной горести, которой я самый худой врач. Я не отвечаю ей. У меня нет сил писать с мыслями отчаянными и чувствами самой глубокой скорби. Я имею столь же мало средств к ее и собственному успокоению, как и к достижению наших желаний. Сколь ни кажется мне непристойным возобновлять просьбу мою, но я решился бы на меру сию, если бы предвидел другой ответ. Я полагал всегда, что официальное ходатайство встретит препятствие и эта мера была более внушением откровенного сердца, чем зрелой обдуманности. Мы имели в виду множество случаев, подобных нашему, которые разрешены были только словесно, без форм законности, другие были п о с л е терпимы. Но можем ли мы иметь еще сию меру в виду? — Мы сделались бы теперь ослушниками воли нам известной и ничтожное и простительное ослушание сего рода для людей, в других обстоятельствах находящихся, может быть для нас пагубно. Есть ли надежда получить словесное позволение и вместе с тем убедиться, что мы не будем преследованы? Это — мера, которую я вместе с н е ю признаю единственною, но она не в силах моих, а я не могу более считать на содействие тех, которые бы прежде вызвались бы сами содействовать нашему счастью. — Вот те мысли, которые беспрестанно теснятся в голове моей, и сообщать их Вареньке я не могу, потому что, будучи совершенно сходны с собственными ее мыслями, сообщение сие может поставить ее в необходимость возобновить с своей стороны ходатайство, которое, судя по опыту, не может нам принести никакой пользы. Если те, которые обещали вам лично переговорить о сем предмете с графом [1]), сдержут слово, тогда нечего думать ей и мне о других средствах. Дай бог, чтобы мы не потеряли сию последнюю надежду — и я повторяю вам, что получение ч а с т н о г о н е г л а с н о г о позволения есть единственное средство; других, от собственных сил наших зависящих, я не вижу. — Все они будут носить форму нарушения воли высшей, хотя ни она, ни я не имеем желания нарушить ее» (2/VIII—34 г.).

Эти соображения и мечты проходят красною нитью во всех последующих письмах Муханова. То он пишет так: «Письмо Вареньки от 28-го августа заставляет меня видеть всю ее горесть и всю опасность ее положения. Я ума не приложу, что нам делать, и не могу поверить, чтобы из сострадания, из милости, из благодеяния нельзя было бы ожидать совершения нашего ожидания» (10/X—34 г.).

---

[1]) Бенкендорфом.

В других письмах отпечатлеваются те же мечты, но в сопровождении слез, при чем все сызнова возвращаются те же мысли и соображения: «Письмо от Вареньки было от 13-го ноября, и я над каждой строчкой плачу. Решительно я ума не приложу, как помочь ей и себе, и нахожусь в состоянии, которого описать не могу. После мер, нами принятых, самовольный приезд ее сюда невозможен. Прежде мне казалось, опираясь на бывших примерах, — что возможнее получить прощение за нарушение церковного постановления, чем получить формальное позволение на сие нарушение. — Но после отказа — таковой поступок будет явным нарушением воли изъявленной и может повергнуть наш брак — разрыву. Одно средство — повторение прежних мер через человека, могущего сердцем постигнуть то, что сделает нам. — Впрочем для вас это так же ясно, как и для меня, — и я бы желал, чтобы последние искры надежд были для нас благодатнее той живой и несомненной надежды, с которой вы меня встретили из тюрьмы» (26/XII—34 г.).

Но всем надеждам Муханова было суждено разбиться. Варенька начинает постепенно отходить от него. В 35-ом году он уже жалуется, что не имеет от нее ни слова. На следующем году она ушла совсем: 24-го сентября 36-го года ее не стало — она скончалась [1]). Умерла она в Симферополе, переехав туда вместе со своим beau frére'ом. Ал. Муравьев был там председателем уголовной палаты.

Так погиб порыв Муханова, и его мечты о личном счастье распались в прах. Личная жизнь не удалась, не удавались и мелочи жизни, та повседневная ткань бытия, которая составляет серый тон нашего будничного существования.

Уже по первым письмам из Братского Острога мы видим, что Муханову с самого начала его поселения приходилось заботиться о жилье. Самое село Братский Острог — в сущности небольшая деревня, которая в 90-х годах насчитывала всего 60 дворов. Самое имя отзывало тюрьмой. Эпитет Братский получился от названия бурятов, которые в том краю так назывались. От первоначального острога 17 века остался лишь погост; сохранились также две бревенчатые двухэтажные башни. До города было более 300 верст. Местом поездок могла служить лишь река Ангара; жители занимались на ней рыбной ловлей. С постройкой собственной избы у Муханова дело шло туго. Он пишет сестре: «Матушка думает, что я достраиваю избенку свою — разуверьте ее — я не начинал еще — и не получил еще позволения строить — и не имею еще угла; как скоро получу место, буду покупать лес и возить оный, а строить до весны, и к тому времени узнаю, нужен ли для меня хорошенький домик или узкий гроб» (15/XI—33 г.).

---

[1]) См. Рос. Родосл. Книгу П. Долгорукова, 1854 г., ч. I, стр. 176.

Через три месяца Муханов сообщал: «Зима тепла, я хожу и езжу ежедневно. — Успокойте на счет сего матушку, которая почитает меня оледеневшим. Я получил позволение на постройку избы, не знаю буду ли строить: цены ужасные — на перевоз леса, потому что сена вовсе нет и кони изнурены постом» (20/II—34 г.).

И весной 34 года Муханову казалось невозможным быстро устроить собственное жилище. В марте он писал так: «Я надеюсь летом перейти в избу, которую строит моя кухарка и которую я временно сделаю удобнее, ибо необыкновенная цена на постройку собственного дома меня может расстроить в нынешний худой год. Я ограничусь заготовлением леса и будущей весной буду строить. — Неурожай, недостаток сена подняли цену на все работы — и благоразумнее приготовить способы свои, а между тем, если будет земля, стану пахать» (14/III—34 г.). В следующем письме опять жалоба на тяжелое время.

Впрочем, осенью изба уже отстраивается, и это обстоятельство, несомненно, улучшило жизнь Муханова, но с другой стороны это же обстоятельство давило, потому что таким образом человек оказывался осевшим: уже подняться, бросить налаживающееся хозяйство было трудно, и Муханов даже начинает просить, чтобы близкие и родные оставили заботы о его переводе в другое место. Он дает Шаховскому следующее поручение относительно своей матери: «Прошу тебя настаивать, чтобы она не принимала никаких просьб на счет моего перевода в другое место. Я предан себе — своей судьбе, и притом перемещение сие для меня разорительно. Я отвык желать и искать лучшего» (29/III—37 г.). В следующем письме мы читаем: «О перемещении моем в Туринск я ничего не слышу, да и не думаю. Переезд сей лишит меня собственного угла и, может быть, куска хлеба. В другой раз приобретать его мне нечем. Я желал бы, чтобы это дело кончилось ничем, и особенно желаю, чтобы с вашей стороны не было никаких ходатайств» (3/IV—37 г.). Наступает по временам тупое настроение равнодушия: «Я нисколько не думаю о неслучившемся опять перемещении в лучшее место. Я был так грустен, что потерял из виду выгоды оного. И признаюсь теперь, несколько опомнясь, вижу, что приобретение этих улучшений материальной жизни стоило бы мне весьма дорого. Все равно — там и здесь. Эти слова служат утешением во всех неудачах» (29/IV—37 г.).

Суровый климат и тяжелые снежные зимы с трудом переживались Мухановым. Так, он писал: «Здоровье мое кое-как — порядочно; я стараюсь не сидеть, но боюсь утонуть в снегу. Никто не помнит такого глубокого и рыхлого снега — и Братский Острог стал так же мерзок, как в тот несчастный день, в который я с ним познакомился. Все бело вокруг, все дико, но не величественно — какая разница с Кавказом!» (15/XI—33 г.).

Осенью 34 года Муханов писал: «Осенняя погода и ежедневные дожди не сделали меня ни ленивее, ни ветше. Я нисколько не отсырел и продолжаю жить столько же на земле, как и на воде — в течение двух месяцев не было трех дней ясных, дождь залил нас, и по сей день [1]) не только большая часть хлеба на корню, но и сенокос еще в самой середине. Такого сумасшедшего климата я нигде не видал, хотя только один угол России мне неизвестен. В середине лета мороз, а в середине осени не пахнет зимою» (26/VIII—33 г.). И действительно, в июле предыдущего года был мороз.

При нецелесообразности и невозможности использовать умственные способности, Муханову оставалось обратиться к физическому труду, и он отдался тем занятиям, которые были возможны в Братском Остроге; это — хлебопашество, рыболовство и охота. Он испробовал все, но и тут ждали его неудачи. Правда, они его подчас не останавливали, ибо праздность угнетала его, поэтому он был рад прицепиться к любому делу — всякая деятельность оказывалась для него облегчением. Безделие было для него мукой. Он писал так: «Сижу я почти всегда дома и перестал заводить часы, чтобы потерять размер своей праздной жизни, но благодаря бога для меня праздность есть страдание, а не мать всех пороков, как написано в азбуке». (20/I—35 г.) Муханов готов был отдаться сразу и рыболовству и хлебопашеству. Он писал так: «В жизни моей большая деятельность, ибо я совершенно сделался рыбаком, не схожу с воды — но по несчастью погода почти с вскрытия реки бурная. День теплый, ночи морозные, засуха — в некоторых местах опять показалась к о б ы л к а — род малой саранчи, и крестьяне унывают, служат молебны, пьют с горя; — я тоже посеял немного хлеба исполу: я — за неимением земли, крестьяне — за неимением достаточного количества семян» (20/V—34 г.).

Зимой 34 года Муханов уже покупает себе три десятины брошеной земли, намереваясь весной начать пахать. (12/XII—34 г.). В 1837 году как-будто обстоятельства стали благоприятнее. Муханов писал: «Зима во всей форме: приготовление к пашне, неводьбе и стрельбе. Нынешний год будет у меня 17 десятин посева — ибо надеюсь вступить во владение отведенной тому два года от казны земли» (3/IV—37 г.). Но уже летом этого же года Муханов писал: «Хожу смотреть на худые хлеба... все худо» (12/VII—37 г.).

В 1839 же году П. А. ждало настоящее разочарование с земледелием, и ему кажется, что целесообразнее было бы заняться каким-нибудь промыслом. «Хлебопашество без успеха и дохода, кажется, скоро кончится. Работники стали очень дороги, кругом ищут и находят золото. Хлебопашество стало втрое дороже, а хотят, чтобы хлеб продавали дешево. Советую

---

[1]) 7-ое сентября.

тебе рисковать 5 т. и попробовать столь счастливо испытанную здесь золотопромышленность» (Письмо к Шахов. от I/VI—39 г.). И в следующем письме снова: «Занятия мои весьма скучны; плохое дорогое хлебопашество, решительно не возвращающее расхода»... (16/IV—39 г.). Итак с хлебопашеством дело не клеилось.

В связи со своими повседневными занятиями и бытовыми условиями очень любопытную картину дал Муханов в письме от 15-го сентября 1836 года: «Однообразная жизнь моя и самая однообразность моих чувств делает из меня самый скучный предмет разговора. — Тоска, которой я сильно страдаю, прошла и от довольно странного образа лечения. Моя стряпка, подверженная запою и во время запоя ужасной злости, заставила меня с семейством, состоящим из коров, куриц и собак, страдать, голодать и исправлять для спасения жизни все домашние требы. Если вы склонны к смеху, вас позабавил бы образ моей жизни — часто сижу я на хлебе и воде, часто она на меня ревет, и единственный глаз ее блестит от злости. Хлебопашество мое идет посредственно — работа дорога, а цена хлебу будет от 25 до 30 коп.; следовательно никакой выгоды. До сих пор я выезжал из селения только один раз; без цели поездки глупы. И что я делаю из времени, я решительно не знаю. На часы и в календарь и глядеть совестно. Я что-то много прожил». Жизнь действительно была скудная. Ничего не было под руками и достать было трудно. Только дважды в год — в начале мая и октября — проезжали через Братский Острог разные торгаши и можно было купить кое-что; к этому времени Муханов и просит приурочить присылку денег (2/VIII—34 г.).

Но Муханов был организатором; он любил содружества. Вспомним, как он в бытность свою в Петровском заводе с Завалишиным и Пущиным организовывал артель, имевшую целью обеспечить будущность тех, кто выходил на поселение. Это так-наз. м а л а я артель [1]). Тот же интерес к общественным организациям сказывался у Муханова и в земледелии. Правда, тут ему поневоле приходилось говорить иронически: «Здесь я... в роде какого искателя лесных приключений, и, когда мне надоедает, я делаюсь рыбаком. За хлебопашество же меня не сделают членом общества сельского хозяйства, что охраняет меня от сего последнего сочленства» (28/X—37 г.). В следующем письме он сообщает: «Я здоров, ногами несколько разбит, волосы стали побелее, принадлежу к неудачным членам безымянного сельского общества, зато с наступлением весны, которая к несчастью начинается с 1-го мая, начнутся мои похождения по лесу и на водах. Тебя удивляют эти Делилевы [2]), эти монгольские, эти глупые или как угодно наслаждения. Вам все

---

[1]) „Рус. Стар.“, 1881 год., т. 32, стр. 429.

[2]) Делиль (1738 — 1813) — поэт, знаменитый переводчик «Георгик» Виргилия.

надо для ума и сердца — об этом у меня и в помине нет». (25/III—38 г.).

Рыбная ловля увлекала Муханова; вода, природа были ему любы; он чувствовал жизнь природы и отдавался ей. В письме от 26-го августа 33-го года он рассказывает о себе следующее:

«Здоровье мое хорошо, и на сей счет вы можете быть спокойны. Что я делаю — мне трудно вам сказать. — Почти ничего, и весь день проходит в том, что я ищу дела. Читаю, брожу, мечтаю. Надеюсь со всем этим, что не выучусь праздности. На-днях предпринимал я маленькое путешествие. Под предлогом закупки сена, но, чтобы не лгать, из любопытства. Мне хотелось осмотреть славные опасностью здешние пороги. Я выехал рано по утру в лодке и приехал обратно к обеду верхом. Поездка эта мне весьма понравилась, место дико, но не величественно, подобно Кавказу, пороги опасны, но самого главного, на котором и мы просидели два часа, можно было бы избавиться небольшим обводным каналом. От этого тридцативерстного перегона почти зависит все сибирское судоходство. Прогулка эта была приятна, но я забыл взять сетку и возвратился весь в крови. Дней пять должен был я сидеть дома. Вы не можете постигнуть, какое бедствие мошки, особенно жителям, занимающимся хлебопашеством. Все они носят двойную одежду и, несмотря на это и деготь, которым они помадятся, часто бегут с полей. Вот вам мои похождения».

Или вот еще описание Мухановым своего самочувствия на лоне природы. В письме от 8-го июня 37-го года к Шаховскому он извиняется за то, что мало пишет, хотя Шаховской прислал ему целых четыре письма.

«Мне вздумалось выехать прокатиться, и две недели я путешествовал по всем изгибам реки. Это не позволило мне писать к тебе. Но мои выезды так редки, что не надеюсь скоро в другой раз быть неисправным. Я провел это время на воде и в дремучем лесу, с неводом и с винтовкой, в каком то мрачном диком удовольствии и совершенном утомлении; не по силам, но... для поддержания сил и развлечения своей грусти».

Так коротал свои дни Муханов в дремучем краю Сибири, на водах, в лодке кочуя по реке и блуждая по угрюмым берегам, подобно Ермаку в стихотворении Рылеева, посвященном Муханову:

В стране суровой и угрюмой
На диком бреге Иртыша...

Муханов любил бродить по лесу, любил охоту. Он так писал сестре в Москву: «Не могу послать тебе лебяжьего пуха— лебеди летят высоко и кроме соли мне нечем их ловить. Ружье, посланное Саблуковым [1]) в марте, ко мне не дошло. Если оно было послано обыкновенным путем, то оно и не дойдет. Я просил переслать через канцелярию его и. в., имеющую авторитет, иначе и дядя, и я будем без ружья. Вы должны знать, что оно попадает под запретительные пункты» (10/IX—36 г.). Ружье

[1]) Ник. Алек. Саблуков (1776—1848), автор мемуаров о царствовании Павла—дядя Муханова.

долго не получалось. Он пишет об этом и в октябре. Но в феврале он уже сообщает: «весною стану стрелять — получил ружье».

Муханов был самым образованным человеком во всем округе; в связи с этим всякие нововведения и проекты новых орудий и приспособлений им неизменно культивировались. Мы помним его заботы касательно лошадиной мукомольни еще по первому его письму. В 1837 году он просит прислать ему рисунки и маленькую модель с описанием веялки (3/IV—37 г.). Муханов даже оказался quasi-архитектором. 12-го июля 37-го года Муханов писал Шаховскому: «Теперь просьба — ты вместе с братом исполни поскорее: крестьяне хотят строить церковь. Для оной нужны фасад и план. Нельзя ли доставить от хорошего архитектора на условиях при сем прилагаемых? Профили сделайте подробнее для нас, глупых, кажется, мне доведется разбирать их».

Большую отраду доставляли Муханову получаемые им письма. На корреспонденцию он тратил много времени. По его собственному признанию, лучшими минутами его жизни в Сибири были те, когда он держал в руках письма любимых и близких людей. Он писал: «И лучшее мое занятие, полное сердечной жизни,—прочесть две строки, писанные рукой родных». Его не забывали; с особенною любовью и вниманием всегда относилась к нему сестра. От нее получал он и деньги и посылки. Он любил читать, любил следить за литературой. Что присылала ему сестра и какими книгами интересовался он сам? В письмах мы находим отзвуки этих интересов. 20-го февр. 34-го года он сообщал: «Я получил печать, часы, календарь и роман Бальзака. Благодарю тебя. По несчастью часы стоят, как судьба моя, на одной точке. Буду стараться переслать их в Иркутск. Роман расшевелил на мгновение мое воображение, но я лучше желал бы, чтобы ты употребила деньги на книгу, которую можно было бы изучать. Постарайтесь прислать мне часть свода законов, в которой уголовные законы, и русский словарь Reiff». В письме от 14-го марта 34-го г. мы читаем: «Благодарю тебя за Revue Etrangère, но лучше бы сделала, если бы вместо этого дамского журнала прислала мне Revue Brittanique или Bentham, ибо извлечение из записок французских старух и их сплетни меня не занимают. Все это стоит дорого, а читается скоро— пришли мне 4-ый том Полевого [1]), который давно вышел, и сверх этого какую-нибудь получше политическую экономию на русском языке для руководства в терминологии» [2]). В приписке мы находим следующие слова: «Ожидаю

---

[1]) Полевой. История народа русского.

[2]) Идеи полит. экономии имели в свое время несомненное влияние на развитие взглядов Муханова, на его миросозерцание и убеждения. Так, во время процесса, когда ему был предложен известный вопрос о вольномыслии, Муханов отвечал так: «В приобретении свободного обра-

журнала Смирдина [1]) и морского романа, и попросите Арк. Ал., чтобы переслал мне «Ученые Записки Московского университета», которые он вероятно получает». Аркадий Александрович Альфонский — профессор, а затем ректор Московского университета, был женат на сестре Муханової — Екатерине. Среда, таким образом, была все весьма культурная. Обратим внимание на то, что сам Муханов, его брат Павел и Е. А. Шаховская были в дружбе с знаменитым Погодиным. В следующем письме М. выражает свою благодарность сестре: «Я благодаря твоим заботам получаю весьма исправно Библиотеку для чтения и Revue Etrangère». Далее мы читаем: «Я получаю, благодаря канцелярии губернаторской, весьма исправно журналы, доставляемые вами, из которых Смирдина читаю с удовольствием; от Revue Etrangère прошу меня на будущий год избавить, ибо записки M. de Crequis, которыми единственно они наполнены, мне тоскливы. Нельзя ли что-нибудь поголоволомнее?» (20/V —34 г.). 2-го августа он просит: «Пришлите мне Les devoirs de l'homme par Pelico, auteur de Mes prisons». Вполне понятно, что Муханов интересовался этим автором. Пелико Сильвио, друг Джоберти, этот талантливый итальянский писатель, за борьбу против австрийского правительства был арестован и попал в Венецианскую тюрьму. Затем он был отправлен в carcere duro в Шпильберг около Брюнна. Там он сидел одно время в одиночном заключении. Помилованный затем и высланный в Турин, он опубликовал свои мемуары Le mie prigioni (Мои тюрьмы) — книгу, которая в 36-ом году уже была переведена на русский язык. «Обязанности человека» были написаны в 1834 году; в том же году Муханов в далекой Сибири уже выражает интерес к этой новой книге Пелико.

Сходство в судьбе возбуждало острый интерес у Муханова— он искал у Пелико выражения своих собственных дум и переживаний. 7-го января 35-го года он пишет: «Я получил книгу Pelico и пробежал ее с жадностью. Ко всем достоинствам присоединяется однообразие нашей судьбы, и вы можете представить, как мне и книга и автор по душе. Я только не испытал чувств, с которыми в'езжают в родину». Зато у Муханова был свой собственный запас других чувств и переживаний, которые превышали испытания Пелико: в это время как-раз Муханов был в трагическом одиночестве в связи со своей неудачей в личной жизни. Он пишет: «Я не имел писем от Вареньки и жду их всегда с таким сердечным страхом, что для меня нет страдания выше его. Дела наши худы, очень худы.

зования в той малой степени, которую я имею, не могу винить ни лица ни книги. Оно ограничивалось весьма естественным понятием о возможности улучшения, для которого мне никогда не входили на мысль никакие средства предрассудительные (предосудительные) (читал l'Economie Politique de Storch)». Г. А. № 356, лист 62 и сл.

[1]) Смирдин издавал «Библиотеку для чтения».

Дай бог, чтобы она сохранилась. Этих чувств не испытал Pellico в Шпильберге, а мучительнее их нет в мире ничего». (7/I—35 г.). В другом письме мы находим следующие данные об интересах Муханова в области книжной и об его литературных вкусах. Он пишет: «Читаю журналы, вами присылаемые—кроме Пчелы, которая так глупа, что я называю воровством деньги, сбираемые Булгариным. Надеюсь, что вы не будете содействовать его обогащению на будущий год» (12/XII—34 г.). Повести Бестужева и Масальского Муханов читает только оттого, что другого читать нечего (26/XII—34 г.).

Сестра присылала Петру Алекс-чу помимо книг и другие вещи. Так, получил Муханов портреты Шаховских. Об этих портретах мы находим в письме Муханова от 20-го января 35-го года следующие забавные строки: «Я уже уведомлял тебя о получении портретов, они украшают мою избу. Часто случалось, что приходящие ко мне почитали их за иконы и крестились. Твой чепчик играл роль венца, а алый жабо твоего мужа—омофора. Вас почитают за Кирика и Улиту — двух модных здешних святых».

Нежное внимание сестры и других было единственной отрадой Муханова. Его помнили и относились со вниманием. Даже брат Павел в первые годы писал Петру Алекс-чу и отправлял посылки. Это Муханов очень ценил и противопоставлял себе судьбу других декабристов, к которым родня относилась подчас довольно небрежно... «В дружбе, связующей нас всех, даже умерших, есть что-то схожее на дружбу отцов, и прошу тебя благодарить снова наших за то, что они любят и не забывают того, кто исключен из списка живых. По крайней мере многие из прежних моих товарищей тюремных суть только предметы поминовений при кутье и по воспоминанию. Вообрази себе нежность семейства Спиридова, которым я надоел тебе, когда был в тюрьме. Братья заставляют писать ему своих управителей вместо себя и содержат его на постной пище. А Анненкова занимается пристанодержательством французов и передает имение сына не детям его, а M. Méyron. Если бы она знала, как бедно живет он, может быть, вместо румянца румян, зарумянилась бы она стыдом. Неужто ее никто не презирает!» [1]). (21/X—33 г.).

В семье Мухановых и Шаховских была особая душевная теплота. Сам П. Ал. был причастен такому гуманному и отзывчивому умонастроению. Заботы его иногда очень трогательны и говорят о высоком культурном уровне его эмоциональной жизни. 20-го февраля 34-го года он пишет: «Постарайтесь, любезные

---

[1]) В записках жены декабриста Анненковой мы читаем об Анне Ивановне Анненковой, матери декабриста, следующее: «имение (симбирское) было продано и другие также—и она ничего не сделала ни для сына, ни для меня, его жены» (стр. 100).

друзья, помочь и исправить бывшего слугу моего Николая, о котором дошли до меня жалкие известия. У меня он был 10 лет хорош — это доказывает, что есть надежда на его исправление. Я вижу примеры, что люди из отчаяния делаются худыми. Я взял худого работника ссыльного и стараюсь сделать из него хорошего. Теперь я нанимаю самую худую пашню и стараюсь сделать из нее хорошую. В этом я чувствую истинное наслаждение».

С 1837-го года наступает перелом в письмах Муханова. 23-го окт. 1836 г. разыгралась новая для Петра Александр-ча трагедия: скончалась его сестра и самый близкий друг — Елизавета Алекс., всего 33-х лет от роду. Смерть была совсем внезапной. Три последних письма к ней Муханова — от 1-го сентября, 15-го сентября и 13-го октября — пришли в Москву, когда сестры уже не было в живых; письма сохранились с пометками Валентина Михайловича о получении. Письма обычно шли два, два с слишним месяца. О смерти сестры Муханов узнал накануне нового 1837-го года. В последних письмах к сестре мы находим строки, из которых видно, что Муханов никак не мог ждать чего-либо подобного. Так, в первых письмах к ней он благодарит Вален-на Мих-ча за приписку, шутя называя себя первым членом его богадельни и опекунства. «Впрочем,— добавляет Муханов, — право этого надзора передал он тебе и я сверх братских чувств люблю оказывать тебе все почтение моей опекунши». А в конце письма мы находим следующие строки: «Я бы прибавил еще одно: желаю тебе закопать меня в церковной ограде вашей хотя бы на сотом году от моего рождения». 13-го окт. Муханов писал: «Я в большом отдалении от вас, но не почитаю себя отдаленным, брежу о вас, о тебе всегда радостно». И вот можно себе представить, в какой ужас повергла Муханова эта новая трагическая весть. Елиз. Ал. была в ожидании рождения сына, и Муханов с нетерпением ждал известия об этом. Сын родился 22-го сентября, а в октябре мать скончалась. Муханов реагировал на это известие письмом, которое я привожу целиком:

Его Сият. М. Г.
кн. В. М. Шаховскому
в Москве в Шереметьевской больнице.

1-го января 1837 г.

«Вчера получил два письма ваши от 18-го ноября, любезный друг; они исполнены той горести, которой страдает мое сердце, и горестью для обоих нас неизлечимой. До сих пор мысль о потере твоей для меня не понята: до такой степени я верил в одно ваше счастье. И она была так весела, молода и счастлива, что трудно было бы выдумать такое бедствие. Благодарю тебя и Лили за вашу любовь и попечение. В течение 11-летней трепки у меня не бывало таких черных дней и таких черных мыслей. Пишите почаще, хотя нет ничего убийственнее ваших писем. Но теперь никто не любит тебя более меня и не имеет права на излечение твоей печали. Старайся сохранить свое здоровье для семейства твоего. Надеюсь

на обещание Лили. Я в жизни потерял все, но еще не чувствую свою потерю и весь предан тебе, мой любезный друг, зная всю тяжесть этого удара. С тех пор не имею писем ни от матушки, ни от сестры Катерины. Одна стара, другая хила, и при мысли о смерти не могу не страшиться о них. Немного осталось в новом году дорогих сердцу моему: один, два и только. Эти дальние похороны ужасны.

Обнимаю тебя и Лили с благодарностью за вашу дружбу и надеюсь, что вы сдержите насчет переписки ваше слово. Здоровье мое не завидно, а грусть моя решительно сильна. Не могу не сообщить вам благодарности, которой обязан г. генерал-губернатору за человеколюбие, с которым сообщены были ваши (письма) ко мне. Вы присовокупите тихое (?) чувство. Прощайте, любезные друзья.

Ваш друг и брат Петр Муханов».

Этот удар — смерть любимой сестры — Муханов изживал на чужбине очень длительно. Настроение у него было мучительное, и он весь был подавлен одною думою. Все мысли приводили его к этой утрате. В одном письме он прямо восклицает: «Научите меня не думать ни назад, ни вперед». Вся дальнейшая переписка характеризуется этим основным чувством...

Прошло два года. Шаховской взял на себя обязанности покойной жены и поддерживал свою связь с Мухановым. Муханов видел в нем почти единственную для себя опору. Но жизнь шла вперед для всех, кроме заброшенного в глушь декабриста. Шаховской задумал новый брак. Его второй женой стала Софья Гавриловна Рэймонд-Моден [1]). В связи с этим, по-видимому, Шаховской и занял место директора коммерческого банка и переехал в Петербург. Конечно, Муханову тяжело было пережить это и по своему прежнему любовному отношению к семье Шаховских, и в связи со своею привязанностью к памяти сестры. Но он любил Валентина. Рядом с этим он не мог не бояться, что он еще более окажется отдаленным для Шаховского, когда тот с молодой своей новой женой отдастся столичной жизни Петербурга. Да и невольно претила ему эта мысль о шумной светской жизни по контрасту с его прозябанием в далекой Сибири. Эта сложная психологическая ситуация становится более наглядной, если взять целиком одно из писем Муханова, написанное в связи с данными обстоятельствами.

16 апреля 1839 года.

«С большим удовольствием получил письмо твое от 18 января, любезный друг; это—первое из Петербурга. Я писал тебе два раза. Это очень редко для меня; но и этих двух писем ты не получил. Вероятно, они не были приняты швейцаром твоего палаццо, куда адресовал я их. Благодарю, что ты не забыл меня в Европе среди самого приятного путешествия. Как писать тебе туда из Сибири и мешать твоим чувствам, стоящим на меже прошлого несчастья и наступающего благополучия? Не думай, чтобы я из родственной ревности, из досады отравил твои намерения. Ты молод, способен к счастью; ты и дети твои совершенно оправдывают эти намерения. Дай бог тебе старого или похожего на

[1]) 1805—1884 г.

старое счастье. Всего, что человек с сердцем и рассудком ожидает найти в браке. Одно не извиняю я, зачем переменять жизнь семейную на шумную, блестящую, которой ты вовсе не сроден и которая вовсе не соответственна твоему характеру. Служба твоя в Москве была по твоим чувствам и довольно выгодна. Но это ваше дело, и ты довольно силен в исчислениях, чтобы не терять из виду окончательное различие выгод прежних с наступающими. В моем смиренном быте я не могу оказывать предпочтение пышному и веселому существованию столицы. Благодарю тебя за доставленные деньги... Не знаю, понравится ли тебе мое предложение, но намерен сообщить его тебе. Избытков, годичных остатков в твоей кассе не будет. Род твоей жизни переменился. Не будет ли тебе в тягость продолжение этого срочного исправного вспомоществования? Дети и сестры требуют более, чем прежде; прошу тебя, сообразив все это, умерить твою щедрость ко мне. Не думай нисколько отяготить... меня этим. Соображая мои ограниченные потребности с твоими вынужденно роскошными, по праву дружбы сознаюсь тебе, что мне гораздо легче обойтись без твоих денег, чем тебе присылать их. Настолько, может быть, увеличится условное благосостояние твоих бытий и настолько, может быть, уменьшится дефицит твоей приходо-расходной книги. Один человек, лишенный всех нравственных наслаждений, что значит лишиться того, что уже сверх первых потребностей? Благодаря бога я привык к суровой жизни, я вышел из нужды тюремной и не знаю нужд роскошной жизни. Здоровье мое, конечно, с летами и после тринадцатилетнего тяжелого перехода ослабло, но не имею надобности в дорогой починке, да не вижу и причин желать столетия. Занятия мои весьма скучны: плохое дорогое хлебопашество, решительно не возвращающее расходы; читаю одни письма ваши. Зима препятствует даже телесным занятиям, зато летом я утомляюсь. Довольно трудно забыть в этом глухом существовании прошлое, трудно и отшибить крылья у мечты. Возможно ли ничего не помнить и ничего не желать? Но это письмо слишком длинно для новобрачного. Кн. Лизавете М. мой дружеский поклон. Она теперь отдыхает после своих пожертвований; благодарю ее за письма. Обнимаю тебя. Будь счастлив и здоров.

Твой друг П. Муханов».

Мы едва ли были бы правыми, если бы предположили, что в этом письме сказалась замкнутая гордость Муханова или недоброжелательство его по отношению к новому счастью родственника. Но писать это письмо Муханову, несомненно, было трудно, да и пережить всю создавшуюся ситуацию не легко. Он не мог не чувствовать, как поток жизни для других несся вперед, иногда завлекая этих счастливцев своей мишурой, а он, отброшенный в сторону, скорбный и одинокий, как бы застыл в одном чувстве. Трудно ему было приладить это свое чувство к новым обстоятельствам жизни. Но Шаховской был его другом, и Муханов держался за него не просто, как за одну из последних связей с прошлым, с миром: он ему был ценен по существу. Рядом с этим скорбная нотка по поводу новой жизни Шаховского не могла не прозвучать у Муханова...

Из дальнейшей переписки Муханова и Шаховского видно, что отношения их не поколебались. Шаховской до конца жизни оставался неизменно доброжелательным другом Петра Ал-ча. На-ряду с этим возобновилась прежняя привязанность к Елизав. Михайл., имя которой все чаще появляется на страницах его

писем. Мы помним, как в свое время Е. А. сомневалась даже, кого больше любит ее брат — Лили или Бабет. Лили после бедствий, перенесенных Мухановым, осталась для него прежним другом и своими письмами утешала закинутого в глушь спутника юности.

Последние годы пребывания Муханова в Братском Остроге — 1839, 1840 и 41 годы — были очень тяжелыми и в отношении климатическом, и в связи с расстроенным здоровьем Петра Александровича. 16-го октября 39 г. М. пишет: «На худых ногах и пешеходство для меня великое предприятие. Все мои подвиги стрельбы, рыбная ловля, все, что требует силы, мало по малу прекращаются. Все это делаю я через силу из методы, чтобы не изленииться. Хлебопашество мое идет худо, убыточно. Что более сказать тебе о себе? Это самая мудреная статья... Мерзну во всем полном смысле слова». Климат, действительно, давал себя чувствовать. Особенно тяжкая была зима 1839—40 года. Мух. писал: «Рождество у нас ужасно холодное; в целом доме не осталось ни одного стекла, которое бы не лопнуло. Хоть я и привык к холоду, но не могу хвалить его. Жизнь моя все та же, с утра не знаешь, что делать. Сожалею, что не умею писать поэмы — славное занятие для людей, которым делать нечего. В 15 лет можно бы много бумаги извести. Ссылка с прекрасной женою и библиотекой в 5.000 томов, это другое дело» (21/XII—40 г.). Что оставалось Муханову делать в своем уединении? Созерцать огромный лес, «косматый снегом», как он выражается (19/XII—40 г.) Летом тоже погода бывала неблагоприятная. Мы читаем в письме М. от 10 июля: «Опять шатаюсь по полям от безделия... Хозяйство мое плохо — работники дороги и пьяницы, хлеб худ, мороз был 8-го и 9-го июля. Вообще, что брось, то клии, как говорят по-русски». О летнем времяпровождении он пишет так: «Что будет летом? Искать в поле, на реке, как убить 1840 год» (10/IV 40 г.). В начале этого 40-го года М. писал: «Я начинаю девятый год своей довольно несносной жизни, которую с помощью бога дотянул до этой поры с большим терпеннем. Не знаю, что я делал в этот долгий срок. Страшно подумать, как можно человеку, любящему дело, ничего не делать восемь лет. Стал стар, сед и начинаю дряхлеть, ноги ходят худо, глаза стали видеть плоше. Право, пора бы к сестре в гости» (28/I—40 г.).

Муханов мучается подчас сомненнем, особенно, если ему приходилось долго не получать писем. Он сам пишет: «Моя мнительность часто впушает мне мысль, что я становлюсь вам в отягощение» (19/XII—40 г.). При нездоровье и постоянных немощах невольно приходила мысль о необходимости лечиться. М. пишет об этом так: «Ноги стали отказываться от службы — нужно бы полечиться, хотел просить позволения с'ездить на Забайкальские минеральные воды; но в глушь Братской волости

никто не ездит кроме разных...[1]), так зовут здешних земских чиновников, люди особого рода, — и поэтому просить не через кого. Хозяйственные дела идут плохо, хлеб худой, едва ли достанет на два, на три обеда. Занятия те же, перечитываю с зевотою Карамзина и остальное старье. Все это только для поддержания себя в звании грамотного» (29/XI—40 г.).

Муханову не удалось из Братского Острога выбраться на минеральные воды; для этого нужно было быть ближе к городу, ближе к Иркутску. Об этом хлопотала мать Муханова. Сохранилось письмо ее, адресованное Шаховскому. Письмо не датировано, но его легко отнести к этому времени. Написано письмо весьма безграмотно, так что с трудом поддается транскрипции.

Мы имеем по этому же вопросу письмо Муханова от 31-го дек. 41 года. М. пишет: «Обещали перевести поближе к Иркутску и к добрым людям. Рад буду этому, но как я умерен в своих желаниях, то буду рад, если позволят, хотя временно, отлучиться из моего острога. Рад бы заняться какой-нибудь промышленностью или частною должностью, найти кусок заработанного хлеба и избавиться от этой невольной праздности. Хлебопашество идет плохо, еще убыточнее оттого, что продаю хлеб через людей, которые меня обманывают, не платят денег, а жалобы и тяжбы я ненавижу». В письме от 3 марта 42 года мы читаем: «Я... собираюсь на новое место. Одиннадцатый год пошел моему пребыванию здесь. Трудно тому, кто не родился здесь, прожить терпеливо, одиноко, со всеми прелестями ссылки и мороза так долго. Я ставлю в милость божию, что я выезжаю с тем состоянием здоровья, в котором нахожусь, и выезжаю в Усть-Куду, а не в Бедлам. Здесь есть старик со старухой, детьми и полной избой внучек. По этим поколениям ты можешь рассчитать, сколько ему лет. Он с юга и, когда приходит весна, с ним делается такая тоска по родине, что он уходит в поле, лежит на земле и плачет, как ребенок. Эта сцена прекрасна была бы в Параше Сибирячке. Под'ем мой отсюда медлен. Мне дали время для уничтожения моего хозяйства, и, кажется, я уеду с пустыми карманами — что было куплено за деньги, должно бросить». Наконец, 27 марта М. уже пишет: «Возвещаю тебе мой от'езд из Братского Острога в Усть-Куду, который имеет последовать через два дня. Я убираюсь отсюда и довольно рад этому. Мне никогда не жаль старого места. Это одно доброе качество поселений и переселений. Жил и уехал без воспоминаний, однако с убытком. Старое жилище стоило денег, там опять нужно жилище и деньги. Теперь конец хлебопашеству. Оно меня часто оставляло без хлеба. Не знаю, чем буду заниматься».

---

[1]) Вырвано.

Главное преимущество селения Усть-Кудинского заключалось в том, что оно находилось всего в 24 верстах от Иркутска. Кроме того, и в Усть-Куде, и поблизости в районе Иркутска уже жили на поселении многие декабристы; таким образом, у Муханова могло установиться общение с близкими по духу людьми. Под Иркутском был целый поселок декабристов: в Малой Разводной жили Юшневские, Борисовы, Якубович. В Урике находились Волконские, Ник. и Ал. Муравьевы, Н. А. Панов, Вольф. В семи — восьми верстах от Урика жили братья Поджио в той самой Усть-Куде, куда и попал Муханов. Глухая деревушка эта лежала несколько в стороне от Ангарского тракта, при впадении реки Куды в Ангару. Деревенька, по рассказу Белоголового, была небольшая, вытянувшаяся в одну улицу из полусотни домов [1]).

В своем письме от 27 апреля 1842 года Муханов сообщает о своем приезде в Усть-Куду. «Мне здесь веселее, но я надеюсь, что эта приятная мысль не заставит тебя залениться... Я был встречен здесь дружбою, и только здесь я мог увериться, что я жив, голова моя цела, что я не погиб в Братском Остроге, где уже надеялся праздновать юбилей своего несносного существования. Перемещение это более награда, чем милость. Но, отрезжая из Братского Острога, первый долг был благодарность богу. Прожил более 10 лет — люблю прошедшее. Здесь живу с товарищей, они приняли меня весьма гостеприимно. Избы своей нет и, кажется, еще не скоро заведу — не по деньгам, дороже Москвы. Доволен пока одной комнаткой, только, говорят, холодна к зиме».

26 мая он пишет более подробно о своем новом местопребывании:

«Я нахожусь с апреля в Усть-Куде. Деревня маленькая-бедная, но здесь должно быть несколько теплее и гораздо приятнее, чем в Братском Остроге. Здесь живут два брата Поджио, и в 8-ми верстах Волконский и Муравьев, — поэтому я могу провести время довольно приятно. Я так привык к уединению; тюрьмы и Братский Острог выучили меня, что еще часто люблю видеть один, что еще редко бываю в нашем большом свете. Со стороны финансовой перемещение это меня совершенно расстроило, доходы мои слишком ограничены для того, чтобы я мог в одном месте бросить домик свой, а в другом строить. Ты удивишься, если узнаешь, что строение здесь очень похоже на малороссийское: худая изба мазапая, двор плетневый, несмотря на то, что куда глаз ни окинет, — все лес, но лес никуда не годный. Строение здесь дороже московского. Теперь я не имею никакой собственности. Братья Поджио дали мне комнатку, где и живу до тех пор, пока буду в состоянии выстроить себе избу».

---

[1]) Белоголовый. «Воспоминания». М. 1897; стр. 29—30, 31, 50, 51 прв. у Басаргина, стр. 141.

Муханов не мог не чувствовать, насколько должно было улучшиться его моральное и психологическое состояние в связи с тем, что он из одиночества попадал в круг друзей и прежних приятелей. 21 ноября 1841 года он пишет:

«Я много потерял переводом сюда, но я имею удовольствие быть в соседстве с моими товарищами».

Друзья оказывали не только поддержку моральную, часто их помощь и внешне была очень существенной, хотя и в этом случае сердечные отношения были прежде всего дороги. 7 января 1843 г. Муханов писал:

«Провалявшись с 1-го января в постели, я сегодня только вступил обратно в мир божий. Кругом меня была помощь, друзья, все что-то родительское, к которому я не привык: силой поили меня теплою водою, не давали есть и обвязывали в сто шалей».

Плохое здоровье и некоторая замкнутость в связи с прежним образом жизни мешали подчас Муханову пользоваться обществом друзей; видался он с немногими, но ценил эту связь. 24 января 43 года он писал: «Здоровье мое порядочно, зима теплая, жизнь сидячая, ленивая, пустая, бесполезная; езжу только за 8 верст к Волконским, к которым имею дружбу. Но благодарю бога... все это могло бы и может быть хуже».

Кроме Волконских и живших в одной деревне Поджио, Муханов поддерживал связь с Артамоном Муравьевым, о котором он дает следующие сведения: «Я часто имею... обо всем семействе твоем косвенные известия через товарища моего, Артамона Муравьева. Бедный Артамон был при смерти болен, он упал с дрожек и сломал два ребра. На этих днях болезнь его уменьшилась, и есть надежда к выздоровлению. Впрочем, мы все стали очень ветхи, у нас все ломается и рвется» (23/X—46 г.). Это сообщение об Артамоне Муравьеве невольно сопоставляется со следующими словами о нем Белоголового: «И замечательно, его необычайная тучность не делала его ни апатичным, ни неподвижным, хотя при его хлопотливости причиняла ему немало бед: так, на моей памяти, он при падении из экипажа сломал себе ногу, а в другой раз руку» [1]).

В другом письме Муханова мы опять читаем о Муравьеве: «Артамон Муравьев иногда сообщает мне известия о ваших сельских увеселениях. Некоторые известия были совершенно новы для меня» (26/XI—45 г.). В одном письме того же года имеются следующие строки: «С пасхи самой со мной происходили все бедствия: сначала сделалось воспаление мышцы в ноге, там сильный прилив крови в голову, от которого я едва ожил; а теперь разбила меня лошадь, и я с огромным фонарем на глазу сижу дома и вижу еще менее, чем прежде. Надеюсь, однако, не быть кривым. Присоедини к этому беспокойства

---

[1]) Белоголовый, стр. 16.

о состоянии матушки, и поэтому вывод моих бедствий будет довольно значителен. Товарищи мои явились ко мне на помощь и для получения последнего целования. (20/V — 46 г.).

Среди наиболее близких товарищей, конечно, следует иметь, прежде всего, в виду братьев Поджио; с ними М. видался постоянно. Обратим внимание хотя бы на совместные охоты, описанные Белоголовым; тут обычными участниками бывали Поджио и Муханов. С Алекс. Викторовичем Поджио Муханов проделал в свое время весь нелегкий путь из Европейской России в Сибирь. С ними тогда был и И. И. Пущин. Теперь он жил сравнительно далеко, в Ялуторовске, но и с Пущиным удалось свидеться Муханову. В 1849 г. Пущин ездил на минеральные воды, и вот Муханов рассказывает: «Очень был обрадован приездом И. И. Пущина, тоже больного и весьма дряхлого, приехавшего лечиться на Забайкальские минеральные воды, — но они оказались ему вредными, и теперь он лечится от вод. Ты помнишь его; он принадлежит к приятнейшему времени нашей жизни. Но каждый из нас порознь — значительный суб'ект для врача, а в сложности — чудные суб'екты для клиники» (4 окт.)[1]). В письме от 25 июля 1848 г. Муханов отметил проводы декабриста Сутгофа: «Сегодня провожают товарищи мои Сутгофа, товарища нашего, всемилостивейше назначенного на Кавказ в солдаты»[2]). Муханову хотелось увеличить группу друзей, с которыми он мог бы общаться. Так, в 1842 г. он зовет декабриста Горбачевского «в Урик или куда-нибудь поближе»[3]).

Помимо этих удовольствий встреч дружбы и общества с переводом под Иркутск Муханов получил возможность и другого развлечения — перемены места и обстановки; в 1842 году ему разрешена была поездка для лечения на минеральные воды. Мы имеем следующее его письмо к Шаховскому:

17 июля 1842 г. Икугун.

«Письмо с новым тавром может доказать тебе, что я в движении, движение может доказывать свободу, и поэтому, чтобы дать тебе ясное понятие о себе, спешу уведомить, любезный друг и брат, что настоящее значение Икугун[4]) есть река,

---

[1]) Это недатированное письмо с несомненностью относится к 1849 г. Основания: 1) Прошение Пущина к Горчакову о разрешении ехать на воды за Байкал 1849 года (см. Пущин. Записки о Пушкине и письма, 1925, стр. 217). 2) Упоминаемая в письме поездка генер.-губ. в Камчатку —ездил Муравьев в 1849 г. 3) Пребывание Шаховского в кругу родных, о чем говорится в письме,—Ш. ездил в Москву в 1849 г.

[2]) Срв. у Головачева: «в 1848 г. он был переведен рядовым Кубанского полка на Кавказ». (стр. 231).

[3]) См. «Голос Минув»., 1923, 2, стр. 156.

[4]) Собст. Икэ-Угун — река Иркутск. губ., один из двух значительных притоков Иркута, течет по дикому и живописному ущелью (Семенов, «Геогр.-статист. словарь Российск. импер.», II, 318).

падающая в виде водопада в ущелье Саянских гор, где очутился я для купанья в теплой воде. Я приехал сюда с дозволения г. губернатора и живу более двух недель, пользуясь ваннами. Воды очень слабы, большой пользы еще менее, совершенного излечения не ожидаю, но боль в ногах несколько унялась. Место величественно своею дикостью, стены гранитные. Если бы Икутун был возле вашей столицы, то вероятно все ваши богини и модные люди проводили бы лето на берегу его, и кисти, карандаши — все было бы в деле. Превосходно хорошо. Ты видишь, что в отплату за твои берега Рейна судьба привела меня видеть величественные красоты Монгольского или Саянского хребта. К несчастью, ноги мои совершенно не способны предпринимать странствия на вершины, где мог бы я остаться зимовать за болезнью, но я очень мало чувствую вожделений на красоты Сибири, которая стала лучше Америки для искателей золота, вернее агрономий и свекловичных заводов для доходов, но нестерпима для человеколюбца и для души, предпочитающей свободу изгнанию. Писем твоих давно не читал, это большое лишение; надеюсь, возвратясь в Усть-Куду, найти несколько грамоток от тебя. Возвратно, вместо дороги гористой, поплыву Байкалом, что очень представляет много выгод для избежания тряски по горам и удовольствия. Обнимаю тебя, будь здоров и прошу тебя сто раз кланяться и тысячу сказать приветствий сестре твоей Лизавете Михайловне.

Твой брат *П. Муханов*».

9 августа того же года Муханов писал следующее о своей поездке: «Здоровье мое весьма мало поправилось от вод, не довольно горячих и не довольно серных для меня. Но боль несколько уменьшилась и я очень благодарен... двум губернаторам, давшим мне средства ехать за 200 верст лечиться после 17-летнего страдания от ревматизма. И вообрази себе — какое доверие, воды эти у самой границы Монголии».

После окончательного переезда из Братского Острога в Усть-Куду приходилось вновь заботиться о своем жилье. Не мог же Муханов навсегда остаться в избе Поджио. Осенью 42 года П. А. пишет:

«Начинаю после претерпенного разорения строить себе избу в Усть-Куде. Средства худы; и сердце не лежит к домозаведению. Но необходимость этого требует. Кто знает нашу жизнь — крышу и печь для старости» (30/VIII—42 г.).

В другом письме М. иронизирует сам над собой: «Я теперь, как сорока, сбираю прут на прут, чтобы сделать себе жилье». 4 декабря 42 года М. описывает свое положение так: «О себе могу сказать, что живу приятнее, чем в прежнем месте, несмотря на все хлопоты, расходы домостроительства. Не стоит того, чтобы иметь владение в Сибири, но это необходимо — и,

к сожалению, разорительно два раза разориться человеку, имеющему едва средства к существованию» (4/XII—42 г.). В письме от 24 января 43 года мы читаем: «Я продолжаю существовать на прежнем основании; только перемещение мое сюда совершенно расстроило ход моих финансов; они вышли все из обыкновенной траты, к которой я привык, живя 10 лет на одном месте... Надеюсь скоро устроить с огородом свое жилище и опять жить скромно без долгов».

Постройка избы требовала много средств; у Муханова не было никаких лишних денег; его и без того стесняло, что ему приходится жить на средства Шаховского. Между тем Муханов мог претендовать на известные средства, имевшиеся у брата Павла, однако же Павел словно вовсе забыл думать о П. А., и никакой помощи от него не получалось. В начале ссылки Павел еще писал в Сибирь (срв., напр., письма от 21/X—33 г. и 14/III—34 г.), но уже в 40 году Петр замечает о нем так: «Брат слишком занят древностями, простудами жены и свекловичным сахаром, чтобы писать ко мне более одного раза в два года» (15/III—40 г.). А на другой год П. А. уже спрашивает Шаховского: «Не видал ли ты в ложе оперы или на водах минеральных брата с милой женою, требующей лечения... Я уже два года нахожусь в разрыве всех сношений с ним» (4/X—41 г.). 17 октября 42 г. Петру Алекс. пришлось писать так: «Брат мой весьма мало заботится об обеспечении меня на будущее время. Я сожалею, что ты не поговорил о мне дяде Саблукову. 17 лет собирался я писать о делах моих ему и брату, но молчал, ибо находил средства существовать присылаемым тобою пенсионом, сколь ни совестно мне тогда было получать его от тебя — это значительная убавка от расходов детей твоих, которых требования увеличиваются. Что будет впредь — не знаю, но честно было бы подумать о существовании человека, который сам себе ничего сделать не может. Тебе я много, больше всех обязан». Муханов писал и резче: «Мой брат мне... не пишет. Я почти остаюсь отдельным лицом и ценю по справедливости сердце и чувства человеческие. Не худо было бы ему подумать о моем существовании. Я постигаю, что законы могли лишить меня своего имения, но не думаю, чтобы права чести и совести могли бы заставить меня сомневаться в средствах...[1]) питания». (21/XI—42 г.). Наконец, П. А. обращается к Шаховскому прямо с поручением: «Если можешь вести негоциации с Павлом через дядю Саблукова, то сделай попытку. Если я выиграл много через переезд сюда, то это мне дорого стало — денег нет, разорение от переезда, разорение от нового переселения и неприятное чувство писать битирифты прямые и косвенные Павлу, когда я никогда не вел с ним никаких счетов. И теперь никогда бы не сделал этого, если бы был менее твердо засожен

[1]) Вырвано.

в место, где живу, которое почти то же, что фортрессия, окруженная вместо вала зеленою дубровою, к тому же еще сосновою. Все выгодные занятия и промышленности, которые могли бы заставить меня хладнокровно смотреть на денежные угнетения Павла, при неподвижности моей почти невозможны. Жизнь созерцательная, жизнь, которой позавидуют все знаменитые ленивцы, вот моя жизнь, но жизнь, требующая пропитания... Это положение почти общее нас всех» (26/XII—42 г.).

Шаховской исполнил поручение П. Алекс-ча. В письме П. А-а от 11 июля 43 года мы читаем: «Благодарю за сведения о намерениях брата, надеюсь, что они будут иметь исполнение, и тогда я буду более, чем обеспечен. Мне кажется, что в его арифметике есть небольшие ошибки, даже за исключением пересланных через него Николаем Ильичем [1]) денег сумма не сходится, но я очень обязан ему, что он дал средства завести себе дом после претерпенного мною разорения и от перемещения моего. Бог даст все устроится; не желаю дорого и долго дорого стоить ему — от чего, кажется, состояние моего здоровья его избавит.»

Мог ли, в самом деле, Муханов сам пропитать себя в Усть-Куде? Этому был целый ряд официальных препятствий. Власти, можно сказать, обрекали ссыльных на полнейшее бездействие. У декабристов не оказывалось никакой свободы, никаких гарантий того, чтобы они, приступив к какой-либо деятельности, могли рассчитывать довести дело до конца. С этой точки зрения даже хозяйством заниматься было как-будто рискованно. 17 окт. 1842 г. М. писал: «Занятия прибыльного никакого нет и быть не может при положении на существование наше; почти ни шагу из деревни, никакой свободы к производству промышленности. А, несмотря на это, я плачу государственные подати». 25 марта 43 г. М. сообщал: «Я писал тебе, что я уже два года тому назад помещен в платеж государственных податей — ожидаю, что это помещение даст мне те права, которыми законно пользуются люди податного сословия. Тогда я мог бы иметь возможность заниматься промышленностью, свойственной со здешней местностью. Но результатов еще нет». Однако, этим ожиданиям Муханова не суждено было сбыться. Наоборот, положение вдруг, сразу ухудшилось, и поселенцы в Усть-Куде лишились возможности пользоваться теми небольшими правами, которые были допущены ранее. Басаргин охарактеризовал положение вещей так в своих записках: «Жившие в Сибири не имели права отлучаться от места своего жительства далее 30-ти верст, не позволялось им вступать ни в какие частные должности, ни в какие общественные сделки, ни в какие промышленные или торговые предприятия».

---

[1]) Вероятно, Н. И. Муханов, дядя декабриста, умерш. в 1841 г.

Мы знаем, что исключения из этого правила бывали, но здесь важно отметить следующее положение вещей, которое зафиксировано Басаргиным: «Во всех своих действиях относительно нас правительство в продолжение нашего долговременного пребывания в Сибири руководствовалось одним произволом, без всяких положительных правил. Мы не знали сами, что в праве были делать и чего не могли. Иногда самый пустой поступок влек за собою неприятные розыски и меры правительства» [1]).

Так случилось и с нашими поселенцами. 25 июля 43 г. Муханов писал следующее: «С некоторого времени я еще более привязан к своей келье, ибо по новому, очень свежему распоряжению предоставлено нам право не отлучаться ни на полшага от места водворения. Сколь ни весело заниматься размышлением о событиях жизни сей и созерцанием природы из окошка, но это право очень невыгодно для житейских дел каждого человека». В следующем письме мы читаем такие строки: «Следуя новым постановлениям, я живу без выезда дома и никого не вижу, даже ближайших соседей, если они вне забора моего селения. При отмежевании этой тесной границы все занятия, свойственные сельскому быту, все промыслы, законно дозволенные поселенцам, стали для нас невозможны. Приобресть пару сапог есть вещь презатруднительная. Для спокойствия наших друзей и родственников, вероятно, приятно будет знать, что эта довольно непокойная для нас мера не была вынуждена нами собственно, и по крайней мере я и мои соседи не могут славиться нарушениями маленьких прав, прежде всего нам предоставленных. Но, что делать!» (12/X—43 г.). Далее, 10 ноября 43 г. Муханов писал так: «Никогда поселенная жизнь не была стесненнее нашей и, не желая подавать повода к придепкам, мы почти все сидим дома. Зимою это неприятно скучно, но делать нечего».

Как без всякой осязательной причины появлялись запреты и без всяких поводов ухудшались условия существования, так же внезапно наступало улучшение. Причины снятия запретов для поселенцев тоже оставались непонятными. Оставалось лишь констатировать факт и пользоваться им. 26 ноября 45 г. Муханов писал: «С некоторого времени я свободно езжу за 17 верст, чтобы видеть своих товарищей». При такой неопределенности распоряжений, при этих постоянных колебаниях то в одну, то в другую сторону являлось невольное стремление как-нибудь зафиксировать, как-нибудь отгородить свои права, чтобы, имея даже самый скромный и ограниченный диапазон деятельности, чувствовать все же под собой твердую почву. Но даже самые скромные желания тут не удовлетворялись. Муханов писал 7 февр. 1845 г.: «Увлеченный примерами, что некоторых из моих товарищей произвели в штатские и военные

---

[1]) Басаргин, стр. 139—140.

чины, я просил сходно с законами о ссыльных — о зачислении меня только в число государственных крестьян, но на сию просьбу милости не последовало». Это было для Муханова чувствительной неприятностью. Еще в 1842 г. он писал: «Рад был бы возвышению себя в чин крестьянина, ни в какой более, кроме этого скромного звания. Оно дало бы возможность освободиться от обременительных для вас вспоможений денежных» (27/IV—42 г.). Таким образом хотел Муханов упрочить свое хозяйство. При неблагоприятно сложившихся обстоятельствах хозяйство Муханова в Усть-Куде стало еще скромнее, чем ранее — хлебопашеством он перестал заниматься.

1 августа 42 г. он писал: «Что тебе говорить о моих занятиях? Их еще менее, чем в Братском Остроге, где мечтал я попасть еще в общество агрономов. Теперь поклонился я этой самолюбивой мечте. Не пашу, не сею, и вы меня, как птицу божию или как семейного инвалида, кормите — не имею ни дома, ни малейшей собственности, и живу и сплю не на дожде. Это очень утешительно, когда совесть моя молчит, когда не гляжу я в счеты, не вижу суммы похищенных мною денег у детей твоих и сестры моей и у бедной матушки, которая на старости лет оставлена в стесненном положении».

Все хозяйство свелось у Муханова к огородничеству. В одном недатированном письме к Шаховскому мы читаем:

«Здоровье мое довольно хорошо — я провел лето в трудах бабьих, т. е. садил и поливал свой огород. Занятие весьма глупое, но урочный труд этот полезен».

В другом письме — 3 сентября 46 г. — мы читаем: «Я не потерял способностей деятельности, но стараюсь только приводить ее в исполнение в ограде моего владения. Нынешний год был очень дождлив, поэтому большая часть моей деятельности была в сидении и в проливании слез над погибающими арбузами и мелонами».

Однако, никак нельзя было бы сказать, чтобы у Муханова не было инициативы, не было порыва к деятельности. Ему иногда приходили на ум весьма рациональные планы. Интересно в этом отношении его сообщения о золотопромышленности, которые мы находим в его письмах к Шаховскому. Муханову определенно хотелось втянуть своего родственника в это дело, как мы это видели еще по письмам из Братского Острога. 20 февраля 46 г. М. писал: «Ты так напуган спекуляциями, что при знании математики уже боишься и золотой промышленности, которой сильные успехи обогатили многих и успехи ее ты видишь из газет. Я желал бы и даже советую взойти в часть к Аркадию Алексеевичу [1]) и начать что-нибудь. Не думаю, чтобы ты раскаялся».

---

[1]) Повидимому А. А. Альфонский, муж Екатерины Ал. Мухановой профес.-хирург.

В письме от 20 мая того же года мы находим следующие строки: «Ты весьма ошибся, отказавшись или устрашившись участвовать в золотой промышленности. Многие из жителей и жителей значительнейших и сиятельнейших вашей столицы различными путями, частными и непохвальными, ищут клочка земли сибирской, чтобы копать ее. Промышленность эта при знании дела и употреблении честных людей очень выгодна. И ты напрасно отказался от оной, имея кому оставить наследство».

Но у самого Муханова уже были подрезаны крылья. Не удалась его личная жизнь, не удавались его материальные планы и предположения, рухнули и общественные связи. Близких людей оставалось немного. И вот, весь свой интерес и свою любовь Муханов переносит заочно на детей Шаховского; это — последний остаток и, вместе с тем, живой отпрыск прежней жизни; в этом подрастающем поколении Муханов ищет духовного наследия сестры, в нем он лелеет память о ней. Это красной нитью проходит в переписке. Муханов лично не знал своих племянников. Только дочь Шаховского он видел мельком в колыбели до своего ареста (из письма от 19 мая 48 г.), но она скончалась в 1848 году. Мальчиков же — Александра и Михаила—он никогда не видал, однако чувствовал и к ним живейшую привязанность. В 1842 г. семейство Шаховского увеличилось: в этом году от второй жены у него родился сын Гавриил[1]). Муханов реагировал на это следующими строками: «Поздравляю тебя с сыном. Желаю ему всего доброго. Но мне не желательно было бы, чтобы он перещеголял моих племянников, о которых Лили пишет мне большие похвалы» (26/VI — 42 г.). В следующем письме П. А. писал так: «Боюсь я за детей твоих, которые, право, еще слишком молоды, чтобы путешествовать так часто и так скоро, и налегке. Извини это пристрастие к детям моей бедной, неограниченно любимой мною Лизы. Я бы желал увидеть одного из них, чтобы покрыть его лаской в память ее, но я нарушаю приличие и закон, себе поставленный, говоря о ней и о них». (1/VIII—42 г.). В 1843 г. 24 января Муханов пишет: «Я имел постороннее известие о твоих детях, которые, говорят, восхитительно милы. Я с своей стороны, хотя видел только одну дочь твою и ту в колыбели, но люблю всех трех. Чувства мои к покойной сестре моей направлены также на ее детей». Мы читаем далее в письме Муханова от 10 июня 44 г.: «Ты мне сделаешь большое удовольствие известиями о твоем сыне».

По отношению к любимым племянникам Муханов высказывает свои педагогические соображения. Он сам стал педагогом: в 1847 г., например, он занимался арифметикой с три-

---

[1]) См. Ermerin. «Annuaire de la noblesse de Russie», 1889, première année, p. 68.

надцатилетним Н. А. Белоголовым[1]). Муханов в своих письмах вспоминает прежние приемы воспитания и пытается их сопоставить с условиями современности. Во всем этом чувствуется большая заботливость по отношению к мальчикам Шаховского. Мы читаем: «Дети твои растут и попечение твое возрастает. Надеюсь, что по чувствам отеческим ты избираешь лучшее для них: в наше время казенное воспитание было очень плохо — манежи были лучше университетов и поэтому большая часть молодежи нашего времени в шестнадцать лет поступала в манеж[2]). Но теперь, если верить слухам, воспитательные заведения наравне с европейскими, и ты, будучи в Петербурге, мог бы поместить в лучшие из них хоть одного своего сына» (8/XII—44 г.). Муханов из своего далека следит за вкусами племянников и предостерегает отца относительно некоторых юношеских увлечений и пристрастий. Он так пишет 8 августа 49 года: «Я был очень обрадован, узнав намерения твои отправить детей в Москву, и получил известие, что матушка не могла довольно на них наглядеться и ими налюбоваться. Сожалею только, что один из них непременно хочет попасть в моряки. На это нужно глядеть, как на детскую фантазию, и стараться рассеять во-время. В будущность его ты должен сам его направить, и плавание по Финскому заливу ничего не представляет ни блестящего, ни полезного. Славные способности мальчика еще лучше разовьются хорошим учением и не полезнее ли будет приготовить его к генеральному штабу»...

Опасения Муханова были напрасны. Михаил Валентинович Шаховской моряком не сделался; сначала офицер Кавалергардского полка, затем генерал-майор, он был впоследствии начальником штаба и губернатором[3]).

Интерес и любовь Муханова к племянникам, помимо указания на горячую привязанность к покойной сестре, свидетельствуют также о том, что на собственную свою жизнь М. уже не возлагал никаких особых надежд. Да и здоровье его становилось все хуже и хуже, и к прежним болезням присоединились новые недуги. Муханов начинает страдать от глаз. В письме от 10 ноября 43 года он пишет: «О себе не могу сказать ничего хорошего; здоровье плохое, глаза становятся слабы, и, может быть, еще ждет впереди несчастье потерять зрение. Это заставляет меня читать меньше. Следовательно

---

[1]) Белоголовый. «Воспоминания», 1897 г., стр. 53.

[2]) Во время дознания Муханов дал следующие показания о своем воспитании: «Воспитывался сначала дома у родителей, наставники были иностранец Lardillion, словесных наук профессора духовной академии Орловский и Сперанский (что ныне архимандриты Феоктист и Гермоген). После чего обучался в Московском университете российскому красноречию, истории и статистике — принят по экзамену в учебное заведение для колонновожатых, где учился военным наукам, математике, геодезии, физике и астрономии».

[3]) Сиверс, стр. 145.

бавляет одно удовольствие моей жизни». В следующем письме опять жалоба: «начинаю плохо видеть» (27/XI—43 г.). В 48 году Муханов прямо пишет: «Здоровье мое решительно расстроено... И так, что его устроить трудно, особенно при условиях моего существования. К сожалению, мелкие заботы жизни тягостной мешают мне доживать благоразумно. — Притом я становлюсь почти слеп» (8/III — 48 г.). По письму от 18 августа того же года дело обстоит совсем плохо: «Здоровье мое тоже плохо, и я живу постоянно месяц целый в Иркутске и лечении. Успех еще плохой, едва могу двигать руками и пальцами. Все это при образе моей жизни и способах очень неприятно и отяготительно. Болезнь и дряхлость, . . . , — это самое худшее положение, которого ожидать было можно, но воля божья» (18/VIII — 48 г.).

Кроме того Муханов болел водянкой. В одном недатированном письме[1]) мы читаем: «Я провел самым неприятным образом лето. Болезнь моя очень опасна (водяная). Но не знаю, на долго ли я опять справился и из рук врача возвратился в деревню. Величайшее бедствие — болезнь и дряхлость в ссылке, где и в нормальном положении существование очень тягостно». Ослабление зрения мешало Муханову читать. К книгам у Муханова нет прежнего интереса: он в письмах последнего периода, уже не запрашивает о новинках, не просит прислать ту или иную интересующую его книгу, как в прежних письмах. Религиозность пускает в нем все большие и большие корни. Единственное, о присылке чего М. хлопочет в своих письмах последнего периода это о картине Брюни «моление о чаше» — знаменитом в ту пору произведении религиозной живописи. В письме от 10 августа 42 г. М. просит Шаховского: «Если финансы твои позволяют, пришли мне на новоселье литографию «моление о чаше Брюни», продается у Прево. Это будет украшение моей кельи». В письме 4 декабря 42 г. мы читаем: «Благодарю за обещание прислать картину». Наконец, в письме от 12 октября 43 г. Муханов сообщает: «Кажется я благодарил тебя за литографию с Брюни. Жаль, что от дурной укладки сделалось в дороге повреждение, которое, однако, я надеюсь исправить».

Умонастроение у Муханова, разумеется, тяжкое. Особенно мрачны были для него 1847—48 годы. Тут и болезни и грустные утраты. В смысле утрат наиболее тяжелый год был 1848. В этом году скончался от холеры дядюшка Муханова Н. А. Саблуков; умерла также молодая племянница Муханова — дочь сестры. Скончалась и сестра Шаховского княжна Екатерина Михайловна. Мы приводим в дальнейшем 2 письма Муханова для характеристики его умонастроения. Второе письмо вызвано посещением Шаховским родного угла Муханова, близкого ему по впечатлениям детских лет.

---

[1]) Которое, повидимому, следует отнести к 1848 г., судя по фразе: «холера добралась только до Тобольска».

Из письма от 8 марта 1848 г.

«В 23 года моей ссылки семейство наше опустошено смертью, и вот еще четыре почты, каждое письмо приносит смертное известие. Чувства мои остались на той же степени, как в день моего от'езда в тюрьму — с живыми я не имел времени проститься... Прощаюсь и с умирающими с конца Востока, но с чувством живой горести. Многие из живых и из умерших скоро и давно меня забыли, но я понимаю это различие: сердце в уединении любит одно прошлое, одно старое; вся жизнь его осталась там. Для них — я отпет на площади и похоронен в Сибири... Для меня — сердце мое только ими живет. Но эти печальные известия вводят меня в сантиментальные из'яснения».

[9 марта 49 г.

«Письма твои из разных мест я получил, любезный друг и брат Отвечаю собирательно. То тоска, то боль какая-нибудь, все что-нибудь мешало писать к тебе. Во всех случаях я надеялся на милость твою и прощение. Благодарю тебя за твои дружеские приветствия и новости деревенские — семейные. Я очень давно не знал ничего о сестрах твоих — не знал, что вы разрознились, и к этому, верно, большие причины или, лучше сказать, одна всегдашняя причина — недостаток денежных средств жить в столице. Я уверен, что ты был принят радушно и провожаем горестно. Это по сие время любимое наше место... Я бы сходил пешком на поклонение каждому кусту и не знаю, не умер бы я в первый день с радости или от множества самых живых воспоминаний. Извини, что я позавидовал твоему последнему путешествию и несколько недоволен был, что ты так коротко писал мне оттуда; я продолжаю существовать в Усть-Куде, т. е. в своей каморке и более, чем когда-нибудь, живу дома, вольно и невольно. Страшная боль в голове мучает меня более 6 недель. Притом ничто вне этой каморки не занимает. — Жизнь прошла.

Благодарю за приятные известия о твоих детях. Эти славные ребята тебя утешают, желаю, чтобы они хорошо учились. Надеюсь, что меньшего ты тоже поместишь в хорошее учебное заведение, чтобы вышел дельный и полезный человек. Очень благодарю сестру твою за письмо — раз в год, и то хорошо, в особенности потому, что ничего не изменилось в наших чувствах. Обнимаю тебя.

Твой брат *И. Муханов.*

Письма Муханова за последние годы написаны очень неразборчиво; иногда их трудно расшифровать. Часто не проставлены даты, и в письмах почти ничего не упоминается из внешних событий, так что историческая эпоха в них мало отражается. Только два события оставили след в переписке. Это холера, которая распространилась по России в 48 году и дошла до Сибири. М. пишет: «Холера добралась только до Тобольска, и любители жизни уверены, что ей трудно будет сделать огромное путешествие на края России. Справедливо будет, если бедные жители Сибири будут избавлены хоть от этой беды». Другое упоминание исторического события того времени в письмах Муханова облеклось в очень забавную форму, особенно для наших дней. Речь идет о революции 1848 г. Шаховской был в этом году за границей. И вот, Муханов ему пишет 25 июля: «По моим расчетам письмо это найдет тебя в отечестве — разве ты сделался коммунистом — избави бог от этой нелепости».

Письмами 49 г. кончается переписка. В 1850 г., 12 июня, Шаховской скончался. Корреспондент умер. Муханов пережил и его.

Какое же общее впечатление по данным материалам оставляет личность Муханова за 40-ые годы? Наиболее определяющими доселе были воспоминания Белоголового, где описывается и наружность П. А-ча. В этих строках говорится, что М. был несколько суров в обращении, благодаря чему не устанавливалось близости с ним. Эта фраза цитируется всеми биографами нашего декабриста [1]). Письма Муханова к Шаховскому вносят новые черты. По ним, конечно, вполне можно себе представить, что внешне Муханов мог казаться нелюдимым и даже угрюмым. Но внутри у него билось нежное, доброе сердце. Есть даже какое-то трогательное обаяние в том печальном фоне, на котором замирала эта одинокая жизнь. В недавно вышедшем сборнике о декабристах [2]) напечатано донесение Куракина от 18 ноября 27 г. с характеристикой Муханова. Краски здесь очень сгущены. По наружности П. А. выходит чудовищем, по поведению — фанфароном. Но нужно помнить, кто такое Куракин; это — чиновник-карьерист, ревизор. Он и о других декабристах отзывается отрицательно и с презрением, думая, что, напр., безумие государственному преступнику заботиться о своей наружности. Если принять слова Куракина за чистую монету, то фраза Белоголового как-будто еще более усиливается. Но лучше дополнить характеристику Белоголового другими его воспоминаниями, на которые биографы Муханова почему-то не обращают внимания. Я имею в виду описание нежных забот Муханова о полупомешанном ссыльном Гаевском, который находил постоянный приют у Муханова. Тут сказалась гуманная черта М. — его внимание к обездоленным. По словам Белоголового, Гаевский прямо благоговел перед Мухановым. Следует отметить здесь и еще одно воспоминание, в котором дается характеристика Муханова интересующего нас периода. Эта книга то же почему-то игнорируется некоторыми биографами. Именно, Б. В. Струве в своих воспоминаниях о Сибири 1848—54 г.г. пишет: «Петр Алексеевич Муханов и А-р В. Поджио просвещенным своим умом, приветливостью обращения и выработанностью взглядов на условия сибирской жизни более всех пленяли нас своими беседами» [3]).

Дальнейшие годы жизни М. почти совсем покрыты мраком неизвестности. Мы знаем лишь о попытке матери Муханова, пережившей, в конце-концов, сына, исхлопотать у императора разрешение на возвращение его на родину. Николай оказался

---

[1]) См., напр., у Цявловского («Гол. Мин». 1920—21, стр. 102), у Головачева («Декабристы, 86 портретов», стр. 168) и др.

[2]) «Декабристы» — изд. Политкотарж., под редакц. Модзалевского и Оксмана 1925, стр. 125—126.

[3]) Стр. 26.

злопамятным, но согласие дал. Однако, Муханов не смог воспользоваться этим разрешением — он вскоре умер (17 февраля 1854 года в Иркутске). Но в конце жизни Муханова должна была произойти перемена. П. А., по воспоминаниям Бологолового, должен был вступить в брак с директриссой Иркутского института М. А. Дороховой. Была ли это любовь или новая привязанность, пока можно лишь гадательно предполагать, имея в виду наличный материал, дающий понятие о характере Муханова и об его отношении к жизни.

Тюрьма и ссылка загубили этого талантливого человека. Сибирь оказалась для него могилой. Сам Муханов дал хорошую характеристику этого края с точки зрения ссыльно-поселенца. Он писал Шаховскому в одном из последних своих писем к нему (22/XI—49 г.): «Ты, верно, не знаешь понятия здешних богословов-геогностов о падении ангела. Вот оно. Бог творил мир, в седьмой день устал — и послал ангела докончить мироздание. Ангел сделал Сибирь. Бог взглянул и сверг ангела. Не правда ли, тут есть правдоподобие»?

Недавно найдена в Иркутске могила Муханова, заваленная раньше хворостом и дровами. Находится могила в ограде Знаменского женского монастыря[1]).

Приложение.

Письмо кн. В. Шаховской Бенкендорфу.

Милостивый Государь.

Вы не знаете меня, я не удостоена этой чести, но вызвать благодеяние — лучшая рекомендация для благородной души; пользуясь этим правом, я осмеливаюсь обратиться к вашему снятельству: я уверена, что, тронутый тяжкой участью несчастной, вы соблаговолите ходатайствовать о последней радости, оставшейся у этой обездоленной на земле.

Я с детства связана сердечным влечением с одним несчастным,— стечение тяжелых обстоятельств раз'единяло нас в продолжение всей нашей жизни. Вовлеченный в мрачные события 26 года, Муханов был осужден на 8 лет каторжных работ; так как я не была соединена с ним узами, которые позволили бы мне следовать за ним, я обещала ему, что, когда он будет ссыльно-поселенцем, я сделаю все, чтобы соединиться с ним, — и с этого мгновения в продолжение семи тяжких лет эта мысль не переставала быть единственным желанием моего сердца. Я уехала с сестрой, разделяя с ней ее добровольное изгнание и постоянно опасаясь повредить ее участи; единственно, что я позволяла себе, это те сношения с моим несчастным другом, которые были разрешены его величеством благодаря его бесконечной доброте, — он соблаговолил разрешить их тем, кто был заинтересован в участи арестованных, но лишенная отрады его (Муханова) писем — утешения, которое могли мне доставить

---

[1]) «Правда», № 97 (3028).

его чувства — я все-таки питала непреодолимое желание осуществить обещание, которое вспыхнуло в моем сердце под влиянием самой жгучей страсти.

Помилование — этот бесценный дар, коего благость навсегда запечатлелась в наших благодарных сердцах — приближало к нам столь желанное мгновение. Муханов оказался на поселении до указанного срока — с тех пор я только и думаю о том, как попасть к нему. Лишенная возможности прибегнуть к чьим-либо советам, я вижу, что я должна на одну себя взять попечение о нашей судьбе, и вот я осмеливаюсь искать облегчение своей скорби, искать надежды на лучшую участь пред вашим снятельством, пред благородным благодетелем, который всегда милостиво протягивает руку помощи. Удостойте, милостивый государь, о, удостойте своего сочувственного взгляда на жизнь, наполненную горестями, на жизнь, протекающую в непрерывных несчастьях, для которой только в это мгновение мелькает несколько лучей утешения. Я не осмеливаюсь повергнуть свои мольбы к подножию трона, я чувствую, что просить за Муханова было бы слишком злоупотреблять великодушием, и вот к вам, милостивый государь, я осмеливаюсь обратиться со своей скромной просьбой, к вам — вы мне представляетесь ангелом-утешителем всех скорбей. О, не отвергайте этой мольбы, внушенной желанием, которое сердце ваше не могло бы осудить. Муханов страдает, его мать, сочувствующая нашему браку, доставляет мне эти сведения, — я знаю, что болезнь и страдания подтачивают его жизнь, что, когда сердце друга доведено до самого плачевного состояния, только ласковые заботы могут его поддержать и успокоить.

Благоволите принести к священным стопам нашего августейшего государя мою самую смиренную, самую горячую мольбу, благоволите замолвить обо мне слово и добыть единственное благо, к которому мое сердце и совесть невольно стремятся в этой жизни. Сосланная в дебри Сибири, лишенная всех услад жизни, но связанная с тем, кого избрало мое сердце, на ком почиет драгоценное благословение моей дорогой матери, последнее, увы! что я получила здесь на земле от нее, — наконец я вижу, что желание стольких лет осуществляется; вместе мы будем возносить наши горячие молитвы за благодеяние, за славу, за долголетие счастливой жизни нашего великодушного императора, того, кого милосердное небо ниспослало к нам в качестве отца, чтобы он научил нас благоговеть, как перед образом его всемогущества, перед его безмерной добротой на этой земле: он, как и всевышний человеколюбец, может одним словом повергнуть душу в радость или отчаяние. Постоянная преданность, самая полная покорность будут руководить малейшим движением нашего сердца и станут единственными двигателями нашего существования. Мы также будем молиться и за вас, ваше снятельство,— вы своей беспримерной добротой могли бы соизволить нам помочь — молитва благодарности всегда бывает услышана тем, кто освещает милосердие — это будет лишним цветком того бессмертного венца, который ваши добродетели вам уготовляют на небе.

Благоволите принять выражение всех чувств нашего полного уважения, с каковым имею честь, уважаемый граф, быть самой покорной и преданной слугой вашего снятельства.

Кн. Варварой Шаховской [1].

12 июля 1833 г., Тобольск.

---

[1]) На документе пометка: «30 ноября 1833. Доложено государю. Приказано оставить». Извлечено из Архива III отделения, дело 1826 г. № 61, Часть 73. Письмо Шаховской приводится в переводе с французского языка.

В. Базилевич.

Письма декабриста П. В. Аврамова из Сибири.

(Из архива Юшневских).

Среди бумаг архива Юшневских, изучение которого было начато проф. Киевского университета П. В. Голубовским, издавшим в 1908 году ряд писем из Сибири декабриста А. П. Юшневского и его жены [1]), находится несколько писем декабриста П. В. Аврамова и его родственников.

Особый интерес представляют письма самого декабриста из ссылки. Они имеют даты:

1) 13 марта 1833 г. из Читы;
2) 15 ноября 1833 г. из крепости Акша, на китайской границе;
3) 1 февраля 1835 года;
4) 6 декабря 1835 года;
5) 10 марта 1836 года;
6) 1 октября 1836 года.

Письма №№ 3 — 6, как и № 2, посланы из Акши. Все они написаны на почтовой бумаге большого формата. На одном из них, а именно на № 1, сохранились следы красной сургучной печати «III отделения», через которое шла вся переписка декабристов.

Эти письма дают несколько штрихов к характеристике декабриста Аврамова в ссылке.

Павел Васильевич Аврамов родился в 1791 году. Ко времени восстания декабристов состоял в чине полковника командиром Казанского пехотного полка, входившего в состав 2-й армии, расположенной в Подолии и Бессарабии. Он принимал участие в Союзе Благоденствия. После его реорганизации и слухов о закрытии Союза, Аврамов первый заявил, что «ежели все члены оставят союз, то он будет считать его сохраненным в себе одном». Во время дальнейшей работы общества П. В. заявлял во время обсуждения вопроса о цареубийстве, что желает конституции, а не цареубийства [2]).

Аврамов был близок со многими декабристами, в частности с «директорами» Южного Общества—Пестелем и Юшневским. Сохранились сведения, что в день своего ареста Пестель посылал своего любимца, унтер-офицера Филатова, с письмом к Аврамову в м. Прилуки [3]).

Близость Аврамова к Пестелю дала повод некоторым членам тайного общества полагать, что благодаря ему правительство узнало все подробности о заговоре. Это подозрение отпало, когда выяснилось предательство другого близкого Пестелю человека — капитана Майбороды [4]).

Согласно заключению следственной комиссии, полковник Аврамов «знал об умысле на цареубийство и участвовал в умысле бунта распространением общества и принятием одного члена». Верховный суд отнес его к IV разряду и приговорил к ссылке в каторжную работу на 15 лет, а затем на поселение. Срок каторжных работ был уменьшен до 12 лет, а затем, в конце 1832 года, сокращен еще более, так что в начале 1833 г. Аврамов был переведен на поселение в Читу. — «Сегодня в исходе девятого проводили мы нашего доброго Аврамова, доброго Вегелина и Шимкова»,—писала из Петровского завода 25 января 1833 г. М. К. Юшневская [5]).

К этому времени, к поселению сначала в Чите, а затем в крепости Акша, и относятся известные нам письма. Все они адресованы Семену Петровичу Юшневскому, брату декабриста, помещику Ольгопольского уезда, Подольской губ. В архиве Юшневских сохранилось письмо, подготовленное нами к печати, позволяющее точно установить начало этого знакомства, а также судить о тех дружеских отношениях, которые существовали между Аврамовым и декабристом А. П. Юшневским. Последний писал из Тульчина 13 июня 1820 года своему брату Семену в Москву: «Я имею весьма верный случай писать к тебе и доставить приятнейшее знакомство с вручителем сего г-м подполковником Павлом Васильевичем Аврамовым, коротким моим приятелем и человеком, каких мало по честности и благородству образа мыслей; я просил его познакомиться с тобою; знакомство с такими людьми на целый век тебе пригодится». Эти дружеские отношения между декабристами усилились в годы совместной ссылки: в письмах А. П. Юшневского и его жены из Сибири не раз теплым словом вспоминается П. В. Аврамов.

Ближайшим поводом к переписке в 1833 году было стремление П. В. Аврамова наладить свои личные дела, в частности урегулировать получение им процентов с капитала в 20.000 руб. ассигнациями, данных им А. П. Юшневскому, обязательства которого принял на себя после 14 декабря 1825 г. Семен Петрович.

До перевода на поселение переписку об этих деньгах вел отец П. В. — Василий Михайлович и его братья — Михаил и Василий [6]). Принимала в ней участие и М. Н. Волконская, деловое письмо которой от 6 февраля 1831 г. к отцу Аврамова сохранилось в архиве Юшневских.

С переводом на поселение, Павел Васильевич получил возможность писать лично, и в марте 1833 г. он отправил С. П. Юшневскому следующее письмо, приводимое полностью:

«13 марта 1833 года. Чита.

Милостивый Государь, Семен Петрович!

При дарованной мне свободе, я считаю величайшим благом приобретенное с ним право писать самому к родным и близким сердцу.

Не буду описывать ни прошедшего, ни настоящего моего положения, потеряв добрых моих родителей, я чужд всякого радостного чувства и по истинне не живу, а доживаю скучную серую мою жизнь. — Вы знаете, как я всегда почитал Алексея Петровича, несчастие связало нас еще более, а с ним и вы мне не чужой: примите сердечное мое желание быть вам счастливу и верьте душевному моему к вам уважению. Я высоко ценю дружбу малого числа помнящих меня, и вас, и Рейхеля мы-

сленно целую за память обо мне — я ему желаю счастия, как равно и супруге его Софье Алексеевне.

Мария Казимировна уведомляла вас, сколько я (л. 1 об.) получил от братьев моих из высланных вами процентов за прошедшие годы — к тому малому числу, именно тремстам рублям, по сей час не прибавлено еще ничего, и я нуждаюсь, ибо на поселение провезен в Читу, для водворения, с девятьюстами рублями, данными мне в долг Марией Николаевной Волконской; но как я имею письма сестер моих, коими оне положительно предоставляют мне право получать проценты с денег, у вас находящихся, то и умоляю вас о исправной мне высылке оных, и за сей год если можно до срока, я нуждаюсь, вы меня крайне обяжете — сестры будут вам благодарны и хлопот вам никогда не будет.

Я ожидаю скорого исполнения сей моей просьбы, по известным мне благородным вашим чувствам. С петерпением буду ждать вашего ответа, который прошу мне сделать чрез Г. Граж. Иркутского губернатора, ибо я состою в ведении его, будучи поселен Иркут. губернии за Байкалом в (л. 2) Читинском остроге.

Желал бы написать вам хотя несколько нескучных слов, но простите меня, я изнемог от горестей и повторяю вам, что чужд не только радостных, но даже спокойных мыслей. — Поспешите вашим ответом истинно вас уважающему и любящему.

Душевно преданный *П. Аврамов.*

Г. Снарский забыл о должных им мне деньгах, а я одолжал его радушно без корыстных видов, уважая одно только жалкое тогдашнее его положение. Впрочем, не он один, и многие другие равно со мною поступили за деланные мною им одолжения.

Пишите чаще к Алексею Петровичу, он нуждается в ваших ему утешениях — истинно человек он добродетельный, заслуживающий вашей братской к нему любви, утешите его вашею дружбою».

На обороте л. 2: «Его Высокородию Семену Петровичу Юшневскому, Каменец-Подольской губернии, Ольгопольского уезда, г. дворянскому предводителю в *Г. Ольгополе*» [7]).

Следующее письмо, от 15 ноября того же 1833 года, послано уже из крепости Акша на китайской границе, куда перевели на поселение Аврамова. «У нас слухи носятся, что Павла Васильевича из Читы перевели в Акшинск, даже за Читу верст 200», писала 14 апреля 1833 года М. В. Юшневская, заботливо следившая за всеми товарищами по ссылке [8]).

Это второе из известных нам писем целиком занято денежными делами. В нем Аврамов уведомляет С. П. о полученных им в день отправки письма 1.200 руб. — процентов с капитала, и просит извинить его за «неприятное письмо от 28 сентября» (оно нам неизвестно) с упреками о невысылке денег, приводя в «большее себе извинение», что все

письма... доставляются скоро и точно» и неполучение ответа наводило на мысль, «что меня забыли». В конце письма просьба: «Я бы рад был, если бы вы, кроме переписки о деньгах, порадовали иногда меня известиями о себе».

Третье письмо, от 1 февраля 1835 г., содержит уведомление о своевременном получении процентов за предыдущий год и просьбу выслать в счет будущих процентных денег белое одеяло, темной материи на халат и хороших белых носовых платков.

О себе П. В. сообщает немного: «Я, слава богу, здоров; от родных моих получаю письма в определенные между нами сроки исправно; но к сожалению моему об Алексии Петровиче и Марии Казимировне давно не имею известий. Единообразная жизнь моя не дает мне возможности пишучи о себе распространиться — один день совершенно как и другой, и все одинаково скучны»... Зато П. В. просит Юшневского писать побольше о себе — «напишите мне письмо на большом листу да кругом, истинно говорю вам: каждое лишнее слово доставит мне много и много удовольствия».

Четвертое письмо, от 6 декабря 1835 года, полно упреков на неполучение ответа на предыдущее письмо и процентов, которые, по словам Аврамова, есть единственное средство к его пропитанию — «каждая копейка которых расчитана, и которых достаточно только совершенно уже отказав себе во всем без чего обойтись только можно». К письму Аврамов приложил копию своего обращения к Иркутскому генерал-губернатору, которого он просит принять меры к побуждению Юшневского исправно платить по его обязательствам.

Однако и это письмо не имело должных результатов, так как пятое письмо, от 10 марта 1836 г., вновь содержит упреки за неприсылку следуемых денег в течение двух лет. «Неумею назвать таковое действие ваше, но следствием онаго я начинаю терпеть нужду, ибо по доверенности моей к вашим правилам и точности, я из прежде присланных мне денег не сберегал, и теперь истинно говорю вам—нуждаюсь!» Напоминая о своем обращении к генерал-губернатору, Аврамов подчеркивает, что если через два месяца он не получит ответа, то обратится к властям за содействием к получению от Юшневского всего капитала и о переводе денег в Иркутский приказ общественного призрения. «Мера сия для вас должна быть неприятна, и для меня тягостна,—писал декабрист,—да дело идет о дневном пропитании, и потому относительно меня уважительна».

Шестое и последнее письмо Аврамова от 1 октября 1836 г. написано совершенно в ином тоне. Присылка С. П. Юшневским следуемых денег успокоила декабриста: он благодарит за нее, за «порадование» известиями о семейной жизни С. П., за доброе о нем «воспоминание». Вместе с тем Аврамов отмечает и просит извинить «беспорядок выражений» в его письмах. «Поверите ли, что по сие время не могу привыкнуть писать к тем, которых люблю, спокойно, всякий раз встревожусь, и прошу извинить беспорядок выражений. Тяжело!» Далее П. В. пишет: «Умоляю вас не обвиняйте Алексий Петровича, если иногда резко к вам пишет — он очень тяжело переносит свое положение»... После просьбы писать ему и впредь, декабрист так заканчивает письмо: «Глаза мокры, а перестать писать не хочется — пожалуйста возьмите на себя труд поклониться от меня тем, которые не вспоминают мени лихом. Будьте счастливы, здоровы и не забывайте душевно вас почитающего П. Аврамова».

Это было его последнее письмо С. П. Юшневскому: он умер 5 ноября 1836 г. в Акше, где могила его сохранилась доныне [9]).

Непосредственным заключением переписки декабриста с Юшневским является письмо брата П. В. — Михаила Аврамова, который 24 апреля 1837 г. писал, между прочим, Юшневскому — «Долгом считаю уведомить Вас, Милостивый Государь, что я получил известие от одного их товарищей покойного брата, что в Иркутске получены 1200 руб. при письме на имя брата Павла Васильевича, которые, конечно, есть ваши высланные за прошлый год проценты». М. Аврамов просит эти деньги

истребовать обратно и затем переслать ему: в дальнейшем он и продолжает деловую переписку с С. Юшневским, несколько писем которой (до 1841 г.) сохранилось в архиве Юшневского.

Таковы те данные, какие можно извлечь из писем декабриста Аврамова. Они немногочисленны, не поражают яркостью новизны, но в то же время как-то незаметно рисуют облик одного из декабристов, подавленного своей судьбой и не имеющего сил ни приспособиться к новой обстановке, ни бороться с ней...

В. Базилевич.

Примечания.

1) «Письма декабриста А. П. Юшневского и его жены М. К. из Сибири», К., 1908 г. (Оттиск из «Чтений в Ист. О-ве Нестора летописца).

2) *М. В. Довнар-Запольский.* «Тайное общество декабристов», М., 1906 г., стр. 86 — 87.

3) «Былое», 1920 г., № 20, с. 114.

4) *М. В. Довнар-Запольский.* «Мемуары декабристов», К., 1906 г. с. 285 — 286.

5) «Письма дек. Юшневского» . . . ., с. 71.

6) Отец декабриста служил в канцелярии Академии Наук, братья — в армии.

7) Упоминаемые в письме Алексей Петрович и Мария Казимировна — супруги Юшневские. Рейхель — художник, муж Софии, дочери М. К. Юшневской от первого брака.

8) «Письма дек. Юшневского», с. 77.

9) Московские «Известия», от 8 августа 1925 г., № 179.

Е. Тарасов.

Якутская ссылка Бестужева-Марлинского.

Жизнь и приключения декабристов в Сибири не так много привлекли внимания историков, как их консперативная и революционная деятельность до 1825 г. Вокруг последней возникла целая литература, богатая классическими исследованиями, тогда как о сибирской жизни декабристов имеются лишь немногие труды. Правда, Дмитриев-Мамонов в своей книге «Декабристы в Западной Сибири» собрал драгоценный материал для биографии 39 декабристов; но это только третья часть тех, кто пострадал за возмущение 14 декабря. Хорошо рассказана сибирская жизнь некоторых видных декабристов, таких, как М. А. Фонвизин, кн. Оболенский и барон Штейнгель. Сибиряки, видимо, стараются восполнить этот пробел, и три года тому назад Б. Г. Кубалов напечатал часть своей работы (именно о декабристах, поселенных в Якутской области. Из этих последних особенный интерес возбуждает Александр Александрович Бестужев-Марлинский 1797—1837), один из главных участников возмущения 14 декабря 1825 года. Кубалов приводит некоторые новые данные о его якутской жизни, и так как статья Кубалова помещена в мало известном и мало распространенном сибирском издании, то мы хотим, суммируя старые и новые материал дать сводную работу о якутской жизни этого видного декабр Нашему очерку мы, однако, предпосылаем краткую характерис революционной деятельности Бестужева, которая, по нашем мнению, прежними авторами освещена не вполне правильно. Во избежание скучных и бесполезных для читателя ссылок, мы указываем здесь всю литературу, относящуюся к нашей теме.

1) Довнар-Запольский. «Мемуары декабристов» (материал из показаний Бестужева и письмо его к императору Николаю). 2) Якутские письма Бестужева («Русск. Вестник» 1870, № 5). 3) Кавказские письма Бестужева («Русск. Вестник» 1870, № 6—7). 4) Кавказские письма Бестужева («Рус. Вест.» 1861, № 3—4). 5) Полное собрание сочинений А. Марлинского, 12 томов

(1838—1840). 6. Erman Reise um die Erde, Berlin, 1838. 7) Сборник историко-статистич. сведений о Сибири, т. I. 8) Н. А. Котляревский. «Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский» (1907). 9) Кубалов: «Декабристы в Якутской области» (в сборнике трудов профессоров и преподавателей гос. Иркутского ун-та, отдел I, вып. 2. Иркутск 1921). 10) М. И. Семевский, «А. А. Бестужев-Марлинский» («Отечественные Записки», 1860, №№ 5 и 7).

Кроме того, мы пользовались бумагами и письмами самого Бестужева, хранящимися в Пушкинском Доме при Академии Наук.

I. Революционная деятельность А. А. Бестужева.

О революционной деятельности Бестужева сложились неверные представления: многие думают, что он играл не очень большую роль. Теперь можно считать бесспорным фактом то, что Бестужев является вместе с Рылеевым главным виновником восстания 14 декабря. Недаром в этот роковой день, к вечеру, когда все было кончено, во дворце было уже всем известно и все об этом говорили, именно, что «Бестужев поднял весь день», и его ревностно пустились разыскивать. Предвидя это, он утром сам явился во дворец и отдал свою шпагу. Если Рылеева, как директора думы и главного заводчика, казнили, то такой же участи подлежал и Бестужев, тоже директор думы и главный заводчик. Он, однако, избежал этой участи и вообще отделался сравнительно легко. Как и почему это случилось — мы увидим ниже.

Бестужев сделался членом тайного общества довольно поздно—в 1824 году; и за такой короткий срок он проявил большую деятельность: нисколько не преувеличивая, можно сказать, что он да князь Е. П. Оболенский были главными сотрудниками Рылеева в усиленной революционной деятельности Северного общества и в подготовке восстания 14 декабря. В самом деле, в начале 1825 года, с от'ездом Никиты Муравьева в деревню, директорами общества остались Рылеев и кн. Оболенский. Вскоре в помощь к ним был избран А. А. Бестужев: вот это и есть официальные вожди восстания.

Около половины лета Рылеев с особой настойчивостью побуждает к деятельности своих друзей из моряков и прежде всего капитана К. П. Торсона и Николая Бестужева. С лета 1825 г. Рылеев иногда уже решительно заявляет о приближении переворота, к которому его подбадривают с юга. Осенью он уже об'являет Торсону и Н. Бестужеву, что они должны захватить Кронштадт в случае начала восстания. Решимость Рылеева увеличилась осенью с приездом кн. С. П. Трубецкого, который дал ему подробный отчет о всем, что делалось на юге. Известия были самые утешительные. Рылеев и его сотрудники ревностно

вербовали новых членов. А. Бестужев и два другие брата его, Николай и Михаил, были самыми усердными помощниками Рылеева. А. Бестужев жил в одном доме с Рылеевым (в доме Американской компании, на Мойке) и в силу этого они видались и действовали сообща.

Из бумаг Г. С. Батенкова видно, что Рылеев и Бестужев ловко обработали его, привлекли в общество и потом пользовались его советами. Узнав о смерти императора Александра (27/XI), к Рылееву явились первыми: А. Бестужев, Торсон, Батенков и Н. Бестужев. По уходе Батенкова и Торсона остались Рылеев и оба Бестужева. Они порешили в ту же ночь повести пропаганду. Именно, Н. Бестужев рассказывает, что после первой присяги (Константину) он с братом Александром и Рылеевым положили, было, писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам, но после, признав это неудобным, изорвали несколько уже написанных листов и решили все трое итти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба. «Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разносились наши слова по войскам: на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом». Из этих слов мы видим, как энергично действовал А. А. Бестужев в эпоху междуцарствия. Батенков, самый ценный свидетель, — потому что в это время он почти каждый день видел Рылеева и Бестужева, — говорит о Бестужеве, что «образ изъяснения» его неумеренный и дерзкий, что он способен «в глазах на все крайности», что он «показал крайнюю решительность». Он не только показывал, но и проявлял ее на деле. Самый решительный и смелый революционер, Якубович, был его приятелем. Батенков прямо заявляет (очевидно, со слов Сперанского), что во дворце вечером 14 декабря было уже известно, что адъютант Бестужев начал дело и что герцог Виртембергский послал в дом Американской компании захватить его.

Эти слова доказывают, что Бестужев в возмущении 14 декабря играл выдающуюся и заметную роль. Явившись во дворец и будучи арестован, Бестужев подвергся, как и все его сообщники, заключению в крепость, допросу и следствию. Показания его откровенны, но без лести и униженья, а его изображение бед России, приведших декабристов к возмущению, сделано с большим талантом. Конспиративная деятельность его была очевидна, ему грозила смерть, но он вместе со многими был обвинен по первому разряду, т. е. его пощадили так же, как пощадили диктатора кн. Трубецкого, директора кн. Оболенского и некоторых других — «по фамильным уважениям». Эти фамильные уважения для Бестужева заключались в том, что

он был ад'ютантом герцога Виртембергского, и Николая I, и брата императрицы Марии Федоровны. Ад'ютантом он был услужливым, исполнительным, веселым собеседником и красивым кавалером. Разумеется, его пожалели: герцог, очевидно, замолвил за него словечко, и он был спасен от казни.

II. Якутская ссылка Бестужева.

В ночь на 6 августа 1826 г. Бестужев вместе с И. Д. Якушкиным, М. И. Муравьевым-Апостолом, Арбузовым и Ал. Тютчевым был отвезен в Финляндию, в форт-Славу. Тут он просидел год с небольшим. Комендант форта был скупой, типичный казнокрад, который кормил заключенных гнилой солониной, и благодаря этому Бестужев нажил здесь тяжелый солитер, от которого потом сильно страдал, находясь на Кавказе. Бестужев рассказывает, как он в форт-Славе, не имея ни чернил, ни перьев, написал поэму: «Князь Андрей Переяславский», расщепив кусок жести и воспользовавшись углем, разведенным вместо чернил. В конце октября 1827 года Бестужева отправили через Петербург в сибирскую ссылку, в далекий, полярный Якутск — на поселение. Поездка была очень быстрая, и 22 ноября он прибыл в Иркутск. Тут он к великой радости встретился с братьями, Николаем и Михаилом, которых везли из Шлиссельбургской крепости в Читу, в Нерчинские рудники. Из Иркутска Бестужев писал 7 декабря матери и сестрам: «Я здоров и братья здоровы; мы виделись и радовались, как дару небесному, свиданию. Теперь не имею времени, еду в Якутск». В конце декабря, накануне нового 1828 года, приехал Бестужев в Якутск и 9 января пишет братьям-узникам: «Да ведомо будет вам,... что я благополучно доехал до Якутска... и завтра перехожу на наемную квартиру, где завожусь хозяйством. Климат здесь суров, морозы не падают здесь ниже 30°, но насчет образованности город сей далеко лучше того понятия, которое имеют о нем в России».

Якутская область, самый отдаленный, самый холодный и безлюдный край Восточной Сибири, была предназначена для поселения девяти следующих декабристов: Краснокутский, Андреев 2-й, Веденяпин 1-й, Чижов, Назимов, Бобрищев-Пушкин, кн. Голицын, Заикин и кн. Шаховской. Из них двое (Голицын и Шаховской) помещены были в Иркутской губернии (в городах Киренске и Туруханске), а остальные, после разных напрасных тяжелых передвижений, размещены были следующим образом: 1. Краснокутский — в Якутске (на Лене 62° с. ш.). 2. Веденяпин — в Киренске (на Лене 57° с. ш.). 3. Назимов и Заикин в Витиме (на Лене, 59° с. ш., к сев. от Киренска). 4. Чижов и Андреев в Олекминске (на Лене 60°, к. сев. от Витемска). 5. Бобрищев-Пушкин Николай в Туруханске (на Енисее, ок. пол. круга).

К этим декабристам, осужденным только по 8-му разряду, были присоединены еще трое: М. И. Муравьев-Апостол и А. А. Бестужев, осужденные по 1 разряду, и граф Зах. Григ. Чернышев, осужденный по 7-му разряду и отбывший год на каторге. Их разместили так: Муравьева-Апостола — в Вилюйске (700 верст к сев.-зап. от Якутска, 63° с. ш.), Бестужева в Якутске и Зах. Чернышева — тоже в Якутске. Первые семь декабристов были поселены на указанных местах уже с сентября или октября 1826 г., между тем как Муравьев-Апостол и Бестужев более года сидели в Финляндии, в крепости форт-Слава. «Фамильные уважения» были также причиной облегчения участи и М. И. Муравьева-Апостола.

Якутск в ту эпоху был маленький городишко (2.458 чел. жителей). Муравьев называет его «жалким городом». Добраться до него было так трудно, что только в 1836 году, впервые со дня присоединения края к России, посетил его представитель высшей власти, генерал-губернатор Броневский. Находясь приблизительно на одной широте (62°) с Петроградом (60°), Якутск, однако, имел суровую континентальную зиму. Так, Чижов пишет в письме к иркутскому губернатору, что в Олекминске «зимой день так короток и ледяные окна дают такой тусклый свет, что по необходимости приходится весь день сидеть со свечей. Почта приходит к нам лишь через два месяца». В таком-то городке пришлось жить декабристам и в числе их Бестужеву.

Еще хуже обстояло с якутским обществом. По словам Б. Г. Кубалова, «тон городской жизни задавал сравнительно немногочисленный чиновничий мир этого захудалого административного центра. Якутское чиновничество двадцатых годов — отживавший тип приказного строя»... По словам Броневского, «весьма бедное содержание, получаемое чиновниками в Якутской области, не только не достаточно для привлечения к службе хороших людей, но лишает возможности удержать на местах даже людей испорченной нравственности». Можно вообразить, какой элемент служил в Якутске. Чиновничество могло там безбедно существовать лишь при родственных связях с местным купечеством или зажиточным инородческим миром. Поэтому почти все чиновники были связаны родством с якутянами, и это накладывало свою печать на всю общественную жизнь. «При отсутствии духовных запросов и необеспеченности, на первом плане ставились интересы материального благополучия, для достижения которого пускались в ход все средства; поэтому интриги, ябедничество и зависть махровыми цветами распустились на сером фоне якутской общественности, способствуя раз'единению, а не сплочению составных групп населения». Именно это имея в виду, Бестужев один раз писал братьям, что «у здешних жителей нет ни добродушия, ни одной благородной черты в характере, и делать зло, чтобы показать, что они могут что-нибудь делать, есть их

первое наслаждение». «Здесь движутся только желчные страсти, корысть, зависть, тщеславие. Все это течет с кровью мерзло и безжизненно».

Впервые якутяне увидели у себя декабристов в сентябре 1826 г., когда проездом к ним приехали первые поселенцы: Заикин, Андреев и Веденяпин. Но ближе к ним якутяне присмотрелись с приездом туда Краснокутского, Бестужева и Зах. Чернышева. Краснокутский, человек пожилой и болезненный, жил тихо и уединенно, более всего проводя время с Мягковым, начальником Якутской области. В июне 1827 г. он уже был переведен в Витим и оттуда в Минусинск. Более молодой граф Зах. Григ. Чернышев, тоже тихий и скромный человек, пробыл в Якутске весьма недолго, всего—восемь месяцев, и 5 февраля 1829 г. он быстро и неожиданно покинул Якутск. Дольше всех, именно полтора года (1 янв. 1828— 3 июля 1829), прожил в Якутске Бестужев. Он, видимо, оставил там наибольшие воспоминания о себе. В таких маленьких городках, как Якутск, жизнь течет просто и тихо, хотя бывает много сплетен: все друг друга знают и все друг за другом следят. В таком городке, не имея определенного дела, можно сильно скучать. Особенно должны были скучать люди, жившие в блестящем столичном обществе, привыкшие к роскоши и комфорту. Северная природа была в Якутске сурова и нелюдима; только могучая река Лена могла доставить удовольствие своею шириью и простором.

Но в Якутске, как это ни странно, жизнь Бестужева протекла сравнительно счастливо, что подтверждается его письмами. Это можно об'яснить тем, что, во-первых, он попал туда прямо из крепостного заключения, был там недолго— всего полтора года, следовательно, новая для него обстановка еще не успела ему наскучить. Во-вторых, ему жилось хорошо и потому, что он был всем обеспечен, был богат книгами, не завален работой, свободен и независим, мог предаться каким хотел занятиям, мечтам или просто лени. Лица, подчиненные условиям придворной жизни, носящие цепи приличий и этикета, подчиненные тягостям службы, непременно испытывают удовольствие, очутившись среди полукультурных людей, не подчиненных условностям жизни. В полной мере испытал это и Бестужев. Он, конечно, скучал по семье, по братьям, он, конечно, горевал по разрушенной карьере, так блестяще начатой. Но душа его была еще свежа, так богата фантастическими надеждами, поэтическое творчество его так было наполнено образами будущих созданий, что тоска не могла победить его, отчаяние не смело приблизиться к нему. И Бестужев жил надеждами на будущее, изучал новую для него жизнь севера, читал, ревностно учился и обдумывал свои будущие произведения— создания Марлинского.

От этого периода осталось 29 писем Бестужева, адресованные матери и сестрам в Петербург, братьям-узникам в Читу и братьям-воинам на Кавказ. Эти письма довольно хорошо знакомят нас с его образом жизни, занятиями, чтением, думами и желаниями. К сожалению, эти письма писаны при неблагоприятной обстановке, именно—при сознании, что их будут читать полиция, жандармы и чужие глаза. Бестужев знал, что письма сначала побывают в Петербурге и тогда только попадут в руки братьев или сестер с матерью. Несмотря на это, на ряд цензур и тысячи верст, письма все-таки интересны, но не раскрывают вполне ни дум, ни чувств Бестужева. Между казенными фразами о скуке и однообразии жизни в ссылке, в этих письмах попадается множество подробностей, рисующих типичную личность этого декабриста, а также имеется много данных для знакомства с бытом Якутска за сто лет тому назад. Впрочем, из этих 29 якутских писем есть пять или шесть, посланных к братьям неофициальным путем, с верной оказией. Они, конечно, искреннее, интереснее, длиннее размерами казенных писем и более подробно описывают его быт, чем «осторожностью замороженные строки, как червяк на снегу». Кажется, из писем можно видеть, что совесть его мучила за то, что он, вовлекши братьев в тайное общество и более их действовавший, пострадал менее их, именно—находился только в ссылке, в то время как они томились на каторге. И вот, чтобы загладить свою вину и облегчить заключение братьям-узникам, Бестужев пишет им очень часто, чуть ли не каждую почту, хотя и знает, что ответа от них не получит, ибо им писать запрещено.

Вначале Бестужев жил в Якутске один, так как Краснокутский был уже переведен в другое место, знакомства свести ему было не с кем. Братьям в Читу он пишет, что он один, мечтает о них, что эти мечтания не всегда бывают розового цвета. «Зима, правда, здесь довольно скучна; день короче якутского носа, а морозы блокируют меня в дому. Я очень привык к холоду и все члены, привезенные из России, еще находятся в наличности, но, признаюсь, действия оного на грудь очень болезненны: десять шагов производят одышку, и потому прогулки, столь необходимые для моего здоровья, весьма редки. Впрочем, книги и занятия по новому хозяйству коротают время, и весна, которой не видал я так долго, возвратит мне, вероятно, и прежнее здоровье, и старинный веселый, беспечный дух мой. Если бы вы видели, — продолжает он, — каким я стал хозяином, какой порядок и чистота царствуют в моем уютном жилище, то погладили бы меня по головке». Мы думаем, что после крепостного заточения жизнь на свободе, хотя бы в Якутске, должна была понравиться Бестужеву. Оторванный декабрьской катастрофой от литературных занятий, он, с прибытием в Якутск, принимается за чтение и самообразование. Мать и сестры прислали ему книг в достаточном ко-

личестве, большей частью на иностранных языках. Греч послал ему классиков. И вот Бестужев, вдали от всяких знакомств и развлечений, погружается в чтение. Читает Тома Мура, Байрона, читает Гомера во французском переводе, изучает римских классиков, принимается даже за немецкий язык, который он до ссылки не любил и плохо знал. А чтобы не развлекаться, он обрил себе голову. Занятия его идут успешно: проходит месяц, и он уже читает Гете, Шиллера, Фауста. Есть, поэтому, основание думать, что часто повторяемые в письмах к братьям фразы о лени и бездействии не совсем правильны. Он ничуть «не опустился», а напротив, бодро трудился, читал, учился, старался вознаградить потерянное время усиленным чтением, пополнить образование, чтобы не отстать от века. Бестужев сознавал, что времени у него пропало много — весь 1826 и почти весь 1827 год. С наступившей весной 1828 г. он, видимо, чувствовал оживление, к нему возвратились надежды. «С возвратом тепла вероятно растает и моя лень,—пишет он,—и я снова примусь за перо, так давно покинутое, что оно давно бы заржавело, если бы родной гусиный жир не предохранил его от мороза, и влажности, и засухи». Мысли о творчестве, видимо, посещали его уже в первое полугодие его якутской жизни.

Летом кончилось и его одиночество: в июне (1828 г.) в Якутск прислан был декабрист Захар Чернышев, который поселился на одной квартире с Бестужевым. Теперь ему было с кем отвести душу. «Захар прекратил мое принужденное уединение, — пишет он братьям-узникам 23 июня: — я доволен, как человек, как король, самим собой. Он приехал желт и худ; теперь понемногу поправляется. Мы живем вместе, несчастие близит и роднит людей, и, кажется, мы не будем ссориться. Я рад очень, что есть с кем разделить часы грусти и минуты приятные. Матушка послала мне гору книг; у него их тоже вдоволь... не знаешь, с чего начать. За обедом и чаем мы разговариваем о вас и наших, о старинных забавах и новых новостях, которые, однако же, не всегда доходят сюда свежими. Погода прекрасна, зелень в поле, вода играет; я оживаю... разумеется на миг». Граф Захар Григорьевич Чернышев, член тайного общества, осужден по седьмому разряду, пробыл один год в Нерчинских рудниках и оттуда был переведен на поселение в Якутск. Кроме того, в Якутской области, как мы видим, были поселены: М. И. Муравьев-Апостол, М. А. Назимов и Н. А. Чижов.

С ними Бестужев установил оживленную переписку. По одному письму видно, что и в этом случае его смущала мысль, что его участь лучше той, которая выпала им на долю. Таким образом мы можем повторить, что якутская жизнь Бестужева была обставлена недурно, и он мог жить припеваючи. Мать часто посылала ему деньги, и он мог иногда выполнять даже свои прихоти. Вот что пишет он 16 июня 1828 года о своей

жизни: «Румяный вид мой и шутливое расположение духа, которое мне было полезнее всех уроков философии, понемногу возвращаются. Мой образ жизни был довольно однообразен, хотя избыток чувств, далеко не обыденных, не допускал скуке овладеть моим умом. Мое помещение было довольно удобно и очень чисто во все время моего здешнего пребывания. К тому же я сделался хорошим хозяином и изрядным поваром. Недостатка в деньгах у меня не было, тем более, что я от природы умерен; единственная слабость не покидает меня, это — слабость к щегольству: я представляю собой модную картинку в Якутске». Последние слова сказаны, очевидно, без преувеличения, так как Бестужев всегда любил пощеголять.

В такой обстановке, как видим, вполне благоприятной, протекало лето 1828 года для Бестужева и Чернышева. Оба они нередко бродили по полям и болотам с ружьем, оба мечтали и грезили о далеком прошлом, о дальней, но милой родине, о прежней веселой жизни. Они были постоянно одни. Знакомства с якутскими обывателями у них не было, хотя туземцы старались, видимо, завязать с ними отношения. По крайней мере в одном письме Бестужев говорит, что им докучают «глупые посетители, от которых ни крестом, ни пестом не отбоярishься; но с зимой на крюк и баста». Знакомства с местными обывателями могли легко возникнуть во время ярмарки, бывшей летом в Якутске. На ней Бестужев должен был закупать все необходимое — и для себя и для М. И. Муравьева, которому въезд в Якутск был, очевидно, запрещен. Ярмарочные хлопоты, видимо, надоели Бестужеву, о чем он пишет братьям 16 августа.

Наступила вторая зима для Бестужева в Якутске. Захар Чернышев поселился отдельно, а Бестужев к этому времени завел много знакомств, но не покидал и занятий. Наоборот, уже с осени он решил засесть за работу и намерение это он выполнил буквально. «Теперь, — пишет он братьям-узникам 10 ноября 1828 г., — я заключился совершенно дома, по утру что-нибудь пишу, если случится, после обеда читаю, вечером учусь». И действительно: осень, зима и весна (1829 г.) прошли у него в успешных занятиях. Он много читал и о многом передумал. Здесь он впервые, по его словам, разобрался (для себя, конечно) в сущности романтизма и классицизма.

В декабре он пишет братьям: «Я весь погружен в гуманизм, и из тщеславия прошу вас сказать Якушкину, что после одного месяца, посвященного, я в состоянии читать Шиллера и Гете без посторонней помощи. Чтобы лишить себя всякого развлечения, я обрил себе голову и благодаря этой энергичной мере владею теперь сокровищницей наслаждений, из которой черпаю с жадностью». Он, конечно, читал главным образом беллетристов, английских и немецких, копя, очевидно, поэтиче-

ские образы для своих будущих повестей, в таком изобилии написанных позже — на Кавказе. Но он не чуждался и серьезной прозы; из его писем видно, что он не только прочитывал путешествия, исторические сочинения, а также кое-что по естествознанию. Все это не только внимательно перечитывалось, но и усидчиво изучалось. Из писем видно, что Бестужев читал сочинения А. Гумбольдта, Франклина, Араго, Шуберта и других.

Так как с отъездом Чернышева порассуждать и поспорить было не с кем, то Бестужев нередко в письмах к братьям-узникам пускается в рассуждения о всевозможных научных теориях: о свете, температуре, об электричестве и магнетизме. Забывая иногда, что он ни в каком случае не может получить от них ответа, он все-таки спрашивает их, как они думают о том или другом предмете, о той или другой теории. Около этого времени он познакомился с иностранными учеными, производившими естественно-научные наблюдения в Сибири. То были: норвежский профессор Гаистсен, норвежец лейтенант Дуэ и доктор пруссак Эрман. Они очень интересовались декабристами, зная, за что они пострадали,—и во время своих путешествий вступали с ними в сношения тем более охотно, что декабристы знали иностранные языки и были иногда им очень полезны.

Бестужев сблизился с двумя учеными — Дуэ и Эрманом и очень ревностно помогал им в их научных исследованиях. Так, Эрману он составил метеорологическую таблицу для сравнения высоты мест, а ученому Дуэ он помогал в наблюдениях над магнитной стрелкой. «Между нами не было размолвок,— писал он впоследствии Эрману о своих сношениях с Дуэ,— если не включать туда небольших вспышек за то, что по обыкновенной своей рассеянности я иногда заставлял магнитную стрелку танцевать с собой матлот,—вспышек, которые я называл магнитными бурями». В беседе с Дуэ Бестужев не замечал, как проходило время. О норвежском путешественнике он сохранил лучшие воспоминания: «Сколько раз, — говорит он, — я был согрет его восторженными мечтами о туманной, утесистой родине, о свидании с родными, о счастье в супружестве». Такие же хорошие отношения установились у Бестужева и с доктором Эрманом. Это видно из большого французского письма его к Эрману, имеющегося в полном собрании сочинений Марлинского.

Эрман дает нам описание своей встречи с Бестужевым: «Я пригласил его (Бестужева) в свое жилище и в занимательной беседе с ним получил большое наслаждение. Я ожидал в лице его увидеть человека черствого и равнодушного, но предо мной стоял человек, который в чертах лица, словах и фигуре сохранил всю свежесть юности и блеск благородного таланта. Он признался мне, что веселость настроения в нем против воли всегда заново зарождается, что тяжесть прошлого и безрадостного

будущего должна бы естественно давить его, но в нем все-таки достаточно любви к настоящему и смелости, чтобы им пользоваться». Видимо, оба эти натуралиста возбудили в Бестужеве тот интерес к естествознанию, какой проглядывает в его письмах. Но Бестужев, как ярко выраженный беллетрист-романтик, конечно, не мог долго усидеть в области научных занятий; его манила поэзия и он за время якутской ссылки написал много стихов. Якутские стихи Бестужева, которых дошло до нас двадцать восемь, имеются в полном собрании его сочинений. Некоторые из них довольно недурные по своему лиризму, по искренности чувства, но вообще они тяжеловаты и отличаются неуклюжестью стиха. Видимо, Бестужев не был мастером стиха даже в такой степени, каким был его друг К. Ф. Рылеев, погибший на эшафоте 13/VII—1826 г. Писать стихи, кажется, побуждала его необходимость, потому что во время якутской ссылки прозу его едва-ли бы напечатали. Но лишь только явилась возможность высказывать свои мысли и чувства не стихами, Бестужев бросил их и стал писать прозой. Но, повторяем, поэтическое настроение в нем было так сильно, а также попрежнему так велико, что некоторые стихотворения ему вполне удались. Особенно нравится нам его стихотворение «Щебутуй», написанное в мае 1829 г., во вторую весну его якутской ссылки. При описании водопада, поэт вспоминает о себе такими трогательными словами:

Когда громам твоим внимаю,
И в кудри льется брызгов пыль,
Невольно я припоминаю
Свою таинственную быль.
Тебе[1]) подобно, гордой, шумной,
От высоты родимых скал
Влекомый страстью безумной,
Я в бездну гибели упал.
Зачем же моего паденья,
Как твоего паденья дым,
Дуга небесного прощенья
Не озарит лучем своим?
О, жребий! Если в этой жизни
Не знать мне радости венца,
Хоть поздней памятью обрызни
Могилу тихую певца.

Как эти, так и некоторые другие стихи хороши лишь тем и тогда, когда отражают грусть-тоску автора-изгнанника. Так, в стихотворении по поводу измены некоей Ал. Ив. М. и есть такие стихи:

Зачем же искра упованья
Дожить до сладкого свиданья
В груди моей погасла ты...

[1]) Водопад.

А в конце того же стихотворения автор уверяет в своей искренности и заканчивает такими стихами:

Тут не сплетая из лести кружев
Ваш всепокорнейший слуга.
Ваш Александр Бестужев.

(1828).

Или, например, в альбом Е. И. Булгариной Бестужев пишет (заочно):

Мое любимое давно
Во прахе лет погребено.
Минувших лет змеиной свиток
Хранит лишь бед моих избыток
И радостей, которых нет.

Далее он пишет ей, что он погрузился в унылый сон, не вспоминает даже прошлого и потому не хочет писать ей в альбом. Но думает, что года через два, когда «с порой мечтанья минет вся поэтическая дурь», тогда он испишет ей альбом всякой-всячиной, даже напишет эпопею на эрзерумского пашу. А пока просит позволенья, «скрепив измученную грудь — от рифмы и горя отдохнуть» (1829 г.). Также и в стихотворении «Осень» Бестужев говорит о своих переживаниях.

Как осеннее дыханье
Красоту с ее чела,
Так с души моей сиянье
Длань судьбы сорвала.
В полдень сумраки вечерние —
Взору томному покой,
Общей грустью тупит терние
Память родины святой.
Вей же песней усыпительной
Перелетная метель,
Хлад забвенья мирительный
Сердца тлеющего цель.
Между мной и любимою —
Беспощадное прости,
Не призвать невозвратимого,
Дважды сердцу не цвести,
Хоть порой улыбка нежная
Озарит мои черты —
Это радуга наснежная
На могильные цветы.

(Апрель, 1829 г.).

В другом месте, обращаясь к облаку (в стих. «Облако») Бестужев говорит:

Беги, лети на ветерке,
Подобно нашей доле;
И я погибну вдалеке
От родины и воли.

(1828 г.).

Весна 1829 г. очень оживила Бестужева; это видно из стихотворения «Оживление».

Чуть крылатая весна
Радостью повеет—
Оживает старина,
Сердце молодеет.
Присмирелые мечты
Рвут долой оковы,
Словно юные цветы
Рядятся в обновы.
И любви златые сны,
Осеняя вежды,
Вновь и вновь озарены
Радугой надежды.

В том же 1829 г. Бестужев в стихотворении «Сон» образно и аллегорически изображает свою судьбу, как Пушкин сделал это в стихотворении «Арион» («Нас было много на челне»). Бестужев рисует счастливую юность, когда «случай», преклоняя темя, держал ему злотое стремя, потом, описывая крещение (14 дек.), спасение и ссылку в страну, где «вечен лед и вечны тучи, где жизнь, зачахнув, умерла среди пустынь и тундр зыбучих». Там он, скиталец, плывет, а на тихом сердце — «хлад, дремотой лени тяжки вежды, и звезды искрами надежды в угрюмом небе не горят».

Все мертво у меня кругом.
И близко бездна океана
Белеет саваном тумана.

(1829)

Выше упоминалось, что декабристам трудно было сойтись и слиться с якутским обществом в силу особых свойств последнего. Трудно было тесно сойтись даже с той или другой семьей, не вызвав со стороны ее противников подозрения или неудовольствия. Недаром Бестужев в письме к братьям-узникам говорит, что и он не избежал злословья «или за то, что сам не кланялся иным, или за то, что иные ему кланялись». Положение было тем более щекотливое, что декабристы были поднадзорными, и потому сношения с ними могли считаться предосудительными в глазах тогдашнего общества. Тем не менее в последнем было так мало интеллигентных сил, а декабристы представляли из себя такую яркую интеллигентную силу, что к ним невольно тянулись немногие лучшие люди, искали их знакомства и сближались с ними. Правда, Краснокутский и З. Чернышев пробыли там недолго — всего по полгоду, но Бестужев, проживший в Якутске полтора года, успел завязать прочные связи. Начальник области, Мягков, человек хороший и благожелательный к декабристам, давал балы и в высокоторжественные дни устраивал званые обеды, на которые он приглашал и декабристов, которые, разумеется, были центром внимания. Мягков и за-просто приглашал к себе декабристов, и

сам частенько посещал их квартиры, просиживая с ними многие часы в дружеской беседе. Особенно он дружил с Краснокутским, как человеком пожилым и солидным, бывшим обер-прокурором сената. Зато Бестужев, красивый, живой и веселый, скоро завоевал общее внимание и стал любимцем дам. Б. Г. Кубалов, на основании новых, видимо, сибирских данных, изобличает его в том, что он не совсем верно освещал в письмах к братьям свои отношения к якутскому обществу, когда писал, будто он живет анахоретом, уединенно и т. д. «Нам определенно известно, — говорит Б. Г. Кубалов, — что Александрович был свой человек в доме Мягкова, был принят в доме А. П. Злобина, начальника солеваренных заводов, детям которого давал уроки, — и посещал дом Ал. Ив. М-й, в день именин которой «невольный гость в краю чужбины» посвящает стихотворение, имеющееся в полном собрании сочинений Марлинского. В нем есть такие стихи:

В краю зимы и дружбы зимней
Поверьте: только вы одни,
Ваш разговор гостеприимный
Напоминал друзьям и мне
О незабвенной старине.

Несомненно, в простых и коротких отношениях был Бестужев и с Ф. Ф. Колосовым, управляющим откупом, которому он посвятил длинное «именное» стихотворение. Издатель его говорит, что оно заканчивалось строфами эротического содержания — ясный признак, что между Колосовым и Бестужевым были весьма фамильярные отношения. Кубалов, старожил Сибири, находит возможным уверять, что «больше других любили в Якутске Бестужева». Сам о том не стараясь, он расположил к себе все сердца живостью своего ума, красотой, энергичным лицом и фигурой. Повидимому, он далеко не вел жизнь анахорета, печальника, как это можно было заключить из его писем к братьям. Печально сознавая, что «каждый маятника взмах цветы неверной жизни косит», что «не дважды молодость цветет и без желаний волны Леты шумят всегда у наших ног», — Бестужев и в холодном Якутске остается верен себе, стремясь и там изведать «сладостные слезы и вечно первый поцелуй». Он признается, что и в Якутске он «пил любви коварный мед, от чаши уст не отнимая». К нему в квартиру заглядывали «хорошенькие дамы», и может быть по этой причине он недолго ужился вместе с З. Чернышевым, который мог бы быть нескромным свидетелем. Этим «хорошеньким дамам», «Алике» и «Лиде» он посвятил стихи, среди которых есть такая строфа:

Когда моей ланитой внемлю
Пыланию твоих ланит
Мне радость — небеса и землю
И золотит и серебрит,

Вращаясь в якутском обществе, Бестужев обратил внимание и на туземцев-якутов; это, по его словам, «полуоттаявшее человечество». Он наблюдал их нравы и обычаи, запоминал их предания, сказки и поверия. Напр., он был на якутском празднике Исых, который и описал. Якуты вызывали в нем отрицательное к себе отношение. «Якуты, писал он, даром не ступят шагу, и горе тому, кто примет от них безделку в подарок: они выместят это сторицею, с лихвою назойливой мухи. Пусть благословит их бог, только в жизни моей я не видал лукавее народа. Они имеют приятное качество соединять в себе приобретение всех пороков образования с потерею всех доблестей простоты».

Вообще якутская жизнь, повторяем, протекала благоприятно для Бестужева. Вспоминая о ней на Кавказе, он писал следующее: «Там я отдохнул душой, ожил новой жизнью. Все краткое лето (1828) провел я на воздухе, рыща на коне по полю, скитаясь с ружьем по горам. Бывало, по целым часам лежал я над каким-нибудь озером в сладком забытье, вкушая свежий воздух — отрада, неизвестная для других. Я ничего не делал там: так я был занят свободою, только научился хорошенько по-немецки, изучая Шекспира, и стал было разбирать Данта в подлиннике; но с силами закралось опять желание боевой жизни»...

---

5 февраля 1829 г. совершенно неожиданно увезли из Якутска Черныше́ва; а 10-го Бестужев пишет прошение И. И. Дибичу ходатайствовать перед царем о переводе его солдатом в действующую против турок армию. Что случилось? Почему Бестужев, которому хорошо жилось в Якутске, вдруг задумал ехать оттуда? Да очень понятно почему: если другие едут в армию, в теплый благословенный край, то почему ему оставаться на холодной, полярной чужбине? Если он временно мирился со своим положением и рвал кругом цветы жизни, то нельзя же думать, что он хотел, забыв родные края, остаться навсегда посреди чуждых ему людей, среди «полуоттаевшего человечества». Его тем более тянуло вон из Якутска, что оттуда уехали и европейские путешественники, Эрман и Дуэ, с которыми ему было так весело. Его манило на Кавказ, где были его младшие братья,

Где на горах шумит лавровый лес...
Где яхонт неба рдеет,
Где гнездо себе из роз природа вьет.

Просьба его была услышана, и он по высочайшему повелению был назначен рядовым в Кавказскую действующую армию. 3-го июня покинул он «северную Пальмиру» — Якутск — едва ли с грустью и сожалением, скорее с радостью. Как его

провожали и кто провожал, мы не знаем, но в два месяца он «от полюса перенесся к Эрзеруму и видел все прелести войны в Байбуртском сражении» (письмо от 29 янв. 1831. Дербент). Так окончилась якутская жизнь Бестужева и началась кавказская, изображение которой не входит в нашу задачу. Там выступает перед нами талантливый беллетрист Марлинский, который в 30-е и 40-е годы производил великий шум своими повестями и романами, и, блеснув всеми цветами радуги недюжинного таланта, нашел у мыса Адлера, на берегу очаровательного моря, свою преждевременную могилу. Об этом мы расскажем в другом месте и в другое время. Теперь же, в заключение, попробуем дать себе отчет: что дал Бестужев Сибири? Оставил ли он какой-либо след посреди туземного населения? Заранее нужно помнить, что Бестужев пробыл в якутской ссылке не десяток и не десятки лет, а всего только полтора года, — срок, слишком малый, чтобы успеть что-либо сделать, создать что-либо прочное, как создали, например, Якушкин и многие другие декабристы. Но, принимая во внимание, что в 30-е и 40-е годы каждая строка талантливого беллетриста читалась и перечитывалась до дыр, до пятен, до выпадения, — мы можем допустить, что те немногие страницы полного собрания его сочинений, которые говорят о Сибири, об Якутске, будили интерес читающей России к далекой полярной окраине. Может быть, немногие строки Бестужева побудили того или другого посетить Сибирь или почитать о ней какой-либо труд. А якутские обыватели, наверное, долго помнили очаровательного декабриста и, может быть, с особым интересом зачитывались его романами в роде «Аммалат-бек» или «Мулла Нура».

М. Муравьев.

Статья М. С. Лунина „Взгляд на дела Польши“.

В книге «Декабрист М. С. Лунин, сочинения и письма», изданной Пушкинским Домом под редакцией С. Я. Штрайха, напечатана статья Лунина «Поляки» (письмо 17/5 ноября 1839 г.); в примечании к ней есть указание, что Герцену в 1859 г. была известна еще другая статья Лунина по польскому вопросу, озаглавленная»: Coup d'oeil sur les affaires de Pologne», относящаяся к 1840 году.

С. Я. Штрайх высказал в примечаниях к названной книге предположение, что напечатанная им статья «Поляки» (1839 г. является именно той, которая в «Колоколе» названа «Взглядом на дела Польши» и отнесена к 1840 году.

«Письма» Лунина проходили через III отделение, где с них снимались копии, но, кроме того, они в списках ходили по рукам, так как, с одной стороны, помимо своего литературного достоинства, они имели большой политический интерес, с другой—они писались Луниным для пропаганды его идей.

Сперва «письма» переписывались в отдельности, потом из них образовывались сборники; переписанные в разное время, они имели и разный об'ем.

В «Полярной Звезде» на 1861 г. (кн. 6-я) Герцен опубликовал 19 писем. Все они перепечатаны в т. XXII «Международной библиотеки. Материалы для истории из царствования императора Николая Павловича», изданном Э. Л. Каспровичем в 1880 г. в Лейпциге, и в других сборниках. С. Я. Штрайх—по архиву III отделения, по списку декабриста П. Ф. Громницкого и по спискам в бумагах историка Н. К. Шильдера—напечатал их 30.

Мы располагаем списком лунинских «Писем», сделанным в 50-х годах прошлого столетия в Иркутске Екатериною Николаевной Муравьевой; муж ее, Н. Н. Муравьев-Амурский, доводился двоюродным племянником Лунину, а она была в дружеских отношениях с декабристами А. В. Поджио и С. Г. Волконским.

В этом списке 17 писем 1838 г., 9 — 1839 и 1840 г.г. За № 27-м, под 1840-м годом, в нем находится статья «Взгляд на дела Польши». — Расположение писем в нашем сборнике иное, нежели в книге «Лунин — сочинения... 1923», разночтения незначительны.

Подлинная рукопись Лунина «Взгляд на дела Польши» находится с частью архива декабриста С. Г. Волконского в собрании Б. Л. Модзалевского. Мы ее сличили с нашим списком, и он оказался ее дословной передачей.

То обстоятельство, что «Взгляда» нет в архиве III отделения, равно как и в списках луниских писем, циркулировавших в Европейской России, что его подлинник сохранился в бумагах Волконского и имеется в списке Муравьевой-Амурской, позволяет заключить, что «Взгляд» не был послан Луниным Е. С. Уваровой и что наш список сделан с оригинала, хранившегося у Волконских.

«Взгляд на дела Польши» — не письмо, а целый трактат, обнаруживающий не только знание Луниным истории Польши, но и понимание духа ее правящего класса и народа. Служа в Польше, Лунин не был только поверхностным наблюдателем.

Чтобы лучше уяснить отношение декабристов к польскому вопросу, надо обратиться к переговорам Южного общества (к нему принадлежал и Лунин) в 1824 и 1825 годах с представителями польского тайного общества. Сношения эти были начаты М. П. Бестужевым-Рюминым в январе 1824 года, по собственному почину; он об этом доложил Южной директории, которая уполномочила его продолжать их, совещаясь, однако, обо всем с С. И. Муравьевым-Апостолом [1]), т. е. поручило ведение дальнейших переговоров Васильковской управе.

По донесению следственной комиссии, условия с поляками были заключены Бестужевым-Рюминым с русской стороны и Крыжановским с польской. По этим условиям будто бы признавалась независимость Польши, ей возвращались завоеванные, но еще не слившиеся с Россией области, с соблюдением нужных для обороны выгод при установлении новых границ, обещалось покровительство в России полякам, и русские должны были стараться искоренять взаимную нелюбовь обоих наций. Польское же общество обязывалось препятствовать цесаревичу Константину проехать в Россию, когда начнется революция, и с своей стороны приступить в то же время к возмущению и ввести в Польше республиканский образ правления [2]).

«Донесение» не точно излагает условия конвенции Бестужева-Рюмина. В своем показании следственной комиссии от 27 января (8 февраля) 1826 г. он собственноручно изложил эту «кон-

---

[1]) А. К. Бороздин «Из писем и показаний декабристов» стр., 117.
[2]) Донесение следственной комиссии, стр. 31, 32.

венцию». Так, по вопросу о проведении новых границ предполагалось «наблюдать также и местные выгоды, кои останутся на стороне России, дабы она имела хорошую военную границу»; в § 4 говорилось — «поляки, однако же, могут надеяться получить губ. Гродненскую, часть Виленской, Минской и Волынской». Относительно покровительства полякам говорилось, что русское общество будет «оказывать покровительство полякам, имеющим дела в России, буде оные справедливы». Наконец, независимость Польши должна была быть ей предоставлена по окончании преобразований в России [1]).

Таким образом, по показанию Бестужева-Рюмина, в переговорах, которые он вел с поляками, он вовсе не пренебрегал интересами России. Независимость Польши вытекала из федеративного принципа декабристов, а предполагаемый отход губерний Гродненской и частей Виленской, Минской и Волынской основывался на этнографическом начале.

За всем тем всю «конвенцию» Бестужева-Рюмина следует считать только его личным мнением: С. И. Муравьев-Апостол никакого участия в этом деле не принял, с польской стороны она подписана не была, и Варшавский следственный комитет подвергает сомнению существование этого договора [2]); отрицают его существование Лунин и Никита Муравьев в своем «Разборе донесения» [3]).

Декабрист М. А. Фонвизин в своих записках относит первые сношения южан с поляками к 1822 году и говорит, что эти совещания не имели никакого результата по взаимной недоверчивости русских и поляков. [4])

По «донесению» П. И. Пестель признался, что обещал независимость Польше; [5]) если же обратиться к его показаниям и свидетельству очевидцев, то получается несколько иная картина.

Но предварительно надо опять вернуться к ходу переговоров южан с поляками, чтобы об'яснить, как Пестель принял участие в них.

При допросе Пестеля следственной комиссией, — писало ли в начале 1825 года «Южное общество» директориату польских обществ, «укоряя оный в недеятельности и требуя смерти цесаревича», Пестель об'яснил, что такую бумагу написал Бестужев-Рюмин и отдал ее кн. Волконскому, прося передать ее Гродецкому (один из польских уполномоченных), но Волконский, посоветовавшись с Давыдовым, представил ее в директорию Южного общества. Директория истребила сию бумагу, прекратила сно-

---

[1]) Д. А. Кропотов, «Жизнь гр. М. Н. Муравьева, в связи с событиями его времени», стр. 414.

[2]) Кропотов, стр. 165.

[3]) В издании Пушкинского Дома, стр. 72.

[4]) «Общественное движение в России в первой половине XIX в.,» под редакцией Семевского, Богучарского и Щеголева, стр. 189.

[5]) Стр., 32.

шения Бестужева с поляками и передала таковые мне и князю Волконскому». [1]) Затем Пестель показывал, что заключение условий с поляками он не мог принять на свою ответственность, «ибо без предварительного согласия всего Союза не мог удостоверить о принятии Союзом». У него был только один разговор с польскими депутатами и продолжался он не более одного часу. «Предметы разговоров были:

1. Независимость Польши; глухо сказано, но о губерниях литовских, Белостокской, Подольской и Волынской не было даже ни единым словом упомянуто. 2. Взаимное содействие на случай внешней войны. 3. Одинаковый образ правления. 4. Поступить полякам с цесаревичем так, как нами поступлено будет с прочими великими князьями. 5. Уведомить им нас о всех своих сношениях с другими обществами в Европе, а равно и с Англией, и никаких не заключать им обязательств ни с кем без предварительного нашего согласия». [2])

В другом месте Пестель повторяет: «Об уступлении Польше завоеванных областей никогда упоминаемо не было, но о независимости Польши было глухо говорено. К тому же, не мы в польском обществе искали, но они в нашем». [3])

Обратимся теперь к свидетельству участника событий — к запискам С. Г. Волконского.

Заседание происходило в январе 1825 г. в Киеве, в квартире Волконского. С русской стороны присутствовали он и Пестель, с польской — князь Яблоновский и Гродецкий.

«Изложение о ходе наших дел, — пишет Волконский, — начали русские депутаты, потом давали отчет польские, но как из их слов выяснилось, что для общего согласия в деле нужно полякам знать, согласно ли наше общество на присоединение к Польше, как они выражались, отторгнутых от нее ныне губерний, то Пестель сказал: «О границах не ставить кондиций, мы клониться должны к общему делу: союз Польши с Россией не должен быть в ущерб последней. Вы ищете совокупного действия с нами; что издавна русское, то должно остаться русским; мы по национальности составим федеративное целое, не требуйте замысловатых уступок... Мы желаем добра и самостоятельности Польше, но первое наше дело — отстаивать свое отечество. Одним словом, согласитесь по этому вопросу ожидать и довольствоваться тем, что вам дадим, а не мечтайте о невозможном. Главное дело — это на обоюдных правилах устроить восстание, не в отвлеченных мыслях, а на деле; мы начнем и вы начинайте». Этот разговор, говорит Волконский, положил конец «сарматским попыткам» поляков, не имеющим никакого исторического основания». [4])

---

[1]) Бороздин, стр. 133.
[2]) ib. c. 118.
[3]) ib. c. 132.
[4]) Записки Волконского, стр. 416—417.

Из этого можно заключить, что Южная директория, видя в проекте Бестужева-Рюмина излишнюю уступчивость, устранила его от дальнейших переговоров, а Пестель «сарматским попыткам» дал надлежащую отповедь.

В свидетельстве Волконского имеем мы новое подтверждение, что Бестужев-Рюмин не заключал никакой «конвенции» с Крыжановским. Если бы она имела место, не было бы надобности в дальнейших переговорах Пестеля, да и эти последние имели характер только преливинарного соглашения.

Это доказывает, как осторожно надо относиться к утверждениям «донесения».

Касаясь вопроса о переговорах с поляками, Никита Муравьев говорит: «Сношения сии весьма огорчили членов Северного общества, полагавших, что не должно уступать приобретений и собственности России и входить в сношения с иноплеменниками, хотя бы они и под одним управлением с нами находились, тем более уступка сия произошла бы совершенно чуждой, а впоследствии, вероятно, и враждебной России державе». [1])

О тех же переговорах 3 ноября 1824 г. М. Муравьев-Апостол писал своему брату Сергею, осуждая, что для переговоров был употреблен Бестужев-Рюмин, и говоря, что он первый будет «противиться тому, чтобы Польша разыгрывала в кости судьбу моей родины». [2])

Об отношении декабристов к польскому вопросу в ранний период их деятельности имеем мы яркий рассказ в записках И. Д. Якушкина — мы говорим о письме кн. Трубецкого Александру Н. Муравьеву декабря 1817 г. о том, что «царь влюблен в Польшу», — слухи, сообщенные Трубецким, оказались преувеличенными и вытекали из факта дарования Польше конституции, но среди собравшихся нарочито по этому письму семи виднейших декабристов, оказавшихся в Москве, они произвели настоящий взрыв и Якушкин вызвался на цареубийство. [3])

У декабристов все время сквозило, с одной стороны, благожелательное, с другой — недоверчивое отношение к полякам — для улажения наших исконных столкновений ими кладется федеративный принцип на этнографическом начале...

Очень ярко это выражено Лунниным в его письме о «Поляках», где он говорит: «Поляки — братья нам по происхождению, наша передовая страна по географическому положению и естественные союзники, несмотря на домашние ссоры». А в другом месте: — «Польша не может быть опасна для нас, пока не будет владеть поморьем, иметь пристаней и будет состоять из одного города». [4])

---

[1]) Довнар-Запольский — «Мемуары декабристов», стр. XXIV.

[2]) «Декабрист М. И. Муравьев - Апостол. Воспоминания и письма». Ред. С. Я. Штрайха, изд. «Былое», П. 1922, стр. 81.

[3]) «Записки И. Д. Якушкина», Лондонское издание, стр. 16, 17.

[4]) По изданию Пушкинского Дома, стр. 52, 53.

В печатаемой ниже статье Лунина «Взгляд на дела Польши» мнения эти им развиваются с большой полнотой и присущим его перу блеском.

Взгляд на дела Польши 1840 г.

(Перевод с французского).

Волнения царства Польского подняли политический вопрос, который возбуждает сочувствие народов и вызывает заботы правительств. Он рассматривался народными представителями в палате общин и палате депутатов, дипломатическими агентами при дворах государей, польскими эмигрантами в местах их убежища. Но умственная борьба, которая следовала за вооруженным столкновением, привела к столь же печальным результатам. Далеко не успокоив умы путем уяснения им их действительных интересов, не приведя к сближению враждующих братских народов, она послужила только к возбуждению новых страстей, к умножению общественных и частных бедствий и вызвала законные, но несправедливые притеснения. Это обусловлено главным образом тем, что усилия умов были направлены скорее на то, чтобы оправдать одну из враждующих сторон, чем на то, чтобы обнаружить истину. Дело поляков, как и дело русского правительства, находило до сих пор лишь правозаступников. И той и другой стороне недостает искреннего друга, способного рассеять общие их заблуждения и указать на источник их пагубного раздора.

При внимательном изучении событий, которые нарушили общественный порядок, мы находим их источник в похвальных побуждениях и добрых чувствах, воодушевлявших ту и другую сторону. Это редкий случай в политике, которому примеры редко можно встретить в истории. Среди важных вопросов, рассматривавшихся на Венском конгрессе, потеряли из виду и памяти участь Польши. Один только император Александр вспомнил о ней! Желая загладить минувшие бедствия, проявить свое великодушие по отношению к побежденному врагу и послужить делу свободы народов, идея которой оказала ему такую помощь (в его борьбе с Наполеоном), он возпамерился возродить польское имя и предложил воссоздать государство на обломке трех последовательных разделов. Эта великодушная мысль встретила только слабый отклик со стороны нескольких дипломатов и сильный отпор со стороны властителей. Дело грозило дойти до разрыва, невыгодного для всех, и лишь новые волнения, при которых ясно обнаружилось все значение России, послужили к укреплению готового распасться союза, к склонению несогласных и дали возможность осуществить, хотя и в меньших размерах, проект императора Александра. Изувеченное Пруссией

Варшавское государство с общего согласия получило наименование царства Польского, и рухнули препоны, которые противопоставлялись тому, чтобы император Александр даровал ему конституционную хартию. Польша получила благодеяние государственного устройства, о котором она даже и не мечтала в 1813 г., когда депутация от воеводств явилась на Рейн умолять императора Александра управлять поляками так, как он того пожелает, только бы они не подпали под иго немцев, так как польский народ имеет происхождение, общее с русским.

Но из чего состояло это конституционное царство? В своих границах оно заключало лишь седьмую часть польской территории и шестую часть народонаселения. Оно было расположено по обоим берегам реки, истоки и устье которой ему не принадлежали и которая, поэтому, могла служить лишь украшением сельского пейзажа. Доступное со всех сторон, обладая только двумя крепостями, из которых одна не отвечала и не могла служить никакому военному плану, новое царство было настолько мало и лишено естественной защиты, что враждебные действия неприятеля должны бы были по необходимости начинаться в предместьях столицы. Его торговля поддерживалась только при посредстве транзита, дарованного в ущерб торговле России; его промышленность развивалась только при помощи иностранных спекулянтов, привлеченных премиями и преимуществами данного момента. Его армия была только подобием вооруженной силы, лишенная всех элементов, существенно необходимых для ведения войны, и образованная с единственной целью удовлетворения мании парадов полувоенного государя. Его дороги, каналы, мосты, города, церкви, укрепленные места были исправлены или построены за счет России. До 1821 года доходов королевства нехватало на покрытие расходов бюджета, и опять-таки России приходилось постоянно пополнять дефицит. Его школы и университет вместо того, чтобы распространять свет современной цивилизации, занимались только отражением обманчивого и тусклого блеска короны Пястов и Ягеллонов. Наконец, его государственному устройству, хотя и разумному, в основе недоставало прочного основания, которое обеспечивало бы его развитие, устойчивость и действенность. Земские депутаты Варшавского сейма имели основание сказать в своем манифесте, что «это царство лишь пустая химера». [1])

В основе варшавского восстания мы видим также самоотверженность и патриотический порыв, который увлекает сердца. Ночь 29 ноября была освещена огнями свободы. В один день столица была освобождена, в несколько дней все части армии об'единены общей мыслью, крепости заняты, народ вооружен, брат императора с русскими войсками, всецело предоставленный великодушию поляков и только этому обязанный

---

[1]) Манифест польского народа 1831 г., стр. 1 и 5.

своим спасением, вот действия этого восстания, «благородного и чистого», как героическое вдохновение молодости, которое его породило [1]). Между тем этому событию недоставало поддержки палат и содействия высших должностных лиц или людей, пользующихся уважением народа. Порожденное возбуждением молодости, как об этом провозглашает манифест, должно ли оно было быть одобрено и признано представителями народа, как их деяние? Не погубили ли они будущее своей страны необдуманным состраданием к молодым людям, в пользу которых палаты могли бы представительствовать и которых само правительство, может быть, согласилось бы поставить под защиту законного судебного производства? Несмотря на слабость правительства, которое должно было предотвратить восстание, и баснословную неспособность военачальника [2]), которому впоследствии была вверена забота о его подавлении, никогда она не могла бы перейти тесные границы королевства.

Галиция не приняла никакого участия в совершавшихся волнениях. Познанское герцогство равнодушно смотрело на происходившее в нескольких шагах от его границы. Литва, Волынь и Подолия не пошевелились даже в то время, когда отряды варшавской армии, проникая в эти провинции, приглашали и заставляли местное население вооружаться для защиты царства. Отдельные банды, организованные несколькими разоренными или готовыми разориться землевладельцами, не принесли никакой пользы повстанцам, их деятельность едва заслуживает упоминания. Положительным доказательством этому служит то, что все эти отряды, чересчур слабые сами по себе и рассчитывавшие на помощь общего восстания, были вынуждены во время своих набегов более скрываться от неприятельских войск, чем сражаться, и что почти все они кончили тем, что укрылись в сопредельных странах для того, чтобы сложить оружие, не попытав даже счастья в бою.

Материальные силы восстания сводились к 35 тысячам линейного войска, почти к такому же числу ратников, 150 пушкам, двум полуразрушенным крепостям, 20 тысячам ружей, захваченных чернью в арсенале и перекупленных у евреев, к маленькому капиталу, похищенному из варшавского банка. И такие силы хотели противопоставить одной из первых военных держав Европы.

Бывают времена, когда благоприятное стечение обстоятельств предоставляет надежду на успех самым рискованным предприятиям. Но восстание вспыхнуло тогда, когда славный мир дал возможность русскому правительству вернуть свои войска на родину, пополнить их новобранцами, возобновить их материальную часть и расположить их вдоль западной границы

---

[1]) ib. стр. 5 и 19.

[2]) Дибич. Лунин к нему относится с пристрастием. М. Муравьев

таким образом, чтобы сосредоточение их могло быть выполнено скорым и легким способом на любом угрожаемом пункте, когда средства империи пополнялись данью побежденных и золотом займов; когда нравственный под'ем в России достиг высокой степени, благодаря покорению народов, падению крепостей, приобретению областей и полету российского орла около Византии, постоянного предмета ее вожделений.

Манифест польского народа указывает на ряд неконституционных актов, которые послужили побудительной и решающей причиной восстания. Но конституция представляла закономерные способы протестовать против незаконности этих актов, одновременно покоряясь им. Такого поведения пассивного, но обещающего успех, было бы достаточно для того, чтобы засвидетельствовать существование прав, заставить их уважать впоследствии, оказав им двойную поддержку принципа и прецедента. Великая хартия была последовательно утверждаема присягой и ратифицирована 35 раз и несмотря на это попрана Тюдорами. Между тем англичане не прибегали к оружию в это время политической юности, чтобы обеспечить ее неприкосновенность. Они понимали значение хотя бы голой формы свободного государства, даже лишенной духа, который должен им придавать жизнь, и они готовы были переносить притеснения, несправедливости, обиды со стороны власти, лишь бы сохранить эти учреждения и дать им время укрепиться. Манифест также выдвигает братскую исключительную любовь к жителям присоединенных к России областей и желание освободить их от ига петербургского правительства. Манифест требует для них осуществления необязательной статьи Венского трактата, выполнение которой стояло всецело в зависимости от доброй воли императора Александра: он ссылается и на речь его на сейме 1818 г., содержание которой обращено одинаково ко всем жителям империи и налагает только условное обязательство на монарха. А выше мы уже видели, что жители этих областей почти не разделяли исключительного чувства, которого они являлись предметом, и, далекие от того, чтобы способствовать усилиям своих мнимых освободителей, они смотрели на их непрошенное заступничество с безразличием и удивлением. И действительно, по географическому положению, по своему численному превосходству, материальным средствам, а в особенности по более тесной связи с русскими, являющимися средоточием и источником могущества и силы в этой части Европы, обитатели этих областей скорее сами могли восстановить порядок и согласие в Польше не беспорядочными путями насилия, но разумным совокупным действием воли отдельных личностей. Если после всего сказанного было бы нужно еще обсуждать в подробностях это предприятие, то мы нашли бы, что приходили к соглашению по всем пунктам, когда разумная оппозиция могла бы послужить к прояснению мысли и к торжеству

наиболее здравых взглядов, и что напротив, именно в тот момент, когда успех зависел от согласованности воли и умов, все разошлись решительно во всем, что, теряя драгоценное время, прибегли к переговорам тогда, когда переговоры эти не представляли никакой вероятности успеха, и что пренебрегли этим путем, когда он мог предотвратить напрасное пролитие крови; наконец, что сосредоточили вооруженную силу в то время, когда отдельные отряды могли бы быть до некоторой степени пригодны в революционной войне, и что ее рассеяли в то время, когда соединение всех частей было необходимо. Среди всех этих ошибок и промахов был только один светлый луч: это храбрость, проявленная солдатами на поле сражения, доставившая им уважение их противников.

Манифест польского народа, повидимому, был составлен под влиянием той же молодежи, которая произвела восстание. Он начинается с выражения законного желания добиться удовлетворения за понесенные обиды, а кончается проектами расширения границ и завоеваний. У его составителей глаза обращены к Франции, которая ради удовлетворения своих интересов, действительных или воображаемых, послала их соотечественников на гибель в Египет, на С.-Доминго и в Испанию; они хвалятся своей верностью деспоту, которого они называют героем века, и утверждают, что кровь поляков—его собственность [1]). В варшавском восстании нельзя найти ни признаков, ни свидетельств народного движения. Оно не породило ни одного замечательного характера, ни одного выдающегося законодателя, администратора или военного. Оно не выдвинуло вперед ни одной органической идеи, никакого общественного интереса и в общем представляет лишь бледное подражание прошлому польской истории и смутное отражение основанной на преданиях цивилизации.

Как конституционное государство, построенное на песке, должно было окончиться восстанием, так точно и частичное несвоевременное восстание, зиждущееся на спорных основаниях, лишенное существенных средств для своего развития и имевшее своим предметом беспочвенные мечты, должно было окончиться порабощением страны. Оно имело непосредственным последствием: утрату прав, разорение городов, опустошение селений, смерть многих тысяч людей, слезы вдов и сирот... Оно причинило еще более тяжелое зло, компрометируя принцип справедливого и законного сопротивления произвольным действиям власти. Именно в этом последнем отношении оно должно быть указано будущим поколениям, как подводный камень, которого надо избегать, и как печальное свидетельство духа нашего времени.

Конечно, нельзя не согласиться, что русское правительство, хотя виновное в происхождении беспорядков, не могло посту-

---

[1]) Манифест польского народа 1831 г., стр. 1 и 4.

нить иначе, как строго наказать виновников мятежа и восстановить свою попранную власть. Оно должно было распустить войско, которое сражалось против него, уничтожить сейм, который голосовал за его низвержение, и преобразовать учреждения, которые дали возможность совершить то и другое. Вооруженное восстание дало ему право на насилие. Но затем оно уже вступило на ложный путь легального преследования. Вместо того, чтобы освятить свою власть, расточая благодеяния, оно ее скомпрометировало, окружив ее жандармами, шпионами и палачами. Между тем репрессивные меры никогда не находят поддержки и сочувствия в русском народе. В общем он относится отрицательно к амнистиям, усеянным ограничениями, как признаку бессилия, амнистиям, которые не могли вернуть в лоно Польши ее рассеянных сынов, к применению дорого стоящей и безнравственной системы шпионажа, которая должна была открывать то, что печать выражала ясно и без расходов: к постройке Варшавской цитадели, которая должна была заменить распущенное войско, к уничтожению двух университетов, чтобы основать третий, который пришлось впоследствии закрыть. Военные суды, которые судили политические проступки, пытки, которые они налагали, чтобы вырвать признания, и казни, к которым они присуждают, возмущали чувство справедливости русских. Закрытие церквей и монастырей и вынужденное к вероотступничеству греко-униатское духовенство, — все это противоречило их убеждениям и чувству веротерпимости. Конфискации, одновременно и несправедливые и бесплодные, оскорбляли их чувство великодушия и национальной гордости. Перед ними возникает вопрос, так ли велика нужда государства, чтобы прибегать к мелкому грабежу для пополнения своих финансов. Зачем не обратится оно в этом случае скорее к тем, сокровища которых всегда открыты для надобностей государства, подобно тому, как сами они готовы проливать свою кровь для его защиты. Не имея законных органов для выражения своих чувств, они клеймят своим презрением как покупателей конфискованных имений, так и чиновников, получающих их, как награду; они окружают своим сочувствием невинные жертвы конфискации и спешат смягчить их страдания такими актами милосердия, которые ускользают от глаз света и даже от собственного сознания.

Однако, чтобы быть беспристрастным, не надо упускать из виду, что русское правительство не имеет тех способов, какими обладает правительство в странах с народным представительством, чтобы знать истину и сообразовать с этим свои действия. Печать нема, как оно и должно быть в самодержавной стране. Заграничная печать, побуждаемая слепой ненавистью против русских, в то же время не внушает доверия, потому что она выражает мысль народов или правительств, которые покинули поляков. Власть в России имеет руководителями только людей,

или обуреваемых бесцельной жаждой деятельности, или пораженных старческим бессилием, из которых состоит государственный совет. Впрочем, не следует преувеличивать значение репрессивных мер. Когда правительство действует без участия народа, круг его нравственного воздействия по необходимости ограничен, чтобы не сказать ничтожен. Странное заблуждение предполагать, что оно может уничтожить национализм поляков, тогда как у него самого его недостает; что оно может воздействовать на их цивилизацию, тогда как ему самому недостает просвещения; что оно может поколебать их вероучение, тогда как оно обнаруживает, что его собственные верования не тверды, нападая на начало, которое вне достижения человеческой власти, и следуя гибельному примеру религиозных гонений, данному польскими королями. Варшавское восстание, покровительствовавшее демократии, миновало, как гроза, следы его будут стерты созревшим разумом будущих поколений: реакционные действия законной власти, которые, в свою очередь, являются революцией в пользу самодержавия, рассеятся сами собой, как туман, который не оставляет следа после себя.

Среди причин, препятствующих восстановлению спокойствия и господства разумных идей, есть одна, которая заслуживает быть отмеченной потому, что ее влияние переходит границы Польши. Когда русская армия готовилась к осаде Варшавы, несколько лиц, которые благодаря мятежу оказались во главе палат, предвидя близкую развязку драмы, отвели далеко один корпус и направили его в сторону от центра, чтобы обеспечить себе отступление за границу [1]). Это действие, легко об'ясняемое человеческой слабостью, могло бы только их лично скомпрометировать и заставило бы об них забыть. Но русское правительство, полагая исполнить акт правосудия, сделало ошибку, отдав их под суд заочно, присудив их к смертной казни, конфисковав их имущество и придав их акту малодушия политический характер тем, что признало их противниками даже после бегства. Наши беглецы одумались и, ловко пользуясь страстями правительства, стали вновь эксплоатировать страсти народа. Их первой заботой было окружить себя несколькими незапятнанными жертвами политических потрясений, солдатами, проливавшими кровь на полях сражений, гражданами, вынужденными покинуть отечество вследствие репрессивных мер русского правительства. Сильные этой опорой, они учредили в месте своего убежища род судилища, известного под именем национального польского комитета. Этот комитет приписывает себе права и принимает на себя власть последнего сейма, имеет притязание продолжать его дело, издает манифест от имени польского народа, составляет агитационные брошюры и пускает их в обращение в Польше, посылает эмиссаров в царство и в прежние

---

[1]) Корпус Ромарино—20 тыс. человек.

провинции, чтобы разжечь и распространить в них мятежный дух. Несмотря на странную аномалию народной власти вне народа, польский комитет успевает в своих начинаниях: в русском правительстве он опять-таки находит опору и часто бессознательного агента, слепое орудие своей воли. Правительство запрещает обращение печатных листов, которые не были бы прочитаны без этой меры, оно предает эмиссаров военному суду, который их вешает и расстреливает, что их превращает в мучеников свободы в глазах простонародья; оно преследует, грабит и ссылает в Сибирь мирных горожан и сельчан, которые дают приют эмиссарам или слушают их басни. Это именно то, чего политические деятели польского комитета желают. Они хорошо знают, что царство Польское ничего не может, а прежние провинции ничего не желают. Их единственная цель, это — озлоблять умы, вызывая суровые со стороны правительства действия, и возбуждать семейную вражду в угоду западным державам, которые относятся скорее неприязненно, чем безразлично, к славянским народностям и об'единения которых они опасаются.

В этих видах они выдвигают вперед раздел Польши, отделяя его от причин, которые сделали его таким легким, и приписывая его исключительному влиянию России. Между тем Австрия и Пруссия приняли в нем такое же, если не большее, участие. Проект первого раздела был задуман венским кабинетом, чем об'ясняется то, что доля Австрии оказалась почти вдвое большей остальных[1]). Россия согласилась с этим проектом только из опасения, чтобы он не осуществился без нее, во вред одновременно и полякам и русским. Второй раздел был вызван правительством Пруссии в видах приобретения Данцига и Торна. В то время, как Россия была занята войною с Турциею, оно нашло способы породить новые раздоры в Польше и поставить республику в двусмысленное положение относительно своих соседей, обязывая ее условиями союзного договора к увеличению численности ее войска и видоизменению ее политического устройства в нарушение договора 1775 г.[2]). Едва конституция 1791 г. была обнародована, как Пруссия поспешила ее отвергнуть, нарушить свой союзный договор с республикой, овладеть Торном и Данцигом и заключить новый союз с русским правительством, чтобы прикрыть грабительское действие императорской порфирой[3]). Наконец, третий и последний раздел был следствием мятежа, который, нарушая общественный договор, узаконяет все по праву войны.

Впрочем эти печальные события скорее определяют успехи самодержавия в его эволюции, чем взаимные отношения обоих

---

[1]) 1772 г. народонаселение России, Пруссии, Австрии. Территория та же самая.

[2]) Договор Пруссии с Польской республикой 29 марта 1790 г.

[3]) Договор Пруссии с Россией 12 января 1793 г.

народов. Никогда русские не думали о покорении своих братьев; никогда они не предполагали предписывать им законы и не претендовали на какое-либо социальное или политическое превосходство над ними. Они предлагают им не благодетельную опеку, а согласованность воли и соединение усилий к одной цели, которую они провозглашают. Это мнение было выражено естественными представителями русских, которых власть под влиянием партийного духа, погубила рукой палача или рассеяла в ссылке... Верные полномочиям своего высокого призвания, они предсказали полякам, что их обособленные усилия будут всегда бесплодны; что их надежды на помощь западных держав будут всегда несбыточны; что их единственный шанс на успех заключается в тесном союзе с русскими[1]).

Нет ни гор, ни рек или каких-либо географических преград, которые могли бы образовать естественные границы между этими двумя странами.

Притязания, предъявляемые с той и другой стороны на обладание одними и теми же местностями, теряются в глубине веков. Климат, произведения почвы, характер промышленности и основные начала торговли почти тождественны. Нравы, обычаи, привычки и склонности сходствуют. Оба наречия, происходящие от одного корня, понимаются с одинаковой легкостью в каждой из этих стран. Религиозные верования обоих народов из всего разнообразия верований, распространенных в мире, наиболее близки. Все, кажется, должно бы склонять оба народа к братскому союзу. Не будучи связаны своим прошлым, как другие европейские народы, они ничего не должны ломать и убирать прежде, чем начинать создавать. Здание их свобод воздвигнется без потрясений и шума, как дом, в котором не слышно было бы стука молотка или топора, ни шума какого-либо орудия во время его постройки. Они кажутся предназначенными начать новую социальную эру, очищая принципы от тех чужеродных элементов, которые их заслоняют повсюду, и одухотворить политический мир, возводя свободы, права и гарантии к их настоящему источнику.

Приступим к основному вопросу, который агитаторы представляют то в окружении софизмом рассудка, то в обаятельной ризе фантазии. Может ли Польша пользоваться политическим существованием, соответственным ее потребностям, независимо от России? Не более, чем Шотландия и Ирландия, независимо от Англии. Слияние в этих странах произошло после страшных потрясений и бесконечных страданий, следы которых несовсем еще сгладились. Но без этого слияния вместо трех соединенных королевств, которые образуют теперь первое государство мира, были бы только три слабые провинции, вечно враждующие, без

---

[1]) Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин. См. донесение.

торговли, без промышленности, без влияния на другие народы и открытые для первого встречного завоевателя, как мы то видим из их истории в то время, когда они были раз'единены. Для возникновения великих наций существуют положительные и непременные условия, которые ничто не может заменить. Прежде всего им необходимо пространство, реки и море. Без этого самые замысловатые политические комбинации—только бесполезная теория. Примените устройство Американских Соединенных Штатов к княжествам Германии и государствам Италии. Что из этого произойдет? Заниматься политическим устройством государства, прежде чем обеспечить социальное могущество, это — венчать здание, у которого нет фундамента. Если бы несбыточная мечта присоединения русских провинций к царству Польскому сбылась, дела Польши от этого не выиграли бы. Ее мнимые друзья как бы не понимают истинных начал ее возможного могущества и действуют, стараясь все свести к вопросу о территории. Действительное падение Польши началось с того времени, когда она утратила устье своей реки и побережье своего моря. Эта великая нация нуждается в туманах Балтийского моря, как ее старшая сестра—в благоуханных ветрах моря Средиземного. И только сердечно протянув друг другу руку, смогут они достигнуть этих рычагов взаимного воздействия, при посредстве которых народы влияют друг на друга к всеобщему прогрессу человечества.

Поляки должны бы были всегда иметь перед глазами тот государственный строй, который так долго угнетал их под обманчивой личиной республики. Никакой общественный прогресс не был возможен при политическом строе, останавливаемом на каждом шагу liberum veto и подвигавшемся только при помощи конфедераций; при гражданском порядке, который соединял в себе все злоупотребления феодализма, не представлял ни одного из его относительных преимуществ. Административный беспорядок и нравственный хаос, истощая все жизненные силы Польши, во все времена предвещали ее распад. Один из ее королей предсказал на сейме 1661 г. распадение ее провинций, которое и произошло сто десять лет спустя [1]). Эта отправная точка существенна для правильного понимания современного положения страны и для оценки преимуществ, которые она может извлечь из своей политической связи с Россией. Поляки обладают в настоящее время гражданскими законами, которые, несмотря на их частичные недостатки, заключают в себе основные демократические начала, которые Франция приобрела ценою кровавой революции и которые свободны от пут и традиционных предрассудков, затмевающих законодательство Англии. Они имеют положительную гарантию неприкосновенности своей территории и уверенность в своем прогрессивном развитии в коренном

[1]) Ян-Казимир.

принципе русского народа, который неизменно стремится сохранять и соединять, и в огромных возможностях к осуществлению этого принципа. Они участвуют в преимуществах, которые устья Днепра, Буга и Днестра, выходы Балтики и Черного моря, так же, как материк Азии, предоставляют развитию торговли и промышленности. Они — в безопасности от иностранного вмешательства в домашние дела, которое им во все времена было столь гибельно, но которое отныне сведется к бесплодным сетованиям по поводу возрастающего преобладания двух соединенных народов. Наконец, они в состоянии взять на себя почин в общественном движении, которое должно соединить в одно славянские племена, рассеянные в Европе, и содействовать духовному возрождению, которое должно предшествовать всякому изменению в политическом порядке, чтобы сделать последний устойчивым и полезным.

Народы и правительства не так легко покидают ложные пути, на которые их увлекли интересы партий или их собственные страсти. Еще предстоит неравная борьба, гибельные реакции и напрасные жертвы. Еще меч насилия и меч правосудия будет снова обнажен во имя заблуждения и предрассудков. Но эти страдания, неизбежные, как искупление, и спасительные, как наставление обоим сторонам, будут только временным препятствием торжеству принципов, которые вытекают из существа вещей, и господству истины, которая заключается в единении.

Мы думаем, что выполняем долг признательности по отношению к народу, который оказал нам гостеприимство в бурное время нашей политической карьеры, высказав ему истину без притворства и пощады. Мы держали ту же речь при дворе его короля и в гостиных его знати, но с нами не соглашались. Мы надеемся, что нас лучше поймут в более скромных жилищах, в которых мы часто находим пристанище после трудов и опасностей охоты, где картина домашнего счастья и семейных добродетелей раскрыла перед нами истинный источник гражданских доблестей, служащих украшением польского национального характера, и тайну прекрасного будущего, предназначенного этому народу, когда он будет действовать в согласии со своим естественным союзником.

Б. Сыроечковский.

Письмо декабриста А. Е. Розена.

Печатаемое здесь письмо декабриста Андрея Евгеньевича Розена написано им в октябре 1832 г. из гор. Кургана Тобольской губ., где он жил на поселении; оно адресовано свояченице его, Марье Васильевне Малиновской (позднее по мужу Вольховской), проживавшей в то время в Ревеле, и представляет интерес для характеристики условий пребывания декабристов на каторге. А. Е. Розен (1799 — 1884), поручик лейб-гвардии Финляндского полка, членом тайного общества не был, хотя был знаком со многими из декабристов; все его участие в восстании 14-го декабря сводилось к тому, что он, идя со своим взводом впереди первого батальона Финляндского полка, вызванного на Сенатскую площадь для усмирения мятежа, остановил свой отряд на Исаакиевском мосту и тем задержал весь батальон. Розен был отнесен Верховным уголовным судом к пятому разряду и приговорен к каторжным работам на 10 лет и затем к ссылке на вечное поселение.

После приговора Розена более года продержали в Петропавловской крепости, и затем 5 февраля 1827 г. он был отправлен в Сибирь. Каторгу он отбывал сначала в Чите, потом в Петровском заводе. Срок работы был сокращен, и в 1832 г. Розен вышел на поселение в г. Курган. Здесь он жил до 1837 г., когда ему разрешено было поступить рядовым в действующую армию на Кавказ. В 1839 г. он был уволен за болезнью в отставку с обязательством жить на родине, в имении близ Нарвы под надзором полиции. В 1855 году надзор был снят, а в 1856 г. Розен по семейным обстоятельствам переселился в имение своей жены при селе Каменке, Изюмского уезда, Харьковской губернии. В Изюмском уезде, сначала в Каменке, а позднее в другом своем имении — Викинне, Розен жил до самой смерти. С 1861 по 1866 г. он принимал деятельное участие в проведении крестьянской реформы, будучи избран местным дворянством в мировые посредники. Последние годы жизни Розен проводил, много

читая и занимаясь составлением воспоминаний и другими литературными работами, которые тогда же появлялись в печати.

Публикуемое здесь письмо написано Розеном в начале второго года жизни его в Кургане на поселении. Оно обращено к сестре его жены, Марии Васильевне Малиновской, жившей, как сказано, в Ревеле вместе с теткой своей, А. А. Самборской. Жена Розена, Анна Васильевна Малиновская, была дочерью первого директора Царскосельского лицея, Василия Федоровича Малиновского. Лицейские связи сыграли большую роль в судьбе членов семьи Малиновского: старший сын его, Иван Васильевич, лицеист первого Пушкинского выпуска, женат был на сестре своего товарища-декабриста, Ивана Ивановича Пущина; Мария Васильевна Малиновская вышла в 1834 г. замуж за другого товарища своего брата, Владимира Дмитриевича Вольховского. Анна Васильевна Розен, отправляясь в 1830 г. в Сибирь к мужу, по общему для жен декабристов правилу, не могла взять с собой сына Евгения (Энни) и оставила его на попечение сестры Марии Васильевны, которая и воспитывала мальчика до возвращения родителей из ссылки.

Печатаемое здесь письмо А. Е. Розена содержит рассказ из его жизни на каторге в Чите, о переходе его вместе с другими декабристами в августе 1830 г. в Петровский завод и о встрече его с женой во время этого перехода. Рассказ этот Розен писал свояченице, согласно обещанию, которое дал ей, очевидно, в одном из предыдущих писем. Письмо, содержащее это обещание, нам неизвестно; неизвестно также, последовали ли обещанное Розеном продолжение его рассказа о жизни на каторге в последующих за печатаемым здесь письмах к свояченице. Рассказ Розена о годах каторги и ссылки можно прочесть в его «записках», изданных в 1907 г. в России.

Оригинал письма хранится в семейном архиве Малиновских и предоставлен в распоряжение «Декабристской комиссии О-ва политкаторжан» — Борисом Павловичем Малиновским.

Б. С.

Курган, 21 октября 1832 г.

Любезная сестрица.

С особенным удовольствием прочитывал я Ваше милое письмо от 28 июля, был тронут Вашими добрыми воспоминаниями обо мне и не мог не удивляться Вашим правилам и одобрять вполне Вашу примерную покорность воле божьей. Добрая Annette [1]) моя, прочитав Ваше письмо, сказала: «в Маше

[1]) Анна Васильевна Розен, урожденная Малиновская, жена А. Е. Розена, сестра М. В. Малиновской.

узнаю себя, она мыслит, как я». Продолжайте делить с нами все, что Вас занимает, что относится до Вас, и будьте уверены в родственном и дружественном нашем участии.

Приступлю теперь к исполнению обещания, но наперед должен Вас предварить, что Вы в моем описании не найдете ничего занимательного, ничего полного; ибо я не был путешественником по воле, а меня возили все по большой дороге, и все предметы представлялись мне только с одной стороны. После этого необходимого введения начну с начала.

Представьте себе небольшое селение на возвышенном месте, окруженном со всех сторон высокими горами, а с западной стороны еще речкою, которая в одной версте от селения впадает в реку судоходную — и Вы в Читинском остроге, где при моем прибытии туда было 45 домов, одна деревянная церковь и горное комиссионерство с принадлежащими к оному магазинами — провиантским и соляным. Горы все разнообразны высотою и покатостями, покрыты лиственницей, кедрами и соснами, с восточной стороны горы по большей части каменисты, а на юг останавливается взор на сопку, имеющую вид развалины замка. Речка Чита, от коей селение имеет свое наименование, течет в плоских берегах в Ингоду. Высота, занятая селением, господствует над долиною, в которой в ясный день можно видеть Кинонское озеро, лежащее от Читы в семи верстах и знаменитое своими большими и вкусными карасями.

Жители не могут хвалиться ни богатством, ни опрятностью, что происходит от собственной их лени и безнравственности. Только за тридцать лет до моего приезда в Читу стали заниматься земледелием и весьма успешно, имея к тому земли привольные и плодородные. В огородах своих сажали они только картофель и уверяли нас, что поздние морозы весною, а ранние осенью не допускают созреть капусте и прочим овощам. Они удивлялись нашему упрямству в возделании огорода, ибо случилось в первом году нашего там пребывания, что мы рано засеяли гряды и мороз, бывший 6 июня, побил все всходы, но мы немедленно перекопали землю и снова засеяли гряды, имели хорошие овощи, имели огурцы и даже цвела у нас нежная цветная капуста. Когда жители увидели, что наши труды были вознаграждены изобилием, то и сами стали заводить свои хорошие огороды. Растительная сила там необыкновенная: в восемь недель все поспевает.

1827 г. 22 марта приехал я в Читу и застал там уже многих товарищей. Спачала были мы помещены тесно в двух небольших домах, и между тем было повелено выстроить новый острог, который был совершенно окончен в четыре месяца; мы переместились в оный в конце августа того же года, имели четыре большие комнаты, в каждой из оных жили от 10 до 17 человек.

Летом и осенью до мороза занимались мы земляною работою по пяти часов в день; копали сами фундамент к новому острогу, вырыли ров для частокола, подымали дорогу, по главной улице и два лета сряду заваливали овраг глубокий, который был промыт стоком с гор снежной воды и дождя и уже прорезал дорогу через селение; мы так плотно и крепко завалили, что по новой дороге стали ездить. Заступ, лопата, кирка, и топор были нашими рабочими орудиями, а песок и землю возили мы в тачках или носили на носилках. Эта работа имела полезное влияние на наше здоровье; никогда не заставляли нас работать сверх силы и в худую погоду не высылали на работу. Относительно здоровья должен Вам сказать, что из 72 человек никто не умер в продолжение шести лет, между тем как дознано, по круглому расчету, что во всех странах из 70 человек умирают ежегодно по два.

С наступлением морозов, когда заступ уже не входил в землю, тогда в особенном доме были устроены для нас ручные мельницы, жернова, на коих мы мололи ржаную муку; эта работа, состоявшая из умеренных уроков, продолжалась также по пяти часов в день, $2^1/_2$ часа до обеда и $2^1/_2$ часа после обеда. Остальное время принадлежало нам исключительно. Я разделял оное на беседы с образованными товарищами, на чтение полезных книг, коих было много, на прогулки в частокольной ограде и самоучкою выучился играть на чакане, на инструменте бедном и неблагодарном; но я сам был благодарен своему чакану, сокращавшему мне зимние вечера, когда слабые глаза мои не позволяли мне заниматься продолжительным чтением. В одной комнате со мной жили шестнадцать человек; сначала невольно препятствовали друг другу в занятиях, но со временем привыкли к громкому разговору, к чтению вслух, к пению, что никакой шум не мешал читать или спать тому, кто хотел. С пробитием вечерней зари после переклички запирали наши двери и отпирали оные с утреннею зарею.

Хозяйство было у нас общее; по-очереди дежурили на кухне для надзора над опрятностью изготовления двух простых яств; еще из среды себя избирали одного хозяина, который должен был выдавать запасы, вести общие и частные расходы и закупать в лавке нужные вещи; шесть месяцев занимал я эту должность. В лавку ходил хозяин не иначе, как в сопровождении дежурного офицера или унтер-офицера; вообще, без вооруженного конвоя не делали ни шагу за острог.

Вот Вам, милая сестрица, в нескольких словах описание Читы и моей там жизни; без сомнения, Вы не найдете ничего занимательного в оном, и чего и хотеть от тюремной жизни, постоянно однообразной: один день походил на другой, год на год, не было новых внешних впечатлений, и мне осталось только думать о внутреннем моем усовершенствовании, к коему сосредоточивались все мои занятия и размышления.

В 1830 году 7 августа наступила новая эпоха для нашей жизни: нам были об'явлены поход и перемещение в Петровский завод. Поход обещал нам удовольствие, по крайней мере, разнообразие, и ожидания наши были исполнены. Для раненых и слабых здоровьем были даны особенные подводы, также все наши вещи были перевезены; я охотно шел пешком всю дорогу, никогда не знал усталости, и не мудрено, ибо служил некогда в легкой пехоте. По случаю малого числа селений по большой дороге, до Верхнеудинска имели мы ночлеги и дневки в Бурятских юртах, нарочно для того свезенных на определенные места кочевавшими вокруг бурятами. Юрты эти не иное что, как конусообразные палатки из войлоков; в каждой юрте помещались свободно по четыре человека. В первые шесть дней нашего похода лил непрестанный дождь, но огни, расположенные в середине юрты, высушивали наше платье, и после этого ненастья погода постоянно нам благоприятствовала. В 39-ти верстах от Читы перешли мы хребет Нерчинских гор, потом спустились в степь бурятскую и только в нескольких верстах от большой дороги видели рассеянные юрты сего кочующего племени.

В бурятах, сколько мог заметить мимоходом, видел я людей добродушных, честных и довольно понятливых, но до крайности неопрятных и беспечных; летом и зимою носят они засаленные шубы на голом теле; как мужской, так равно и женский пол имеют шубы одного покроя. Бурят, выйдя из своей дымной юрты, не делает ни шагу без коня, на седле сторожит он свое пасущееся стадо, спокойно спит на седле и наслаждается, когда имеет табак, который он курит из гильзы, небольшой и короткой трубки, сделанной из меди, как чубук, так и трубка; курит он не иначе, как глотая дым. Нередко встречал я бурят, перекочующих с места на место; хозяин на коне, с ним жена и дети, также на конях; войлока, тоненькие колышки и решетчатые перила для натягивания юрты; один плоский чугунный котел, который служит для него вместо чайника и самовара, ибо в оном варят они любимый свой кирпичный чай; деревянное корытце — его блюдо и чаша, весь дом его, и всю эту утварь везет одна лошадь, запряженная в двухколесную тележку, коей колеса по большей части без спиц и сделаны из цельной доски. Таким образом со всем семейством своим и домом гонит он впереди свой табун, рогатый скот и баранов; где находит хорошее пастбище и по близости ручей или озеро, там живет он до тех пор, пока имеет корм для своих стад; сам же он не прихотлив, баранина – его лакомство, впрочем ест он всякое падалище, пьет кобылье молоко и из сего последнего приготовляет свое вино. Не упоминаю о верованиi их, о религиозных обрядах: об этом уже много было писано; я же не мог быть в их кумирнях и никого не встретил из бурят, который хорошо и толково говорил бы по-русски, и на большую часть моих во-

просов отвечал: «таймал угей» (нет переводчика). Буряты в некоторых местах начинают заниматься земледелием, о чем буду говорить в другом месте.

Миновав бурятскую степь, шли мы гористыми местами; горы имеют вид грубый. От самой Читы до Верхнеудинска, 480 верст, видел я только две церкви; небольшие деревни по большой дороге находятся в 30 верстах друг от друга; в этих деревнях настроены почтовые дома. По бурятской же степи нет ни одного селения: вы видите только станции, на коих ничего нельзя достать, должно запастись даже хлебом.

Деревня Ононской бор, находящаяся в 167 верстах от Верхнеудинска, останется навсегда памятной для меня. Она заключает в себе лучшее воспоминание моей жизни: там увидел добрую мою Annette после долговременной разлуки. Она была тогда слаба здоровьем, утомлена от дороги и я имел утешение видеть, как она с часу на час поправлялась. Я ждал прибытия ее ежедневно, но 27 августа имел особенное предчувствие: хотя устал от перехода, не мог уснуть после обеда и при малейшем стуке колес по мосту, близлежавшему от наших юрт, вскакивал мгновенно и сто раз был обманут. Не давал покоя моим добрым сопутникам, двум Бестужевым и Торсону, с которыми занимал одну юрту, поднимая беспрестанно войлочную дверь. Наконец, в четвертом часу вышел из юрты, увидел издали почтовую повозку, быстро катившуюся, но я не мог полагать, чтобы Annette в ней ехала; повозка все ближе и ближе, я заметил дамскую шляпу и зеленое на ней покрывало, выбежал на дорогу и был в об'ятиях моей несравненной Annette.

Вы, добрая сестрица, можете себе представить мое счастье. Несколько минут были мы безмолвны, сердца одни бились, говорили; после того первое наше слово было Энни [1]) и вместе залились слезами.

Кончаю мое письмо; в следующем получите продолжение. Обнимите моего Энни; целуйте его каждый вечер, каждое утро, когда он собирается спать или когда встает, и, обращаясь к портретам мамы и папы, говорит: прощай папа и мама душа, я иду спать и здравствуй папа и мама и Атий [2]). С этою почтою мы не имеем письма из Каменки [3]), ожидаем будущей. С лучшими для Вас пожеланиями остаюсь навсегда с верною дружбою

Вашим братом Андрей Розен.

---

[1]) Сын Розена Евгений, которого мать, уезжая к мужу в Сибирь, оставила на попечение сестры своей, Марии Васильевны.

[2]) Сын Розена Кондратий, родившийся в 1831 г. в Петровском заводе.

[3]) В с. Каменке, Изюмского уезда, Харьковской губернии, жил брат А. В. Розен, И. В. Малиновский.

Б. Кубалов.

Члены „Тайного общества военных друзей“ на каторге и поселении.

Западные окраины России не остались безучастными к тому движению, которое на севере и юге ее вылилось в декабре 1825 г. в определенные формы вооруженного восстания. Как в Петербурге, Тульчине, так и в Вильне, Белостоке крепли революционные тайные общества, устраивались кружки, учреждались масонские ложи, вырабатывались планы, имевшие целью восстановить Польшу в пределах 1772 г., произвести переворот в самой России, и намечались пути к их осуществлению.

В момент воцарения Николая I из таких обществ активно выступило учрежденное в 1825 г. «Тайное общество военных друзей». Основателем и душою его был шляхтич Михаил Рукевич; при ближайшем содействии подпоручика Гофмана, он вербовал членов общества среди офицеров и солдат отдельного Литовского корпуса.

Есть основание предполагать, что комитет общества имел сношения с Северным тайным обществом. Со стороны Южного также были приняты меры к пропаганде среди литовского корпуса. «Отмеченные в переговорах С. Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина с представителями польских патриотических обществ беспокойство и опасение относительно того, какое положение займут войска Литовского корпуса», подтверждают эту мысль [1]).

Несомненно, близость членов «Тайного общества военных друзей» к декабристам сказывается и в той тактике, которая ими проводилась в момент возмущения пионерного батальона Литовского корпуса. Для возмущения войск были пущены в ход те же приемы, которыми подготовлялось восстание 14 декабря 1825 г., и были выброшены те же лозунги, которыми

---

[1]) А. А. Сиверс. «Тайное общество военных друзей». «Дела и дни» 1920, кн. I, стр. 240.

инициаторы восстания пытались привлечь солдат, действовавших на Сенатской площади; то были: уменьшение срока военной службы и увеличение жалованья. Одновременность выступления на Сенатской площади и в Белостоке также указывает на связь «Тайного общества военных друзей» с тайными организациями Петербурга.

Однако, революционные общества в Зап. России поблекли, не успев расцвести. Пережив ненадолго родственные им по духу и целям Северное и Южное общества, они в конце-концов разделили их судьбу, будучи разгромлены до конца.

В январе 1826 года, после неудачного восстания пионерного батальона, было окончательно ликвидировано и «общество военных друзей»; члены его подверглись разного рода наказаниям. Уже в декабре 1825 года были арестованы Гофман, Рукевич, а также игравшие видную роль в обществе К. Игельстром и А. Вегелин.

Как Игельстром, так и его двоюродный брат Вегелин — один в чине капитана, другой поручика—служили в Литовском пионерном батальоне, расположенном в Белостоке. Не только за отказ принести присягу Николаю I, но и за возмущение солдат к неучинению присяги новому императору, они были арестованы и привлечены к суду военной комиссии. Одновременно с ними предстал перед судом Рукевич, которого связывали с Игельстромом и Вегелиным узы тесной дружбы.

Из выписки, составленной в Аудиториатском департаменте по военно-судному делу Литовского пионерного батальона, видно, что «Рукевич был побудительною причиною поселившейся мысли в капитане Игельстроме, подпоручике Гофмане и рядовом Требинском к заведению и усовершенствованию между военными офицерами тайных обществ, содействуя им своими советами к распространению таковых, но не принадлежа к оным сам лично, управлял ими. Что в половине декабря 1825 года, за десять дней до получения о присяге повеления, поселил мысль в Игельстроме к возмущению части войск Литовского отдельного корпуса на неучинение верноподданнической присяги» [1]).

Смертный приговор военного суда в отношении Игельстрома, Вегелина и Рукевича, пройдя ряд инстанций и изменений со стороны б. командира корпуса Довре, затем цесаревича Константина Павловича, был конфирмован Николаем I в таком виде: «За участие в возмущении против высочайшей власти первые двое лишаются чинов и дворянства, а последний дворянского достоинства с преломлением над головами их шпаг и ссылаются в Сибирь в каторжную работу на 10 лет; по прошествии оных, оставить в Сибири на поселении» [2]).

---

[1]) А. А. Сиверс, стр. 247.
[2]) Ц. А. В. С. Карт. 3, оп. № 31, стр. 97.

В лице осужденных мы без сомнения должны видеть декабристов. Члены «Тайного общества военных друзей» выступили одновременно с декабристами, были идейно близки к последним,— и эта близость скреплена общими страданиями в каторге и в ссылке на поселении. Сами декабристы считали их своими товарищами-единомышленниками[1]), да и Николай I в лице «друзей из Белостока» видел декабристов, и при том весьма опасных.

После того, как под присмотром жандармов летом 1827 г. Рукевич, Игельстром и Вегелин были отправлены из Белостока за Урал, главный штаб довел до сведения генерал-губернатора Восточной Сибири, что «государю императору угодно, чтобы преступники сии отправлены были в Нерчинские рудники, подобно государственным преступникам из С.-Петербурга, туда присланным»[2]), т. е. чтобы они были отданы в ведение коменданта Нерчинских рудников генерала Лепарского. С колодничьей партией, составленной в Тобольске, осужденные прибыли в Иркутск лишь в январе 1828 года и 15 февраля были доставлены в Читу. Об их прибытии туда упоминают в своих записках и некоторые декабристы, например, И. Д. Якушкин, а также княгиня М. Н. Волконская. «Постепенно,—говорит она,—прибывали остальные изгнанники и устраивались в тюрьме. Привезли двух поляков, из которых один, М. Рукевич, заставлял нас много смеяться своими чисто сарматскими выходками. Едва он успел войти в острог, против дома Александрины[3]), как стал у ограды и с сентиментальным видом (и с сильным польским акцентом) запел старый французский романс: «dans une tour obscure un jeune roi languit»[4]). Он не был ни молод, ни красив; эта затея петь французский романс, не зная языка, нас очень насмешила»[5]).

Все трое были радушно приняты в семью декабристов и старались быть полезными ей, чем могли. Игельстром, напр., заведывал в Петровском заводе хозяйственной частью товарищеской артели, Рукевич преподавал латинский и польский языки.

---

[1]) «В ссылку». Записки декабриста Розен. Москва 1900 г., стр. 130, М. И. Муравьев-Апостол «Погостный список».

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 3, оп. № 31, стр. 93.

[3]) Александра Григорьевна Муравьева (ур. графиня Чернышева). Она жила в избе казака, находившейся против одной из трех тюрем, окруженных высоким, как мачты, частоколом. Из слухового окна на чердаке дома был виден двор тюрьмы.

[4]) «В стенах мрачной башни младой король томится» (из оперы Гретри, «Ричард Львиное Сердце»).

[5]) Записки княгини М. Н. Волконской, стр. 90. Нельзя утверждать, что М. Рукевич не знал французского языка. В школе он, без сомнения, изучал его, в семье Рукевича говорили на нем. Сестра его, напр., пишет прекрасно по-французски, да и сам Рукевич получал не раз письма на французском языке. В чем, действительно, справедливо утверждение Марии Николаевны, так это насчет акцента Рукевича. От него он не мог отделаться до самой смерти.

И тот, и другой были прекрасными музыкантами; один недурно играл на флейте, а другой — на скрипке. В часы досуга музыка была лучшим средством забыться от невзгод и тоски однообразной жизни. Вегелину в 1832 году, когда все декабристы уже были переведены в Петровский завод, было поручено наблюдение за общим огородом.

Один печальный факт принес огорчение друзьям, это — покушение на самоубийство Вегелина. «Доктринер по натуре, он везде был важен и серьезен, смотрел на все критическим взглядом, выражался докторально. Товарищи по тюрьме и ссылке прозвали его диктатором»[1]). Тщеславный, но не одаренный блестящими умственными способностями, говорит Завалишин, он не мог вынести той тонкой иронии, которая иногда сквозила в словах товарищей по его адресу, и принял сильную дозу яда.

Д. Завалишин, заподозрив неладное, принудил его сознаться в приеме яда и принять бывшее под рукою противоядие. Последствия яда, говорит Д. Завалишин в своих записках, долго еще держали Вегелина между жизнью и смертью[2]). Конечно, в этом покушении Вегелина на самоубийство не все ясно. Заключения Завалишина мало основательны и имеют заднюю мысль — набросить тень на товарищеские отношения декабристов, которые в большинстве относились к самому автору записок весьма отрицательно. Д. Завалишин не учел душевного настроения Вегелина. Оно прекрасно передано в письмах Ентальцевой, Волконской, адресованных сестре Александра Ивановича, М. И. Козенс. «Одна мысль, что (он) нанес своим несчастием печаль вам и всему семейству, пишет Ентальцева, отравляет его спокойствие и раздирает душу», «духом он страдает только за вас и за всех любезных родных»[3]).

Это не были одни лишь пустые слова. Вегелин действительно страдал. Особенно угнетала его мысль о матери, от которой, по настоянию Вегелина, скрывали о постигшей его каре. «Он умоляет вас, пишет Волконская г-же Козенс, не говорить вашей матушке о постигшей его несчастной участи; не выводите ее из заблуждения, старайтесь укрепить в ней уверенность, что ее сын все еще на службе и вернется к ней; не отравляйте ее старости»[4]).

В 1831 году та же Волконская так рисует душевное состояние Вегелина. «Он пользовался бы значительно большим душевным покоем в том неизъяснимом положении, в каком он находится, если бы только состояние его бедной матушки не

---

[1]) Декабристы, 86 портретов. Текст пр.-доц. Головачева, стр. 67.
[2]) Д. Завалишин: «Записки декабриста», стр. 303.
[3]) А. А. Сиверс. «К истории декабристов». Письма жен декабристов о Вегелине. «Огни», кн. 1-ая, СПБ. 1916, стр. 122—123.
[4]) Там же, ст. 128.

ставило бы его переживать ужасные минуты. Мысль о полой ее неосведомленности в отношении его не перестает угнетать его» [1]).

Чуткий, отзывчивый по натуре своей, он близко принимал сердцу горе своих друзей. Родные Игельстрома долгое время не хотели знать своего сына, не писали ему ничего. Это угнетало Вегелина, он просит Волконскую написать сестре, чтобы она передала родителям Игельстрома, как несчастен их сын вследствие их жестокого молчания [2]).

Я полагаю, что скорее всего угнетенное состояние духа, вызванное тем ложным положением, в которое поставил себя Вегелин, усиленное к тому же горем его друзей и сознанием безотрадной будущности, было причиною, заставившей его попытаться покончить счеты с жизнью.

Что же касается Игельстрома, то и его душевное спокойствие не всегда находилось в состоянии равновесия. Со дня его ссылки до 1832 г. он не получал никаких известий ни от отца, ни от кого-либо из своих родственников. «Мысль, что отец отказывает ему в своей дружбе и предоставляет его всецело своей участи, заставляла его переживать очень печальные минуты», пишет о нем Юшневская. Он жил надеждою, что отец его прервет, наконец, свое молчание и проявит к нему чувства родительской любви и заботливости.

Рукевич же, как натура менее сложная и к тому же оптимистически настроенный, легче переносил тяжести и невзгоды каторги. К тому же и его родные, главным образом сестры Ксаверия и Корнелия, принимавшие участие в процессе «военных друзей» и отделавшиеся кратковременным заключением в монастыре, проявляли заботливо-бережное внимание к своему брату.

Время пребывания в тюрьме, сокращаемое следовавшими один за другим манифестами, прошло сравнительно быстро, — в 1833 году друзья должны были проститься с петровскими узниками и выехать на поселение.

Первоначально государственных преступников водворяли на жительство в разных селениях и городах по-одиночке, кроме некоторых, которым, в силу особых ходатайств, разрешалось жить по-двое.

В начале 1833 года А. И. Вегелин был водворен в Среденском, Игельстром — в Тасеевском, а Рукевич — в Коркинском селениях, отстоящих одно от другого на расстоянии свыше тысячи верст.

Положение поселенцев в ссылке для многих из них было тяжелее пребывания на каторге. Своевременно не было даже оставлено правил, которыми регулировалась бы их жизнь на поселении; они издавались постепенно под влиянием целого ряда

---

[1]) Там же, стр. 141.
[2]) Там же, стр. 132.

фактов и велений самой жизни. Недовольство декабристов своим положением в ссылке неоднократно сказывалось в их письмах к родным и друзьям. Обо всем этом, конечно, не могли не знать как стоящие во главе правления Сибири, так и в самом Петербурге. Генерал-губернатор Лавинский под незаметным влиянием Цейдлера писал в III отделение: «Так как крайность весьма часто доводит людей до отчаяния, то к предупреждению всяких неприятных последствий я признаю с моей стороны совершенно необходимым к возможному облегчению настоящего положения государственных преступников»[1]). Лучшей иллюстрацией несносного положения ссыльных, водворенных на поселении, может служить письмо Игельстрома, адресованное им своему другу, декабристу Ал. Крюкову[2]).

«Любезный друг Александр Александрович.

«Вот два месяца, как я здесь, и эти два месяца показались мне двумя годами. Ты знаешь, что я не жаждал поселения, но весь ужас настоящего положения моего никогда мне не представлялся. Все, что товарищи наши писали о поселении, нисколько не увеличено, и ты можешь сам судить о нем по наставлению, которое я получил на другой день после моего приезда. Я переписываю его слово в слово.

Наставление.

По высочайшей государя императора воле, я согласно данному мне предписанию г. Енисейского гражданского губернатора, определив тебя на поселение в с. Тасеевское, предписываю следующие правила:

1. Находиться в послушании и повиновении волостного и сельского начальства, не имея никаких связей и знакомства ни с кем, а особенно с людьми, замеченными в дурном поведении.

2. Внушаю сим стараться обзавестись сельским хозяйством, быту поселянина соответствующим, на каковой конец, согласно высочайшей воле, можешь получить от родственников своих, если они будут к улучшению твоей жизни сопутствовать, до 2.000 руб. и впоследствии на содержание получать по 1.000; каковая впрочем сумма будет выдаваться по мере нужды, и однако же тогда, когда будет доставлена твоими родственниками.

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 7, оп. № 132, стр. 15.

[2]) Письма этого адресат не получил, оно было задержано губернатором и хранится до сего дня в деле, озаглавленном: «Разная переписка относящаяся к делам о государственных преступниках». Ц. А. В. С. Карт. 7, оп. № 132, стр. 10—13.

3. Ни под каким предлогом не дозволяю тебе из села Тасеевского без разрешения моего выезжать, в случае же надобности предварительно через волостное и сельское начальство просить моего согласия.

4. Всякое огнестрельное оружие иметь при себе строго воспрещаю.

5. Если желаешь посылать к родственникам или кому другому письма, сие дозволяется только с тем, чтобы по наружности запечатанного пакета было адресовано на имя его п-ства г. енисейского гражданского губернатора, каковые и отдавать вообще за присылку оных страховыми и весовыми волостному голове для доставления ко мне, получая в сем расписки, без соблюдения же сего правила налагается на тебя законная перед судом ответственность.

6. Если пожелаешь для себя выстроить или купить дом, а также и другое какое заведение, могущее приносить пользу, то о сем предварительно об'явить волостному или сельскому начальству и дожидаться надлежащего моего разрешения, другие же предприятия не дозволяются.

7. В случае нанесения тебе обид или каких особенных надобностей, имеешь право об'являть мне при проезде через село и

8. Предписав тебе сии правила, я предупреждаю, что всякое малейшее их неисполнение наложит на тебя ту ответственность, какая определена ослушникам противу власти, законом установленной; напротив же, похвальное поведение, покорность правам, законом налагаемым, повиновение им установленному начальству, даст тебе случай ожидать его снисхождения. Подлинное подписал канский земский исправник Шевелев».

Итак, от меня требуют, чтобы я пахал землю; я пробыл 10 лет в кадетском корпусе, 10 лет в военной службе и 7 лет в разных тюрьмах — спрашиваю, где я мог научиться сельскому хозяйству? Но ежели бы я и знал его, то каким образом могу я обрабатывать землю, которая в 20 верстах от селения, когда каждый раз, что мне надобно ехать на пашню, я должен посылать за 170 верст испрашивать позволения. Прочие же предприятия запрещены; что же мне остается делать для доставления себе куска хлеба? Просить помощи у отца? А ежели отец мой не в состоянии к улучшению жизни моей сопутствовать? Итти в работники? — Из хлебов не возьмут. Мне запрещено иметь огнестрельное оружие, а я живу в 28 верстах от Троицкого солеваренного завода... Летом уходят из Троицкого завода работники и являются в Тасеевское грабить; набеги сии бывают здесь не редки; итак, ежели которому из сих незванных гостей вздумается навестить меня, то я должен сложа руки смотреть, как он будет выбирать, что ему понравится из моих вещей, и подставить шею, ежели ему угодно будет перерезать ее; прибавь ко всему этому ужас одиночества и ты будешь

иметь понятие о поселении. Если положение сие не изменится, то честью тебе клянусь, есть от чего с ума сойти. И теперь даже, временем, находит такая тоска, что не знаешь, куда деваться, нет возможности приняться за что-нибудь; начну читать — и вместо Ганемановой системы вижу перед глазами данное мне наставление; сяду писать — а все идеи мои сосредоточены в одной: ежели батюшка мой не будет в состоянии к улучшению жизни моей сопутствовать, то что я должен делать?».

Действительно, в Тасеевском Игельстром не мог примениться к условиям жизни, не мог примириться и с беспринципностью, ленью и пьянством его обитателей. Как человек, не имеющий еще своего хозяйства, он принужден был ютиться на частной квартире. Стол его не блистал разнообразием: ежедневно подавалась кашица на воде, 3 или 4 штуки отварного картофеля, 2 свеклы, а иногда ячменный кисель, ко всему этому неизменно подавался хрен, разведенный на пивном уксусе. За квартиру и стол поселенец платил 15 рублей в месяц. Затем он подыскал для себя деревянный дом, оцененный в 75 рублей, да поправка и отделка его должны были обойтись во столько же[1]).

Желая скрасить горечь одиночества Игельстрома, сестра его, Поплонская, обратилась в апреле 1834 г. к Бенкендорфу с просьбой разрешить ее брату «посещать иногда находящегося на поселении в с. Шушенском государственного преступника Фаленберга, дабы доставить брату через беседу с Фаленбергом некоторое развлечение». Бенкендорф отправил это письмо на заключение ген.-губернатора. «В указе Правительствующего Сената от 26 мая 1827 г. о дозволении торговли и промыслов по свидетельствам сибирским крестьянам из поселенцев, изображено: в заседании 12 апреля 1827 г. об'явлено комитету министров, что по сей статье последовало собственноручное его величества повеление: «Согласен, но не распространять сего дозволения раз'ездов вне мест ссылки на тех, кои оной подвергнуты приговором Верховного Уголовного Суда»: то на основании таковой высочайшей воли, не решаясь сам собою удовлетворить настоящую просьбу г-жи Поплонской, я долгом поставляю предать оную на дальнейшее благоусмотрение Вашего сиятельства»[2]). Так ответил Бенкендорфу ген.-губ. Сулима.

Вскоре Игельстром получил от Вегелина предложение «разделить с ним кусок хлеба». Вегелин, человек неистощимой энергии, не растерялся в неприглядных условиях новой жизни. В первое время он занялся составлением ревизской переписи Сретенска, получая с крестьян за эту работу обусловленную плату[3]), позже, с приездом к нему сестер, отдался всецело сель-

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 4, оп. № 65, стр. 57.

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 8, оп. № 160. «Дело по отношению гр. Бенкендорфа, касательно дозволения госуд. прест. Игельстрому посещать такового же Фаленберга».

[3]) Ц. А. В. С. Карт. 7, оп. № 143.

скому хозяйству, и к концу 1833 г. успел создать образцовое хозяйство.

Нет ничего удивительного, что Игельстром, получив предложение от брата переехать в Сретенск, тотчас же обращается к Бенкендорфу с просьбой «дозволить переселиться Нерчинского края в село Сретенское для совместной жизни с двоюродным братом». Ведь 22 года жил он с Вегелиным почти неразлучно и, кроме родства, узы дружбы соединяли их с детства [1]). Разрешение было дано и 16 июня 1835 года Игельстрома мы видим уже в кругу родной ему семьи Вегелиных.

В январе 1836 г. состоялось повеление Николая I определить Игельстрома рядовым в отдельный Кавказский корпус «с учреждением за поведением и образом мыслей его самого бдительного надзора» [2]). Через год та же участь постигла и Вегелина, при чем ему дано было разрешение «остаться в Сретенске нужное для устройства домашних его дел время» [3]).

Прошло десять лет со дня осуждения членов «Тайного общества военных друзей», а в глазах Бенкендорфа они еще были опасными людьми. Уряднику Лютикову, назначенному сопровождать Игельстрома на Кавказ, дано было наставление «чтобы он, находясь при Игельстроме безотлучно, имел за ним самый бдительный надзор; нигде бы не останавливался и не допускал бы посторонних иметь с ним сношений, особенно государственных преступников и поляков, и вообще бы неослабно наблюдал за поведением его и образом мыслей».

Как Игельстром, так и Вегелин увидели лучшие дни. И тот, и другой, дослужившись до офицерских чинов, вышли в отставку и в кругу родных проживали на юге России, Игельстром—в Таганроге, Вегелин—в Одессе, где и умерли один в 1851 г., другой в 1860 г.

Печальнее сложились условия жизни их друга и единомышленника, Михаила Ивановича Рукевича. В феврале 1833 г. он был поселен в небольшой деревне Коркиной, расположенной на берегу р. Лены и насчитывавшей не более 50 крестьянских душ. Обосновался Рукевич в отдельном флигеле, принадлежавшем крестьянину Исакову, дочь которого, Елизавета Ивановна, согласилась управлять незатейливым хозяйством прибывшего поселенца. О первых днях жизни Рукевича в деревне эпически повествует Верхоленское волостное правление: «Михайло Рукевич имеет образ жизни соответственный тамошним поселянам, нрава же и характера тихого и скромного. Занятие его состоит в чтении книг, а промышленность и все приобретения его заключаются из одного промысла рыбы в р. Лене, протекающей

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт., оп. № 189, стр. 2.
[2]) Ц. А. В. С. Карт., оп. № 289, стр. 1.
[3]) Ц. А. В. С. Карт. 14, оп. № 337, стр. 7.

мимо Коркинского селения и от сего единственно он имеет пропитание»[1]).

Пребывание в Читинском остроге и Петровском заводе подорвало и без того недостаточно крепкий организм Рукевича. В Коркинском он неоднократно болел.

К концу 1833 года умерли его родители. Заботиться о нем продолжала лишь его сестра. Получив от брата письмо с описанием места ссылки, с извещением о повторяющихся припадках горячки, сестра обратилась к Бенкендорфу с просьбой о переводе ее брата в более благоприятное по климатическим условиям место.

Ходатайствуя о переводе брата в другое место, она просила в то же время о разрешении брату заниматься хлебопашеством и торговлею, которые могли бы облегчить тяжесть его ссылки и предохранить его от преждевременной смерти. Желание сестры совпадало и с планами самого Рукевича, подавшего и от себя просьбу Бенкендорфу о переводе в другое селение. Но пока шла переписка по данному вопросу, и к тому же в благоприятном для Рукевича смысле, он, получив разрешение заниматься хлебопашеством, обзавелся хозяйством. Прошел лишь год его пребывания в ссылке, и Рукевич уже отказывается от мысли оставить Коркино, «к положению и климату которого, как пишет он Бенкендорфу, начал уже привыкать».

С этого времени он весь уходит в заботы о хозяйстве. Его подвижность и предприимчивость были теми качествами, которые скрашивали неприглядное прозябание в ссылке и давали возможность ему жить сравнительно безбедно, тем более, что и сестра не оставляла его без посильной поддержки.

Через год он уже мечтает о собственном доме и просит губернатора подтвердить сельскому начальству о наделении его пахотной землей и сенокосом, ибо в прошлом году он получил лишь десятину леса. Вместе с тем он ходатайствует о разрешении отлучаться ради религиозных целей в ближайшие селения Тутурское и Верхоленское[2]) (смотря по состоянию дороги и времени года), так как в Коркиной не было храма. Все просьбы Рукевича были удовлетворены, исключая одной: раз'езда по волости «для удобного снабжения себя с'естными припасами», поелику, как пишет Бенкендорф, по установленным для государственных преступников правилам, воспрещается им отлучаться из мест их жительства[3]). Но это запрещение, собственно говоря, не имело никакого практического значения для Рукевича, раз ему дано было право выезда для удовлетворения религиозных запросов в села, где были церкви. Все это вместе взятое опре-

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 8, оп. № 148, стр. 14.

[2]) Тутурское — в 46 верстах от Коркинской дер., Верхоленское — в 39 верстах.

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 8, оп. № 48, стр. 31.

делило круг деятельности Рукевича: рыбная ловля отходит на последний план, и Михаил Иванович, примирившись с положением поселенца, со всем пылом отдается знакомому ему занятию сельским хозяйством и торговле.

Получив земельный надел, установленный высочайшим повелением 1835 г. для каждого государственного преступника в 15 десят., Рукевич принялся за постройку дома. Для приобретения необходимых материалов, для найма столяра, которого в Коркиной нельзя было найти, а также для закупки хлеба он часто выезжал в ближайшие селения, где, как общительный человек, заводил знакомства.

Отлучки эти не считались запрещенными. Дело в том, что губернатор Цейдлер, принимавший близко к сердцу положение поселенных в его губернии декабристов, познакомившись с содержанием письма Игельстрома к Крюкову, подал генерал-губернатору мысль исходатайствовать для государственных преступников разрешение «иметь выезд из селений для земледельческих работ на отведенные им места под наблюдением местного начальства на необходимое время, а равно и в город для необходимых нужд». Эта мысль Цейдлера была одобрена шефом жандармов, и поселенцы-декабристы получили возможность отлучаться с мест водворения в округ как за покупками, так и на работу на своих лугах, а также и на пахотных землях, отведенных вдали от жилья.

Так незаметно письма декабристов оказывали влияние на практику местной и центральной власти. Ведь только благодаря письму Игельстрома, в котором талантливо и не без иронии была вскрыта вся ненормальность положения поселыцика-декабриста, лишенного даже права выехать за поскотину, хотя бы и для обработки своей земли, у Цейдлера и явилась мысль возбудить указанное нами ходатайство. И это, конечно, далеко не единичный случай[1])

Частые отлучки Рукевича из села были тесно связаны с его торговыми делами. Не довольствуясь веденнем сельского хозяйства, он вел небольшую торговлю, отпуская в кредит крестьянам товары и т. д. Рукевича считали зажиточным поселенцем.

Однако, и при сравнительном материальном обеспечении Рукевичу все же не повезло и пришлось вынести много горьких минут, нравственных мук и уколов самолюбия. Особенно много огорчений принес ему конец 1836 г. и начало 1837-го. То был тяжелый момент в жизни ссыльных, а особенно ссыльных поляков. За последними был установлен более строгий надзор, поляки-солдаты, заподозренные в неблагонадежности или просто оговоренные кем-либо, рассылались по гарнизонам, расположенным в отдаленных местах. Эти меры строгости находились

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 13, оп. № 325, стр. 24.

в связи со слухами о предполагаемом бунте поляков, о замыслах их произвести беспорядки в Сибири и освободиться таким путем от каторги и ссылки. Клеветниками-доносчиками были отчасти и сами поляки, как, напр., Шклинский, Соколовский или проходимец Платер...

Среди целого ряда мер, предпринятых властями для предупреждения бунта, было произведено дознание и расследование в селениях, расположенных по Якутскому тракту. Чиновнику особых поручений Тюменцеву дано было приказание расследовать все дело и найти тех лиц, на которых, как на главарей предполагаемого восстания, указывали доносчики.

Не найдя ни в одном из сел по Ленскому тракту указанных в доносах лиц, Тюменцев, на основании показаний опрошенных им солдат, принужден был обратить внимание и на живших по Лене декабристов Колесникова, Дружинина и особенно Рукевича. Показания солдат Соколовского и Брацславского, а также Платера бросали тень на Рукевича и других декабристов, напр., Колесникова, Беляева. Они утверждали, что многие декабристы-поселенцы были осведомлены о предполагаемом восстании поляков, что Рукевич, напр., «свидясь в Знаменской слободе с Брацславским, просил его передать написанную по-французски записку некоему Мистковскому, одному из главарей предполагаемого восстания, с наказом, чтобы тот, по прочтении записки, сжег бы ее». «Из беседы с Рукевичем, показывает Брацславский, я вывел заключение, что он имеет какую-то надежду на скорое освобождение».

Ни Колесникова, ни Дружинина, ни Рукевича следователь не застал дома, они выехали в окружные селения. Тогда Тюменцев отправил находившегося в его распоряжении казачьего офицера отыскать прежде всего Рукевича, а сам, произведя обыск в квартире поселенца, стал расспрашивать находившуюся в услужении у Рукевича девушку и некоторых поселян о поведении Рукевича, о домашней его жизни, о связях и т. п. Елизавета Исакова, «живущая в родительском доме и совокупно с тем, при хозяйстве Рукевича, имеющего жительство в том же доме, только в отдельной избе, показала, что Рукевич занимает у них в доме квартиру четвертый уже год, в каковое время она, по управлению хозяйством его, находится к нему так близко, что все поступки его ей известны совершенно; однако же она в них ничего подозрительного доныне не видела, так как совершенно знает, что он ни ружей, ни пороху, ни другого чего-либо вредного не имел и не имеет. Знакомство же его, как она видела и видит, бывает более в проплав летом судов с хорошими купецкими людьми, у которых покупает он нужные для него товары; подозрительных же людей в числе знакомых его она не заметила». Затем, свидетельствуя о доброте поселенца, Исакова говорит, что он никогда не отказывает в помощи бедным, обращающимся к нему за помощью. «Что же

касается найденного при обыске в небольшой кладовой ружья-дробовика, то оно принадлежит не Рукевичу, а братьям ее». Иного показания Елизавета Ивановна дать не могла. Не надо забывать, что она была матерью двоих детей Рукевича и его участь для нее была не безразлична.

Допросив живших до дворе крестьян, Тюмянцев пришел к выводу, что все добытые им «отзывы» не навлекли на Рукевича никакого подозрения и ничего особенного не представляли.

Доставленный офицером в Коркино, Рукевич немало был удивлен обыском и строгим допросом. Ему ставились в вину сношения с препровождаемыми через Коркино арестантами, оказание им материальной поддержки, пересылка через них писем и, наконец, самовольный, без ведома начальства, выезд из места поселения. Все эти обвинения, не будучи опровергнутыми, могли бы ухудшить положение Рукевича в ссылке. Вот почему он пускает в ход всю силу своего красноречия и на пяти полулистах дает пространное об'яснение по всем пунктам допроса.

Просмотрев написанное, Рукевич счел нужным прибавить еще и об'яснение. «По сделанным мне допросам и строгим обыскам, я вижу себя замешанным в обстоятельства, о которых даже подумать считаю высочайшею глупостью и подлостью. Желание сохранить спокойствие, двое детей и нажитое с трудом хозяйство, как равно и мнение о себе высшего начальства, которого попечение о нас заставляет нас благодарить как можно лучшим поведением и приобретением его доверия, желание сие принуждает меня дать следующие об'яснения. Получение по высочайшему повелению хлебопахотной земли возбудило ко мне негодование крестьян, способных во всяком разе пособить клеветникам всякого рода. Усердные занятия мои около пашни и некоторые малые обороты, как-то покупки мелочного товару, мена его на белку и хлеб, поправив мое состояние, обратило на меня зависть ленивых и развратных людей, желающих все сравнить с собою, а принятых мною всегда с пренебрежением. Довольно двух упомянутых причин к повреждению человеку, уже в положении своем выставленному более других на всякие удары людей порочных, знающих при том, что не только совершенным удалением меня от места моего жительства, но даже временным отвлечением от хозяйственных моих занятий, я приведен буду в крайнее разорение, ибо все мое богатство состоит сегодня в одном только недвижимом имении и хлебопахотных заведениях» [1]).

Эта часть об'яснения указывает на наличность назревавших между Рукевичем и крестьянами ненормальных отношений. В конце-концов, чтобы гарантировать себя на будущее время

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 13, оп. № 325, стр. 57.

от возможности быть обвиненным в сношении с пересыльным элементом, он обращается к начальству с наивной просьбой «приказать кому следует не допускать ко мне под стражею находящихся людей и, если заблагорассудится, взять с меня подписку не принимать никакого участия в судьбе проходящих арестантов». Характернее всего, что этой мерой Рукевич надеялся не только отдалить от себя подозрение начальства, но даже возвратить его доверие к себе, «которое, пишет он, старался я заслужить моим поведением, а теперь утерянное одною ябедою, доверие, составляющее большую часть моего благополучия».

Все это об'яснение, психологически оправдываемое в положении сосланного, по существу было излишне, тем более, что у самого следователя складывалось убеждение не только в непричастности Рукевича к делу, но и в том, что он был попросту оговорен и оговорен из чувства мести Платером [1]).

Вся история с предполагаемым восстанием поляков не прошла бесследно для заброшенных в Ленский край декабристов. Как Рукевич, так и осужденные по оренбургскому процессу (Колесников и Дружинин) за самовольные из села отлучки понесли незаслуженное наказание. К каждому из них приказано было приставить для надзора по одному казаку, при чем Рукевич и другие были предупреждены, «что если кто в подобном поступке (выезде без разрешения) обнаружится, то будут судимы по законам, как за побег».

Досталось и местной власти. Генерал-губернатор пригрозил исправникам и заседателям, что за слабое в будущем за поселенными государственными преступниками смотрение они подвергнутся суду и отрешению от должности [2]).

Казак Белоусов, невольный спутник жизни Рукевича, свалился на него, как снег на голову. Прибыв в Коркино в апреле 1837 г., Белоусов об'явил поднадзорному, «что в виду его, Рукевича, отлучек он приставлен смотреть за его поведением и не допускать выезда его из села». В этом новом стеснении Рукевич усмотрел не произвол начальника края, а лишь последствия какой-то ябеды, поданной генерал-губернатору одним из недоброжелателей коркинского поселенца. Вот почему Рукевич обращается к генерал-губернатору, прося у него защиты «против злости неспокойных людей, завидующих спокойству и при-

---

[1]) Платер летом 1836 г. бежал из завода; задержанный на Коркинской станции, он об'явил, что он — посланный и везет пакет чиновнику Масикову. Когда на станции никто не мог разобрать «немецкого», как утверждал Платер, письма, то пакет принесли Рукевичу, который на конверте и на вложенном в него листе бумаги увидел вместо немецкого текста какие-то крючки и высказал предположение, что составитель этого «немецкого» письма должно быть большой плут. Затея Платера обмануть задержавших его была разоблачена, и, считая Рукевича виновником неудачи, он стал мстить ему.

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 13, оп № 325, стр. 303.

обретенному с трудом куску хлеба, человеку совершенно различного с ними сложения» (sic). С другой стороны, Рукевич просит разрешения выезжать, хотя бы и с приставленным казаком, как в волость для собирания годовых припасов, или данных за них вперед денег, в Качуг и Верхоленск во время ярмарки и на Лену во время сплава по ней.

Под охраной казака Рукевичу пришлось пробыть около года [1]).

В первые два года управления Восточной Сибирью генерала В. Я. Руперта Рукевич не мог пожаловаться на несправедливое отношение или притеснения со стороны власти. Напротив, круг деятельности Рукевича становится шире: Михаил Иванович не сидит постоянно в деревне, а раз'езжает по округе, не пропуская ярмарок и даже по своим торговым делам получает разрешение приехать на трое суток в г. Иркутск.

Руперт, знакомясь с вверенным ему краем, следуя в Якутск, остановился в деревне Коркиной. Здесь Рукевич обратился к нему с просьбой «дозволить заняться какою-либо должностью» у частных лиц и в то же время просил содействия генерал-губернатора по взысканию с какого-то Эноха Милославского, жившего в Петровском заводе, следуемых с него в пользу Рукевича 75 рублей [2]).

Просьба, подкрепленная позже еще и письмом Рукевича к генерал-губернатору, была удовлетворена. Деньги были в административном порядке взысканы с Милославского и переведены Рукевичу, а на право заниматься у частных лиц ему было выдано свидетельство.

Участливое отношение со стороны нового генерал-губернатора окрыляло Рукевича и давало ему возможность всесторонне проявить свою энергию, однако, интересы бывшего поссессора часто сталкивались с интересами не только местных богатеев и купцов, но и крестьян.

Мы видели, что с первых же дней поселения Рукевича в Коркиной отношения между ним и крестьянством не налаживались и к моменту следствия, производимого Тюменцевым, приняли такие формы, что Рукевич не обинуясь говорит о «негодовании» некоторых из крестьян, с одной стороны, и о своем к ним «пренебрежении» — с другой. Такое положение дел не обещало ничего хорошего, и рано или поздно, но обоюдное недовольство должно было так или иначе разрешиться.

---

[1]) Когда атаман Иркутского городового полка донес генерал-губернатору о встреченных им затруднениях при командировке казаков для надзора за государственными преступниками, надзора, являющегося для казаков большою тяжестью, то новый генерал-губернатор В. Я. Руперт, только-что прибывший к месту служения, отменил распоряжение своего предшественника. Ц. А. В. С. Карт. 13, оп. № 325, стр. 344.

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 16, оп. № 412, стр. 5. С подобными просьбами Рукевич обращался и к предшественнику Руперта.

В этом смысле 1840 год был роковым для Рукевича.

О его деятельности стали доходить до слуха генерал-губернатора весьма неблагоприятные сведения; под их влиянием участливое отношение Руперта к поселенному в Коркиной бывшему поссесору стало заметно ослабевать.

Не учитывая этого факта, Рукевич, помня, что год тому назад генерал-губернатор помог ему взыскать деньги с некоего Милославского, снова обращается к нему с просьбой «о понуждении Степана Кокорина к уплате следуемых от него 250 руб. за наем лошадей для содержимой Кокориным станции». На эту просьбу генерал-губернатор кладет такую резолюцию: «не худо бы внушить Рукевичу, что я не ходатай по его делам и что он может искать следуемое там, где должно по закону»[1].

Между тем кто-то продолжал осведомлять Руперта о деятельности коркинского поселенца. И вот, еще недавно имевший случай лично удостовериться, что «Рукевич ведет себя хорошо и к поддержанию существования своего изыскивает себе пропитание законными средствами»[2], Руперт начинает сомневаться насчет «законности средств» пропитания Рукевича, особенно после того, как в сентябре 1840 г. узнает, что Рукевич самовольно занимает под засев крестьянские земли, обрабатывает их силами крестьян, не вознаграждая последних за труд, что крестьяне терпят от него «большие притеснения и обиды», что Рукевич ведет широкую торговлю, прибегая к непозволительным средствам и злоупотреблениям. Захватив все в свои руки, Рукевич, как сообщают генерал-губернатору анонимные доносчики, «составил как бы монополию» и в довершении всего «в противность законным правилам» занимается корчемством[3].

Руперт приказал произвести дознание и, не ожидая результатов последнего, отобрать от Рукевича свидетельство на право заниматься у частных лиц разными поручениями, а затем учредил за ним самый строгий полицейский надзор и предписал внушить Рукевичу, чтобы он прекратил на будущее время «подобные поступки»... Все это было подкреплено угрозой: «если же станет далее позволять их себе, то будет вытребован в Иркутск и здесь посажен в острог»[4].

Дознание производил состоящий на правах заседателя чиновник 12 класса Полуэктов. Он произвел общий опрос крестьян Тутурского участка Коркинского, Заплеснинского, Кундуйского, Петровского и Воробьевского селений.

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 17, оп. № 467, стр. 2.

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 16, оп. № 412, стр. 3.

[3]) Ц. А. В. С. Карт. 18, оп. № 484, стр. 1. Анонимы, доносы-изветы — бытовое явление Сибири тридцатых — сороковых годов, ими в полном смысле слова засыпались канцелярии должностных лиц.

В делах Ц. А. В. С. хранятся «изветы» разных лиц на Оболенского, Голицына, Лунина, Якубовича и др. декабристов.

[4]) Ц. А. В. С. Карт. 18, оп. № 484, стр. 2.

Из опроса крестьян выяснилось, что «Рукевич, кроме отведенной ему по распоряжению правительства земли, самовольно от крестьян никакой более не занимает» и они, крестьяне, землю его не обрабатывают «без возмездия, а случается, что он, Рукевич, из просьбы крестьян, по надобности в деньгах дает им заимообразно и выряживает за процент ему работать, или дать пашню под хлеб». Так доказано, например, что Григорий Рудых взял у Рукевича 15 рублей, за что последний на трех десятинах, принадлежащих должнику, засеял свой хлеб. Наум же Исаков за взятые у Рукевича 20 рублей работал «в проценты» пять дней и дал десятину под засев хлеба, но все это, как значится в акте допроса, «добровольно, а не по принуждению».

«Притеснения, утверждали крестьяне, Рукевич точно делает», выкашивая у двух из них средним числом по 18 копен, на том основании, что засеянная ими земля принадлежит будто бы Рукевичу. Самовольно застраивается, добавляют крестьяне, «и тем стесняет».

Особенно недовольство Рукевичем росло вследствие того, что он выпускал свой скот в поле прежде, чем крестьяне успевали убрать свой хлеб, скот с'едал их достояние на корню и топтал траву. Не надо забывать, что хозяйство Рукевича было поставлено сравнительно на широкую ногу.

Кроме свиней, у него было до 30 голов крупного скота, что уже одно выделяло его по зажиточности из среды остальных селян. Крестьяне подсчитали убытки, причиненные им потравою: на каждого из четырех соседей приходилось рублей до 30. На все просьбы крестьян удержать скот, Рукевич отделывался или молчанием, или же шуткой — скот-де его «оплывает городьбу по воде, и всю Лену городить невозможно».

Что же касается торговли, то из опроса крестьян выяснились интересные подробности. Рукевич производил торговлю белкою, хлебом, ситцем, даже холстом китайской выработки.

Годовой оборот его торговли крестьяне определяли до 2000 руб. «Злоупотреблений по этому обороту, говорят они, не замечали, а монополии никакой не видно».

В вопросе о корчемстве Рукевича заявление схода категорично. «Рукевич занимается корчемством, продавая вино во всякое время без всякой меры, ибо меры решительно нет никакой; подливая в оное воды, отпускает в долг и за деньги».

Торговые операции, как мы ранее говорили, создали «тесные отношения между Рукевичем и местною властью»... Теперь же, чтобы доказать свою лойяльность и выгородить себя, старшина утверждает, что коркинский поселенец «оказывает ослушание сельскому начальству тем, что для освидетельствования потравы его скотом не является».

Излишний ригоризм крестьян сказался в 7-ом пункте их опроса. Никто у них не спрашивал о семейной жизни Михаила Ивановича, однако сельчане докладывают начальству, «что он

публично и гласно имеет у себя наложницу, крестьянскую девку Исакову, с которой и прижил детей».

В заключении опроса крестьяне, удостоверяя, что показали все справедливо, просят, чтобы за потраву были взысканы с Рукевича в их пользу деньги и чтобы Рукевич не стеснял их скотом и не продавал бы вина. «Впрочем,—приходят к выводу крестьяне,—все бы лучше для блага народа, если начальство переселило бы Рукевича в другое место и тем бы сделало величайшее одолжение обществу».

В чем искать причину такого враждебного отношения крестьян к Рукевичу? Сам он неоднократно пытался дать обоснование растущей неприязни к нему крестьян и причины отыскивал не в себе самом, не в своей деятельности и поступках, а в крестьянах; в об'яснениях, данных Полуэктову, он не сходит с этой точки зрения.

Неправильный отвод земли и необ'явление крестьянам о высочайшей воле он считает исходным пунктом их недовольства, так как эти обстоятельства, по убеждению Рукевича, создали у крестьян уверенность в самовольном с его стороны пользовании землею.

Если верить Рукевичу, он — невинная жертва, преследуемая завистью людскою.

Где, действительно, Рукевич выдает себя с головою, это—в показании о том, что «никакой публичной связи ни с какой женщиной не имею». Если насчет «публичности» Михаил Иванович и прав, то отрицать наличность у него в доме детей он не решился, тем более, что в показаниях, данных еще Тюменцову, он определенно заявлял о своих ребятах. Откуда они? Конечно, в небольшой деревне знали их мать и, если сход упомянул о «наложнице», то не с целью обесчестить Елизавету Ивановну или Рукевича, а, может быть, как средство побудить Рукевича жениться на ней.

Нам думается, что корень недовольства крестьян бывшим помещиком кроется в тех приемах ведения хозяйства, которые усвоены были Рукевичем на родине и прямолинейно проводились им в приленской глуши. На первом плане ставились эксплоатация крестьянского труда, рабочей силы. В самом деле, Наум Исаков и другие крестьяне твердо стоят на том, что за 15—20 рублей, взятых ими у Рукевича, они в счет процента работали у него в течение пяти дней, что стоило не менее пяти рублей, да отдавали из своей доли земли десятину под хлеб — что ценилось рублей пять. Таким образом Рукевич брал за оказываемую крестьянам услугу до 50—75%.

Следствие было закончено, его данные заставили благорасположенного к Рукевичу представителя краевой власти окончательно разочароваться в коркинском поселенце. Однако, исполнить просьбу крестьян и перевести Рукевича, хотя бы и «для блага народа», в другое место генерал-губернатор все же

не нашел возможным, а ограничился одним лишь предписанием «учредить за Рукевичем строгий надзор; по всем действиям его, могущим заключать противное законам, порядку и нарушение тишины и спокойствия крестьян, немедленно доносить по принадлежности». Старшине же было приказано «ограждать и Рукевича от всяких стеснений, если бы таковые могли случиться со стороны крестьян, и от покушения на нарушения мирной и спокойной его жизни»[1]).

Никакие приказы, конечно, не могли уже создать нормальных отношений между Рукевичем и коркинскими крестьянами. Напротив, недовольство бывшим помещиком росло и жалобы на него со стороны крестьян не прекращались.

Стоило во время проезда в Якутск остановиться в Коркиной члену комиссии министерства государственных имуществ Щукину, как крестьяне обращаются к нему с жалобой на Михаила Ивановича.

Щукин, повидимому, принял сторону крестьян. Из письма, отправленного Рукевичем к Бенкендорфу, видно, что Щукин якобы потребовал от местного начальства лишить Рукевича земли, отведенной ему на основании высочайшего повеления.

Отобрание земли, не говоря уже о том, что лишило бы главного источника существования поселенца, было бы со стороны Щукина превышением власти. Не умаляя своего авторитета, и генерал-губернатор не мог допустить отобрания земли у государственного преступника по приказу того или иного чиновника.

Вопрос о пребывании Щукина в Коркиной остается неясным. Щукин, недолюбливавший государственных преступников, особенно декабристов[2]), услышав жалобы крестьян, нужно думать, пригрозил Рукевичу отнять у него землю, а последний, зная, что и генерал-губернатор также не особенно расположен к нему, решил, не теряя минуты, написать шефу жандармов «о насилии Щукина».

Но на этом он не останавливается, а, побеспокоив шефа корпуса жандармов, решает использовать его и просит позволения на предстоящее трехлетие содержать в Коркиной почтовую гоньбу и выступить с этою целью на торгах.

Итак, несмотря на печально сложившиеся обстоятельства, Рукевич не унывает и пытается расширить круг своей деятельности содержанием почтовой станции. Бенкендорф, получив письмо от Рукевича, отправил его Руперту, прося дать раз'яснение по существу как жалобы, так и просьб поселенца.

Конечно, генерал-губернатор не допускал и мысли, чтобы Щукин мог отобрать землю у государственного преступника.

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 18, оп. № 484, стр. 15.

[2]) Когда в 1841 г. был в Оеке арестован М. Лунин и отправлен в Акатуй, то некоторые из видных чиновников были уверены, что донос на него был сделан Щукиным. Ц. А. В. С. Карт. 20, оп. № 14, стр. 3 и 10.

Сообщая об этом Бенкендорфу, он все же предложил гражданскому губернатору удостовериться в справедливости жалобы Рукевича и распорядиться, чтобы земля не была от него отобрана без приказания самого генерал-губернатора.

Разрешить же Рукевичу содержать почтовую гоньбу Руперт не мог за отсутствием правил, которыми разрешалось бы государственным преступникам вступать в какие-либо казенные подряды.

Пролить свет на всю Щукинскую историю и посланному чиновнику не удалось, ибо производство по данному делу в сентябре 1841 г. было прекращено. Причиной тому была смерть Рукевича[1]).

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. 18, оп. № 511, стр. 9.

А. Грумм-Гржимайло.

Декабрист А. О. Корнилович на Кавказе.

В настоящем очерке сообщаются сведения о жизни на Кавказе декабриста Александра Осиповича Корниловича. За отсутствием материалов этот период его жизни еще не освещался в печати. Есть только небольшой рассказ ген. Шумкова[1]), лично знавшего Корниловича во время пребывания последнего в Царских Колодцах, в Грузии. Но и этот рассказ почти не содержит в себе данных о жизни А. О. в этой солдатской слободе. Они сохранились на страницах находящегося в нашем распоряжении семейного архива: Корнилович в своих мелко исписанных письмах к родным сам рассказывает нам свою историю и сам делается своим биографом, вполне беспристрастным. Но, прежде чем привести эти письма, надо вкратце рассказать о предшествующей жизни Корниловича и о его судьбе.

Родился А. О. Корнилович 7 июля 1800 года[2]) в г. Тульчине Подольской губ., в семье мелкопоместных дворян, поляков по происхождению, но русских по духу. Еще ребенком он был отвезен родителями в Одессу и определен в основанный герцогом Ришелье благородный институт[3]). В стенах этого учебного заведения протекли его отроческие годы. Осенью 1815 г.[4]), уже по окончании института, мы застаем его в Москве, где после испытания он поступает в известное в свое время Муравьевское училище для колонновожатых. Дух свободомыслия и чувство любви к родине, которыми было проникнуто это заведение, всецело воспринимаются А. О. Он уже со школьной скамьи делается сторонником широких преобразований в России.

---

[1]) Рассказ генерала Шумкова, «Русская Старина», 1878 г., X, 319.

[2]) Формулярный список о службе контролера Могилевской пограничной таможни, кол. ассес. Осипа Яковлевича Корниловича за 1810 г.

[3]) В 1818 году он был переименован в Ришельевский лицей.

[4]) Из семейного архива.

Еще будучи колонновожатым[1]), по желанию высшего начальства, он откомандировывается в распоряжение военного писателя Д. П. Бутурлина, поручившего ему делать исторические выписки из документов, хранившихся в Петербургском и Московском архивах иностранной коллегии. Окончив 30 августа 1816 г.[2]) с полным успехом названное училище, он продолжает еще многие годы работать в архивах. Здесь он приобретает те глубокие познания в области истории России XVII и XVIII ст., которыми отличаются все позднейшие исторические его труды. Сделавшись с 1822 года сотрудником «Сына Отечества», «Северного Архива» и «Соревнователя Просвещения и Благотворения», он успевает за 3 года поместить в них до 20 статей, проливающих новый свет на некоторые страницы русской истории. В 1823 году он привлекается в качестве сотрудника в альманах «Полярная Звезда», а в декабре 1824 года уже сам издает свой собственный альманах «Русская Старина», выдержавший в короткое время два издания. Человек исключительных дарований, отличавшийся всесторонним образованием, он поражал современников знанием почти всех европейских языков. Об этом рассказывают в своих воспоминаниях Шумков, Шеннинг, Свистунова и другие[3]). Начальство также неоднократно отличало его: 16 августа 1822 года[4]), едва достигнув 22-летнего возраста, он произведен был в штабс-капитаны гвардейского генерального штаба. Однако, успехи по службе и популярность в литературных кружках далеко не удовлетворяют А. О.: он жаждет более широкой и живой деятельности. Войдя, в бытность свою на юге летом 1825 года, в Южное тайное общество[5]), он с энтузиазмом принимает участие в событиях 14 декабря и становится жертвой победителей. Осужденный по четвертому разряду, он лишь 23 января 1827 г.[6]) отправляется по этапу в Читу. 9 марта того же года он[7]) поступает в Нерчинские рудники.

Во время пребывания своего в Чите декабристы, как известно, много занимались самообразованием. Разностороннее чтение сменялось изучением иностранных языков, музыкой, живописью, лекциями по разного рода отраслям знания и, наконец, токарной, слесарной и переплетной работой. На долю

---

[1]) Там же.

[2]) Там же.

[3]) «Русский Архив». 1880 г., т. III, 298. «Воспоминания Николая Игнатьевича Шеннига». Свистунова. «Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и декабристах». «Русский Архив». 1871, 1650.

[4]) Из семейного архива.

[5]) Богучарский. «Декабрист-литератор А. О. Корнилович»; сборник «Из прошлого русского общества», изд. Пирожкова, 1904 г., ст. 109—110.

[6]) Из архивного дела б. III отдел.

[7]) П. Е. Щеголев. «Благоразумные советы из крепости» в сборнике «Декабристы», изд. «Былое», 1920 г., стр. 31.

Корниловича выпало чтение лекций по русской истории[1]). Он славился всегда искусством хорошего рассказчика и здесь, в темные вечера, он нередко доставлял своим слушателям приятные минуты, воскрешая в их памяти многие исторические события давно минувших дней, облекая свой рассказ в форму живую и интересную для аудитории.

Но вот, в самом начале февраля 1828 года жизнь его в Чите неожиданно прерывается. Примчавшийся сюда фельд'егерь таинственно, почью, увозит его в Петербург[2]). Таким образом уже 14 февраля Корнилович снова становится узником Петропавловской крепости. Поводом к вторичному заточению его в эту тюрьму послужил, как известно, донос Ф. В. Булгарина, который в записке своей о намерениях австрийского двора зажечь в России революцию очень многое приписал деятельности А. О., бывшего якобы тайным агентом австрийского посла графа Лабцельтерна[3]). Булгарин обвинял Корниловича в распространении в офицерских кругах и среди литераторов политической литературы, имевшей сильное на них влияние, и в сообщении графу о настроениях столичного общества, равно как и многих государственных тайн, известных ему благодаря работам в архивах. Корниловичу очень легко удается очистить себя от взведенных на него ложных обвинений и произвести на Бенкендорфа даже настолько хорошее впечатление, что последний в период пребывания А. О. в крепости часто оказывал ему различные послабления вплоть до присылки на прочтение книг из собственной библиотеки.

В этот период, продолжавшийся до 12 ноября 1832 года, Корнилович, помимо литературных начинаний, занимался также составлением целого ряда записок по поводу замеченных им недостатков русской государственной жизни, в которых высказывает свое мнение о мерах к их исправлению. Несмотря на разнообразие, а иногда и узко-специальный характер вопросов, обсуждавшихся Корниловичем в этих записках, все они написаны с большим знанием дела, ясно и удобопонятно. Многие из этих записок читались императором Николаем Павловичем и получали его одобрение.

Несмотря на эту кажущуюся милость к нему высшего начальства в лице государя и Бенкендорфа, единственной для него доступной дорогой из крепости оказалась лишь служба рядовым на Кавказе.

Последнее окончательно разрешилось 8 ноября 1832 года. 12 ноября он определяется рядовым в войска, расположенные в Грузии, а 16 ноября, пробыв сутки в С.-Петербургском ордо-

---

[1]) Барон А. Е. Розен. «Записки декабриста», изд. общества «Польза», СПБ., 1907 г., стр. 156.

[2]) Из семейного архива.

[3]) Из архива дела 6. III отд.

нанс-гаузе, уже скачет в сопровождении фельд'егеря, по почтовому тракту на Москву, имея конечным пунктом следования Тифлис, где ему надлежит поступить в распоряжение командира отдельного кавказского корпуса, барона Розена. 17 ноября мы застаем Александра Осиповича в Новгороде, где по снисхождению фельд'егеря ему удается свидеться со своим старшим братом, подполковником корпуса топографов, Михаилом Осиповичем Без-Корниловичем [1]), а 23 ноября минует Воронеж, откуда успевает написать лишь несколько строк матери, преисполненных самых радужных надежд на будущее. Лишь 4 декабря Корнилович заканчивает свое длинное путешествие, прибыв, наконец, в Тифлис.

Прибыв в Тифлис, после представления новому своему начальству, Корнилович тут же, в канцелярии барона Розена, берется за перо и дописывает письмо к брату, начатое им еще ранее, 29 ноября, во время ночной стоянки в Екатериноградe, и отправляет его с возвращавшимся в Петербург фельд'егерем.

«Разбитый, измученный дорогой, пользуюсь досугом, чтоб отдохнуть за письмом к тебе. Ну, уж дорога, — жалуется Александр Осипович брату.—Я проездил на своем веку с лишком 15 тысяч верст и никогда столько не терпел в пути. Без отдыха мчась день и ночь, когда на санях, большей частью на телеге, прибыли мы после 10 дней сюда в Екатериноград, казачью станицу у подошвы Кавказских гор, где поневоле ночуем в ожидании конвоя, который проводит нас до Владикавказа. Вещи мои все измялись, перетерлись, подмокли. Сам я весь покрыт сыпью, с распухшими веками — от скорой ли езды, от того ли, что давно не был на воздухе — едва передвигаю ноги. Впрочем, нет худа без добра: свежий воздух укрепил меня».

Далее в письме Корнилович просит брата взять на себя труд исполнить ряд его поручений:

«Мы так с тобой обеспамятели от радости свидания, что не успели ничего путного сказать друг другу в немногие часы, проведенные вместе. Теперь на досуге прошу тебя, тотчас по прибытии в Петербург, побывай у Ивановского [2]) и спроси у него, выручил ли он сколько-нибудь за альманах, в котором

---

[1]) Из семейного архива.

[2]) Андрей Андреевич Ивановский, литератор; во время процесса декабристов он находился при следственной комиссии, а впоследствии состоял при Бенкендорфе в III отд. собственной е. и. в. канцелярии. Он был большим другом Корниловича, — и последний нередко гостил у него в усадьбе в Псковской губ. Когда в 1828 году Александр Осипович в крепости сильно нуждался в средствах, Ивановский вызвался ему помочь и издал в его пользу альманах «Альбом Северных Муз», о чем было известно и в литературных кругах.

поместили мои повести [1]); деньги сии возьми в свое распоряжение. Если их будет более 3.000 рублей, то отошли 500 рублей в Москву к Екатерине Федоровне Муравьевой, как часть долга, в который заставили меня против воли и желания войти княгиня Волконская и ее невестка Александра Григорьевна Муравьева [2]), 200 — Николаю Михайловичу Майлевскому, в Москву у Арбатских ворот; 75 — Николаю Александровичу Лунину, обер-прокурору Московских департаментов сената, и 110 — князю Николаю Федоровичу Голицыну, проживающему в Москве, на Покровке, в собственном доме. Это давние долги, коими я пренебрегал в годы ветренной молодости и коих я потом, в постигшем меня положении, не мог уплатить. Тысячу рублей перешлешь ко мне в Тифлис, а остальные удержишь у себя для покупок, о коих я тебя буду просить. Сейчас об этом еще не говорю, ибо не знаю, какая мне готовится участь. Оставленную тебе рукопись [3]) покажи Ивановскому, он всегда принимал большое участие в моих литературных трудах. По его совету, приказав переписать, отдай для напечатания А. Ф. Смирдину. Очень буду рад, если возьмешь за нее рублей триста. С Полевым я не видался в Москве, где был ночью, и только имел время хлебнуть чашку или две чаю, но из Тифлиса буду писать к нему и не сомневаюсь, что он весьма мне будет признателен за случай вступить с тобою в переписку. Для журналистов люди, как ты, занимающиеся, да еще с таким запасом материалов, какие имеются у тебя, — истинная находка. Твоего Глинского [4]) я, как сам можешь посудить, еще не рассматривал. Займусь им немедленно по прибытии в Тифлис и, может быть, перешлю его тебе обратно с этим же самым письмом, высказав одновременно свое мнение о нем.

Не успев, за поспешным выездом из Петербурга, распорядиться своими вещами, я, как уже говорил тебе прежде при свидании, оставил плац-ад'ютанту Рейнеку для передачи Ивановскому, а от него тебе, три ящика с книгами, мой перевод

---

[1]) О каких повестях здесь идет речь? Может быть, это две историч. повести, помещенные Ивановским в «Альбоме Сев. Муз», а именно: «Татьяна Болтова» и «Утро вечера мудренее».

[2]) Е. Ф. Муравьева, рожденная баронесса Колокольцева, мать декабристов Александра и Никиты Михайловичей Муравьевых; княгиня М. Н. Волконская, рожд. Раевская, жена декабриста кн. С. Г. Волконского; А. Г. Муравьева, рожд. гр. Чернышева, жена декабриста Н. М. Муравьева.

От редакции: Муравьевы оказали Корниловичу, как и другим декабристам, проезжавшим через Москву в Сибирь, материальную помощь.

[3]) Перевод «Нравственной философии».

[4]) Историческое исследование М. О. Без-Корниловича «Князь Михаил Глинский», напечатанное в «Сыне Отечества» за 1834 г. CLXVIII стр. 112 — 125.

Тацита в рукописи и начало перевода Тита Ливия [1]). Первый весьма недостаточен и требует больших исправлений, ибо я трудился над ним без лексикона, без пособий и по необходимости часто слишком близко держался французского, перевода. Тит Ливий менее неточен, я полагаю, даже, что можно отправить несколько из его отрывков Гречу для напечатания в С. О., напр., убиение Сервия, бой Горациев или смерть Виргинии. Впрочем, впредь буду писать тебе об этом подробнее. Теперь должен проститься с тобой и двинуться под прикрытием конвоя с орудиями через Кавказские горы. С 250 верст, которые доселе делал в сутки, сыграть на пятнадцать и на переезд 105 верст употребить целых четыре дня».

На этом прекращается первая часть письма, написанная 29 ноября; далее следует уже приписка, сделанная А. О. в Тифлисе 4 декабря.

«Я хотел, было, продолжать письмо с такой же подробностью, с какою начал, и сообщить тебе некоторые замечания, собранные на пути, особенно описать дорогу от кавказской линии к Тифлису, но поневоле должен переменить намерение, так как не имею времени. Часа через три поеду в Кахетию, в урочище Царские Колодцы, куда определен рядовым в пехотный графа Паскевича Эриванского полк. Нет даже досуга уведомить об этом матушку. Впрочем, я остался доволен приемом здешнего начальства. Все отнеслись с должным уважением к моему несчастью и, видя во мне злополучного, одни снисходительным приемом, другие советом, а кто и делом показали мне свое участие.

Друг мой. До сих пор мне ничего не нужно, но заранее прошу тебя запасаться помаленьку для меня сочинениями о Кавказе. Они мне много пригодятся. Пришли мне пока самый полный и новый каталог русских книг. Я тебя скоро закидаю комиссиями. Прощай до письма моего из Царских Колодцев.

Весь твой Александр».

Приехал Корнилович в Царские Колодцы в самом лучшем настроении. Прощальные слова Бенкендорфа при последнем свидании в Петербурге, в которых А. О. уловил обещание исходатайствовать ему у Николая Павловича окончательное помилование после первой же удачи в стычке с неприятелем, потом радостное свидание с братом в Новгороде, первое после семилетней разлуки, наконец неожиданная встреча в Тифлисе со старинным приятелем, Николаем Алексеевичем Райко, сподвижником Каподистрия, с которым связано было у А. О. столько приятных воспоминаний в Петербурге, — все это преисполнило

[1]) Переводами Тацита и Тита Ливия — Корнилович занимался в крепости.

его душу надеждами на близкий поворот в судьбе. Корнилович наивно рассчитывал на скорое производство в прапорщики, что дало бы ему возможность снова войти в свободное общение с людьми и вернуться к прерванной литературной и научной деятельности. В таком настроении пишутся им отсюда все первые письма к родным. От брата Михаила он отказался взять 1.000 рублей, которые тот пожелал подарить ему, уверяя, что тех денег, которые он имел при себе, должно хватить; мать свою он убеждает в близости того дня, когда он сможет снова прижаться к ее рукам и облить их горячими, благодарными слезами за ту материнскую заботу и любовь, которые оказывала она ему в самые тяжелые годы его жизни.

«Наконец, друг мой, странствование мое кончено», — восклицает Корнилович, принимаясь 20 декабря описывать брату свои первые впечатления о новых местах, куда забросила его судьба.

«Царские Колодцы, читаем мы дальше, это — солдатская слобода, тянущаяся верст на шесть, с несколькими каменными зданиями, кои воздвигнуты солдатами и принадлежат нашему полку. Кахетия, в коей селение сие находится, страна, чудная климатом и славящаяся виноградом, являет взору путешественника или безлюдные степи, или жителей, не умеющих пользоваться дарами щедрой к ним природы. Просвещение еще не развило в них деятельности, промышленность их не вышла из состояния младенчества. До сих пор виденное мной в грузинах говорит весьма мало в их пользу. Сакли их до половины изрытые в земле, покрытые или соломой или тростником, напоминают жилища людей, едва покинувших первобытную дикость. Передняя их часть составляет жилую избу. Несколько войлочных полостей в углу, днем диван, ночью постель, а по стенам ружье и кинжал, которые никогда не покидаются жителями, — вот все убранство этой комнаты, вместе спальни и гостиной. В другой части жилья, за перегородкой, теснятся лошади, коровы и свиньи. Наконец, задняя часть землянки представляет амбар, в коем среди набросанных кучами на земле проса, ячменя и сорочинского пшена видишь бурдюк, мешок из воловьей или свиньей кожи, с чихирем, любимым и главным напитком грузина. Обитатели сих вертепов, красавцы телом (это чуть ли не единственное в них достоинство), но ограниченные умом, весь день почти проводят в беспечной лени и к тому же очень враждебны к русским. Впрочем, это суждение есть результат лишь беглых наблюдений на пути, а потому, может статься, очень поверхностно и недостаточно основательно. Только-что окунувшись в новый для меня мир, я не успел еще привыкнуть в полной мере к своему положению и осмотреться вокруг. Вчера меня обмундировали, сегодня впервые я начал обучаться поворотам, приучаться к ремеслу солдата. Несу службу охотно и не почитаю тягостью обязанность рядового,

особенно после того, что я перенес. Одно лишь беспокоит меня, это — необходимость жить в настоящее время года в сырых казармах, среди шума и говора 200 человек, моих товарищей по службе. Все мои вещи, книги отволгли. Сам я, едва справившись от дороги, начинаю вновь чувствовать болезненные припадки и, что также больно, вероятно принужден буду отказаться от своих литературных занятий».

Болезненное состояние усиливается от неблагоприятных условий жизни; невозможность заняться литературной работой, и, наконец, прибавившаяся ко всему прочему страшная дороговизна предметов первого потребления, которую он не рассчитывал здесь встретить, начинают постепенно оказывать на него свое действие. Постоянная забота о приискании дальнейших средств к существованию находит себе отражение во всех последующих его письмах как к родным, так и к посторонним лицам. В этом отношении очень характерным представляется приводимое ниже письмо его к графу Бенкендорфу, датированное еще 30 декабря [1]). Начинается оно с обычного для Корниловича пространного вступления.

Далее, вспоминая о разрешении графа писать к нему, А. О. продолжает:

«Вашему Сиятельству угодно было почтить меня приглашением писать Вам из Грузии. В другое время, в ином положении, я с жадностью бы оным воспользовался, но ныне с робостью приступаю к исполнению столь лестного поручения. Вы сановник царский, близкий к государю вельможа и самые досуги посвящаете пользе царя и отечества. Занимать Вас пустыми рассказами значило бы во зло употреблять ваше снисхождение, дельного же не могу сообщить Вам ничего: живу в казармах, несу службы рядового и среди учений, караулов не имею еще возможности распространить своих наблюдений на окружающее меня. Когда приду в состояние говорить о вещах основательно, ознакомившись с языком туземцев, увидав из личного с ними обращения их свойства, обычаи, приму, может быть, смелость представить Вам картину их умственного и нравственного быта, сказать несколько слов об улучшениях, к каким сей край доступен. Теперь же, чтоб не явить себя в очах Ваших легкомысленным, удержусь до времени от незрелых суждений о предметах, едва мне известных».

В заключение Корнилович обращается к Бенкендорфу с просьбой, ради которой собственно и было начато это письмо.

«Перед отправлением моим из С.-П—бурга Вы изволили об'явить мне, что деньги, вырученные от продажи Андрея Безы-

---

[1]) Из архива бывш. III отделения.

менного [1]), будут обращены к сестре моей [2]). Таково было мое первоначальное намерение. Между тем обстоятельства сестры моей поправились, а собственное положение мое изменилось. За скорым отъездом моим из столицы я не мог видеться с лицами, от коих долженствовал получить пособие, прибыл сюда с тощим кошельком и, живя здесь собственным хозяйством, вынужденным нахожусь покорнейше просить Вас, благоволите приказать, буде повесть моя, действительно, принесла несколько сот рублей, обратить их ко мне».

Результаты этого письма сказались лишь в апреле след. года. Теперь же Корнилович продолжал томиться в неведении, откуда изыскать себе средства к дальнейшему существованию. Все попытки брата Михаила помочь ему в этом отношении кончились ничем.

В январе 1833 г. Александра Осиповича ожидала маленькая перемена в жизни. Командир полка подполковник Овечкин, видя болезненное состояние Корниловича, по его просьбе отвел ему отдельное помещение. Но новые условия жизни потребовали и новых расходов. Корнилович в письмах к родным постоянно жалуется на дороговизну и на отсутствие у него достаточных средств к существованию.

«Что здесь нехорошо, так это страшные цены на все решительно, — читаем мы в одном из них. — Я плачу за квартиру до 3 рублей в месяц. Это неслыханная цена за уголок в крестьянской избе, где я еле могу уместиться. Продовольственные же припасы особенно дороги, ибо приходится иметь дело с одними лишь маркитантами. И на все нужны деньги и деньги».

При самом скромном образе жизни на стол и на прокорм лошади у него выходило в день до 60 коп.

Но вот, в середине января в Царские Колодцы приехал вновь назначенный сюда декабрист кн. Валериан Михайлович Голицын, носивший тогда простую фамилию Михайлова. Это обстоятельство особенно обрадовало падавшего духом Александра Осиповича. По этому поводу мы находим в его переписке следующие строки.

«Недавно я встретил здесь одного старого своего знакомого, товарища по несчастью, Голицына, с которым теперь вместе и проживаю. Таким способом, в компании с ним и время проходит веселее и жизнь обходится мне значительно дешевле. Мы живем сейчас в тесноте, в крестьянской избе, где двум с трудом можно повернуться».

---

[1]) Историческая повесть Корниловича, написанная им в крепости и изданная III отделением в пользу автора в количестве 100 экземпляров. Цензором ее был сам Николай Павлович.

[2]) Жозефина Осиповна Корнилович.

Лишенный возможности заниматься литературной работой, Корнилович находил единственную отраду в переписке с родными. Он входил во все мелочи их повседневной жизни.

Будучи оторван от них, он проявляет к ним нежнейшие чувства и не только в практических советах, но и добрыми делами. Так, случилось, что Корнилович, страдая сам от безденежья, добровольно лишает себя 10.000 рублей в самый почти трудный период своей жизни, потому только, что не хочет порывать добрых отношений с любимой сестрой и лишить себя ее расположения. А между тем материальные условия его жизни были более чем несносны.

В одном из писем к брату он пишет

«У нас готовятся к походу на Турецкую границу. Выступаем, говорят, в мае. Был ли ты еще в Петербурге, видался ли ты, наконец, с Ивановским, исполнил ли ты мои к нему поручения? Я сам писал к нему. Друг мой, я ужасно боюсь, что поход застанет меня без денег. Теперь уже живу почти в долг, знаю, что ты ни в чем мне не откажешь, снимешь с себя последнюю рубашку, чтоб помочь мне. Но именно эта самая твоя готовность и удерживает меня. Я никогда не простил бы себе, что лишил тебя необходимого».

В тот самый момент, когда Корнилович собирался отослать это письмо на почту, получается на его имя посылка от графа А. Х. Бенкендорфа и от него же перевод в 200 рублей. Он тотчас же, обрадованный, делает в своем письме соответственную приписку:

«В эту минуту я получаю 200 рублей, вырученные от продажи Безыменного. Пишу к тебе об этом, чтоб успокоить на свой счет».

Недели две спустя Корнилович получает, наконец, столь давно ожидаемое им известие из Новгорода. Михаил Осипович уведомлял его, что вторично не застал Ивановского в Петербурге. Одновременно, чтобы хоть чем-нибудь порадовать брата, он делится с ним намерением ходатайствовать о переводе его из пехотного кн. Варшавского полка в корпус топографов, стоявший тогда в Новгороде, что было тем возможнее и по мнению М. О., что ему обещана была ген. А. И. Нейгартом награда за выполненные им топографические работы в Новгородской губ. Александр Осипович, конечно, сейчас же понял, что самопожертвование брата, таким путем лишавшегося награды — чина полковника, было бесцельно, т. к. не могло дать желаемого результата; все это было наивными, несбыточными мечтами. Сознавая это, Корнилович в ответном письме к брату всячески старается отговорить его от задуманного им шага. Далее он сообщает брату:

«Я просил А. Х. Бенкендорфа об исходатайствовании мне перевода в Кавказский саперный батальон, стоящий в Тифлисе [1]). Месяца через два получу ответ. Может быть, не откажут. Там и дешевле жить, и приятнее будет заняться литературой, давать уроки и кое-как пробиваться. Нам сказан был поход, но кажется, теперь отменен. Жаль мне, что ты покидаешь Новгород: в губернском городе все как-то веселее. Я, любезный, веду совершенно праздную жизнь. С утра до вечера на боку и читаю старые журналы за недостатком новых. К счастью, нашел здесь Голицына, пострадавшего со мной по одному делу, хорошего,

---

[1]) По этому поводу в деле Корниловича, хранящемся в архиве бывш. III отд. (ныне политической секции Центрархива) находится интересная переписка между графом Бенкендорфом и бароном Розеном. Переписка эта имеет большое значение для характеристики тех исключительных отношений, которые сложились между бывшим политическим преступником Корниловичем и всесильным шефом жандармов.

20 июня 1833 г., по получении письма Корниловича, Бенкендорф, отсылая последнее к Розену, пишет при этом нижеследующее препроводительное письмо:

«Честь имею препроводить при сем на уважение Вашего Высокопревосходительства полученное мной от рядового Александра Корниловича, отправленного по высочайшему повелению на службу во вверенный Вам, М. Г., корпус, письмо, в коем он просит ходатайства моего о переводе его из пехотного кн. Варшавского полка в Кавказский саперный батальон.'

С совершенным почтением и преданностью честь имею быть

Вашего Превосходительства покорнейшим слугою

Граф Бенкендорф».

Отклоняя ходатайство Корниловича, барон Розен не без ехидства пишет Бенкендорфу 12 июля нижеследующий ответ:

Милостивый государь

Граф Александр Христофорович

На почтеннейшее письмо Вашего Сиятельства от 20 прошлого июня за № 2.789, относительно перевода из пехотного Ген.-Фельдмаршала полка Александра Корниловича в Кавказский саперный батальон с тем, чтобы доставить ему случай, по словам медиков, пользоваться Тифлисскими минеральными водами, честь имею ответствовать, что сему переводу я с своей стороны никакого препятствия не нахожу, но по весьма недавнему Корниловича служению во вверенном мне корпусе не считаю себя в праве ходатайствовать об оказании ему сей милости. А посему покорнейше прошу Вас, М. Г., употребить в сем случае ходатайство Ваше пред его императорским величеством об оказании милости Корниловичу, который более известен Вашему Сиятельству.

С совершенным почтением и преданностью честь имею быть

Вашего Сиятельства покорнейшим слугою

Барон Григорий Розен.

О дальнейшей переписке, вызванной вторичным письмом Корниловича к гр. Бенкендорфу, см. ниже.

умного человека, с которым вместе тяну горе. Без него я совершенно бы зачерствел.

Друг мой, книг мне покамест не нужно. Несколько фунтов табаку, в числе коих один или два нюхательного фабрики Головина, и несколько фунтов чаю будут мне не лишними. Постарайся доставить мне с фельд'егерем, которых теперь много ездит в Тифлис: таким образом деньги за пересылку остаются в кармане.

Прощай, мой милый. Писал бы более, да, право, голова болит. Я вчера только заметил, что совершенно облысел; с волосами испаряется и ум.

Твой душою Александр».

Это письмо Корниловича произвело на Михаила Осиповича совершенно обратное действие. То чувство упадка духа, которое овладело А. О. и которое так ясно сквозило во всех строках его письма, сильно взволновало М. О. Несмотря на совет брата не пытаться приводить в исполнение невозможного, он сразу, по получении ответа, начинает действовать. Мы узнаем это со слов самого Александра Осиповича из письма его к брату от 10 июля:

«Я глубоко тронут из'явлением твоей дружбы, твоего участия. Отвергая все для себя, ты вместо должной себе награды за годичную, трудную работу просил облегчения моей участи: в нынешний век примеры такого самопожертвования редки даже между братьями. Но, любезный, признаюсь тебе, что, благодарный за твои усилия, не разделяю твоих надежд. Обманутый столько раз, разочарованный, я уже не верю и, право, друг мой, не имею к ним желания. Дай мне свободу жить спокойно, где хочу и как хочу, — тогда мои желания исполнятся. Я почел бы себя счастливым, если-б мне позволили удалиться в свою Подолию, к матушке, и там в тиши проводить время. А чины, отличия... Бог с ними. Пусть гоняются за ними другие, а я узнал их тщету, и если теперь нахожусь в числе тех, кои домогаются оных, то для того только, чтоб скорее сбросить с себя ярмо».

Посвятив дальнейшую часть письма мелким практическим вопросам, К. заканчивает:

«Еще раз спасибо тебе за твои старания. Жаль мне только, что они не увенчаются успехом. Верь мне, мнение мое не есть следствие отказа, а опытности. Я видел существенность и не ласкаю себя мечтами. Говорить тебе о скуке, господствующей в Царских Колодцах, нечего. Ты можешь вообразить, какое может быть здесь веселье, здесь, в этом далеком углу Грузии, среди людей, которые тебя не понимают. Впрочем, знакомство с ними имеет свою хорошую сторону. Теперь, по крайней мере, никто меня не беспокоит. Я если и служу, то

служу лишь для вида. К тому же меня обуяла ужасная лень. Знаешь, я собирался, было, писать тебе о Грузии, но духу не хватило взяться за перо: черствеют и ум и душа. Может быть, по от'езде Голицына я соберусь еще с силами.

Прощай, мой милый, любимый друг. Дай бог тебе счастья.

Твой душою Александр».

Этим письмом надолго прерывается переписка Корниловича. Мы узнали только, что, получив в августе от матери 500 рублей и еще 200 в счет долга от одного старого знакомого, он как-будто несколько воскресает духом и даже обращается к А. Ф. Смирдину с просьбой выслать ему для перевода несколько иностранных книг. После этого он внезапно заболевает местной лихорадкой, которая на много недель приковывает его к постели. Лишь в октябре он поправляется настолько, чтобы снова приняться за письма. 4 октября он пишет брату нижеследующие строки:

«Друг мой Михайла. Научи меня, что с тобой делать. Я уже несколько раз обращался к тебе с просьбой не лишать себя необходимого ради меня, а ты все свое...

...Спасибо тебе за старания облегчить мою участь, за твои дружеские советы. Соглашаюсь с тобой, что прежде возвращения дворянства мне нельзя и думать об отставке, ибо оно — необходимое условие у нас в России для спокойной жизни. Увы, но это — так![1]) Друг мой! Жалко мне выводить тебя из заблуждения, а твои усилия едва ли не останутся тщетными, твои надежды едва ли сбудутся. Нет, — не служить нам вместе. Гораздо вероятнее, что я переведен буду в Тифлис, в здешний саперный батальон. Ты уже знаешь, я просил об этом Бенкендорфа. Намедни мне сказали, что он прислал в Кавказский штаб запрос, нет ли тому затруднения и, разумеется, получил благоприятный ответ[2]). Признаюсь, я этому переводу буду очень рад. Кроме того, что там на глазах у начальства скорее найдешь случай к повышению, что будешь участвовать в экспедициях, кои там бывают очень часто, самая жизнь в Тифлисе гораздо веселее. Там я приищу способы, как употреблять свои познания с пользой для себя и других, здесь же я вяну в жалком бездействии. Так, напр., Полевой делает мне предложение участвовать в его журнале, а я поневоле должен теперь от этого отказаться. Без книг, брошенный среди людей, которые едва по слуху знают, что такое литература, что могу я предпринять? Если бы Царские Колодцы, в коих расположен наш полк, были грузинской

---

[1]) Курсив редакции.

[2]) См. приведенную выше переписку между гр. Бенкендорфом и бар. Розеном.

деревней, то можно было тогда присмотреться к быту жителей, повыучиться их языку и кое-что написать. Мы же стоим в солдатской слободе. Ближайшее грузинское село от нас в верстах двадцати, а отлучиться никуда нельзя без спроса. Для того только, чтоб избавиться от этих поклонов, от необходимости обязываться людям, откажешься от всякой журнальной деятельности[1]). Впрочем, я писал к Смирдину и предлагал ему свои услуги, как переводчик, в ожидании же его ответа, чтобы не терять время даром, принялся уже за дело. Попалась мне случайно немецкая книжка «Сербия в новейшее время»[2]), и решился переложить ее на русский язык и ей посвящаю обыкновенно все утро. Если предполагаешь быть скоро в Петербурге, я пришлю ее к тебе, чтобы продать, хотя, возможно, что и сам отправлю ее прямо к Смирдину.

Прощай мой друг. Участь моя, правда, не завидна, но и не так горька, как ты воображаешь. После того, где я перебывал, и Царские Колодцы покажутся раем. Спасибо добрым людям за то, что не часто гоняют меня на службы и оставляют покамест в покое. Нас, было, встормошили походом, велели каждую минуту быть в готовности, и я уже собрался, было, наполнять письма к тебе описанием своих подвигов в горах у лезгин и глуходаров, но, кажется, то была лишь пустая тревога. Теперь опять все смолкло и мы, вероятно, всю зиму не тронемся уже с места. Прощай, мой милый. Пиши ко мне. Александр». Приписка к письму:

«Еще раз прошу тебя, напиши к матушке. Ей только и радости, что наши письма. Я хотел, было, выписать для тебя место из ее письма, в котором она со слезами спрашивает о причине твоей холодности, но оставляю это намерение в полной уверенности, что ты и без того воспользуешься первым же случаем, чтоб ее успокоить».

Забота о матери носит у А. О. самый трогательный характер. Семейный архив является тому лучшим свидетелем. Все письма к ней дышат самой нежной и почтительной любовью.

Перелистывая дальше страницы семейного архива, мы легко можем записать, что бодрое настроение, которым охвачен был Корнилович в начале октября и которое так ярко выразилось в известном уже читателям письме его от 4 числа, вскоре сводится почти на-нет. Обычная апатия, разочарованность и какая-то беспредметная тоска снова с необыкновенной силой овладевают всем его существом. 26 октября Корнилович пишет брату:

---

[1]) Курсив редакции.

[2]) «Serbien und die Turkei im XIX Jahrh». Первое издание этого сочинения относится к 1828 г. На русский язык переведено в 1876 г.

«Ты, кажется, все еще ласкаешь себя надеждой, что просьба твоя обо мне увенчается успехом, но едва ли не напрасно. Нет. Година нашего испытания не миновалась, надобно еще годы сиротеть в этой глуши. Я даже начинаю терять веру в то, что буду переведен в Тифлис. Александр Христофорович уже почти три месяца назад запрашивал нашего корпусного коменданта, нет ли затруднений к моему переводу, и, как меня уверяли, ответ дан был отсюда благоприятный. Между тем, с того времени ни слуху, ни духу, как камень в воду».

Далее, высказав свои подозрения, что Смирдин потому ему не отвечает, что боится вступить с ним в сношения, он продолжает:

«Быт мой здесь так однообразен, так мало завиден, что не пишу об нем, чтоб не причинять тебе скуки и огорчения. Благодаря Бога, я кое-как живу еще с горем пополам. За днем проходит день, за неделей неделя, и этому радуюсь, потому что беспрестанно подвигаюсь ближе к концу испытания. Нас, было, встревожили повелением приготовиться к походу, мы всякую минуту ожидали, что двинемся в горы. Хотелось мне посмотреть вблизи на горцев, послушать свиста их пуль, или самому сложить голову, или вырваться, наконец, из сермяжной брони, в которую попал. Видно судьбе было угодно решить иначе. Обещают нам экспедицию будущей весной, а до тех пор придется, кажется, прозябать в Царских Колодцах. Лихорадка, было покинувшая меня, опять начала меня трясти. Теперь мне снова легче, но я все-таки держусь еще диэты. Поверишь ли, что здесь, в стране фруктов, я не с'ел нынешним летом ни одного персика, ни одной виноградинки. Вот как обстоят мои дела, а ты жалуешься еще на краткость моих писем. Друг мой, когда весело, тогда и пишется. В нашем же быту, когда знаешь о радости только по наслышке, и мысли на ум не идут, и рука едва двигается. Впрочем, со мной было и хуже, теперь, по крайней мере, я сколько-нибудь свободен».

Письмо от 29 ноября было еще короче. Оно написано А. О. наскоро, среди домашних хлопот. Из него мы узнаем, что занятия по хозяйству сильно отвлекали его от предпринятой им переводной работы и послужили отчасти причиной продолжительного его молчания. Следующее письмо датировано А. О. уже 20-м декабря. В нем он сообщает брату:

«Полевой предложил мне участие в своем журнале. Я принял предложение и жду теперь ответа, в чем собственно будут состоять его условия. Тем временем вторично просил графа Бенкендорфа о переводе меня в кавказские саперы, в Тифлис [1]).

---

[1]) Вторичное ходатайство Корниловича вызвало возобновление переписки между гр. Бенкендорфом и бар. Розеном. Переписка эта, в виду ее интереса, полностью приводится здесь.

Попади я только туда, а уж заживу припеваючи. Там можно заняться литературой, можно писать, здесь же не приведи Бог. Ты, милый, жалуешься на скуку в Тихвине; посуди же сам, каково жить в здешнем захолустье, где только и встречаешь или невежественных враждебных нам грузин, или же нашу братию — русских, коих за неспособностью, от незнания куда с ними деваться, посылают в Грузию. О литературе здесь вряд ли ведают по слуху, книг не читают: с кем прикажешь поговорить, посоветоваться? Ум от бездействия меркнет, душа черствеет, весь костенеешь и, что хуже всего, чувствуешь, что не в состоянии вырваться отсюда. Пишется хорошо тогда, когда душе весело, сердцу легко; но когда сам борешься с нуждой, когда знаешь, что вместе с тобой более или менее страдают все близкие к тебе, и, чувствуя в себе и способность действовать, так скован, что не только не имеешь возможности пособить им и себе, но даже принужден лишать их последнего,

---

Препровождая это письмо Корниловича так же, как и первое, на уважение ген. Розена, Бенкендорф пишет последнему 20 января 1834 года нижеследующее:

«При отношении моем от 20 июня истекшего года, за № 2489, я имел честь препроводить на уважение Вашего Высокопревосходительства письмо отправленного по высочайшему повелению на службу во вверенный Вам корпус, рядового Александра Корниловича, в коем он просил ходатайства моего о переводе его из пехотного генерал-фельдмаршала кн. Варшавского графа Паскевича Эриванского полка в Кавказский саперный батальон, и на сие Вы, М. Г., изволили ответствовать мне, что к такому переводу Вы со своей стороны никакого препятствия не находите, но что по недавнему его, Корниловича, служению во вверенном Вам корпусе Вы не считаете себя в праве ходатайствовать об оказании ему сей милости.

Получив вновь от Александра Корниловича письмо, в коем он возобновляет просьбу свою об исходатайствовании ему перевода в Кавказский саперный батальон для доставления ему чрез сие способа заняться в Тифлисе литературой и трудами своими по сей части изыскивать средства к содержанию престарелой матери, я решился сие письмо Корниловича также препроводить на благоуважение Вашего Высокопревосходительства, полагая, что служба и поведение его ныне уже сделались Вам более известными.

О распоряжении, какое угодно будет Вам сделать по означенному письму Корниловича, я покорнейше прошу Вас, М. Г., приказать об'явить ему и одолжить меня об оном Вашем уведомлением.

С совершеннейшим почтением и преданностью честь имею быть Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга граф Бенкендорф».

Вторично отклоняя ходатайство Корниловича, бар. Розен приводит к тому следующие доводы:

«На почтеннейшее отношение Вашего Сиятельства от 22 января за № 291, сим ответствовать честь имею, что, при всей готовности моей исполнить Ваше, М. Г., желание в отношении рядового Корниловича и вместе быть сему несчастному полезным, мера преступления его известна мне весьма поверхностно из отношения ко мне деж. генерала Гл. Шт. е. и. в. (графа Клейнмихеля), в коем из'яснено только то, что он из числа государственных преступников, осужденных приговором Верх. Уголовн. Суда к различным наказаниям, и содержался в Петербургской крепости. Прислан же он ко мне при особом отношении же г. дежурн.

то право тут не до письма. А потому не пеняй на меня, друг мой, за краткость моих отзывов. Верь мне, что беседа с тобой — самое приятное развлечение в моей однообразной жизни. Но весело ли тебе будет слушать мои жалобы и весело ли мне самому жаловаться? Я притворствовать не умею, хвалиться в моем положении не могу, ибо оно не завидно. Не лучше ли молчать?

Жаль мне, что ты имел неудовольствие с Нейдгартом. Но утешай себя надеждой, что облако, пронесшееся между вами, скоро рассеется. Он человек умный и добрый, легко постигнет чистоту твоих намерений и в душе, если еще не простил, то скоро простит тебе твою смелость. Радуюсь успехами твоего сочинения. Не худо было бы тебе, по окончании оного, представив его начальству, испросить пособия для напечатания. Между тем, потрудись сообщить мне подробности об его содержании и, если можно, оглавление его статей. Спасибо тебе за то, что написал к матушке. Я от нее давно не имею известий. Если буду в Тифлисе, обязательно увижусь

генерала с нарочным по Выс. пов. фельдегеря под строгим присмотром. После сего, при всем хорошем поведении рядового Корниловича, без особенного какого-либо отличия я не осмелюсь ходатайствовать о переводе его в саперный Кавказский батальон, в Тифлисе квартирующий, где он может не так скоро иметь случай к военному отличию, как в Царских Колодцах по случающимся набегам лезгин на Кахетию. Что же касается до литературных его занятий, то я полагаю, что он может иметь более для сего времени там, где ныне находится, нежели в Тифлисе, где одна гарнизонная служба и др. развлечения отнимут у него много времени, а между тем перевод его на службу в большой город неминуемо послужит поводом и другим, по давности здесь службы более его на таковые снисхождения право имеющим ходатайствовать о том же, когда как из всех тех, которые найдены виновными Верх. Уголовным Судом, никто на постоянной службе в Тифлисе не находится, ибо пребывание их в главном месте Закавказского края было бы обременительно для начальства, равно и для секретной военной полиции, как по многолюдству города, так и по неизвестности правил и нравственности прибывающих сюда из разных мест чиновников, частью иностранцев. А между тем и молодые люди всех служб и даже наций могут из одного любопытства искать с ними знакомства и даже связей. Впрочем, если Корнилович, по мере уголовного преступления своего понес уже достаточное наказание, то настоящее безукоризненное его поведение заслуживает особого внимания. Но ходатаия о сем я принять на себя еще не осмеливаюсь и тем более, что между подобными ему есть под моим начальством и такие, которые, служа против неприятеля, остаются доныне в одинаковом с ним положении. В окончание честь имею уведомить, что, согласно с почтеннейшим отношением Вашим, я приказал по содержанию письма Корниловича, Вами, М. Г., ко мне препровожденного, об'явить ему, что я не нахожу еще возможным удовлетворить просьбы его, а между тем и уверить, что усердие по службе и настоящие его занятия не останутся без внимания начальства.

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть В. С. покорнейшим слугою. Барон Григорий Розен».

(Извлечено из дела о Корниловиче, хран. в архиве 6. III отд.).

с Ховеном [1]) и исполню твое к нему поручение. Впрочем, не думаю, чтоб он мог мне много помочь. Наше положение таково, что об нас слишком много хлопотать опасно, а то, чего доброго, усердное ходатайство повредит и ходатаям, и нам [2]). Прощай, мой друг.

Твой душою Александр».

Наступил и 1834 год, столь роковой для Корниловича. По началу он был скорее благоприятным для Александра Осиповича и сулил даже некоторые счастливые перемены в его однообразной жизни. Случились два события, сильно отразившиеся на его психике и настроении. Одно из них был приезд в урочище Карагач, лежащее в 7 верстах от Царских Колодцев, давнишнего приятеля А. О., поручика Нижегородского драгунского полка Н. А. Райко, который упоминался выше. Вторым событием была перемена в полку, где служил Корнилович. Вместо подполковника Овечкина командиром последнего был назначен Александр Остафьевич Клуген, в доме которого Александр Осипович сделался вскоре самым близким человеком. Сам Клуген и его жена, Каролина Яковлевна, относились к А. О. с полным участием. Во время его заболеваний, что очень часто случалось с Корниловичем в эти годы, они окружали его самым тщательным уходом и редкой предупредительностью. Одним словом, с января 1834 г. наступил для А. О. самый светлый момент в его жизни на Кавказе. Насколько отразилось все вышесказанное на Корниловиче, можно судить из письма от 28 февраля, адресованного им к Михаилу Осиповичу, в котором автор обстоятельно излагает свои занятия и всю обстановку своей жизни в Царских Колодцах.

Поблагодарив брата за присланные им шесть полуимпериалов и шестьдесят рублей ассигнациями, Корнилович продолжает:

«Ты все жалуешься на короткость моих писем. Но что сказать тебе нового, занимательного из того захолустья, в которое забросила меня судьба? Я окружен роскошной природой. Перед глазами у меня белоснежные вершины Кавказа, в ущельях коего живут племена, различающиеся между собой обычаями, нравами, языком, вероисповеданием, у коих одно только общее—война и грабеж. Кругом меня деятельные, пронырливые торговцы-армяне и ленивые, неповоротливые грузины, быт коих так отличен от нашего, — и обо всем этом знаю только по наслышке, ибо сиднем сижу на своих Колодцах, потому что отлучиться без спросу нельзя, а просить не хочу, чтоб не подвергнуться неприятности отказа. Впрочем,

---

[1]) Фон-дер-Ховен, барон Христофор Христофорович, полковник.
[2]) Курсив редакции.

в угодность тебе, чтобы сколько-нибудь оправдать себя от упрека в лени, посвящаю тебе весь канун почтового дня, хочу исписать мелко, как ты желаешь, весь лист кругом. Если писанием своим я отвлеку тебя от занятий, более интересных, виноват уж будешь ты сам: не требуй впредь от меня длинных писем».

После краткого очерка восточной части Грузии, который К. дает в этом письме, он переходит к описанию своего местопребывания: «Урочище Царские Колодцы состоит из верхнего лагеря, где находятся офицерские и наши казармы, нижнего, в котором поселена одна наша рота, и, наконец, артиллерийской слободки, штаб-квартиры 2-ой батарейной роты. Это поселение — необходимость в здешнем крае. Татары и грузины нас недолюбливают и всячески нас чуждаются. Чтобы отвратить зло, всегда возможное при предубеждении против нас местного населения, пришлось перевести сюда семьи женатых солдат. Таким образом, каждый полк имеет теперь здесь свое хозяйство, свое обзаведение. Я поселился в нижней слободке. Комнатка моя шагов 10 в длину и 5 в ширину. Убранство ее составляют: две кровати, из коих одна, покрытая ковром, изображает диван, потом письменный стол, шкаф с книгами и два стула. Живу я здесь не весело, но и не так скучно, как ты можешь вообразить. Со мной вместе назначен сюда Голицын, давний мой знакомец по Петербургу, о котором я тебе уже сообщал, кажется, не раз. Сперва мы жили вместе, потом он купил для себя избу и мы, внутренне довольные оба, расстались, но видимся ежедневно, продолжаем оставаться приятелями, избегнув неприятностей, кои неразлучно связаны с теснотой, когда по необходимости беспокоишь друг друга. На одном дворе со мной живет Хвостов, некогда мой питомец. Он был у меня колонновожатым [1]), теперь же по несчастным обстоятельствам попал из гвардии в Нижегородский драгунский полк. Он — добрый, милый и образованный малый. Мы друг друга утешаем в горе, придумываем для себя занятия, не даем себе времени скучать. Между артиллеристами здешней бригады я также нашел добрых ребят [2]). Наконец, в верстах 7 отсюда, в урочище Карагач на Алазанской долине, стоят нижегородские драгуны. В конце прошлого года приехал туда из Тифлиса Николай Алексеевич Райко, мой старый петербургский приятель, который также служил в гвардии, потом вышел в отставку, поехал в чужие края, очутился в Греции, определился во время освободительного движения, охватившего всю страну, в греческую армию, потом был сначала правителем Петраса,

---

[1]) Корнилович с 1823 года состоял штатным преподавателем в С.-Петербургском училище для колонновожатых, где читал географию и статистику.

[2]) В числе последних был и автор воспоминаний о Корниловиче, — ген. Шумков.

затем начальником всей артиллерии, а после убиения графа Каподистрия, который весьма к нему благоволил, вернулся снова в Россию, попал поручиком на Кавказ, и теперь, снова уволенный, возвращается на родину [1]). Я ему обязан самыми приятными минутами своей жизни на Кавказе. Не поверишь, какая радость в этом одиночестве отвести душу в приятельской беседе с человеком, который с полслова тебя понимает и тебе сочувствует, какое счастье согреть, оживить с ним свое омертвелое чувство. Далее Карагача поездки мои не простирались: там я проводил целые дни у славного Райко. У него часто приходили мне на память счастливые годы моей молодости в Петербурге. Увы, сколько воды утекло с тех пор.

Иногда я пускался в Сигнах за письмами на почте. Там, в Сигнахе, я познакомился с окружным начальником (Запорощенко), коего жена единственное в этом крае женское создание, с которым можно приятно и весело убить время. Своей приветливостью и умением вести разговор она заставляла меня забывать беспокойства дальнего пути и проживать целые вечера, не замечая бегущего времени. В книгах у меня до сих пор недостатка не было. Райко привез их в достаточном количестве. Сверх того, журналисты по старой привязи, помня прежнего собрата по литературе, присылают мне свои издания: Н. А. Полевой — «Московский Телеграф», Н. И. Греч — «Сев. Пчелу» и «Сын Отечества». Так, мешая дело с бездействием, переходя от книг к картам, от карт к книгам (по вечерам сажусь иногда за бостон, но по самой маленькой, в пять копеек ассигнациями), провожу дни, месяцы, целый год. Сам я ничего не пишу. Странное дело: от лени или от долгой борьбы с злодейской судьбой, но я окончательно очерствел, весь покрылся какой-то ржавчиной. Воображение дремлет, чувства погрузились в какой-то сон: ни одной мысли в голове. Ум и душа как-будто окоченели. Нет уж тех светлых минут вдохновения, когда безо всяких усилий слова сами ложились под перо, когда рука не успевала хватать мыслей, роившихся в голове, подобно пчелам в улье. Несколько раз мне хотелось возвратиться из этого бездействия, переломить себя и природу. Задумал как-то написать несколько повестей, составил план, принялся. Не тут то было. Куда девалась прежняя легкость, прежняя беззаботность в слоге. Над одним выражением, над одной фразой бился

---

[1]) Дальнейшая участь Н. А. Райко была такова: поселившись в Одессе, не имея возможности поступить на государственную службу, ибо слыл за карбонария как по воспитанию своему в Италии, так и по участию в борьбе за независимость Греции, Н. А. Райко делается известным шелководом, много содействовавшим разведению этой отрасли промышленности в Новороссийском крае. Его перу принадлежат несколько статей по шелководству, напечатанных в свое время в записках О-ва Сельск. Хоз. в Южн. России, а также «Записки об убиении Каподистрия», напечатанные в «Русском Архиве» за 1869 г.

целый час-другой, наконец со вздохом, в досаде на себя, на судьбу, бросишь перо, бумагу и прячешь то и другое в стол в ожидании лучшей поры».

Прежде чем перейти к последующим письмам А. О., необходимо отметить то обстоятельство, что Корнилович был не совсем искренним в своих письмах к брату, когда сообщал последнему о своем полном бездействии в смысле продолжения прежних своих литературных занятий.

По свидетельству декабриста Валериана Михайловича Голицына [1]), именно к этому времени и относятся его усиленные занятия в области истории общественного движения в России и в частности — в описании постепенного хода развития политической мысли в русском обществе во вторую половину Александровской эпохи, а равно и той доли участия, какую принимал в нем сам А. О., постоянно вращаясь не только в литературных и офицерских кругах, но бывая также в некоторых салонах, служивших главным местом собраний для всех либерально-настроенных представителей высшего общества [2]).

К сожалению, рукопись эта не сохранилась, как и многое, что вышло из-под пера Александра Осиповича [3]).

Теперь обратимся снова к прерванному рассказу.

За все время пребывания своего на Кавказе Корнилович никогда еще не был таким веселым, таким жизнерадостным, как именно весной 1834 года. Особенно бодрым выглядел он после своей поездки в Тифлис вместе с приезжавшим на несколько дней в Царские Колодцы А. А. Бестужевым-Марлинским. О том, что должен был перечувствовать А. О. во время свидания своего с Александром Александровичем, лучше всех слов перескажет нам нижеприводимое письмо Корниловича от 9 мая.

«Судьба становится ко мне милостива, дорогой мой Михайла, — сообщает А. О. брату. — Я давно, очень давно не был так весел, так счастлив, как последние три недели. Слушай. Во-первых, я виделся с Марлинским [4]), которого ты знаешь, верно, если не лично, то по сочинениям. Мы одних лет, вместе

---

[1]) Из письма кн. Голицына к М. О. Без-Корниловичу от 30 ноября 1855 г., хранящегося в семейном архиве.

[2]) Такие собрания бывали у княгини Нат. Ив. Куракиной, жены кн. Алексея Борисовича К., у Марии Алексеевны Свистуновой, матери декабриста и дочери масона и писателя, д. т. с. Алексея Андреевича Ржавского, у гр. Ив. Степ. Лаваль, у французского эмигранта и известного богача; у д. т. с. Алексея Ник. Оленина, в свое время известного писателя, директора публ. библиотеки, президента Академии художеств и впоследствии госуд. секретаря, и у кн. Сергея Петровича Трубецкого, полк. л.-гв. Преображенского полка, впоследствии декабриста (см. П. Е. Щеголева «Декабристы», стр. 32—35, 38 и 39).

[3]) Согласно указаниям кн. Голицына, эта рукопись некоторое время находилась у полк. А. О. Клугена, которому передана была на хранение самим Александром Осиповичем Корниловичем накануне отправления своего в поход (из того же письма кн. Голицына к М. О. Корниловичу).

[4]) А. А. Бестужев.

росли, вместе жили в Петербурге и провели лет пять неразлучно, затем, замешанные в том же деле, постигнутые одинаковой судьбой, не видались с рокового дня 14 февраля 1825 года. Он служил в Дербентском линейном батальоне, переведен в Ахалцыхский и, следуя к месту своего назначения, решился отдохнуть от долгого конного пути у нас в Царских Колодцах. Суди, как радостно было свидание после столь долгой разлуки. С офицерами своего полка я знакомства почти не веду. Мое общество, как знаешь, составляют Голицын, Хвостов, ходящие в таких же солдатских шинелях, как моя, и Райко, бывший поручик Нижегородского драгунского полка, о коем я уже писал к тебе, которому обязан столькими приятными минутами в своем заточении. Вдруг, совсем неожиданно, явился среди нас мой добрый Александр. В нашей однообразной жизни, где все, как заведенные часы, где делаешь сегодня, что будешь делать завтра, что делал год тому назад, его приезд был событием чрезвычайным. Мы не знали, как его угостить, где посадить, говорили между собой день, говорили ночь, слушали друг друга и не могли наслушаться. Он провел здесь несколько дней, слишком для нас коротких, но мое благополучие не кончилось сим кратковременным свиданием: я проводил его в Тифлис. Да, друг мой, после четырнадцатимесячного сидения на Царских и я, наконец, очутился в Тифлисе. Перед тем просился в отпуск, чтоб исповедываться и приобщиться св. тайн по обряду нашей церкви. Позволение пришло к самому времени от'езда моего гостя. Мы пустились в путь вместе, он, верный последователь обычаев азиатских — верхом, а я в повозке.

Поездка наша была, разумеется, чрезвычайно приятной... Природа в горах, вообще, живописна; здесь же, в Грузии, встречаются места восхитительные. Растительность здесь такая, о какой у нас не имеют и представления. Вместо вековечной березы встречаешь на каждом шагу тысячи разнообразных деревьев и кустов, отличных своим видом, цветами и зеленью. Сначала погода нам не благоприятствовала, небо заволоклось тучами и полил сильный дождь, какой обыкновенно бывает в горах. К счастью, на мне был широкий плащ, мы сблизили коней и, плотно закутавшись им, прибрели в таком виде к первой деревне, где нашли кров под навесом грузинской сакли. Когда прояснилось, мы пустились в путь деревнями, которыми усеяны окрестности Сигнаха. Вскоре представился глазам нашим вид несравненной красоты. Вообрази вдали снежный Кавказ, вершины коего ослепительной белизны, раззолоченной лучами заходящего солнца, так резко выделялись на фоне темносинего грузинского неба, а ближе к нам вечно зеленая Алазанская долина с рекой того же имени, вьющейся по ней серебристой лентой; под ногами, справа, виднелась Сигнахская стена с башнями, протянутая с одной горы на другую, и перед нею город, построенный амфитеатром; прямо ряд холмов, испещренных

рощами, между которыми то тут, то там виднелись грузинские деревни в садах фруктовых деревьев, красующихся миллионами самых разнообразных цветов; наконец, влево, мрачно стоял монастырь св. Нины, нечто в роде германского аббатства средних веков, где покоятся мощи жены-апостола, водворившей в Грузии свет христианского ученья, и где ныне проживает столетний старец Иоанн, митрополит здешних церквей. Бестужев был очарован, я любовался его восхищением. В Сигнахе нас ожидали снова приятные минуты. Местный окружной начальник, Е. Г. Запорощенко, которого я известил заранее о нашем посещении, известный во всем околотке своим гостеприимством, очаровал нас своим радушным приемом. Жена его, большая охотница до книг, и я постоянно доставляю ей журналы, которые г. литераторы по старой приязни пересылают мне. Это было поводом, между прочим, к завязке моего с ними знакомства. Мы пробыли в Сигнахе сутки, погода не позволяла нам выехать прежде, и только на четвертый день по выезде из Царских прибыли в Тифлис».

Далее, Корнилович сообщает брату, что он остался в восхищении от Тифлиса: «Барон Ховен принял меня, как родного. С того времени, как я попал в несчастье, все меня оставили, кроме тебя и еще одного человека, который отыскал меня здесь в глуши, чтоб предложить мне свои дружеские услуги [1]). Люди, связанные со мной знакомством, дружбой, услугами, чуждались меня от малодушия, от свойственной людям забывчивости, от тысячи различных причин. Суди же, каково было мне встретить Ховена, который, ставя себя выше мелочных страхов, не испугавшись моей солдатской шинели [2]), протянул мне руку, как старому товарищу, и в словах, поступках, во всем обращении показал мне, может быть, более внимательности, чем тогда, когда я был в чести. Я видел его несколько раз. Мы почти постоянно говорили о тебе. В саперы, любезный, я не перехожу. Наш корпусный командир, барон Г. В. Розен, не изъявил согласия на просьбу мою, сообщенную графом Бенкендорфом, и по причинам весьма основательным, с которыми я вполне соглашаюсь. Пока быт мой не переменится, судьба моя — быть далеко от столиц. Мне о многом, о многом хотелось бы еще писать, но теперь некогда...

Твой *Александр*».

Итак, Корнилович убедился, наконец, что только на полях сражения он сможет завоевать себе желанную свободу. Всякие надежды добиться этого иными путями окончательно рушились. Как известно уже читателю, в полку готовились к походу

---

[1]) Корнилович имеет здесь в виду, вероятно, Николая Алексеевича Райко.

[2]) Курсив редакции.

неоднократно, но приказы отменялись. Лишь в августе 1834 г. Корниловичу впервые пришлось сделаться участником военных действий. Приказ о походе об'явлен был в полку еще задолго до выступления. Уже в письме А. О. к брату от 15 июня мы находим соответствующие указания:

«У нас, любезный, большая суматоха. Штаб-квартира полка переходит в Карабахскую в Тифлис, в г. Шушу, батальон же наш отправляется в Тифлис, чтоб оттуда, как уверяют, двинуться за Кубань и с наступлением осени воевать с горцами. Весьма вероятно, что когда ты получишь это письмо, брат твой будет уже в походе. Я радуюсь этому, потому что мне суждено лишь под пулями искать облегчения своей участи. Авось благодатный кусок свинца, пущенный черкесом, сократит время моего странствования в броне сермяжной».

«Месяца два тому назад я вспомнил старину и взялся за указку. От нечего делать учу детей и занимаюсь с ними целыми днями. Но теперь придется все бросить. Перемена штаб-квартиры для меня не совсем приятна. Я стал так тяжел на под'ем и так люблю покой, что меня страшит незнание того, что нас ожидает в будущем. Впрочем, я открываю это одному тебе и так мало обнаруживаю свои чувства перед другими, что не сделаю и шага для перемены своего назначения. Пусть будет со мной, что будет».

Несколько позднее, 31 июля, уже накануне выступления Корнилович пишет:

«На завтра об'явлен поход. У меня уже все уложено. Меняю спокойную ленивую жизнь на бивуачное кочевье. Завтра сажусь на коня, еду в пылу битв добывать себе желанный прапорщий чин, который один сможет доставить мне способы мирно, в тиши, по близости семейства, кончить свои горькие дни. От похода я ожидаю для себя много удовольствия, правда, время не совсем благоприятное, жара нестерпимая, на солнце доходит до 40 градусов, но неведомая страна татар с их обычаями, верою, образом жизни, потом странствование в горы, встречи с лезгинами, их полудикий быт, остервенелость в битвах, — все это для меня новое, невиданное, на каждом шагу другая картина, другой предмет для наблюдений. Ховен славный человек. Недавно еще я видел на себе результаты дружеского его участья. Он поручил меня благосклонности Ланского, который будет командовать нашей экспедицией, и просил его доставить мне случай к отличию. Если ничто не помешает, я хочу в походе вести свой дневник, замечать все, что попадется на глаза. Тогда на дневках я буду приводить в порядок свои заметки и сообщать их тебе. Может быть, посчастливится мне тем самым сокращать твои скучные дни в Тихвине. Прощай, мой друг.

Твой по гроб *Александр*».

На этот раз тревога не была напрасной. 1 августа полк, в котором находился Корнилович, выступил в поход. Получив задание следовать в Дагестан, чтобы здесь соединиться с другими частями, составляющими действующий отряд главнокомандующего ген.-майора Ланского, он спешно переправляется через р. Алазань и 2 августа вступает в Чарскую область. Несколько дней он стоит в главном городе Шекинской области Нухе и затем, минуя Куткашин и Старую Шемаху, достигает 21 августа Кубы, где и располагается лагерем. На следующий день по прибытии сюда Корнилович спешит послать брату весточку.

«Пишу к тебе, любезный Михайла, с похода, на дневке, в палатке, лежа под крупным дождем. Не прогневайся, если не найдешь в письме моем ни складу, ни ладу, если оно покажется тебе коротким. Непривычный к походной жизни, я совсем растерялся и обронил, между прочим, твою записную книжку, куда ежедневно заносил все, что приходилось мне видеть и слышать, думая со временем составить тебе подробный отчет в своих странствованиях. Теперь при мне осталось лишь то немногое, что хранится в памяти, и эти-то крохи собираюсь сейчас сообщить тебе. Взгляни на карту Закавказья, отыщи Сигнах и несколько к югу Царские Колодцы и потом води пальцем к востоку. Мы выступили 1 августа, а на другой день, переправившись за Алазань, вступили в Чарскую область. Население этого округа составляют, главным образом, обусурманившиеся грузины, некогда покоренные лезгинами, которые, приняв их веру, следуют всем мусульманским закопам и обычаям: говорят по-татарски, бреют себе голову, оставляя лишь по сторонам два локона, спускающиеся на уши, носят очень похожие на русские рубахи, с той лишь разницей, что разрез на вороте не на левой как у нас, а на правой стороне. Мы четыре дня ходили их землей, потом, коснувшись владений Илисуйского (Елисуйского) султана, перешли в Шекинскую область. До 1818 г. эта область имела своих собственных ханов, а с того же времени как умер, говорят не своей смертью, последний ее владетель (Измаил-хан), всецело поступила под наше управление. В Нухе, главном ее городе, я видел в крепости ханский дворец[1]), ныне обращенный в присутственные места. (Следует подробное описание ханского дворца).

«...Хотелось бы еще поболтать с тобой, но некогда. Вчера я настолько был измучен походом, что спал как убитый все послеобеденное время, сегодня же почтовый день и писать остается самое короткое время. Боюсь, что не успею сказать ни слова маменьке. Сколько времени мы еще пробудем в Кубе

---

[1]) Укрепление и дворец ханов существуют в Нухе и доныне. Укрепление, построенное в 1765 году Гуссейн-ханом, имеет до 500 саж. в окружности и состоит из каменных стен с бойницами. Находящийся внутри стен дворец выстроен уже много позднее Мамед-Гассаном-ханом.

и куда отсюда двинемся — пока неизвестно. Пиши ко мне если будешь иметь досуг, прямо в Тифлис, а оттуда в отря генерала Ланского».

Это письмо оказалось последним письмом Корниловича 24 августа А. О. получает предписание состоять ординарце при главнокомандующем во всем Дагестане, г.-м. Ланском, а н следующий день, 25 августа, заболевает лихорадкой. Болезн пришла, когда ее менее всего ожидали, и на этот раз не поки дала уже Корниловича до самой смерти. Условия походной жизни и почти полное отсутствие своевременной медицинской помощи только ускорили развязку. Александр Осипович скон чался в ночь с 29 на 30 августа на самом берегу реки Самура

Подробности о последних днях жизни А. О. мы находим в переписке кн. В. М. Голицына с М. О. Без-Корниловичем.

24 января 1835 года. кн. Голицын обращается к М. О с нижеследующим письмом.

«М. Г. Михаил Осипович.

Сколь мне ни скорбно зачать с Вами переписку по причин столь горестной, но, быв все это время с покойным ваши братцем под одним покровом неблагоприятных обстоятельств служа сии последние два года в одних рядах, живя почти вместе я почел своей обязанностью уведомить Вас о распоряжени сделанном с оставшимися после него вещами, и вместе принест слезное утешение, описав вам как ход его болезни, так и по следние минуты его жизни, коих я почти был свидетелем. Ва может быть уже известно, что в начале прошедшего августа мы с Царских Колодцев отправились в Дагестан для действия против тамошних хищников и по пути следствия достигли Кубы где ваш братец, делавший доселе поход со мной, отделился, чтобы быть при ген.-майоре Ланском, главнокомандующем во всем Дагестане. На другой день перехода его из лагеря, т. е. 25 августа он почувствовал первый припадок лихорадки, 26 ему было лучш и он был в состоянии приехать верхом из Кубы в лагерь, н ночью с 26 на 27 ему сделалось опять хуже, а так как отря выступал 28 и в Кубе ему нельзя было оставаться по неимени там лагеря, то он и лег в больничную фуру графского полка Первый переход от Кубы был до Ханских Садов. На почлег он почувствовал себя легче и 29 поутру он был очень хорош но, когда мы пришли на берег Самура, болезнь весьма усилилас и превратилась в сильную желчную горячку, несмотря на вс средства, которые только можно было употребить. В 11 часо вечера ваш братец скончался, к прискорбию всех его знавших Переправа через р. Самур задержала отряд довольно долго, и мы успели 30 числа, отпев его по обряду греко-российскому, со вершить погребение не блистательно, но торжественно. Я хо тел, чтобы место могилы Александра Осиповича не было утра

чено, и велел насыпать груду камня и поставить деревянный крест. На возвратном пути я нашел его в целости, но так как наш скромный памятник стоит на большой дороге, на поле, где жители сеют хлеб, то плуг скоро сравняет это место. Зная расположение полковника Ховена к вам и к покойному, я просил его поставить какой-нибудь камень с надписью. Ему, по месту им занимаемому, это всего легче. Теперь мне остается вас уведомить о вещах, после него оставшихся. В поход он взял немного белья, а остальное и книги оставил у полкового командира, подполковника Клугена. Когда мы его лишились, вещи находились у меня. Разобрав их, я с ведома полкового командира продал лошадей и пять серебряных ложек, что, за вычетом издержек на погребение, на поминки в роту и с деньгами, найденными в шкатулке, составило около 116 рублей серебром, которые я и отдал подполковнику Клугену. С бельем же и с весьма небогатым солдатским гардеробом я распорядился иначе. Некоторые мелкие вещи я раздарил любившим его, а остальное роздал людям, ему служившим. Я надеюсь, что вы меня одобрите в этом, особливо, ежели вы когда-нибудь видели и потому знаете всю неблагоприятность аукционов, делаемых в полках после усопшего. Вексель, вами присланный ему на 10.000 рублей, находится у подполковника Клугена, у которого он его оставил, отправляясь в поход, а сверх того перед выступлением с Царских Колодцев он занял у Клугена 100 рублей серебром и дал ему расписку. Александр Остафевич Клуген и супруга его, Каролина Яковлевна, любившая вашего братца, как родного, зная, что я буду к вам писать, очень просили меня вас уведомить обо всем и вместе просить о вашем распоряжении. В виду этого я прошу вас сообщить о вашем намерении либо через полковника Ховена, либо прямо подполковнику Клугену.

Начатое по столь горестной причине знакомство, я надеюсь, продолжится и в более приятных обстоятельствах, по крайней мере это мое искреннее желание, ибо я очень любил вашего братца и не могу оставаться равнодушным к тем, кого он любил и которые его любят, а поэтому прошу Вас принять в число ваших знакомых и *Валериана Голицына*».

Это письмо князя Голицына не могло, однако, вполне удовлетворить Михаила Осиповича, жаждавшего узнать более подробные сведения о последних минутах жизни несчастного брата. Тотчас по получении означенного письма, Михаил Осипович в апреле того же года посылает Голицыну ответ, в котором, поблагодарив князя за принятые на себя хлопоты, просил его дать некоторые дополнительные сведения. Письмо М. О. долго искало своего адресата и лишь в октябре месяце дошло по назначению. Голицын исполнил просьбу М. О. и представил последнему требуемые им сведения с исчерпывающей полнотой.

«М. Г. Михаил Осипович, — пишет Голицын. — Я весьма сожалею, что принужден так поздно отвечать на ваше приветливое письмо от 4 апреля, и что так долго вы оставались в неизвестности о многих предметах, которые вам, как брату и брату-другу, должны быть драгоценны. Не зная, продолжится ли наша переписка, я писал вам из Тифлиса, не упомянув, что по воле его величества я переведен из графа Паскевича полка в Кабардинский егерьский полк, который расположен на линии. Таким образом Ваше письмо пришло сперва в Сигнах, потом в Шушу, где теперь расположен прежний мой полк, потом в Пятигорск, где я был летом, и наконец только в половине октября нашло меня в экспедиции за Кубанью, из коей мы возвратились на зимние квартиры лишь 12 ноября. Теперешнее мое удаление от прежнего полка, который расположен на границе с Персией, поставляет меня в совершенную невозможность исполнить ваше желание и сделать по вашему письму все распоряжения. Но я вам советую адресоваться либо к полковнику Ховену, либо прямо к полковому командиру графа Паскевича полка полковнику Александру Остафьевичу Клугену. Он человек добрый и любил вашего брата, как родного. У него в доме хранились все вещи, потому что перед походом братец ваш препоручил их супруге полковника. У него же находятся вексель и деньги, найденные в шкатулке и вырученные за лошадей и за другое, что было продано. В числе сих денег должны находиться и те, о коих вы упоминаете в вашем письме, т. е. 50 — адресованные в Сигнах и 125 — на Царские Колодцы. С моим отъездом полковница Клуген предлагала мне сделать разбор как оставшимся вещам, равно и бумагам, но я, не будучи тогда с вами знаком, не почитал себя в праве к сему приступить, а просил ее сохранить до вашего разрешения и вас уведомить. Может быть, теперь все кончено, но ежели вы не получили бумаг, то я вам советую особенно об этом похлопотать. В числе их должны находиться особо для вас занимательные, и я сожалею, что тогда же не доставил их вам. По просьбе Н. А. Райко ваш братец зачал описание эпохи своей политической жизни. Сколько мне известно, он мало касался самых событий, а более обсуждал нарождение в обществе либеральных мыслей, словом, это было более теоретическое описание. Насколько далеко он его довел, не знаю, ибо сам лично не читал его, так как ваш брат писал в то время, когда я находился еще в Тифлисе, где пользовался тамошними минеральными водами, а в поход он его с собой не брал. Другое же еще любопытнее, как памятник. Не знаю, известно ли вам, что братец ваш после двухмесячного пребывания в Чите был привезен в Петропавловскую крепость, где и находился, по его словам, четыре года с половиною. В продолжение сего времени он несколько раз писал графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу о разных предметах государственного управления

мнение его удостаивалось высочайшего одобрения. Я сам
дел записку графа, посланную на целом листе и за его под-
сью, в коей граф уведомлял вашего братца, что е. и. в.
тался доволен письмом вашего братца — самые выражения
перь я уже не помню. Таких записок было должно быть три
и четыре и они находились в этих бумагах. Вы со мной со-
ситесь, что это драгоценные акты для вашей фамилии, мо-
т быть и для нашего века, ибо характеризуют вполне обе
роны. Еще вам советую похлопотать в канцелярии графа
икендорфа о выдаче вам манускрипта «Андрея Безыменного»,
торый должен находиться там. Он писан рукою вашего брата
крепости и тем особенно любопытен, что цензуру держал
и государь и в некоторых местах внесены им поправки.

Окончив дела, перенесемся к печальным воспоминаниям
ошедшего года. Я уже описал вам последние его минуты,
перь, по вашему желанию, расскажу еще некоторые подроб-
сти. За три дня до его смерти и накануне выступления из
бы я был у него после обеда. Он был довольно бодр, вста-
и с постели и даже написал одну бумагу для генерала Лан-
ого. На другой день, рано поутру, я приехал к нему вместе
больничной фурой. Он был еще в силах, ходил и без всякой
мощи лег в фуру. Только жаловался, что от противных
ркурпальных порошков беспокойно провел ночь. Тут мы
стались до привала. На привале я его нашел лежащим на
зре подле фуры и уже весьма слабым. Вероятно, он имел
роксизм во время пути, а тряска его обеспокоила. На ночлеге
Ханских Садов, куда мы прибыли около двух часов пополудни,
у было хорошо, и хотя он лежал, но не чувствовал никакой
кести. На другой день, перед походом, я его видел, когда он
ился в фуру, и хотя он был слаб, но без больших пособий
и влез в нее, говорил со мной и был в полной памяти, чув-
овал себя лучше и жаловался лишь на спор с двумя боль-
ми офицерами, желавшими во что бы то ни стало лечь с ним
фуру. До самого места, где мы расположились на ночлег,
его не видал. Во время перехода завязла моя тележка и я при-
жден был воротиться назад, чтоб ее выручить. Это обстоя-
льство задержало меня и измучило так, что я долгое время
ал в палатке. Во время обеда пришли меня звать к вашему
атцу; тут я его уже застал в сильном жару и без памяти
насильно вылез из фуры и лежал в палатке. Я ему сказал:
lexandre Osipowitch, pour quoi êtes vous sorti de l'equipage?» —
u'est-ce qu'ils creignent», — ответил он мне, — «nous sommes
ac á Paris», и много непонятных и без всякой связи слов.
стью добровольно, частью с принуждением он перешел в фуру.
обще он меня как-то узнавал, хотя и отвечал вздором, но
егда по-французски. Видя, что его болезнь усилилась, я при-
асил еще другого лекаря, приняты были более сильные меры,
терли его всего уксусом и приложили шесть синапизмов, но

уже было поздно: болезнь его превратилась в сильный тифус и в одиннадцать часов вечера того же дня его уже не было в живых. Я находился при нем до 9 часов, он был совершенно без памяти и ничего не говорил о родственниках. Впрочем, он вообще только отвечал несвязно на необходимые вопросы. В отношении памятника я советую вам поспешить, покинутые камни на его могиле могут легко изгладиться, либо быть растасканы жителями, и тогда трудно будет найти место. Оно по правую сторону дороги, ведущей из Дербента в Торки и на самом берегу Самура, где переправлялся отряд. Покоримся воле божие и предначертанным им законам. Вы найдете если не утешение, то развлечение в деятельной жизни, но кто достойна всякого сожаления, это — ваша матушка. Для нее нет ни развлечения, ни утешения, она живет только в прошедшем и лишилась его навсегда.

Любя вашего братца и храня его светлую память, мне очень приятно будет продлить нашу связь с ним и за дверями гроба, зачав ее с вами. Как я вам, так и вы мне были уже известны гораздо прежде. Часто в часы досуга покойник с чувством братской дружбы говорил мне о вас и о ваших стараниях об улучшении его положения. Итак вы, конечно, уверены, что я вполне оценил выражение вашего письма и что моя искренняя благодарность за ваше участие не есть принятая форма вежливости. Я со своей стороны прошу Вас также продолжать переписку и уверен в исправном ответе.

Пожелав вам всякого блага, остаюсь готовый к услугам

Валериан Голицын».

1855 г., 30 ноября,
Екатеринодар в Черномории.

На этом письме прерывается семейный архив...

Приложение.

Б. Кубалов.

Особый комитет 1826 года.

(Историческая справка).

За приговором Верховного Уголовного Суда, конфирмованным Николаем I, последовали указы Сенату, Верховному Уголовному Суду и манифест. В манифесте Николай I всенародно об'являет, что «то дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено; преступники восприяли достойную казнь»... «Туча мятежа,—читаем там же, — взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта».

Если приговор Верховного Уголовного Суда, указы и манифест отличались внешней стройностью и законченностью, то другое приходится сказать о тех мероприятиях и распоряжениях, которые предпринимались властью с целью как можно скорее провести в жизнь решение суда.

Начиная с неудачно произведенной казни пяти приговоренных к повешению и кончая отправкой последних партий декабристов в рудники и тундры Сибири, во всем сквозила нервозная торопливость, бессистемность, отсутствие определенного плана с точными и ясными руководящими началами по проведению в жизнь приговора, — во всем чувствовалась боязнь стоящих у власти, как бы «потушенный умысел бунта» не вспыхнул вновь и «не заразил бы (скажу словами манифеста) сердца развратные и мечтательность дерзновенную».

Эта нервозность, суетливость центра передалась на места и заметно сказалась в действиях администрации тех областей Сибири, куда уже́ мчались с фельд'егерями осужденные на каторгу и поселение декабристы.

Пред нею, как и перед центральной властью, с момента отправления в Сибирь первых партий побежденных на Сенатской площади, встал целый ряд непредвиденных и довольно серьезных вопросов. Прежде всего далеко было не ясно, в каких условиях должны находиться на каторге и поселении ссылаемые в Сибирь по приговору Верховного Уголовного Суда. Не менее щекотливый вопрос возникал и о женах декабристов, которые из'явили готовность следовать за своими мужьями и разделить с ними судьбу. В данном случае характерны распоряжения и меры иркутского губернатора Цейдлера, Горлова, Бурнашова,—распоряжения, за которые Горлов, например, был привлечен к суду Сената [1]).

Неопределенностью в данном вопросе, в связи с разными слухами, носившимися вокруг процесса и расправы с декабристами, особенно тя-

---

[1]) Центральный Архив Вост. Сиб. (Ц. А. В. С.). Карт. 2, оп. № 20, л. 163 «Дело о неправильном распределении государственных преступников по Иркутской губернии».

готился преемник графа Сперанского по управлению Восточной Сибирью, генерал-губернатор А. С. Лавинский.

Вызванный в июле 1826 г. в Москву, он имел основание недоумевать и нервничать. В центре настолько торопились с проведением в жизнь приговора, что забыли поставить в известность Лавинского, как генерал-губернатора, о том, кого из осужденных, куда и когда отправляют в управляемые им области.

Во-вторых, слухи о возможной поездке за Байкал вслед за декабристами их жен стали уже подлинным фактом, о чем генерал-губернатор узнал не от центральной власти, а от частных лиц [1]).

Не получая до конца августа никаких предписаний центра насчет ссылаемых в Сибирь декабристов и не зная, какой линии держаться во всем этом деле, Лавинский решил поделиться с начальником штаба е. в. бароном Дибичем теми соображениями «относительно следовавших жен декабристов в Сибирь», которые носились в голове нерешительного генерала-губернатора. Свои «соображения» он развил в следующем неуклюже составленном представлении:

«Генерал-губернатор Восточной Сибири, не имея доныне никакого предписания насчет отправленных в Сибирь преступников, не знает, имелись ли в виду следующие соображения, если, впрочем, слухи о следовании за ними (декабристами Б. К.) жен их в существе своем справедливы. 1) Будет ли сделано предписание местным властям о образе обхождения их с сими женами, т.-е. считать ли их в прежнем быту, или женами ссыльных. 2) Следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они естественно делаются причастными их судьбе и теряют прежнее звание, а прижитые в Сибири дети поступают уже в казенные крестьяне. Неизвестно, имеют ли они о сем понятие, и ежели нет, то не должно ли оное быть им внушено; ибо многие может быть решаются ехать в Сибирь не из любви и привязанности к мужьям своим, но из пустого тщеславия, чтобы быть предметами разговоров и показать в публике, что пожертвовали для мужей собственным своим благополучием, но коль скоро мечтания их рассеются вразумлением об ожидающей их там участи, то может быть исчезнет и охота к выполнению необдуманного намерения. 3) Судя по состоянию, жены сии могут иметь большие деньги. Могущественная сила оных в краю бедном, населенном людьми буйными и развратными, может иметь вредное влияние и потому не должно ли ограничить их в привозе с собою наличных сумм.

Если обстоятельства сии уважительны, то не угодно ли будет отбывших уже туда жен велеть под благовидным предлогом остановить на время в Иркутске. Сии предлоги состоять могут в затруднительном переезде через Байкал-море в осеннее время; в мнимом недостатке транспортных казенных судов, в ненадежности таковых у торговых людей состоящих, и в прочих подобных учтивостях. Если мысль сия найдется не излишнею, в таком случае не угодно ли будет приказать мне составить проект предписания иркутскому губернатору и, по внесении оного на предварительное усмотрение, отправить потом с нарочным фельд'егерем, ежели впрочем сие признано будет нужным по расчислению времени, к которому могут сии жены прибыть в Иркутск.

P. S. Не должно ли предоставить свободу крепостным людям, за сими женами едущим, возвратиться восвояси, ибо по строгой справедливости они не могут быть причастны участи как самих преступников, так и жен их, добровольно отрицающихся от прав своих, и сие также послужить может к вящему их вразумлению» [2]).

---

[1]) Ц. А. В. С. Карт. I, оп. № 15, л. 45. В конце августа Лавинского посетил инженер-капитан Медведев, переведенный по службе из Сибири в Европейскую Россию; он и сообщил ген.-губернатору, что «жена Сергея Трубецкого, последовавшая за мужем, недели две тому назад проехала Казань».

[2]) Ц. А. В. С. Карт. I, оп. № 15, л. 27—30.

В этом представлении Лавинский затронул целый ряд вопросов, имеющих не только практическое, но и юридическое значение, вопросов, на которые не так-то легко можно было дать ясные и определенные ответы. «Соображения» Лавинского Дибич представил Николаю I. А так как и у самого Николая I возникало, в связи с осуществлением приговора, немало недоуменных вопросов, то, чтобы выйти из затруднительного положения, он повелел секретно составить особый комитет.

«Соображения» А. Лавинского были представлены Николаю I утром 31-го августа, а уже в 3 часа пополудни генерал-губернатор Восточной Сибири получает от Дибича следующее извещение.

Секретно.

Милостивый Государь

Александр Михайлович [1]).

Государь император высочайше повелеть соизволил для совещания об образе присмотра в местах ссылки за осужденными по решению Верховного Уголовного Суда и о других обстоятельствах до них относящихся, составить особый комитет, в котором присутствовать тайному советнику Сперанскому, вашему превосходительству, генерал-ад'ютанту Бенкендорфу, генерал-майору Лепарскому и мне.

Сообщая вашему превосходительству сию высочайшую волю, я прошу покорнейше вас пожаловать ко мне для открытия сего комитета во вторник, в 7 часов вечера. 31 августа 1826 г № 1428.

С совершенным почтением имею честь быть и проч.

Барон Дибич.

Состав членов особого комитета не мог быть иным. Бенкендорф и Дибич были ближайшими помощниками Николая I в деле расправы с декабристами, Лавинский и Лепарский должны были явиться слепым орудием исполнения воли Николая I в отношении к водворяемым в Сибири участникам восстания 1825 г. Все эти лица были испытанными и верными людьми, которым Николай I смело мог поручить ответственную работу обезвредить декабристов на каторге и ссылке.

Но были ли они способны выработать «об образе присмотра в местах ссылки за осужденными» декабристами стройные и дельные инструкции? Конечно, нет. Они были рьяными исполнителями воли Николая, но не творцами разных положений, инструкций, не людьми, способными учесть все обстоятельства «до осужденных Верховным Судом относящихся». Таким лицом мог быть только М. Сперанский. «Ближайший помощник Николая I в работах о Верховном Суде, деятельный исполнитель его предначертаний», Сперанский и в особом комитете мог умело направлять всю работу, согласуя ее с видами Николая I. Мы не имеем под руками ни протоколов особого комитета, ни его делопроизводства, но, судя по роли Сперанского в Верховном Уголовном Суде, вскрытой П. Е. Щеголевым, а вслед за ним Н. В. Голицыным [2]), мы можем a priori предположить, что и здесь его изобретательный ум и искусное перо выработали такие положения и меры, которые поддерживали в Николае I его уверенность, что «горестные происшествия, смутившие покой России... миновались навсегда и невозвратно».

---

[1]) Отчества Лавинского в штабе е. в. не знали, вместо «Степанович» его ошибочно величали «Михайлович», что видно и из других бумаг, полученных Лавинским в течение сентября из штаба.

[2]) П. Е. Щеголев. — Николай I и декабристы.—Очерки. Петроград, 1919; Н. В. Голицын. «М. М. Сперанский в Верховном Суде над декабристами», «Рус. Ист. журнал» 1917, кн. 1—2.

Председателем особого комитета был назначен Дибич. В первом заседании комитета была выработана инструкция ген. Лепарскому, утвержденная Николаем I. Здесь же Лавинский был ознакомлен с распоряжениями штаба, касавшимися отправки декабристов на каторгу и в ссылку, о которых официально до этого времени он не был осведомлен.

Повидимому, в первом же заседании комитета было предложено Лавинскому, высказавшему известные «соображения», составить проект предписания иркутскому гражданскому губернатору о тех мерах, которые тот должен принять для оставления в Иркутске жен декабристов, следовавших в Нерчинские заводы. Кроме того Лавинскому же, как начальнику края, знавшему расположение в нем военных частей, было предложено составить доклад по вопросу охраны декабристов на каторге.

Можно предположить, что комитет не мог не обратить своего внимания на одно весьма важное противоречие в вопросе, касавшемся водворения декабристов в пределах Якутской области и Охотского края.

Группа декабристов, отнесенная к VIII разряду (Андреев, Веденяпин, Назимов, Заикин, Бобрищев-Пушкин и др.), вина которых значительно меньше вины сосланных на каторгу, в сущности подвергались большему наказанию, чем последние. Ибо водворение на краю света, в Средне-Колымске, Гижиге, Верхоянске, Нижне-Колымске, среди поселений полуоседлых или бродячих инородцев, да к тому же водворение одиночное, было хуже каторги. В последней как-никак, а существовали условия сравнительно сносной жизни, в кругу людей родственных по духу и воспитанию, при взаимной дружеской поддержке. Сосланные в далекую окраину всего этого были лишены. Кроме того, ссылая в отдаленнейшие места людей, по своему воспитанию не приспособленных к борьбе за существование в условиях жизни сурового севера, Николай I не задумывался, повидимому, над тем, как и чем они будут жить. Когда же лихорадочная поспешность, с которой осужденные были отправлены из Петербурга и разных крепостей, утихла и явилась возможность подвести итоги сделанным распоряжениям, то оказалось, что поселенные в отдаленных местах Якутской области и Охотского края декабристы обречены на полуголодное существование, так как рекомендуемое им средство «снискивать пропитание собственными трудами» хлеба в тех краях дать им не могло, а солдатским пайком, который могли получать декабристы, сыт не будешь. Затем, инструкции по надзору за ссыльными, которыми должна была руководствоваться местная власть, оказались совершенно не выполнимыми в условиях жизни далекого севера и Охотской окраины. Наконец, кроме указанных соображений, комитет мог заняться этим вопросом также в силу настойчивых просьб и ходатайств родственников и друзей ссыльных, в представлении которых Гижиги, Жиганск, Колымск «рисовались чем-то в роде последнего круга Дантовского ада, обителью нечеловеческих страданий».

Только при высказанном мною предположении можно, пожалуй, об'яснить тот факт, что не успели еще некоторые из декабристов доехать к месту своего назначения в Якутской области, как в силу повеления Николая I, состоявшегося 6-го сентября 1826 г., им пришлось ехать обратно и осесть в местах, сравнительно не столь отдаленных [1]).

Казалось, что при существовании особого комитета для обсуждения всех вопросов, связанных с водворением декабристов на каторге и поселении, на утверждение Николая I будут представляться готовые инструкции, положения и ему не придется вникать в мелочи поселенческого быта побежденных на Сенатской площади.

Однако, Николай I, войдя в роль следователя и грозного судьи, не мог предоставить комитету полной свободы действий и поручить ему обсуждение всех указанных Дибичем в письме к Лавинскому вопросов.

---

[1]) Кубалов. «Декабристы в Якутской области». Труды профессоров и преподавателей Иркутского Гос. Ун-та». 1921 г., вып. 2, стр. 115.

Часть вопросов, которые, казалось, должны были бы обсуждаться комитетом, рассматриваются самим Николаем.

Доклад Лавинского о состоянии вооруженных сил Забайкалья, о необходимости их перегруппировки и составления для Нерчинского завода отдельной команды в 150 человек, и проект инструкции гражданскому губернатору о мерах, какие необходимо предпринять к оставлению в Иркутске жен декабристов, были представлены председателю Комитета Дибичу 2-го сентября. Однако, ни доклад, ни проект инструкции [1]) (бывшей развитием мыслей, ранее уже высказанных Лавинским, с тою лишь разницей, что мысли на этот раз изложены более систематично) не обсуждались в комитете. Представленные Дибичу 2 сентября, они на следующий день были возвращены Лавинскому с предложением произвести в инструкции изменения, согласно сделанным в ней «собственноручно» пометкам Николая I.

Против места: «за сими преступниками могли, по необдуманной решимости, последовать их жены» Николай I написал: «Сие справедливо, но все выражения: необдуманности и пр. переменить на неизвестность местных обстоятельств».

Характернее была пометка, сделанная им против 3-го пункта инструкции, формулированного так: «С отбытием их (жен—Б. К.) в Нерчинск уничтожаются также и права их на крепостных людей, с ними прибывших». Против этого пункта Николай I написал: «Это совершенно воспрещаю. Бунтовать людей не должно. Достаточно об'явить женам, что по положениям они не могут брать с собою людей своих, как с добровольного их согласия» [2]).

Повидимому, заседания комитета имели место и после 1-го сентября, о чем мы можем заключить из рапорта Лавинского. Предполагая в средине сентября выехать в Петербург, он одиннадцатого пишет Дибичу:

«По высочайшему повелению учрежден под председательством вашего высокопревосходительства особый комитет для известных совещаний, в который я и удостоился быть приглашаемым, то после сего, не быв уверенным, что по занятиям комитета не может быть нужным дальнейшее мое здесь пребывание, я не считаю себя в праве располагать моим от'ездом и долгом поставлю испрашивать на то вашего разрешения» [3]).

Выражение плохого стилиста Лавинского: «я удостоился быть приглашаемым» говорит за то, что его приглашали на заседания комитета не только 1-го сентября.

Присутствие Лавинского в комитете, повидимому, было еще необходимо. 14-го сентября дежурный генерал главного штаба Потапов, исполняя поручение Дибича, просит Лавинского пожаловать к барону «завтра 15-го сентября, в 1 час пополудни, для составления комитета по известному делу о преступниках, Верховным Уголов. Судом осужденных» [4]).

Найдя в делах Центрального Архива Восточной Сибири указания на существование в Москве «особого комитета», открывшего свои заседания 1 сентября 1826 г., упомянув о его председателе и членах, высказав предположения о первых шагах его деятельности и параллельной с ним работе Николая I, я хотел лишь поделиться как материалом, так и своими предположениями с теми, кто работает над малоосвещенным

---

[1]) Инструкция эта в первоначальной редакции Лавинского помещена П. Щеголевым в сборнике «К свету», 1904 г., в ст. «Жены декабристов и вопрос об их юридических правах», позже в его «Исторических этюдах», стр. 414—417, Спб. 1913, а также Чагиным в ст. «Документальные данные к поэме Некрасова «Русские женщины», газ. «Своб. Край», 1918 № 114, 125 и 138. В подлиннике имеется в Ц. А. В. С. Карт. I, оп. № 15, л. 37—43.

[2]) Ц. А. В. С. Карт. 1, оп. № 15, л. 52.

[3]) Там же, л. 60.

[4]) Там-же, л. 61.

в литературе (документально) вопросом, захватывающим период проведения в жизнь решений Верховного Уголовного Суда. Быть может в архивах Москвы и Ленинграда ими будут найдены протоколы особого комитета, если они велись, докладные записки, проекты инструкций и другие материалы, которые позволят всесторонне осветить деятельность комитета, выяснить роль в нем М. Сперанского, проследить возможное стороннее влияние на членов комитета сановных родственников некоторых из осужденных, а также и отношения к комитету самого Николая, не желавшего ни на минуту передать судьбу побежденных на Сенатской площади декабристов в руки даже таких испытанных и верных сподвижников, какими в процессе над декабристами были Бенкендорф, Дибич и М. Сперанский.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр

Г. **Сандомирский.** Предисловие 5

С. **Штрайх.** Декабристы на каторге и в ссылке. (Неизданные ма) 9

В. **Гонцова-Берникова.** Из жизни декабристов на каторге ссылке в 1827 году 57

С. **Чернов.** Декабристы в Благодатске 82

П. **Сакулин.** А. И. Одоевский в неизданных письмах . . . 124

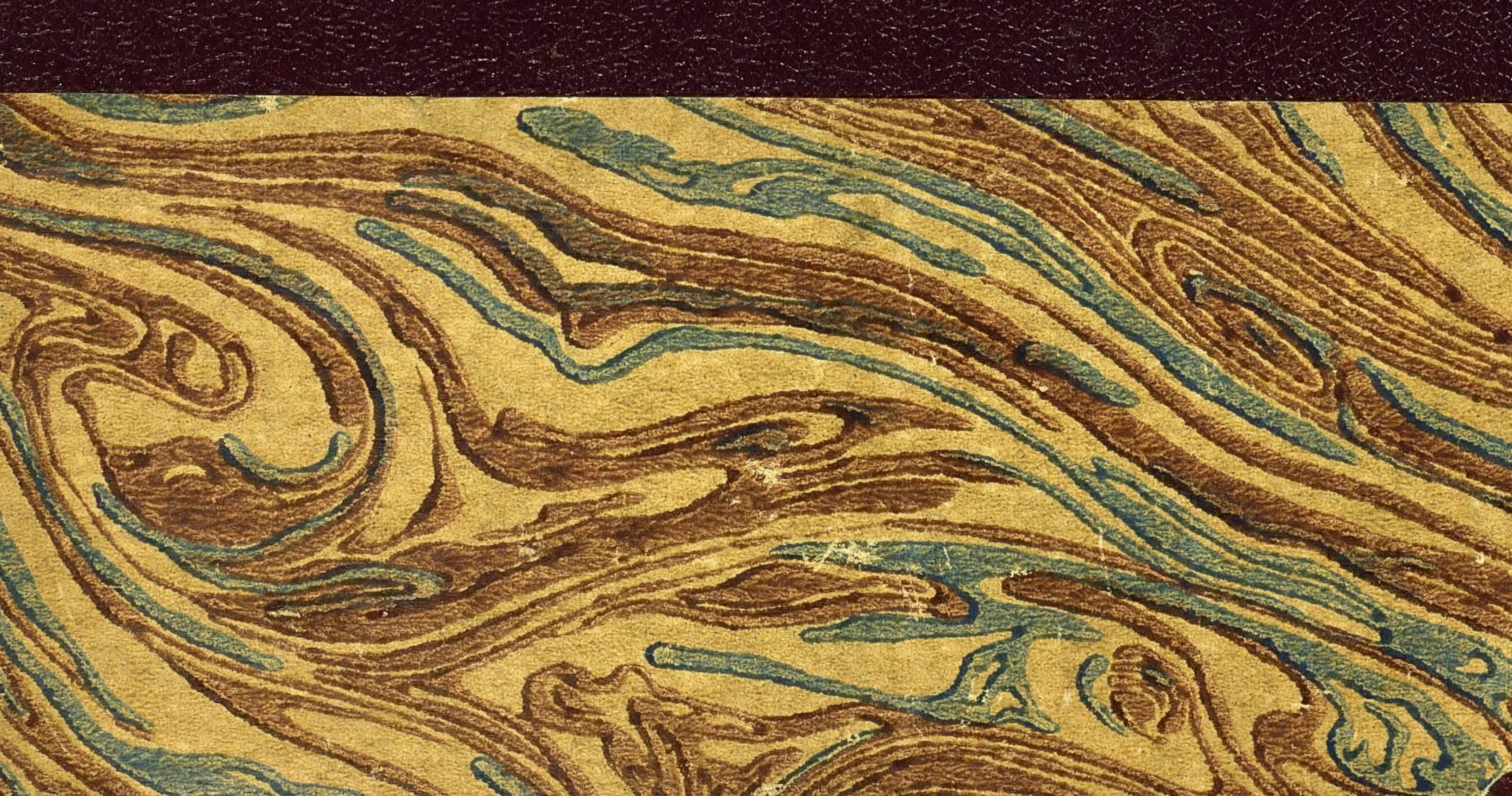
П. **Попов.** П. А. Муханов в Сибири 201

Е. **Тарасов.** Якутская ссылка Бестужева-Марлинского . . . 249

М. **Муравьев.** Статья М. С. Лунина, „Взгляд на дела ьши“ 265

Письмо декабриста А. Е. Розена, сообщил Б. Сыроечкий 281

Б. **Кубалов.** Члены „Тайного общества военных друзей“ на рге и поселении 287

А. **Грумм-Гржымайло.** Декабрист А. О. Корнилович на Кав- 307

Б. **Кубалов.** Особый комитет 1826 года 337